

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1958

I

1958

Н О В Ы Й М И Р

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXIV

№ 1

Январь, 1958 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СО Д Е Р Ж А Н И Е

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
А. ЛИТВАК — Вступая в 1958 год..	3
—————	
А. ВАН-КОЛЛЕМ — Ленину, стихи	21
МАРК ЛИСЯНСКИЙ — Венок, стихи	22
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Рабочий, стихи	23
ЕЛЕНА УСПЕНСКАЯ — Жена шагающего, маленькая повесть	25
СТЕПАН ЩИПАЧЕВ — Два стихотворения	47
КАРЛО КАЛАДЗЕ — Лирические стихи. Переводы с грузинского Константина Симонова	49
МИХАИЛ ДУДИН — Как лодка, русло открывая... Стихи	53
С. ГОЛУБОВ — Птицы летят из гнезд, роман	54
ВЛ. ГНЕУШЕВ — На станции одной переговорной... Стихи	171
ПУБЛИЦИСТИКА	
Доктор физико-математических наук А. ГУСЕВ — Ледяной континент	173
Л. МИХАЙЛОВА — Молодая культура старого города. Поездка в Саратов	196
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	
В. Стеженский. Ниспровергатель социалистического реализма из ФРГ. — Р. Фиш. Что же отстаивает стамбульский «Еникак»?	20
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
З. КЕДРИНА — Дорогами жизни	228
Д. ДАНИН — Испытание оптимизма (О романе Декстера Мастерса «Несчастный случай»)	240
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ефим Дорош. Люди, которыми гордится Россия. — И. Мотяшов. Кладовая творчества. — Ф. Вигдорова. Братство честных и храбрых. — В. Филатов. Русские народные песни. — Н. Игнатьева. Творчество молодых. — С. Гиацинтова. Назначение человека.	250

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	267
М. Щедрин. В борьбе за мир. — И. Крамов. У истоков. — Доктор географических наук Э. Мурзаев. Страна меняет облик. — А. Вольский, М. Цунц. Речи советских адвокатов. — Ю. Овсянников. Слава русского фарфора. — Н. Атаров. Воспоминания гроссмейстера.	
РЕПЛИКИ	277
Рина Зеленая. Кое-что о разговорной речи...	
МЕЖДУ ПРОЧИМ..	279
С. Л. Ребусы в журнале «Новые книги». — Н. Сверчков. Пчелы роняют мед... — Н. Базилевский. Энциклопедия господина Бержо.	
КОРОТКО О КНИГАХ	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	285

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

А. ЛИТВАК

★

ВСТУПАЯ В 1958 ГОД...

1

Итак, ушел год тысяча девятьсот пятьдесят седьмой. Нельзя легко и просто сказать: «Прожит еще один год», ибо то был год необычный, не рядовой, а сороковой год новой эры в истории человечества.

— Хорош был 1957 год! Думаю, что 1958 год будет еще лучше! — сказал товарищ Н. С. Хрущев в своей речи на сессии Верховного Совета СССР 21 декабря 1957 года.

Пройдет время — люди отметят и полвека, и три четверти века, и век с того дня, когда в переполненном актовом зале Смольного Ленин возвестил начало этой эры. Сменятся чередой еще многие и многие годы, которые в истории нашей страны и в истории народов будут овеяны вековой славой дел, совершенных человеком, достигнутых подвигом его ума, знания, смелости, бесстрашия, воли, твердости и решимости. Но никогда не изгладится в памяти поколений год сороковой.

...За две недели до Нового года над куполом Большого Кремлевского дворца взвился государственный флаг Союза Советских Социалистических Республик. Это было знаком того, что начала свою работу девятая сессия Верховного Совета СССР. Посланцы советского народа собрались в Москве, чтобы обсудить важнейшие вопросы дальнейшего нашего продвижения вперед — Государственный план развития народного хозяйства СССР на 1958 год и Государственный бюджет страны.

Для каждого, кто в те дни находился в зале заседаний Верховного Совета СССР, обсуждение плана на новый год началось не здесь. План, который с высокой трибуны докладывал депутат И. И. Кузьмин — Председатель Госплана СССР, — это плод всенародного творчества, всенародной инициативы и опыта. Для депутатов Верховного Совета — бригадира-забойщика шахты № 1—2 «Красный Октябрь» в Донбассе Ивана Валигуры, для сталевара Ижевского завода Леонида Тебенкова, инструктора передовых методов труда завода имени Орджоникидзе в Краматорске Якова Шарабана, директора МТС в Брянской области Якова Музыченко, доярки колхоза «Новая жизнь» Холмогорского района Архангельской области Елизаветы Вашуковой, председателя колхоза имени Ленина в Закатальском районе Азербайджана Мины Башир кызы Назировой и других депутатов Верховного Совета СССР планирование 1958 года началось давно — в цехах заводов, на угольных шахтах, в мастерских МТС, в колхозах. И в сведенном воедино плане советские люди видят свое общее, кровное, глубоко волнующее их дело.

Осмысливая достигнутое, человек всегда переносится в прошлое. Память возвращает его к тому, кем он был, чтобы острее ощутил он, кем стал, чтобы понял, чего добился, чтобы увереннее чувствовал себя на

пути к тому, что будет. В минувшем году не было недостатка в воспоминаниях, в сопоставлениях настоящего с прошлым. Было сказано немало правильных слов по поводу того, что сорок лет в жизни человечества — срок небольшой. Эти слова всячески оттеняли значение краткого исторического периода. Пройдя его по дорогам социалистического строительства, народ, прозябавший до Октября во мраке неграмотности, технической отсталости, косности, суеверий, бедности, встретил сорокалетие возникшего в октябре семнадцатого года нового строя запуском межконтинентальной баллистической ракеты и двух искусственных спутников Земли. Настолько велик путь, пройденный нами.

О грандиозности его может сказать и более будничное напоминание. В тысяча девятьсот тринадцатом году, например, царская Россия, страна, у которой уж чего-чего, а камня, мела, гипса не занимать было, отвезла из-за границы почти триста пятьдесят тысяч тонн строительного камня и уплатила за него золотом. Попробуйте рассказать об этом сегодня на собрании колхозных строителей — они воспримут ваше сообщение, как факт невероятный. А между тем так было.

Мы получили в минувшем году свыше 460 миллионов тонн угля, в то время как в 1913 году его добыча составляла 29,1 миллиона, а в 1920 году — всего лишь 8,7 миллиона тонн, причем даже этот уголь тогда не мог быть полностью доставлен к топкам из-за разрухи на транспорте. Производство электроэнергии достигло у нас в 1957 году 210 миллиардов киловатт-часов. Но какую исходную точку взять для сравнения: год 1913, когда ее было произведено 1,9 миллиарда киловатт-часов, или же тот декабрьский день двадцатого года, когда пришлось выключить свет в кабинетах народных комиссаров в Кремле, чтобы осветить на съезде Советов карту грядущей электрификации России?

В 1957 году валовая продукция промышленности возросла у нас против 1913 года в тридцать три раза, в том числе производство средств производства — в семьдесят четыре раза. Такого стремительного роста, особенно тяжелой индустрии, мир еще не знал. Чтобы увеличить объем промышленного производства примерно в тридцать раз, Соединенным Штатам Америки, Германии, Англии потребовалось от восьмидесяти до полутора десятилетия. В пять раз увеличилось у нас сравнительно с наиболее урожайным до революции 1913 годом товарное производство пшеницы, в шесть раз — производство хлопка-сырца, подсолнечника и овощей, без малого втрое — сахарной свеклы и картофеля.

На только что закончившейся девятой сессии Верховного Совета СССР подведены итоги года. Подведены со знаком плюс — мы стали сильнее, богаче.

Плюс Куйбышевская ГЭС, плюс Славянская ГРЭС, Кайрак-Кумская ГЭС.

Плюс новые газопроводы, новые доменные печи на Макеевском, Сталинском и Алчевском заводах, новый крупный проволочный стан на Криворожском металлургическом заводе.

Плюс новые шахты в Кузбассе и Донбассе.

Плюс новые цементные заводы, новые жилые дома.

Плюс новые тысячи и тысячи гектаров целинных и залежных земель, откуда идет хлеб. Площадь этих освоенных земель почти равна посевным площадям Англии, Франции, Федеративной Республики Германии и Швеции, вместе взятым... Увеличилось поголовье скота в колхозах и совхозах. Больше мяса и молока стало в стране.

Депутаты Верховного Совета слушали доклад и отмечали в своих блокнотах не только цифры увеличения выплавки чугуна и роста советской химии, но и то, что в новом, 1958 году в важнейших отраслях про-

мышленности будет продолжаться перевод рабочих и служащих на сокращенный рабочий день, что в наступившем году, в соответствии с ростом покупательного фонда, увеличится на 45 миллиардов против прошедшего года розничный товарооборот и достигнет суммы в 660 миллиардов рублей. Возрастет продажа молока и молочных продуктов, сахара, муки, рыбы, яиц, консервов, овощей, фруктов, шерстяных, шелковых, льняных тканей, обуви.

Примечательно, что Верховный Совет СССР, который семь месяцев назад принял Закон о реорганизации управления промышленностью и строительством, имеет возможность уже на исходе того же 1957 года в многочисленных цифрах и фактах нашего роста, развития творческой инициативы народа увидеть благодатные итоги проведения в жизнь этого Закона. Возросла инициатива мест, поднялась роль и ответственность местных органов в хозяйственном строительстве, открылись огромные возможности еще более быстрого развития производительных сил страны. И многие из тех, кто в двадцатых числах декабря заседал в Большом Кремлевском дворце, с радостью отмечали:

— Это мы...

— Это о нас идет речь...

2

Депутат Верховного Совета СССР Федор Дубковецкий, известный всей стране колхозный вожак, председатель одного из мощных наших колхозов, рассказывал, вспоминая о первых годах революции: «Не помню хорошо — то ли в газете «Радянське село», то ли в настольном календаре была напечатана карта Украины, а на ней кружочками были обозначены сельскохозяйственные артели. Тут, там — одна-две в округе. Над картой была надпись: «Маяки социализма».

Да, маяки!.. Зажженные человеком в октябре семнадцатого года, они открывали путь — по всем направлениям — в перестройке жизни, в создании передовой индустрии, культуры, в переделке быта.

В Москве, как известно, расположены рядом две всесоюзные выставки — Сельскохозяйственная и Промышленная. В минувшем году первая, как и раньше, широко продемонстрировала достижения в области сельского хозяйства, а вторая показала 539 образцов сельскохозяйственных машин 346 наименований. Не будь у нас всего того, что мы видели на Промышленной выставке, не было бы и того, что смогла показать выставка Сельскохозяйственная. Проходя по павильонам и проспектам той и другой, нельзя было не вспомнить, что в году тысяча девятьсот тринадцатом, который мы обычно берем для сравнения, на сельскохозяйственную выставку в Киеве привезли американский трактор. Это был тогда единственный трактор в России, и его никто не купил. Можно ли графически — в диаграмме или в таблице — изобразить этот факт в сравнении с тем, что у нас работает ныне на полях свыше полутора миллионов тракторов, и все они изготовлены нами самими, на наших заводах, из отечественного металла?

«Успехи советского народа развеяли, как дым, легенды наших врагов о том, что большевистская революция несет с собой разрушение, чуть ли не гибель цивилизации, — говорил на юбилейной сессии Верховного Совета СССР 6 ноября 1957 года товарищ Н. С. Хрущев. — Сорокалетний опыт нашего государства убедительно показал, что народ, взявший власть в свои руки, является самым рачительным хозяином, неутомимым создателем все новых и новых материальных и духовных ценностей. Этот опыт показал, что только при социализме начинается быстрое, действительно массовое, при участии всего населения, движение вперед во всех

областях общественной и личной жизни, неуклонный прогресс в развитии материального производства, невиданный расцвет науки и культуры».

Наше движение вперед, неуклонный прогресс индустрии, сельского хозяйства, невиданный расцвет науки и культуры непреложно доказаны всеми прожитыми годами.

Сколько изощрялись за прошедшие сорок лет идеологи буржуазного мира в доказательствах того, что социализм «подавляет личность», что марксизм, дескать, рассматривает человека только в «материальном плане», что законом социализма является лишь «индустриализация ради индустриализации»! А коль так, — будут ли человека при социализме волновать результаты деятельности коллектива?.. Кажется, одно только событие прошедшего года достаточно вразумительно ответило буржуазным философам. Это — происходившее у нас в прошлом году всенародное обсуждение путей дальнейшего усовершенствования организации управления промышленностью и строительством. Когда жизнь поставила вопрос о перестройке руководства индустрией и строительством, Коммунистическая партия вынесла его на обсуждение миллионов, чтобы посоветоваться с народом, и советский народ показал себя перед всем человечеством подлинным хозяином и вдумчивым экономистом.

Разве могло бы решиться какое-либо буржуазное государство на подобное широчайшее обсуждение вопросов хозяйственной деятельности страны?! Нашлись бы у апологетов «народного капитализма» миллионы желающих участвовать в этом обсуждении своими советами, дельными предложениями, высказываниями?! Один французский социолог недавно жаловался: «Главный порок современного труда — это отсутствие интереса». Согласимся с ним. «Отсутствие интереса» отличает труд в обществе, где человек под угрозой голода вынужден работать на эксплуататоров. Но кто, если не заведомый лжец, станет доказывать отсутствие интереса к труду в стране, где обсуждение вопросов перестройки управления индустрией могло вызвать появление на трибунах собраний двух миллионов трехсот тысяч человек?!

В талантливом произведении Мариэтты Шагинян, отображающем пору первых пятилеток, — в «Гидроцентрали» — показано производственное совещание на Мизингэсе — так называлась описанная в книге стройка. Речь главного инженера на этом совещании заслуживает того, чтобы вспомнить о ней сегодня. Произнесенная лет тридцать назад, она и сегодня помогает уяснить многое.

«— Каждый из нас, товарищи, — говорил инженер из «Гидроцентрали», — даже последний чернорабочий, должен быть немножко экономистом, потому что мы хозяева нашей страны и наших построек. Дети и те у нас учатся быть экономистами: каждый ребенок в школе учится не на каких-нибудь несуществующих предметах, а на живых вещах нашего хозяйства...»

Вдумайтесь в эти слова. Да, так и есть. У нас каждый работник экономически мыслит, ибо мы — хозяева страны. И это чувство, глубоко вошедшее в нашу жизнь, — один из главнейших итогов прожитого столетия.

А злобствующие враги твердят: «Индустриализация ради индустриализации». Нет, индустриализация для блага и счастья народа, отвечает человек, ставящий перед собой высокие цели. Он понимает, что экономика — основа дальнейшего процветания государства и благополучия каждой личности. Человек труда, он мыслит экономически, хозяйствует разумно, бережливо, творит, выдумывает, пробует. Есть ли интерес к труду в стране, где за один год люди могут предложить почти два с половиной миллиона изобретений, усовершенствований и всяких рационализаторских мероприятий, тогда как за столетие с лишним — с 1814 по 1917 год — в России было запатентовано всего лишь 36 078 изобретений, из них почти

тридцать тысяч — предложенных иностранцами?! Где, стало быть, не заинтересован труженик в расцвете экономики страны — у нас или в мире капитализма?! Горький писал когда-то: «...рабоче-крестьянская масса выдвинула из среды своей тысячи изобретателей и непрерывно выдвигает их... У рабочего, который чувствует себя хозяином производства, естественно, развивается сознание его ответственности перед страной: это сознание заставляет его стремиться к улучшению качества продукции, к снижению ее стоимости».

Помните, что еще говорил инженер из «Гидроцентрали»?

«— Каждая социалистическая стройка в Союзе дает работу людям, учит, перевоспитывает, создает новых людей, поднимает сознание рабочего класса... Каждая разумная стройка поднимает удельный вес нашей экономики и нашей мощи, приближает нас к победе социализма».

Новый человек, обученный, воспитанный нашим, социалистическим строительством, человек, сознание которого неизмеримо поднялось за сорок лет Советской власти, в минувшем году еще раз предстал перед миром, как рачительный хозяин.

Стоило побывать на собраниях, посвященных обсуждению Обращения Верховного Совета СССР к народам Советского Союза, принятого юбилейной сессией 6 ноября 1957 года, чтобы еще и еще раз убедиться, насколько живо воспринимают советские люди каждую названную партией, правительством цифру. Она звучит для них не отвлеченно, она оarbчена в живую плоть. Скажем, поставлена задача за пятнадцать лет довести ежегодную добычу железной руды до двухсот пятидесяти — трехсот миллионов тонн. И сразу же в Криворожье и Горной Шории, в Магнитогорске и других местах люди начинают проверять свои ресурсы, возможности, прикидывать, что они могут и должны дать в счет этого задания. Идет параллельно подсчет и на заводах, которые изготовляют оборудование для рудников, и в институтах, проектирующих новые машины и механизмы, и в вузах и техникумах, готовящих кадры специалистов, и в издательствах, выпускающих учебники, и в проектных организациях, призванных обеспечить жилищное строительство в новых металлургических районах. Такая же картина у угольщиков и у всех людей и организаций, связанных с этой отраслью промышленности. Довести добычу угля до шестисот пятидесяти — семисот пятидесяти миллионов тонн в год нелегко. Одним угольщикам с этим не справиться. Нужны люди и металл, строительные материалы и машины, нужны новые города и новые школы. И так во всех отраслях нашего народного хозяйства, где открытая, смелая, ленинская постановка задач, четкая, конкретная формулировка целей поднимают людей на большие дела, которые предстоит свершить и в на-чавшемся году и в последующие годы.

Мы поставили перед собой задачу увеличить примерно за полтора десятилетия ежегодную добычу нефти до трехсот пятидесяти — четырехсот миллионов тонн. Могли бы мы назвать такую цифру, если бы в только что закончившемся 1957 году не было у нас добыто 98 миллионов тонн? Если бы у нас не были открыты, разведаны на больших пространствах между Волгой и Уралом крупнейшие запасы нефти, которые широко используются для нужд народного хозяйства? Если бы у нас не возникли новые районы добычи, которые уже в 1956 году дали в 6,4 раза больше нефти, чем добывалась ее в 1913 году во всей царской России?.. Если бы, например, Татарская автономная республика не добывала нефти в два с лишним раза больше, чем добывала ее вся царская Россия? Если бы за эти годы не помолодела, не расцвела наша первая нефтяная база в Азербайджане?

Давно ли происходил описанный Юрием Крымовым в повести «Инженер» разговор между старым специалистом Енисейцевым, который «носил

зеленую фуражку с металлическими молоточками», и молодым инженером — только что покинувшей институтскую аудиторию Аней Мельниковой!

«— Слово «инженер» происходит от французского «ingénieur», что означает «искусный» или «изобретательный». С момента изобретения паровой машины воспитывалась эта каста, и она создала промышленность, средства сообщения и связи...»

Весь смысл тирады Енисейцева, произнесенной в 1931 году, сводился к тому, что молодому инженеру-нефтянику Ане Мельниковой и ее товарищам никогда не стать искусными и изобретательными, ибо это прерогатива енисейцевых. А прошли лишь немногие годы — и молодые советские инженеры-нефтяники, русские и азербайджанцы, татары и башкиры, показали себя настолько искусными и изобретательными, что американцы приезжают и хлопочут о том, как бы наладить у себя работу советского турбобура. Турбобур вызывает сенсацию на выставках в США. Это тоже один из итогов прожитого нами сорокалетия. Нефтяная вышка с турбобуром, который заслужил мировую славу, будет установлена в этом году на Всемирной выставке в Брюсселе, как символ победы технической мысли народа — хозяина свсей судьбы, своей земли, своих недр, народа, глубоко заинтересованного в своей экономике.

Недавно одному иностранному туристу, приехавшему в Татарию, после экскурсии сказали:

— Все, что вы видели, создано руками наших трудящихся. Специалистами являются бывшие рабочие или дети рабочих и крестьян, которые учились в советских вузах.

— Есть ли среди них представители местной национальности? — любопытствовал гость.

— Примерно половина инженерно-технических работников нашего предприятия — татары. Кстати, вот и я — выходец из татарской крестьянской семьи, — ответил, улыбаясь, руководитель экскурсии.

Это был главный инженер предприятия... Такого поворота в судьбах простых людей, взявших власть в свои руки, не предвидели ни американцы, ни енисейцевы, надеявшиеся с годами разбить «чернь» в ее борьбе за овладение техникой.

3

Созидательные силы, разбуженные социалистическим строем, позволили нам в кратчайший срок покончить с вековой отсталостью и поставить новые задачи, зажечь новые маяки на пути. Могли бы мы, скажем, в тридцать первом году задаться целью — получать ежегодно по триста пятьдесят — четыреста миллионов тонн нефти? Не могли. Для этого не было еще базы, основы. А сейчас имеются все основания, имеется все, чтобы поставить эту большую задачу, и потому она сейчас поставлена, именно сейчас... Плановая цифра у нас сама по себе уже становится достижением. И так не только в отношении нефти, но и в отношении хлопка и стали, чугуна и шерсти, электроэнергии и шелка, мебели и консервов, молока и мяса — в любой отрасли. «Живые вещи» нашего хозяйства, они встают перед нами не только как огромный и внушительный итог всего сделанного советским народом, но и как реальная перспектива наступающего дня, наступившего года, предстоящих новых десятилетий нашей жизни и труда.

Построение социализма в СССР — главный итог Октябрьской революции. Этот итог был достигнут в результате тяжелой и жестокой борьбы. Нелегко было прийти к нему. Предельно сжато и коротко сумел в свое время Барбюс показать размах и ширь всего того, что должен был

сделать народ после того, как ему, «захватив власть, пришлось пускать ее в ход, — и притом немедленно, без малейшей передышки».

«Что надо было делать? — спрашивал он и отвечал: — Всё. Жить день за днем, класть камень за камнем. И притом — всё сразу. Одновременно и организовать революцию, и отражать контрреволюционные лавины на всех границах, со всех сторон света, и переделывать бывшую Российскую империю, невежественную земледельческую страну (80 процентов крестьян, 70 процентов неграмотных), разоренную, измученную, окровавленную бывшую империю — в великое государство с социалистическим строем (единственным в своем роде, отличным от всех) и передовой экономикой (не менее и даже более мощной, чем в других странах)».

И это «всё» было сделано! Сделано в огромной, необъятной стране, где наши современники видели еще Лермонтовым описанные «дрожащие огни печальных деревень». Страна прошла путь от лучины до создания первой электростанции, где исполинская сила атома превращается в энергию, служащую делу мира. Страна, где вершиной техники был плуг, создала искусственные спутники Земли, атомный ледокол, реактивные самолеты, межконтинентальные баллистические ракеты. Превращения, которые чудом показались бы даже признанным мастерам фантазии, осуществлены на советской земле. Но нам еще недостаточно всего этого.

Юбилейная сессия Верховного Совета СССР развернула перед нами огромное яркое полотно, красочную картину ближайшего будущего, величественный и заманчивый облик страны через пятнадцать лет. Мы находимся сейчас в экономическом соревновании с наиболее крупными капиталистическими государствами, и к победе в этом соревновании будет направлен каждый наш шаг и в наступившем, 1958 году.

Нет возможности, конечно, поведать обо всем том новом, что сделают в течение этого года люди социалистической индустрии. На чем остановиться? На новом харьковском гусеничном тракторе с дизельным сорока-сильным двигателем, новом грузовом тепловозе «ТЭ-10» мощностью в три тысячи лошадиных сил, новом турбогенераторе в двести тысяч киловатт с оригинальной системой внутреннего охлаждения — агрегате, который при всей своей мощности будет весить на шестьдесят три тонны меньше, чем турбогенератор в сто пятьдесят тысяч киловатт? Или на новом экскаваторе Уралмашзавода с ковшом в двадцать пять кубических метров и стометровой стрелой, который способен будет за месяц переместить около шестисот тысяч кубометров грунта? На новом владимирском тракторе «Т-28», который по своим экономическим и техническим качествам будет превосходить нынешний «ДТ-24»?

Можно назвать и десятки других творений советской техники, какие в наступившем году войдут в арсенал нашей индустрии. Полностью автоматизированный завод, который будет выдавать бетон любого состава без вмешательства человека — по перфорированным картам. Новые станки, экскаваторы, тракторы для строительных работ с двигателями в двести пятьдесят лошадиных сил. Тракторы, оснащенные навесным и прицепным оборудованием бульдозеров, скреперов, корчевателей, благодаря которым сможет значительно подняться в новом году производительность труда на строительных площадках.

1958 год — это год дальнейшего развития нашего народного хозяйства, роста производительности труда, подъема материального благосостояния и культурного уровня народа.

* Семь доменных печей будут построены и введены в действие. Кроме того, будут созданы необходимые заделы для того, чтобы и в следующем, 1959 году иметь возможность ввести в строй еще семь доменных печей. Это почти такие же мощности, какие были введены в действие за две пятилетки — первую и вторую, вместе взятые.

* Намечено получить свыше 39 миллионов тонн чугуна—это на 2 миллиона тонн больше, чем в прошедшем году, 53,6 миллиона тонн стали — это на 2,5 миллиона тонн больше, чем в истекшем году, 41,7 миллиона тонн проката — это почти на 2 миллиона тонн больше, чем в 1957 году.

* Будут введены в действие новые мощности по добыче железной руды в количестве 10 миллионов тонн и, кроме того, создан такой задел, который позволил бы ввести в будущем году железорудные шахты, разрезы и горнообогатительные комбинаты общей мощностью 24,7 миллиона тонн. Таким образом, за два года — нынешний и 1959-й — прирост мощностей по добыче железной руды составит почти 35 миллионов тонн. Это в два раза превышает добычу руды Швеции и Англии, вместе взятых, в 1955 году.

* И в угольной промышленности будет продолжаться наращивание мощностей. В 1958 году мы введем в действие угольные шахты и разрезы мощностью свыше 37 миллионов тонн.

* Значительно ускорится развитие химической промышленности. Это диктуется ролью химии в техническом прогрессе всех отраслей народного хозяйства. Известно, например, что применение пластических масс в машиностроении сокращает затраты труда, снижает вес изделий, дает большую экономию цветных металлов; использование синтетических смол в литейном производстве уменьшает расход металла; применение капронового корда вместо вискозного сокращает расход каучука при изготовлении шин и удлиняет срок службы шин. Многие химические материалы и изделия стали незаменимыми в различных производствах, в частности в реактивной технике, радиолокации. Развитие производства искусственных химических материалов наряду с увеличением производства сельскохозяйственного сырья для легкой промышленности позволит в ближайшие годы обеспечить в достатке потребность нашего населения в одежде и обуви.

* Иркутская гидроэлектростанция будет введена на полную мощность, закончится сооружение линии электропередачи от Куйбышевской ГЭС на Урал. Более пяти миллионов киловатт новых мощностей электрических станций получит страна. 231 миллиард киловатт-часов электроэнергии будет выработано в этом году.

Отвлечемся на минуту от общих показателей и перейдем к отдельным экономическим районам, к отдельным объектам.

Всего, конечно, не расскажешь, и достаточно, пожалуй, упомянуть только, что на предприятиях одного лишь Московского (городского) экономического района намечено освоить и выпустить в 1958 году сотни видов новой продукции, Харьковского — 160 новых машин, механизмов и станков, Ростовского — 112 новых видов изделий, что на предприятиях Краснодарского экономического района будет применено 147 типов новых машин и механизмов, будет создано 56 новых автоматических линий, установлено 14 специальных металлообрабатывающих автоматов.

В Сталинском, Ворошиловградском и Днепропетровском экономических районах в 1958 году войдут в строй 55 угольных шахт общей мощностью тринадцать с половиной миллионов тонн в год, 5 доменных печей, 6 коксовых батарей, рудники мощностью семь с половиной миллионов тонн железной руды. И так во всех экономических районах. Новый год будет ознаменован новыми достижениями смелой советской технической мысли.

Мы говорим, например, о новых домнах. Одна из них — Челябинская. Таких у нас еще не было. Это механизированная печь объемом в 1 719 кубометров, самая мощная в стране. Одна лишь такая домна будет выплавлять больше чугуна, чем до революции выплавляли все уральские доменные печи, вместе взятые. Но 1 719 кубометров не предел: мы не раскроем, очевидно, секрета Гилромеза, если скажем попутно, что

проектировщики уже заняты разработкой проекта доменной печи в 2 286 кубометров. Так шагает вперед наша металлургия!

* Увеличится в 1958 году валовая продукция сельского хозяйства. Более чем на пять миллионов гектаров возрастут посевные площади под зерновыми культурами, повысятся сборы зерновых, заготовки хлопка-сырца, сахарной свеклы. Высокими темпами будет развиваться в нынешнем году животноводство — доля его продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства достигнет 41 процента против 37 процентов в 1956 году. Производство мяса в стране должно увеличиться по сравнению с 1957 годом на 14 процентов, производство молока — почти на 12 процентов, шерсти — на 12 процентов, яиц — на 12,7 процента. Рост производства сельскохозяйственных продуктов повлечет увеличение мощностей легкой и пищевой промышленности. Одиннадцать мясных комбинатов, сорок пять молочных и маслодельных заводов, восемьдесят один холодильник при мясоперерабатывающих и молочных заводах войдут в строй в 1958 году. На одной лишь Украине начнут работать крупный мясокомбинат в Сталино (Донбасс), холодильник и новые колбасные предприятия в Славянске, появятся 22 новые поточные линии на птицекомбинатах, новые автоматические линии — на мясокомбинатах в Виннице и Николаеве.

* Будет осуществлена в новом году огромная программа жилищного строительства. Войдет в строй 61 миллион квадратных метров жилой площади. Представляете ли вы себе, что это такое? Это значит — построить почти две Москвы, причем застроить их сплошь новыми домами. В самой столице будет сооружено столько жилья, что у строителей найдутся все основания сказать: мы воздвигли еще один такой город, как Воронеж!

План 1958 года предусматривает ассигнования на жилищное строительство в сумме 36,8 миллиарда рублей. Это около одной трети всего объема капитальных вложений, выделенных на строительномонтажные работы по всему народному хозяйству СССР на этот год.

Не так давно французская газета «Монд» подсчитала, что в СССР число строящихся квартир на тысячу человек населения равно 8,2, в то время как в Швейцарии и Швеции — 7,9, Англии и Австрии — 6, Франции — 5,5. Но эти данные уже относятся к прошлому. А как изменится соотношение в наступившем году, когда строительство жилищ в нашей стране принимает невиданные дотоле размеры! Ведь по сравнению с 1957 годом ввод в эксплуатацию жилых домов в городах и рабочих поселках в нынешнем году возрастет на 27 процентов.

Нельзя было бы поставить перед собой такие огромные планы улучшения условий жизни человека, если бы у нас не была создана могучая индустрия и не были бы подготовлены великолепные кадры строителей, способные решать любые задачи.

Так будущее связывается со всем достигнутым. И обо всем завоеванном и прочно вошедшем в нашу жизнь советские люди дали отчет себе и всему миру, вступая в пятое десятилетие существования своего государства.

Именно отчетом себе и миру хочется назвать книгу, которая лежит передо мной.

Я вспоминаю брошюру, вышедшую в 1934 году в Ленинграде. Она имела длинное название, трогательное и преисполненное глубокого смысла: «Отчет рабочих и инженерно-технического персонала завода «Красный путиловец» рабочим, колхозникам и всем трудящимся СССР, рабочему классу и трудящимся всех стран». В ней рассказывалось

о том, что сделали краснопутиловцы у себя на заводе за годы Советской власти, как рос завод и как изменились его люди.

Рассматриваю книгу «Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах», изданную Центральным статистическим управлением, и не могу отделиться от мысли о том, что это не только цифры и диаграммы — это рассказ рабочих, колхозников, интеллигенции, всего советского народа о пройденном пути, о трудностях и победах, о превращениях, которые казались невозможными, об изменениях, которые представлялись немыслимыми.

Я читаю этот отчет народа, как книгу, которой можно было бы дать название «Время, вперед!» Слова Маяковского и роман Катаева об усилиях людей, о пятилетке, о народе, рвавшем пути отсталости, соединяются в представлении современника в нечто слитное с этой книгой. В романе Катаева прекрасно сказано: «Имена людей стояли рядом с цифрами, давая им душу и смысл». В книге, которая передо мной, нет имен людей, но люди присутствуют в каждой цифре, в каждой таблице, в каждой диаграмме, давая им душу и смысл. Может быть, для кого-нибудь это только статистический сборник, но для нас с вами это книга о живых людях, об их усилиях, их творчестве. И, останавливаясь на каждой странице, наш современник, если хотите, может назвать фамилии многих и многих из тех, кто явился творцом этих цифр, — геологов и слесарей, академиков и угольщиков, доярок и горновых, профессоров и комбайнеров, сталеваров и ткачих, Героев Социалистического Труда и рядовых тружеников, первых орденосцев и тех, кто в свое время в дрожащих от волнения руках проносил через аплодирующий зал, от президиума к своему месту, грамоту Магнитостроя.

Двадцать семь лет назад, в январе 1931 года, Горький в издававшемся тогда журнале «За рубежом» цитировал слова сотрудника немецкой католической газеты, который нашел мужество написать о гигантской работе в Советской стране следующее: «Это — концентрированная энергия, сокрушающая старый и создающая новый мир... В этой молодой, ненасытной энергии — решающее. Россия все более становится независимой от остального мира. Это стоит ей больших жертв, но эти жертвы приносятся. Пятилетка представляет собою всю мировую политику ближайших десятилетий».

Призывая написать историю, которая нужна нашей молодежи и необходима миллионам рабочих всех стран, создать книгу, которая должна быть яркой летописью героизма и вдохновлять на героизм, Горький в первом январском номере журнала «Борьба классов» в том же году писал: «Это будет книга нашей правды, которая явилась в старый мир, чтобы преобразить его и воскресить к новой жизни». Хочется и сборник ЦСУ — собрание не сухих, а живых цифр о проделанном за сорок лет — назвать: «Книга нашей правды».

Широк и многогранен этот отчет народа, страны. В каждой строке, в каждой таблице, во всех сравнениях с большой полнотой раскрываются преимущества социалистической системы хозяйства. Вот, например, данные о национальном доходе. У нас он был в 1956 году больше, чем в 1913 году, примерно в 17, а на душу населения — в 13 раз. Таких темпов роста не знает ни одна капиталистическая страна: в США, например, национальный доход на душу населения за то же время возрос менее чем вдвое, а в Англии и Франции лишь немногим более чем в 1,6 раза.

За 1957 год национальный доход в Советской стране, по предварительным расчетам, увеличился на шесть процентов по сравнению с предыдущим годом, и в соответствии с ростом национального дохода повысились реальные доходы рабочих и служащих... Наступил новый, 1958 год — на сессии Верховного Совета СССР депутаты узнали, что

планируется дальнейший рост национального дохода в СССР: он возрастет в новом году примерно на восемь процентов по сравнению с предыдущим.

Из прожитых сорока лет почти половина, как известно, пришлось на навязанные Советскому Союзу войны, на следовавшее за ними восстановление разрушенного хозяйства. И несмотря на это, промышленная продукция страны по сравнению с 1913 годом выросла в 33, а по сравнению с 1917 годом — в 46 раз. Гигантские разрушения причинили немецко-фашистские захватчики нашей Родине. В 679 миллиардов рублей оценивается ущерб, нанесенный народному хозяйству СССР и отдельным гражданам прямым уничтожением и разграблением имущества. А к этому надо еще добавить и расходы Советского государства на войну и временную потерю доходов от промышленности и сельского хозяйства в районах, подвергавшихся оккупации. Общий ущерб, принесенный нашему народу в годы второй мировой войны, составил астрономическую цифру в 2 триллиона 569 миллиардов рублей. О ней напомнил на юбилейной сессии Верховного Совета СССР товарищ Н. С. Хрущев. «Если бы эти колоссальные средства были обращены на мирное строительство,— сказал он,— на сооружение заводов и фабрик, железных дорог, электрических станций, жилых домов, на увеличение производства товаров народного потребления,— у нас давно уже было бы изобилие материальных благ».

Невзирая на все потери, которые страна понесла, на то, что мы вынуждены были вести гигантских масштабов восстановительные работы, СССР по уровню промышленного производства вышел на второе место в мире и на первое в Европе. Вот, например, строка той таблицы, которая иллюстрирует производство электроэнергии: на восьмом месте в мире и на шестом в Европе стояла царская Россия в 1913 году, ныне же место СССР в производстве электроэнергии — в Европе первое, в мире второе. Шестое место в мире и пятое в Европе занимала наша страна по добыче угля в царское время, а сейчас за ней прочно закреплено первое место в Европе и второе в мире. Под первым номером в Европе и вторым в мире числится ныне Советский Союз по производству чугуна, стали, цемента, машин, тракторов, грузовых автомобилей, сахара, по добыче железной руды. А каким большим и трудным был путь к этому месту в таблицах мировых показателей!

Примерно в девять раз — и при сокращении продолжительности рабочего дня! — возросла в 1956 году среднегодовая производительность труда рабочих промышленности. По темпам роста производительности труда СССР занимает первое место в мире; внедрение новой техники, освоение передового опыта, рост культуры, повышение квалификации людей создают в нашей стране все условия для систематического и быстрого повышения производительности. И СССР уже превысил производительность труда Англии и Франции. Могучая индустриальная держава идет дальше, к новым высотам.

О нашем движении вперед может дать представление даже отдельная цифра, выражающая один процент прироста продукции... Всего один процент. Знаете ли вы, что в энергетике, например, процент этот в первой пятилетке составлял 50 миллионов киловатт-часов, а в первый год шестой пятилетки уже достиг 1 миллиарда 702 миллионов? В угольной промышленности — 355 тысяч и 3 миллиона 913 тысяч тонн. В нефтяной — 116 тысяч и 708 тысяч тонн. В металлургии: по чугуну — 33 тысячи и 333 тысячи тонн, по стали — 43 тысячи и 453 тысячи тонн.

Интересны и показательны данные, рассказывающие о том, как с 1913 по 1956 год выросло в нашей стране производство продукции на душу населения: электроэнергии — в 68 раз, стали — в 8, угля — в 10, мине-

ральных удобрений — в 110, цемента — в 11, консервов — в 26 раз. На душу населения продукция всей промышленности увеличилась в 21 раз.

«Единственной материальной основой социализма может быть крупная машинная промышленность...» Эти слова Ленина иллюстрируются цифрами, показывающими создание мощного отечественного машиностроения, обеспечившего реконструкцию и развитие всех отраслей народного хозяйства. Если продукцию машиностроения и металлообработки в 1913 году принять за единицу, то в 1956 году она выразится трехзначной цифрой: «184», а в прошедшем, 1957 году превысила две сотни. В 1931 году — лишь на четырнадцатом году революции — в СССР была изготовлена первая паровая турбина мощностью в 50 тысяч киловатт, а за 1950—1956 годы были выпущены уже 44 паровые турбины по 100 тысяч киловатт и три мощностью по 150 тысяч киловатт каждая. В дальнейшем мы дали и крупнейшую в мире гидравлическую турбину с диаметром рабочего колеса, равным высоте трехэтажного дома. Двадцать таких турбин изготовлены для Куйбышевской гидроэлектростанции, пущенной на полную мощность в дни сорокалетия Октября и превосходящей самую крупную электростанцию капиталистического мира — Гренд-Кули в США.

Отложим на время книгу, которую мы назвали отчетом, и попробуем представить себе в нескольких штрихах и деталях нашу новую гидроэлектростанцию на Волге. В «средний по водности» год — таков технический термин — она будет вырабатывать 10,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии — в пять с лишним раз больше, чем вырабатывалось всеми электростанциями царской России. Создание Куйбышевской станции позволяет высвободить восемь миллионов тонн каменного угля в год, для перевозки которого потребовалось бы шестьсот тысяч железнодорожных вагонов. Лишь два года назад, в канун 1956 года, был введен в строй первый агрегат этой станции. С тех пор она уже дала свыше девяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сэкономив более четырех миллионов тонн топлива. Из Жигулей идет сейчас ток в Москву, протянулись провода и на Урал, и в Татарию — целые отрасли промышленности, новые предприятия уже обязаны своим возникновением рождению Куйбышевской ГЭС. Благодаря ей электрифицируются железные дороги Москва — Куйбышев и Челябинск — Иркутск. Уже пошли электропоезда по линии Кинель — Сызрань, а в ближайшие два года они пойдут от Куйбышева до Москвы... Ток из Куйбышева получает и строительство следующей ступени волжского каскада — Саратовской ГЭС. И при всех этих, казалось бы, благоприятных показателях работники Куйбышевской ГЭС не позволяют себе успокоиться на достигнутом, они решили еще выше поднять мощность каждого гидроагрегата — со 105 тысяч до 120—125 тысяч киловатт. Отдельные агрегаты уже опробованы на повышенной мощности.

Огромен путь, пройденный нами от Волхова до Куйбышева. Что же, поставить точку? Нет, не таковы советские люди... Впереди огни электростанции на Ангаре, которая по мощности равна пятидесяти пяти волховским гидроэлектростанциям. Таковы шаги индустрии. За один 1956 год мы ввели в действие мощности, равные девяти Днепрогэсам. Эта когда-то самая крупная наша электростанция стала мерилom советского экономического роста.

Таблицы, показывающие рост выпуска отдельных видов продукции... Донбасс дает ныне топлива в 6 раз, Кузбасс — в 85 раз больше, чем до революции. Заново создана третья угольная база — Караганда, где в прошедшем году вместе с Экибастузским месторождением было получено угля больше, чем добывалось во всей царской России.

Я написал слово «Караганда» и могу поделиться с читателем интересными сведениями из этого угольного бассейна. Недавно Центрально-Казахстанское геологическое управление подвело итоги изу-

чения недр современного Карагандинского экономического района. Оказалось, что общие запасы каменного угля достигают здесь 67 миллиардов тонн. Около восемнадцати процентов этого количества — коксующийся уголь, по качеству не уступающий лучшим углям Донбасса и Кузбасса; 13 миллиардов высококачественного энергетического бурого угля сосредоточено в Майкубенском месторождении. И все это открыто ныне в бассейне, который в прошлом столетии, при тупом, мертвящем, по выражению Герцена, царском правительстве, был продан казахскими баями русским купцам за... 250 рублей, а теми переуступлен с «двухсотпроцентной прибылью» — за 776 рублей — сыну французского президента Карно.

Поистине только наше поколение открыло богатства страны, в недрах которой все элементы системы Менделеева присутствовали, но оставались, увы, неизвестными. По указанию В. И. Ленина начаты были геолого-разведочные работы в районе Курской магнитной аномалии. А теперь известно уже всему миру, как велики здесь железорудные богатства, освоение которых явится в ближайшие годы одним из важнейших дел нашего народа. Курская магнитная аномалия способна обеспечить высококачественной рудой мощную металлургическую промышленность на многие десятилетия.

Перспективный план развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы, проект которого должен быть готов к 1 июля, опирается на сделанные советскими геологами открытия новых крупных месторождений сырья и источников энергии. Разведанные ресурсы железных руд и угля дореволюционной России составляли менее четырех процентов мировых запасов этих ископаемых, а к началу 1956 года они превышали в нашей стране две пятых этих запасов. В цветной металлургии царская Россия отставала решительно от всех стран. Теперь СССР по разведанным запасам меди, свинца, цинка, никеля занимает первое место в мире. И каждый день, каждый месяц, каждый год приносит нам сообщения о новых и новых богатствах страны. Взять хотя бы изумившее весь мир открытие алмазных месторождений в Якутской АССР, где уже создана богатейшая база отечественной алмазодобывающей промышленности. Или открытие недр Тургая, который прежде считался бесперспективным. Сейчас в Кустанайской степи выявлены громадные запасы магнетитовых руд, угля, бокситов, огнеупорных материалов, асбеста. В Тургайском прогибе найдены железорудные месторождения, в несколько раз превышающие запасы Урала. Название Соколовско-Сарбайского месторождения уже знакомо всем, уже вошло в нашу жизнь. В Казахстане степи обнаружены запасы ценнейших фосфористых руд. Разведыванием недр занята огромная армия геологов — их было в дореволюционной России около полутора ста человек, а сейчас их почти шестьдесят тысяч! — армия, вооруженная самым совершенным оборудованием, мощными техническими средствами, всеми достижениями геофизики и геохимии.

Я вспоминаю одну из своих поездок в Чиатуру лет десять назад... Моем спутником в ее нагорьях был инженер — племянник знаменитого грузинского поэта и политического деятеля прошлого века Акакия Церетели. Со слов своего отца — брата поэта — рассказал мне инженер, что местные крестьяне, навещая Акакия Церетели, жившего в Схвители, в нескольких километрах от Чиатуры, приносили ему часто «черный камень», на который они непрестанно натывались, роя землю, и спрашивали: «Что это?» Поэт заинтересовался этим камнем. Он оказался марганцем. Отправляясь в Петербург, Акакий Церетели укладывал в чемоданы не только тетради с вариантами «Сулико», «Нателы», «Моей головушки», но и куски камня, гнездившиеся в здешних недрах. О марганце писал он в газетах и журналах. Привозил из Петербурга на Кавказ геологов, отправлял в столицу пробы руды.

Теперь богатства, находящиеся глубоко в недрах, может у нас обнаружить не только человек, который роется в земле, но и тот, кто... парит в небесах, как это было с пилотом почтового самолета Сургутановым. Во время полета магнитная стрелка на его самолете обнаружила месторождения казахстанских руд. Мы ушли в своем познании недр страны далеко: это путь от времен неграмотного человека, в изумлении разглядывавшего «черный камень», до времен признания Чиатуры кладовой марганца, перед которой отступают запасы Южно-Африканского Союза, Ганы, Конго, Мексики, Японии, США, вместе взятые. Это путь от лопаты при разведке недр до самолета.

На юбилейной сессии Верховного Совета СССР товарищ Н. С. Хрущев особо остановился на вопросах эффективного использования имеющихся у нас природных богатств. Он говорил о недрах, которые открыты, изучены и продолжают исследоваться в самых различных районах Советского Союза. «Если посмотреть на это с точки зрения будущего нашей страны, то в перспективе ярко вырисовывается ее величественный новый облик, когда производительные силы получают наиболее рациональное размещение и экономика всех районов будет бурно расти. Это явится важным условием гармоничного развития советского общества по пути к коммунизму».

Для промышленности СССР характерны не только высокие темпы роста, но и непрерывно восходящее движение без каких бы то ни было кризисов и экономических спадов. И эта картина была наглядно продемонстрирована на девятой сессии Верховного Совета, обсуждавшей доклад о Государственном плане развития народного хозяйства СССР на 1958 год.

Приблизительно в это же время, когда происходила сессия Верховного Совета СССР, — в декабре 1957 года — воротили Уолл-стрита подвели на съезде Национальной ассоциации промышленников США итоги экономического положения США в 1957 году и намечали перспективы 1958 года. Чтобы не описывать подробно всего того, что произошло на этом съезде, мы предоставим слово главному редактору промышленно-финансового отдела газеты «Крисчен сайенс монитор» Уайту, который написал: «В течение последних двенадцати лет я был тесно связан с лидерами промышленного и финансового мира Америки. Никогда прежде я не видел их такими обескураженными, раздраженными и такими неуверенными в своем будущем, как в настоящее время».

5

На будущее советские люди смотрят из настоящего, из того, что завоевано нами к тому моменту, когда мы стали на рубеж пятого десятилетия. В 1956 году в СССР было выплавлено чугуна больше, чем в Англии, Франции и Бельгии, вместе взятых. Только четыре предприятия, построенные в годы Советской власти: Магнитогорский, Кузнецкий, Нижне-Тагильский комбинаты и завод «Запорожсталь», — они дали в 1956 году около сорока процентов всего выплавленного в Советском Союзе чугуна — выпускают ныне чугуна и стали больше, чем вся Франция. Магнитогорский комбинат произвел в 1956 году чугуна, стали и проката больше, чем вся царская Россия в 1913 году. По использованию мощностей доменных и мартеновских печей страна наша обогнала передовые капиталистические страны, в том числе и США.

В исторически короткий промежуток времени социализм превратил старую, царскую Россию в передовую индустриальную державу. Социалистическая экономика имеет перед собой ясную и твердую цель — обеспечить непрерывный рост благосостояния народа, и она с этой задачей успешно справляется.

Одни из самых интересных в сборнике — страницы, рисующие рост материального благосостояния и культурного уровня советского народа. Реальная заработная плата рабочих промышленности и строительства увеличилась с 1913 по 1956 год почти в пять раз, реальные доходы трудящихся крестьян — в шесть раз.

Есть в сборнике ЦСУ табличка, которая затерялась в тексте и которую многие поэтоому могут не заметить. А между тем в ней заключено многое. Взятые данные бюджетных обследований семей рабочих-текстильщиков дореволюционного Петербурга, старого Богородска Московской губернии, Середского текстильного района Костромской губернии и крестьян бедняков и середняков Харьковской, Вологодской, Вятской и Воронежской губерний. С ними сравниваются данные бюджетных обследований рабочих текстильной промышленности и колхозников тех же районов в наши дни. Сопоставление этих данных показывает, что душевое потребление основных продуктов питания выросло в следующих размерах (1956 год в процентах к дореволюционному периоду):

	У рабочих	У колхозников
Мясо и сало	200	208
Молоко и молочные продукты	355	251
Яйца	223	359
Сахар	221	298
Хлебные продукты	91	86
Картофель	129	233

Снижение — по хлебным продуктам. Почему? А потому, что больше стало мяса и сала, молока и сахара. Требуется ли таблица других комментариев? Нет, не требуется.

Да, слышатся голоса идеологов и пророков капиталистического мира, но сегодня Америка производит на душу населения больше, скажем, стали, чем СССР, Англия — больше угля, Франция — больше электроэнергии! Пока это так. Сегодня США еще выплавляют на душу населения примерно в два с половиной раза больше стали. Но ведь в 1920 году страна наша, изнуренная империалистической и гражданской войнами, выплавляла в 356 раз меньше стали, чем страны капиталистического мира... Да, у нас добывается пока вдвое меньше угля на душу населения, чем в Англии. Но ведь в 1920 году наша страна добывала в 135 раз меньше угля, чем страны капитализма. Чугуна мы производили в том же году в 628 раз меньше, чем буржуазные государства. Ленин писал тогда: «Мы — нищие люди и некультурные люди. Не беда. Было бы сознание того, что надо учиться... Было бы ясное понимание того, что рабочему и крестьянину учение нужно теперь не для принесения «пользы» и прибыли помещикам и капиталистам, а чтобы улучшить свою жизнь».

А это все у нас есть. И поэтому учиться мы будем и научимся».

И научились! Это уже признают за рубежом даже люди, каких никто не заподозрит в симпатиях к коммунизму. Уместно привести их высказывания.

Первое. «Индустриализация России идет такими темпами, которых, вероятно, не знало никакое общество. Ее абсолютные достижения внушительны».

Второе. «Если советская экономика сможет сохранить свои нынешние темпы роста, то в 1970 году объем русского производства может оказаться втрое или вчетверо больше нынешнего. Если же, как это предвидят некоторые, наступит такое время, когда уровень жизни в Советском Союзе не будет уступать уровню жизни... стран Западной Европы или даже превзойдет его, последствия этого будут, по меньшей мере, грозными».

Первое высказывание принадлежит бывшему государственному секретарю США Дину Ачесону, второе — Эдлаю Стивенсону, кандидату демократической партии США на президентских выборах.

И еще два свидетельства американцев. Один из них писал: «Вся Россия училась читать и действительно читала книги по политике, экономике, истории — читала потому, что люди хотели знать... Жажда просвещения, которую так долго сдерживали, вместе с революцией вырвалась наружу со стихийной силой. За первые шесть месяцев революции из одного Смольного института ежедневно отправлялись во все уголки страны тонны, грузовики, поезда литературы. Россия поглощала печатный материал с такой же ненасытностью, с какой сухой песок впитывает воду. И все это были не сказки, не фальсифицированная история, не разбавленная водой религия, не дешевая, разлагающая макулатура, а общественные и экономические теории, философии, произведения Толстого, Гоголя и Горького...»

Второй заявил: «Советский Союз в настоящее время имеет значительно большее число ученых и инженеров, чем Соединенные Штаты. Советский Союз выпускает готовые кадры в этих областях значительно более быстрыми темпами, чем мы».

Между двумя этими высказываниями легло почти сорок лет. Они принадлежат людям с американскими паспортами, но с полярными точками зрения. Первое вышло из-под пера нашего друга Джона Рида, чей прах покоится у Кремлевской стены, второе принадлежит президенту США Дуайту Эйзенхауэру. Джон Рид писал приведенные строки на заре Октябрьской социалистической революции и в связи с ней, Эйзенхауэр высказался в дни сорокалетия Октября в связи с запуском второго советского искусственного спутника Земли.

6

Связь между индустриализацией и ростом культуры... Мы видим ее в том, что Якутия славится ныне не только своими алмазами, но и организацией своего университета. В день празднования сорокалетия Октября в Якутске в рядах демонстрантов алел транспарант: «Якутский государственный университет». Вдумайтесь в это название! В советское время с университета «начинаются» алмазы... Когда накануне сорокалетия Октября была пущена на полную мощность Куйбышевская гидроэлектростанция, Иван Васильевич Комзин, начальник строительства, вспоминал, что первыми объектами строительства были: в декабре 1950 года вечерний техникум и в феврале 1951 года филиал Куйбышевского индустриального института. С них начинался свет на Волге.

Советская страна стоит на первом месте в мире по подготовке квалифицированных инженерно-технических кадров. И это одна из самых больших ее побед. В 1913 году в русской промышленности насчитывалось всего-навсего 7 880 инженерно-технических работников с высшим образованием. Как не поразиться этой цифре теперь, когда наша страна насчитывает почти в сто раз больше инженеров!

Есть много всяких признаков, по которым можно судить о росте квалификации научных и технических кадров страны. Одним из них считается техника перевода научных трудов, степень освоения учеными иностранных языков, распространения переводов и т. д. Американский профессор Толпин подсчитал, что из девятистот тысяч советских специалистов, работающих в области техники, шестьсот тысяч читают журналы на немецком языке, пятьсот тысяч — на английском и четыреста тысяч — на французском. «Таким образом, — пишет он, — немецкие статьи читает большее количество русских ученых, чем немецких; в два раза больше русских, чем французов, читает научные работы, написанные на французском язы-

ке, а количество советских ученых, читающих работы на английском языке, составляет две пятых общего числа ученых США и Британского содружества наций...» Думается, что эти цифры и факты для многих явятся открытием; иностранные статьи ныне читаются больше советскими учеными, чем иностранными...

В Советском Союзе идет не только непрерывный процесс все большего и большего насыщения предприятий инженерно-техническими работниками. Мы видим будущее нашей индустрии в том, что повышаются знания рабочих. Люди заводов и фабрик становятся все более и более образованными. На Коломенском локомотивостроительном заводе имени Куйбышева, например, учатся буквально все рабочие. На Магнитогорском металлургическом комбинате половина рабочих обучается в школах и техникумах, в заочных отделениях вузов, на различных курсах. За последние десять лет число рабочих, имеющих семилетнее и среднее образование, на этом комбинате увеличилось с двенадцати до сорока процентов. На Московском автомобильном заводе имени Лихачева большинство рабочих основных цехов имеет законченное среднее образование.

Французского ученого Альберта Дюкрока, известного своими работами в области кибернетики и электроники, поразил во время посещения автозавода имени Лихачева в Москве такой факт: он увидел женщину в халате, которая везла тележку, и у нее, очевидно, выдалась минута передышки. Среди грохота и пыли она раскрыла книгу. Профессор подошел к женщине и заглянул в книгу — это был учебник геометрии. И другой факт. В книжке рассказов уральских рабочих, недавно вышедшей в Свердловске, есть воспоминания Таисии Кутемовой, дочери забойщика, которая долгое время работала в Тагиле почтальоном: «На весь Тагил было нас тогда пять письмоносец. Это году в 1923 было. Мало вам кажется? А ведь когда-то, до революции, на весь Тагил был лишь один письмоносец — Максимка. Сейчас 112 человек письмоносец, а на том участке, где я одна работала, — целое почтовое отделение». Что добавить к этому бесхитроственному рассказу?

...В предоктябрьские дни 1917 года реакционная буржуазная газета «Новое время» писала: «Допустим на минутку, что большевики победят. Кто будет управлять нами тогда? Может быть, повара, эти знатоки котлет и бифштеков? Или пожарные? Конюхи, кочегары? Или, может быть, няньки побегут на заседание Государственного совета в промежутке между стиркой пеленок? Кто же? Кто эти государственные деятели? Может быть, слесари будут заботиться о театрах, водопроводчики — о дипломатии, столары — о почте и телеграфе? Может, конюхи станут губернаторами? Конюхи, няньки, кухарки — вот те, кто, по мысли большевиков, призваны, очевидно, править нашей страной. Будет ли это? Нет! Возможно ли это? На такой сумасшедший вопрос большевикам властно ответит история».

И вот история ответила... Ответит еще, несомненно, не раз и не два. И не только в наступившем году, а и в последующие. Народ вырастил людей, которые умеют управлять своей индустрией, своим сельским хозяйством, своими университетами, театрами и школами. И когда мы говорим об итогах прожитых лет, поразмыслим еще над одним фактом: скромный строитель магнитогорской домны первой пятилетки Ваня Комзин — это не тезка и не однофамилец начальника строительства Куйбышевской ГЭС Ивана Васильевича Комзина. Это он и есть!

В перспективах, которые встают перед нами с разработкой плана развития народного хозяйства СССР на 1959—1965 годы, в картине будущего, которую открыла нам юбилейная сессия Верховного Совета СССР, в планах наступившего 1958 года мы видим торжество знаний, опыта, науки, культуры, мудрости народа.

Через несколько месяцев, в апреле, в бельгийской столице — Брюсселе откроется международная выставка, которая призвана показать «науку, технику, культуру на службе человека». Пятьдесят две страны строят свои павильоны на выставке. Советский павильон расположен рядом с американским, словно знаменуя этим соревнование двух систем — социалистической и капиталистической. Сделанный из стали, алюминия и стекла, наш павильон и все его экспонаты будут свидетельством великих изменений, свершившихся в стране за сорок лет, и перспектив, которые открылись перед нею в год сорокалетия.

Незадолго до первой мировой войны происходила в Казани международная выставка. Россия была представлена на ней мылом, свечами, кулями, рогожей, сапогами, парусиной. Диковинкой, на которую все заглядывались, был однолемешный плуг, изготовленный на заводе казанского промышленника Свешникова, да еще бутылка размером в трехэтажный дом, внутри которой владелец пивоваренного завода демонстрировал чудеса своего производства.

Есть еще и теперь иностранцы, у которых представления о России недалеко ушли от трехэтажной пивной бутылки, и вот они смогут на выставке 1958 года увидеть «живые вещи нашего хозяйства», о которых когда-то говорил инженер из «Гидроцентрали», живые вещи нашей экономики, нашей культуры. Они смогут получить представление о территории нашей страны, о ее населении, о природных богатствах. Они увидят современные машины, станки, автоматы с маркой советских заводов, модели тепловозов, вагонов, речных судов, самолетов и, наконец, даже настоящий — а не модель! — реактивный пассажирский самолет «ТУ-104». На выставке будут представлены внушительные модели наших спутников Земли.

Миллионы людей, которым десятилетия прививали превратное представление о Советской стране, сумеют в этом году в Брюсселе познакомиться с нашими заводами, колхозами, совхозами и МТС. Посетители международной выставки убедятся в том, что сделано в Советском Союзе для развития науки и искусства, как приручают наши люди атом, ставят его на службу миру.

И мы с вами, читатель, также увидим этот павильон: после окончания выставки в Брюсселе он будет разобран, привезен в СССР и установлен в Москве. Полпред нашей индустрии, нашей экономики, нашей культуры на выставке, которая пройдет под многозначительным и многообещающим лозунгом «Наука, техника, культура на службе человека», павильон СССР покажет в 1958 году человека нашей страны и дело его рук.

Покажет человека, который не останавливается на достигнутом. Советский человек зажигает новые маяки, он продолжает свое дело — огромное, титаническое, не имеющее сравнений в истории человечества. Маркс писал, что люди «обновляют самих себя в такой же мере, в какой они обновляют тот мир богатства, который они создают». Повторим эти слова, вступив в 1958 год. В них великая правда нашей жизни.



А. ВАН-КОЛЛЕМ

★

ЛЕНИНУ

В советских газетах 1918 года, серых, выцветших, напечатанных на оберточной бумаге, можно нередко встретить стихи А. ван-Коллема (1858—1933). Имя голландского поэта, интернационалиста, страстного противника войны, друга молодой Советской России, было тогда широко известно в нашей стране.

Стихотворение «Ленину» было напечатано в «Правде» 12 февраля 1918 года. Переводчик не был назван.

Теперь я знаю: наша цель близка,—
Туман редет, тают облака...
Народ рабочий жизни смысл обрел:
От слов ты, Ленин, к делу перешел...
Как дерево, что выросло одно
Средь поля чистого, развесисто, сильно,
Красуется великий подвиг твой
В лучах зари багряно-золотой...
Трепещет биржа: гибель ей несет
Твой подвиг... Вслед за ней броня падет,
Которой скован был народ-борец...
Насилью гнусному пришел конец...
Навек да сгинет лживый дипломат...
Народ народу ныне станет брат...
Конец военщине, снарядам и штыкам.
Народы-братья. Мир и радость вам...
К чему нас дипломаты привели.
К резне, безумию, всем бедствиям земли.
В речах их лицемерных ложь сквозит,
И слово «мир» предательски звучит.
Мой край так мал... Так ограничен фронт
Борьбы у нас... А русский горизонт
Обширен, как безбрежный океан...
Моя страна — из малых, тихих стран...
Но и для нас ведь час борьбы пробьет:
Здесь — ад войны, там нас свобода ждет...
Волна растет... Чу, слышится прибой...
Повсюду грянул клич: «Войну долой!»
Враги насилья мы, но если нет
Исхода, мы насилью шлем привет
И уподобимся в своей борьбе,
О брат из царства красного, тебе...



МАРК ЛИСЯНСКИЙ

★

ВЕНОК

Среди венков и лент в Колонном зале
В тот ледяной, в тот горестный январь:
Лежал венок, сплетенный из колосьев,
Обвитый узкой черною каймой.

Откуда взялся он — посланник лета —
В такую стужу лютую, когда
Деревья каменели от мороза
И птицы замерзали на лету?!

На ленте были выведены буквы
Нетвердою рукою в две строки:
*От жителей деревни Березовка
Любимому, родному Ильичу.*

Надежда Константиновна, очнувшись,
Глазами обвела печальный зал
И вдруг венок заметила и встала,
Пошатываясь, медленно пошла.

Пред ней открылось поле золотое,
А теплый ветерок перебирал
Пшеничные колосья, словно струны,
И песенку задумчивую пел.

Вот подошла, погладила колосья,
Потом взяла венок и понесла,
И положила рядом с человеком,
Который жизнь свою провел в труде.

И все вокруг дыханье затаили,
И стало неожиданно светло,
Когда венок из солнечных колосьев
У изголовья Ленина возник.

Колосья свет горячий излучали,
И траурная лента не могла
Тепло земли и солнца переспорить
И жар людского сердца погасить.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

★

РАБОЧИЙ

Тряся коротким чубом темнорусым
И глядя вниз из-под тяжелых век,
Он моется медлительно, со вкусом,
Как истинно рабочий человек.

Он моется, с ладоней грязь сдирая.
Сначала пена мыльная черна,
Но вот вскипает серая — вторая,
И третья пена — радужна она.

Из медного, чуть с прозеленью, крана
В ладони бьет крученая струя.
Он хочет есть. Он встал сегодня рано,
Когда еще спала его семья.

Зря не глядит хозяйюшка на стрелки:
Он в дом — и час обеденный пришел.
Цветастые глубокие тарелки
Немедленно поставлены на стол.

Густые щи, под ложкой убывая,
В фаянсовых теснятся берегах,
И табуретка стонет, как живая,
Под ним на четырех своих ногах.

Неторопливо вытерший ладони,
Уставший у станков или горнил,
Он молча ест в своем прохладном доме,
Где на клеенке пятна от чернил.

Взгляни на эти руки и пойми ты:
Я с детства о таких руках мечтал.
Хоть вымыты они, да не отмыты —
Синеет в кожу вьевшийся металл.

Жестки, спокойны и широкопалы
Те руки настоящего труда,
Что варят сталь, кладут в пустыне шпалы
И сквозь бураны водят поезда.

Что поднимают стены в год разрухи
И счет теряют новым корпусам,
Что жмут такие ж дружеские руки
И гладят малышей по волосам,

Что держат алюминиевую ложку
И хлеба ноздреватого ломоть,
Впитали металлическую крошку,
Готовы все невзгоды побороть.



ЕЛЕНА УСПЕНСКАЯ

★

ЖЕНА ШАГАЮЩЕГО

Маленькая повесть

1

Начальник строительства дрался с козой. Преимущества были явно на стороне козы. Для этого было много причин. Начальник строительства — грузный, уже немолодой человек с большим животом — давно отвык от драк, а коза достаточно натренировалась с мальчишками строительства, и поэтому она то отскакивала на своих точеных ножках, то насакивала на начальника строительства, стараясь побольнее пырнуть его рогами. Кроме того, коза обладала еще одним преимуществом: начальник строительства сердился не на шутку, а по раскосым медового цвета глазам козы было ясно, что эта перепалка доставляет ей истинное удовольствие.

Женщины стояли вокруг начальника и козы, не вмешивались, не сердились. пока одна из них, побойчее, крикнула:

— Не твое это дело, начальник, с козами драться! Ну, подумаешь, обгрызет веточку.

Тут начальник рассердился окончательно.

— Я ни одного дерева не рублю, чтобы у ваших ребят щеки розовые были, — сказал он грозно. — За Полярным кругом все-таки... Дуры...

Употребив это непарламентское выражение, начальник круто повернулся и пошел. Но коза только еще вошла во вкус и снова наскочила на него. Бабы захихикали.

Степан стоял чуть поодаль, наблюдая необычную схватку. Потом же, когда понял, что драка затянется, обстоятельно опустил чемоданчик на землю и сел на него. Все происходило совершенно не так, как он ожидал. Он думал, что важный начальник примет его в кабинете, а перед этим он будет несколько часов ждать в приемной, и мимо него к начальнику будут проходить один за другим по очень важным делам те счастливые люди, которые уже давно приехали сюда, обжились здесь, несут большую ответственность и строят эту электростанцию.

Наконец одна из женщин оттащила козу. Степан заметил, что, как ни странно, никто из них не обиделся на слово «дуры», и сердитый, багровый, тяжело дышащий начальник обратился к нему:

— Ну-с, а вам чего от меня надо, юноша?

— Я насчет работы, молодой специалист, — совершенно уже растерявшись, сказал Степан, взял чемодан и встал как можно прямее.

— Пройдите прямо, вон туда, — указал начальник. — В конце улицы дом для молодых специалистов. Поселитесь, обживетесь, отдохнете. Завтра милости прошу. Разберемся, можете что-нибудь делать или нет.

Он круто повернулся и пошел к двухэтажному деревянному дому с надписью: «Управление».

Вход в управление делился пополам невысокой сосенкой. Видимо, начальник не изменил себе и здесь, хотя пробиться в половинку двери, разделенной сосной, ему было нелегко. Получилось так глупо потому, что десятник рассчитывал срубить сосну, а начальник не позволил. Переносить же дом было поздно.

Начальника уже ждали. В приемной сидели широкоплечий усатый человек и худенькая большеглазая девушка. За секретарским столом невозмутимо тресдала Агриппина Аполлинарьевна. Седая, в очень строгой блузке с тонким кружевом у ворота и пенсне на шнурочке, она посмотрела на начальника из-под стекол, как показалось ему, укоризненно. Агриппина Аполлинарьевна уже двадцать пять лет была секретарем начальника, и уже двадцать пять лет начальник боялся Агриппины Аполлинарьевны, хотя за всю их совместную работу она подняла голос только однажды. Это было, когда, запоровшись со сроками строительства, он не пообедал три дня. На четвертый Агриппина Аполлинарьевна вошла к нему в кабинет и закричала на неожиданно высоких нотах:

— Я не могу работать с неорганизованным человеком. Обедать сию минуту, слышите? — И вышла, хлопнув дверью.

С тех пор он старался не забывать обедать или врал: «Задержался в столовой».

— Проходите, — сказал начальник на ходу. Следом за ним в кабинет вошел крижистый человек и, покрутив желтые от никотина усы, уютно уселся в кресло. Начальник долго вглядывался в него. Что-то было в нем очень знакомое, и чем больше начальник вглядывался, тем больше обижался человек, который пришел.

— Выручай, — наконец не выдержал начальник. Он забыл имя этого человека, а забывать его было недопустимо, в какой бы суматохе и напрядженности он ни жил.

— А Костю помните? — спросил человек и покрутил ус.

— Костя... — Начальник встряхнулся. — Костя... Костя...

— Константин Гаврилович нынче, — сказал Костя, очень довольный, что недоумение несколько рассеялось. — В Азии строились. Где ж ты мотался, начальник? Искал тебя, искал. В газетах про тебя не пишут. Наконец разыскал, приехал, строить будем.

— Ну что ж, давай, — рассмеялся начальник.

— Я к тебе со всем семейством, — продолжал Костя. — С Марией Матвеевной, и сынишка у меня подрос, двадцать лет, монтажник. Барышню свою скоро выпишет, здесь и поженим. Я ведь тебя знаю, жилье будет.

Начальник улыбнулся. Он не был лишен честолюбия. И то, что старый рабочий, с которым они когда-то где-то что-то строили, помнил о нем, не могло не польстить ему.

— Завозим стандартные коттеджи, преотличные, я тебе скажу, — похвалился он.

— Ну и ладно, — кивнул Константин Гаврилович. — Работать-то где буду?

— А уж это ты иди к прорабу, — сказал начальник и еще раз довольно улыбнулся.

— Да, Константин Гаврилович! — когда тот был уже в дверях, крикнул ему вслед начальник. — Только один уговор, чтобы твоя Мария Матвеевна коз не заводила.

— А взамен козы как? — спросил Константин Гаврилович.

— Молоко завозим, сгущенное... Если тебе уж очень хочется, чтобы твоя Мария Матвеевна вставала ни свет ни заря и нянчилась с козой вместо внуков, можем, на крайний случай, подбросить сена, но предупреждаю, из живого ни одной веточки не дам. И с Марией Матвеевной разругаюсь, и козе покажу почем фунт лиха.

Константин Гаврилович вышел из кабинета с твердым убеждением, что сегодня начальник уже показал какой-то козе почем фунт лиха. В том, что дело обстояло совсем наоборот, он убедился, как только дошел до толпы женщин, окружавших победительницу козу. Хозяйка козы, с трудом преодолевая смех, рассказывала, какая у нее замечательная коза.

— Лучше бы внуков завела, — сказал Константин Гаврилович, сердито глянул в непонятные раскосые козы глаза и пошел к прорабу.

Начальник отлично помнил, что его ждет в приемной девушка, но видеть ее не хотел. Он вообще никого не хотел видеть и понял это только сейчас, понял, что именно поэтому он спешил в разговоре с Константином Гавриловичем, поспорил с козой и зря шуганул молодого специалиста. Ему просто хотелось посидеть одному и подумать. Недавно он взял на работу одного человека — Евстигнеева. Брать этого человека на работу ему не хотелось. У него были узкие, нервные, наверное, неумелые руки, и говорил он все время какие-то неожиданные вещи — то про Шопена, то про оттенки красок у Репина. Кроме того, Евстигнеев был репрессирован за то, что участвовал в подготовке диверсионного акта.

Когда начальник сердито спросил его: «А не поясните ли вы мне, гражданин Евстигнеев, какие у вас сейчас отношения с Советской властью?» — Евстигнеев ответил коротко: «Я — ее, а она — моя». И при этом был настолько уверен в том, что говорит правду, что даже не стал смотреть начальнику в глаза.

Только что начальник видел Евстигнеева на стройке. Оказалось, что он отлично лазил по верхам, умело показывал рабочим самые сложные операции и рабочие обращались к нему уважительно и дружески. И вот сейчас начальнику хотелось подумать обо всем этом. Начальнику казалось странным, что они примерно в одно и то же время и в одном и том же возрасте (они были почти ровесники) хотели совершенно разных вещей. Он, начальник, хотел строить, а этот Евстигнеев со своими узкими интеллигентными руками хотел разрушать. Это казалось тем более странным, что начальник прекрасно понимал, что и вышли они примерно из одних и тех же семей и учились в одних и тех же гимназиях и зубрили латинские глаголы. И так же у них в домах была близким человеком Анна Каренина или Наташа Ростова. И он все-таки никак не мог понять и знал, что Евстигнеев, наверное, никогда не сумеет объяснить ему, почему тогда, когда ему и всем людям вокруг него хотелось строить, Евстигнееву хотелось разрушать. И еще он подумал о том, какая же это сила — Советская власть, если она этого человека сумела сделать своим и заставить полюбить себя, и все это время работать, и становиться все более квалифицированным специалистом. И Советская власть заставила Евстигнеева полюбить себя не тогда, когда он ходил на воле, жил в удобной квартире и ни в чем не нуждался. Советская власть сумела это сделать тогда, когда Евстигнеев, наказанный за преступление, сидел в тюрьме. Какой же умной, справедливой и человечной должна она быть, если она взяла этого незаурядного человека, взяла его врагом и сделала его своим. И вот сегодня начальник поверил, что Евстигнеев свой, свой без громких слов, без речей, что он свой по-настоящему, преданный этой самой Советской власти.

В приемной скрипнуло. Начальник даже не поднял головы. Он не хотел ни думать, ни слушать ни о чем другом. Он понимал, что, может быть, никогда уже не будет так сосредоточенно, так глубоко и так уйдя в себя думать о своей жизни. Он произносил очень много докладов о Советской власти и делал их с чистой совестью, так как знал, что любит ее и верно ей служит. Но почему-то получилось так, что он говорил одни и те же слова, трафаретные и, казалось бы, стершиеся. Навер-

ное, подчас надо было искать другие и более убедительные для молодых. Но было некогда, очень некогда. Ведь в самом деле: за несколько десятилетий из темной, нищей, голодной и усталой страны надо было сделать очень сильную страну с грамотными людьми, полными чувства собственного достоинства. А это было трудно.

И в эту минуту, слушая скрип в приемной и по привычке боясь того, что войдет Агриппина Аполлинарьевна и что-нибудь велит, он больше всего на свете боялся, что ему помешают думать. А он сейчас думал о том, что ему очень повезло, когда, выйдя из интеллигентной семьи старого врача, он быстро и сразу нашел партию социал-демократов, и быстро в руки ему попали отпечатанные на шершавой бумаге брошюры Ленина, и что он сразу нашел путь свой в жизни, чего не произошло ни с Евстигнеевым, ни со многими другими людьми, которые в то время запутались в ораторах, книгах и философиях.

«Им хорошо, — вдруг с досадой подумал он о сыне. — Ничего решать не надо. Мы все очень повезло, когда, выйдя из интеллигентной семьи старого врача, он быстро и сразу нашел партию социал-демократов, и быстро в руки ему попали отпечатанные на шершавой бумаге брошюры Ленина, и что он сразу нашел путь свой в жизни, чего не произошло ни с Евстигнеевым, ни со многими другими людьми, которые в то время запутались в ораторах, книгах и философиях.

И он вспомнил свой тяжелый разговор с сыном, когда тот пришел с литературного диспута. Какой-то неопытный молодой человек написал книгу о строительстве. Сыну эта книга нравилась, потому что все, о чем там было написано, показывалось как нечто невыносимо трудное, а начальник знал, что на самом деле все было еще труднее, но совсем иначе и совсем не так, как написал этот молодой человек. И справиться с этим тоже можно иначе, чем написал этот неопытный молодой человек. Изо всего этого ночного спора с сыном он почему-то запомнил только одно, как он долго кричал на сына, стыдясь того, что кричит, и не в силах сдержаться...

— Сам-то ты в Советскую власть кирпичик заложи, а потом рассуждай!

И тогда сын вдруг встал с дивана, гибким, юношеским движением сунул руки в карманы и сказал холодным голосом:

— Кирпичик... Сам-то от крика красный, как кирпич, стал. Громкие слова любишь, вот что.

— Громкие слова?.. — захлебнулся отец.

И тогда вдруг очень медленно и тихо встала с кресла его жена. Жена, которую он помнил девчонкой в тапочках и в майке, которая всю жизнь моталась с ним по строительствам, всю жизнь была ему товарищем и которую он так и продолжал видеть худенькой девочкой в голубой майке, хотя она уже давно стала полной, морщинистой и старой. И она, которая любила этого мальчика, тоненького, как хлыстик, всю жизнь заступалась за него, доказывала, что он хрупкий, и возила его на курорты, она, которая привыкла к долгим разлукам с мужем, для которой ничего в жизни не было дороже этого мальчишки, вдруг подошла и ударила сына по лицу. Она была толстая, грузная, старая и очень беспомощная. А мальчишка был весь налитой, выхоженный, но он съежился перед этой слабой оскорбленной рукой.

На другой день начальник уехал на строительство на Север, и все, что он знал о доме, были короткие строки писем жены. Жена писала, что дома все благополучно. Он понимал — с сыном.

В приемной опять скрипнуло. Начальнику вовсе не хотелось сейчас видеть девушку, которая ждет в приемной и пришла, наверное, с какой-нибудь чепухой. Он сердито косился на дверь. Дверь не открывалась. Наконец начальник сам пошел к двери и открыл ее. Агриппины Аполлинарьевны не было на месте, а девушка сидела на стуле, смиренно сложив на коленях маленькие руки.

— Пройдите,— смягчился начальник. Уж очень у нее был тихий вид. Девушка вошла и осталась стоять возле дверей. Начальник обиделся: человек боится его настолько, что даже не входит.

— Идите, идите, садитесь. По какому делу?

— Я учительница, а директор сказал, чтобы к вам. Он сказал, вы со всеми сами знакомитесь.

— Сколько лет стажа?

Девушка вспыхнула. У нее покраснело не только лицо, но уши, шея. Она мучительно перевела дух, глотнула и сказала тоненьким, но твердым голосом:

— Нет стажа. Совсем. Никакого. Кончила училище — и к вам.

Начальник внимательно посмотрел диплом, который девушка протянула ему. Там было много пятерок.

— Что ж, методику арифметики не вытянула? — придрался он.

Девушка покраснела еще больше.

— Ага...

Начальник подумал и протянул диплом ей обратно.

— В Москве кончали, в Москве и учите,— сказал он.— Там неопытным можно. Приведете в Исторический музей — экскурсовод. Приведете в Третьяковскую галерею — там опять экскурсовод. А здесь все самой надо. Куда мне таких птенцов?

Девушка молчала, смотрела на него умоляющими глазами, не вставала и не уходила. Начальник тоже смотрел на нее. Он понимал, что ей сейчас обидно, грустно. Но он знал все трудности школ на строительстве и видел, что она слишком молода для этих трудностей. Да и директор был молодой, неопытный. До него директором был старый приятель, учитель, с которым они много лет проработали вместе, ездили со строительства на строительство, и тот привык открывать школы в двух рядом поставленных коттеджах и потом перевозить свое хозяйство в новую школу, которую начальник обязательно строил. Тот был верный товарищ, замечательный педагог. И этого-то человека отбили, сманили, увели... На целину. И кто увел? Тоже старый друг, который сидел-сидел в Москве, а потом собрал лучших комсомольцев с одного завода и умчался закладывать совхоз. И заодно увез с собой общего друга — учителя. И тот, директор школы, пришел к начальнику и с виноватым видом объяснил, что он там, на целине, будет организовывать школу надолго и наконец своими глазами увидит свой выпуск. А то на строительстве только наладишь, поставишь дело, уже надо опять уезжать... А этот молодой и на работу берет таких же птенцов. Вот, пожалуйста, будьте любезны, прислал. Сидит тоненькая, смиренная. И не плачет и не уходит. С характером.

— Поезжайте, поезжайте в Москву,— еще раз сказал начальник.— Почему вы в Москве не остались?

— А я просилась на Север,— ответила девушка.— И мне в Москву обратно никак нельзя.

— Это почему же?

— А потому, что провожали.

— Всех провожали,— стандартно отрезал начальник. И вспомнил грустные лица жены и сына на перроне.— Кто же вас провожал?

— Братья, сестры.

— Сколько же их?

— Семьдесят четыре,— тихо сказала девушка.— Мы только так называемся. Детский дом у нас. Вот мы и постановили: считать себя братьями и сестрами, а то ни у кого родных нет. Только у двух девочек — бабушки... Им все завидовали...

— Как же это вас провожали?

Девушка оживилась.

— А я когда получила направление на Север, приехала к своим, в детский дом. Все собрались. Ужин устроили: картошку с котлетами, чай с пряниками. И Нина Петровна, директорша, сказала речь. А потом все ребята хлопали в ладоши и кричали: «У-чи хо-ро-шо...» Как же мне теперь обратно?

Начальник потянулся за трубкой.

— Да-а, положеньице. Действительно нельзя... Только вот смотрите: у вас направление — первый класс. А вдруг вы их читать не выучите? У меня вот сын, знаете, как учился? Читает: «пе-а, пе-а», спрашиваешь, что получилось? Отвечает: «стол».

— Сейчас другой метод,— неожиданно взрослым голосом сказала девушка,— слоговой. Мы не по буквам учим читать, а по слогам. Гораздо лучше усваивают.

— Ну, глядите.— Начальник заглянул в диплом.— Глядите, Ася Николаевна.

И когда тоненькая Ася Николаевна была в дверях, он не выдержал, хлопнул в ладоши, прокричал:

— У-чи хо-ро-шо! — и отложил незакуренную трубку.

2

Дом специалистов оказался двухэтажным, складно скроенным домом с четырехкомнатными квартирами. Каждому молодому специалисту полагалось по комнате. Первый раз за всю его жизнь у Степана оказалась своя комната. При этом в комнате было абсолютно все, что нужно человеку, который хочет строить электростанцию и работать над собой: письменный стол, посланная койка, полка для книг. Одна из дверей открывалась в платяной шкаф.

Степан испытывал одновременно и разочарование. Ему казалось: раз он едет строить электростанцию в Заполярье, на строительство, которое началось совсем недавно, его ждет романтическая жизнь в палатке, в пурге... И вдруг все оказалось наоборот. Его ждали свежие простыни, на кухне он обнаружил электрический чайник и расписание, в какие часы приходит уборщица и в какие часы работает столовая, где он может завтракать, обедать и ужинать.

Он начал испытывать это разочарование в отсутствии романтики с той самой минуты, как сошел с поезда.

Строительство он увидел задолго до того, как подъехал к станции. В голубой тундре горел яркий электрический свет. Он подошел к проводнику и спросил, что это такое. Тот сказал привычно: «ГЭС строим». И хотя Степан знал, что о строительстве, на которое он едет, газеты еще не писали, ему тут же все пассажиры купе, включая и проводника, подробно и во всех деталях рассказали, какой мощности ГЭС, на какой реке работает и кого она будет обслуживать. Потом Степан встретил начальника и попал в эту комнату. Ни пробиваться через буран, ни жить в палатке ему не пришлось. С одной стороны, это было приятно, с другой — чуть обидно. Тем не менее Степан деловито разобрал свой чемодан: повесил выходной костюм в платяной шкаф, аккуратно сложил книги на полку и выпил чаю с оставшимися дорожными припасами. Потом он вышел, чтобы пройтись по поселку.

В поселке не было прямых улиц. Каждый дом стоял на том пустом от деревьев пространстве, которое мы в Средней России называем лужайками и которые в Заполярье кажутся скорее обидными лысынами. И каждый дом был окружен маленькими елочками и соснами, и, хотя листы уже не было, сквозь тонкий рисунок березовых голых ветвей и сквозь густую хвою обжито и уютно светились огни.

Степан долго бродил по поселку, пока не набрел на столовую. Подле нее на щите висело объявление, сообщающее о том, что сегодня в кино состоится комсомольское собрание. Оно начиналось через пятнадцать минут, и Степан отправился туда.

Маленький зал кино был набит до отказа. Выступали не по бумажкам и говорили о самых разных вещах. И о сроках строительства, и о том, как ускорить это строительство, и о том, что начальник безобразничает — не позволяет завозить в магазины водку, а ведь каждый человек имеет право отдохнуть и в субботу выпить пол-литра с товарищем.

Говорили коротко, потому что каждого председатель перебивал:
— Закругляйся, сеанс в восемь.

И чувствовалось, что ребята, один за другим сходя с трибуны, чего-то не договорили очень важного для себя, чего-то не решили... И все из-за киносеанса, который должен был начаться в восемь часов в этом же самом помещении.

Собрание уже подходило к концу, когда пришел начальник. Он был запорошен первым мягким снежком, не тем сухим и жестким, который отличает заполярную зиму, а первым, быстропроходящим, похожим на наш, — подмосковным, мягким, который там кажется теплым, как вата. Начальник грузно опустился на скрипящий стул в одном из задних рядов и стал слушать.

Как раз в ту минуту, когда начальник вошел в зал, выступал парень, уже знакомый Степану, — он его сегодня встретил подле дома молодых специалистов. Этот парень предъявлял целый ряд претензий к руководству строительства. Лыжи до сих пор не выдали, а на носу соревнования... В квартирах нет даже маленького зеркала, чтобы побриться. Хороших отрезков в магазине не хватает... И главное, до сих пор для молодежи нет клуба.

К концу его речи начальник стал уже очень красным и сердитым. Но сказал дисциплинированно:

— Дай-ка мне слово, голубчик. — И, не дожидаясь ответа председателя, пошел по узенькому проходу между стульями к трибуне.

— Клуб... — Начальник начал говорить, еще когда шел по залу, и продолжал говорить, влезая на эстраду и втискиваясь в маленькую фанерную трибуну. — Клуб вам подавай. Слушать стыдно. Мне сейчас не за вас, за себя стыдно. Я, старый дурак, с самого начала строительства для вас материалы держу. Сидят комсомольцы-строители. Кто вам клуб-то строить будет? Сами, что ли, не можете? Короче говоря, через три дня материалы, ассигнованные на клуб, списываю — другие объекты. Хотите — стройте, хотите — нет. Я вам клуб строить не буду, вышел из этого возраста. Теперь вот вы, молодой человек, — обратился он к предыдущему оратору, — обижаетесь: лыжи вам не выдали. А в магазине они есть. А вы, извиняюсь, при своем заработке собственные лыжи купить не можете? Стыдно. Что же касается водки, то я уже однажды по этому вопросу говорил. У нас объект серьезный — холодно. В обеденный перерыв один сто грамм выпьет, другой — двести. Потом падают, убиться могут. Опять же напряжение высокое. Вина — пожалуйста, сколько угодно, а водки на строительстве нет и не будет. Вместо этого хорошие отрезки в магазине, обувь... Вот что их мало — это, кстати, неплохой признак: их вместо водки покупают. Одним словом, желательно — оставайтесь, нежелательно — уезжайте.

Он кончил совершенно неожиданно, сошел с трибуны и опять сел в скрипящее кресло, в котором с таким трудом умещался.

— Дайте мне слово,— раздался звонкий голос. Тоненькая девочка — это было видно даже в полушубке — не вошла, а просто взлетела на эстраду. Было видно, что она взлетела на эту эстраду под мгновенным ощущением того, что ей немедленно надо сказать что-то очень важное, но, попав на эстраду и увидев перед собой множество любопытных глаз, смешалась, растерялась, и можно было сразу определить, что она не из тех ораторов, которые выступают обязательно на каждом собрании и давно уже привыкли и к трибунам и к любопытным взглядам.

— Насчет клуба,— сказала она.— Это очень правильно. Что же это мы? Завтра же надо начинать строительство, а? Ведь мы же комсомольцы, сознательные должны быть.— Эти слова прозвучали так первозданно, что было совершенно ясно: она говорит то, что думает, она действительно чувствует себя настоящей комсомолкой и требует от себя и от других настоящей сознательности. И с той минуты, как она начала говорить, она перестала бояться и даже молча постояла, подумала и потом прибавила:— Я не строитель, я учительница, но завтра выйду строить клуб. Буду делать, что надо. Пригожусь...— Стукнув сапожками, она слетела обратно в зал.

Впрочем, все, что она говорила, было скорее понятно стороннему наблюдателю. Что же касается Степана, то с той самой минуты, когда он услышал ее голос, увидел взлетевший на сколоченную наскоро эстраду полушубок и маленькие детские руки, испуганно вцепившиеся в трибуну, увидел ее глаза, — его можно было бы убить, но он не сказал бы, какого цвета эти глаза, хотя сидел во втором ряду, — со Степаном все было кончено... Он не очень понял, что говорила девушка про клуб. Только где-то очень глубоко, внутри, он почувствовал, что впервые в жизни увидел девушку. Больше он уже ничего не слышал, не видел и не понимал. Обернуться, чтобы увидеть девушку еще раз, было страшно, так как совершенно ясно: если он обернется, все поймут, что с ним произошло. Поэтому он сидел во втором ряду большой, неуклюжий, неподвижный, слушал все, что говорили, ничего не понимал, вышел из клуба, не сообразив, что можно остаться на кино, и отправился в свой дом молодых специалистов.

Тот парень, который выступал по поводу клуба, зеркал и прочих неполадок, оказался соседом Степана по квартире. Звали его Гриша. Все стены в его комнате были завешаны фотографиями киноактеров, и он утверждал, что все это его личные друзья. Он очень любил округлые обороты, вроде: «на данном этапе», «оказывает влияние» и почему-то «сознательная интуиция». Другие соседи по квартире вечером угощали Степана портвейном. Но Гриша звал нового соседа к себе в комнату и поставил на стол бутылку с чем-то зеленым, густым и непонятным. «Столичный... Ликер...» — сказал он почтительно. Степан честно пытался попробовать этот столичный ликер, но это оказалась такая липкая ерунда, что при всем желании не обидеть Гришу он не мог пить. И вообще ему казалось, что этим составом лучше красить заборы.

Через три дня в их квартиру два очень солидных дяди принесли ящики с надписью «не кантовать». Не обращая никакого внимания на ошеломленных молодых людей — дело происходило в воскресенье,— дяди распаковали ящики, вынули оттуда зеркала, подышавши, протерли их и стали приспособлять их всюду, где только возможно и невозможно. Длинное роскошное зеркало, за которое отдала бы бог знает что любая девушка, поместили в передней. Такие же — в комнате каждого из молодых людей, в кухне, а небольшое продолговатое зеркало было прибито даже в уборной. Потом дяди забрали ящики и ушли.

Степана зеркала раздражали. Комната была небольшая, и, куда бы он ни повернулся, он всюду видел себя в зеркале и каждый раз убеждался, что предельно некрасив и та девушка, которая тогда взлетела на сцену, никогда и не заметит его.

Гриша же был очень доволен. Он ходил по всем комнатам, вертелся перед всеми зеркалами и для того, чтобы оправдать нелепое распоряжение начальника, брился по утрам, сидя в уборной перед продолговатым зеркалом. И каждый раз Степан вспоминал, как начальник определил Гришу: «Дурак с техническим дарованием». Это ему рассказали в первый же вечер.

Степана поставили работать на трехкубовый шагающий экскаватор. Работать было хорошо, радостно. Степан командовал своими подручными, чувствовал себя при деле, и при деле перспективном, потому что начальник сказал: «Справишься с одним — дам четыре». И каждый день, когда он шел на работу к своему послушному верткому шагающему, он мечтал, как утром он будет давать распоряжения всем командам своих экскаваторов, рассылать их на разные объекты и чувствовать на себе четверо большую, серьезную, впервые в жизни доверенную ответственность.

Когда через две недели он очутился с Гришей в очереди перед кассой, то сначала слышал зверские ругательства Гриши, а затем обнаружил, что его зарплата значительно меньше той, которую он ожидал получить.

— За что вычеты, черт побери! — кричал в это время Гриша. — Мне же лыжи надо покупать!

И главный бухгалтер, тепленький старичок, которому, казалось, самое место в центре Москвы, а уж никак не здесь, в Заполярье, ответил очень спокойно:

— За зеркала, молодой человек. Зеркала завезены в вашу квартиру за наличный расчет.

Степан ухмыльнулся и в тот же день, придя в свою комнату и поняв, что раздражающее зеркало — его первая в жизни частная собственность, тщательно отковырял его и потащил через весь поселок в общежитие, где жили девушки. Девушки Степана не знали, очень удивились, но, когда он приколотил им зеркало и каждая из них, сколько ей было положено по возрасту и красоте, повертелась перед ним и установила, что она значительно лучше, моложе и красивее, чем ожидала, усадили Степана за стол и долго поили чаем с какими-то белыми, совершенно домашними оладьями, от которых у Степана сразу стало хорошо и тепло на душе.

Уже потом он понял, что, когда пришел в общежитие, вид у него был совершенно воровской, так как он все время шарил глазами и искал ту самую девушку. В этот вечер он ее так и не увидел.

На другой день она была в кино, но с двумя подругами, и он, конечно, не решился подойти.

Степану невероятно повезло. Началось строительство клуба, и он каждый день видел Асю. Правда, ее тоненькая фигурка мелькала где-то совсем в другом конце строительства, но все-таки он видел ее, знал, что она тут.

Они, вероятно, так и не познакомились бы, если бы не Гриша. Однажды Степан увидел, как к Асе самоуверенной и даже нагловатой походкой направляется Гриша. К самой Асе! Он шел к ней так, как будто это была самая обыкновенная девушка, к которой можно подойти, познакомиться и заговорить. И тогда, сам не помня, сам не зная как, не успевший еще прийти в себя, Степан, большой, широкоплечий, с руками, изодранными досками, которые он таскал на постройку клуба, очутился между ними. Степан пригласил Асю в кино. В этот вечер он впервые узнал, что в кино совершенно не имеет значения, что там показы-

вают на экране, и вообще все в мире не имеет значения, когда потом провожаешь Асю домой и ее маленькие валенки скрипят рядом с тобой по молодому, чистому снегу.

Каждый ухаживает по-своему. Молодые зоологи, если они живут в больших городах, по пятидесяти раз водят любимых в зоологический музей и, захлебываясь от волнения, показывают им там шершавый и очень маленький кусочек берцовой кости мамонта. А молодые астрономы, наверное, заставляют рассматривать девушек звезды не с романтической, лирической точки зрения, а с той точки зрения, какая звезда в какое созвездие входит. А железнодорожники, наверное, говорят о паровозах и сопротивлении материалов. Степан был строителем, и поэтому в основном они с Асей рассматривали объекты строительства. В этом смысле у них были совершенно неограниченные возможности, потому что вокруг них все время что-нибудь строилось, и каждый день он мог привести ее к очередному фундаменту и рассказывать, какое замечательное здание здесь будет. Почему-то больше всего они полюбили ходить к школе. В этих вечерних прогулках было совсем особое волнение и страшноватый холодок будущего, потому что эта школа была будущее Аси. Здесь она должна была учить своих ребят, когда школа достроят, и говорить о том, какой будет школа, значило говорить о том, что будет с Асей.

Впрочем, все это кажется особенным, необыкновенным и случившимся только с ними тем людям, которые по-настоящему любят друг друга. А такие случаи в истории человечества уже бывали. Ася и Степан просто не заметили, как уже построили клуб, как достроили новую школу, где она начала свою работу, как пролетели все эти месяцы, когда каждый из них с тревогой ждал вечера, пока не наступил самый главный вечер, когда они чуть не до утра пробродили по поселку.

На другое утро после этого решительного разговора с Асей, в котором они установили, что Степан не может жить без Аси, а Ася не может жить без Степана, Степан отправился к начальнику. Ему нужно было объяснить начальнику, какое невероятное событие произошло в его жизни, и погребовать отпуска на два дня себе и Асе, для того чтобы поехать в районный центр в загс. Загс, пожалуй, был единственным учреждением, которое на строительстве начальник не организовал. Когда его спрашивали почему, он отвечал коротко: «Если женятся, в райцентр съездят, а умирать никто не собирается...»

Грубо топая сапогами, Степан вошел в кабинет и, откашливаясь и краснея, объяснил начальнику, в чем дело. Он очень удивился, когда начальник немедленно вспомнил Асю, улыбнувшись, посмотрел на него общинческим взглядом и сказал:

— А ты, оказывается, умнее, чем я думал.

Степан уже немного зазнался; он получил свои четыре экскаватора и считал, что начальник очень высокого мнения об его умственных способностях. Поэтому с удивлением выслушал ответ. Но ему было не до таких деталей. Отпуск начальник дал и пообещал комнату в новом коттедже. В общезнании Степана жили одни парни, и Степан считал, что это совсем неподходящее место для молодой жены. Он не позволял Асе не только танцевать, но и разговаривать с другими ребятами, кроме ее первоклассников. Начальник также напросился на свадьбу, причем совершенно неожиданно предупредил, что ухаживать за Асей не собирается, так как она ему годится в дочки. Эта пронизательность уже окончательно потрясла Степана. Он боялся звать на свадьбу всех своих приятелей: у него все время было такое чувство, что стоит человеку увидеть Асю, как он тут же возьмет ее за руку и уведет навсегда.

Степан пообещал позвать начальника на свадьбу и пошел на объект. Там его ждал дядя Костя. Когда Степан подошел, то увидел, что экска-

ватор стоит тихий, молчаливый и грустный. Глупо и лучезарно улыбаясь, Степан спросил дядю Костю, почему экскаватор простаивает.

— Ненормативная температура, — сказал дядя Костя и дымнул трубкой. Дым минуту постоял в воздухе, как это бывает при очень сильном морозе, и начал медленно расплываться ватным облаком. Степану стало ясно, что если экскаватор сегодня не выполнит своего задания, то завтра уезжать в загс нельзя. Он посмотрел на градусник: температура была значительно ниже той, при которой разрешается эксплуатация экскаватора.

— Константин Гаврилыч, — сказал он, стараясь говорить начальническим тоном, что со стариком ему всегда удавалось трудно. — Работать надо. Мы же в Заполярье, привыкать надо.

— К Заполярию это вы привыкаете, Степан Алексеевич! — Гаврилыч опять затыкнулся. — А рисковать не положено.

Степан вспылил:

— Я начальник или вы начальник?

— Вы начальник, — сказал Константин Гаврилович. Он помолчал и прибавил: — Молодой, правда.

— Начинайте работу...

Гаврилыч посмотрел на Степана удивленно. До сих пор тот советовался с ним, считался, и они ладили. Но начальство есть начальство, и Константин Гаврилович отдал команду. Вокруг экскаватора зашевелились люди, зашелестел сухой смерзшийся снег, и несколько минут Степан с удовлетворением наблюдал, как его экскаватор работает при температуре, значительно ниже возможной. Потом раздался треск и звон. Тонкий стальной трос разорвался надвое, и его концы дрожали в синем холодном воздухе. Экскаватор вышел из строя...

Не глядя в глаза Константину Гавриловичу, Степан повернулся и пошел. Он не слышал, как Константин Гаврилович тихо сказал подручному:

— Зайду сегодня к начальнику, похлопотать придется. Он старый кореш, может, выручит парня.

На этот раз Степан ждал начальника долго. К тому все шли и шли люди. А потом начальник и секретарь партийной организации, выхватывая друг у друга трубку, сорок минут насмерть ругались по телефону с инструктором облисполкома. Тот предложил им соревноваться с рыбным траулером, который ходил довольно медленно, тем не менее назывался «Молния», и ловил треску. Начальник и секретарь доказывали инструктору, что громадному строительству соревноваться с траулером нелепо, что строители электростанции ничего не смыслят в треске, а моряки траулера ничего не смыслят в электростанциях... Инструктор и сам понимал, что это нелепо, но траулер «Молния» один остался без договора на соревнование и строительство тоже. После сорокаминутной беседы они в конце концов поладили на том, что строительство будет соревноваться с какой-нибудь другой ГЭС в Заполярье и возьмет шефство над «Молнией». Начальник встретил Степана очень утомленный и сердитый. Степан тоже устал за время ожидания. В ушах у него все еще стоял звон разорванного, ставшего ломким стального троса и немая тишина, которая наступила после этого звона, он все еще видел укоризненные глаза Гаврилыча. Он перебирал, бумага за бумагой, все свои документы, за которыми зашел домой по дороге в управление.

Все было позади: строительство ГЭС, четыре экскаватора, первая самостоятельная работа... Впереди был суд за нарушение элементарных правил и отработка тех нескольких тысяч рублей, в которые обошелся строительству его сегодняшней приказ.

«Влюбленный дурак», — твердил он себе. Конечно, только потому, что он явился к экскаватору, еще не придя в себя от счастья после длин-

ного разговора с Асей, после ее тихого «да» и обещания начальника, он мог отдать это нелепое распоряжение. Он тогда думал не об экскаваторе, не о строительстве, не о своей работе — только об Асе. И странно, он даже не думал о том, как он будет целовать Асю и как она положит голову на его плечо и ее нежные волосы расплещутся по подушке. Нет, об этом он не думал. Степан видел другое: он сидит за столом, читает, а она рядом проверяет тетрадки. Это было то, о чем он мог думать... Об этом он и думал тогда, когда велел пустить экскаватор.

Он прекрасно понимал, что совершил преступление и надо отвечать за него. Поэтому он вошел к начальнику гораздо смелее, чем сегодня утром, когда просил у него отпуск, положил документы на стол и коротко изложил, что произошло.

— Значит, заporол, — подытожил начальник. — Заporол... Сукин сын... — Он помолчал и прибавил: — Влюбленный болван...

Степан сел. Начальник вынул из ящика стола маленькие счеты и долго стучал круглыми белыми и красными костяшками. Они были похожи на детские игрушки, на бирюльки. Степан смотрел на прыгающие белые и красные костяшки и думал, что же сейчас они отсчитывают. Потом начальник отложил счеты, что-то записал на бумажке, аккуратно выводил каждую цифру, медленно закурил и начал ходить по кабинету. Он ходил долго, и Степану казалось, что вот так, с каждым шагом, уходит в прошлое все то хорошее, что было еще сегодня утром. Потом начальник круто остановился около Степана.

— Ступай, — сказал он.

Степан не понял. Повинуясь, он встал, глядя в лицо начальника непонимающими, широко открытыми глазами.

— Спишу я тебе эту аварию. Но только имей в виду...

Степан смотрел ему прямо в глаза и все не мог понять, что же говорит этот человек. Одной фразой он снова вернул ему счастье. И его вину принял на эти свои сутулые, немолодые, усталые плечи.

— Нет, — сказал Степан. — Это дело не пойдет. Вы же отвечать будете.

И начальник вдруг улыбнулся. Он улыбнулся так молодо, как будто позади этой минуты не было первых пятилеток и строительства Шатуры, когда он совсем молодым гасил подожженный торф, не было теплоты рукопожатия Ленина и звонков Серго, не было лихорадочных ночей позднего студенчества, не было бесконечных строек, срывов и побед. Не было Евстигнеева, не было многих лет трудной тяжелой работы ради того, чтобы на его земле смеялись и росли счастливыми дети. Начальник улыбнулся так, как никогда в жизни не умел и не мог улыбнуться двадцатидвухлетний Гриша, для которого этот старый человек приготовил комнату и койку и, обозлившись на которого, велел приколотить зеркало в уборной. Начальник подошел к Степану, положил руки ему на плечи и сказал очень тихо:

— Да, буду отвечать. Всю жизнь отвечаю. Иди...

Своими старыми руками с узловатыми пальцами он аккуратно сложил в стопку все документы Степана, подравнял края и отдал ему эту маленькую пачку. Степан вышел в приемную, посмотрел еще раз на дверь начальника, посмотрел на строгое пенсне Агриппины Аполлинарьевны, в котором прыгали солнечные зайчики. С грохотом сбежал по лестнице и остановился, только споткнувшись о сосну, разделяющую дверь. Сосна была холодная, замерзшая, от нее даже не пахло смолой, от нее вообще ничем не пахло, кроме сорокаградусного холода и смерзшейся древесины, но наверху, там, на втором этаже, сидел старый человек, который не позволил ее срубить.

У Аси никогда не было дома. То есть дом, конечно, был. Но как бы ни хорош был детский дом и какие бы добрые люди в нем ни работали, он все-таки остается детским домом. И даже когда добрая нянечка подтыкает под спину одеяло и воспитательница целует в щеку и гладит по голове, это совсем не похоже на то, когда сердится твоя собственная мать.

У Аси были отличные отношения со всеми в детском доме. Но больше всего она любила курчавую курносую девчущку со странным именем Ивонна. Имя это Ивонне не очень подходило. Но она была добрым, теплым человечком, и Ася отдала Ивонне все девчоночьи шепоты, все маленькие секреты...

К тому моменту, когда пришел срок выписываться из детского дома, — четырнадцать лет, — Ивонна вдруг изменилась. Ася и до сих пор была уверена, что в этом виновато именно имя, которое к чему-то обязывало, а к чему — Ивонна и сама не понимала. Тайком от детдомовского начальства Ивонна сделала перманент, хотя в этом не было никакой необходимости, у нее и так вились волосы, потихоньку выщипывала брови, напевала какие-то песенки про любовь, и, как только в радиусе хотя бы десяти метров от нее появлялся мальчишка, самый обыкновенный детдомовский мальчишка, с которым она вместе копала картошку, училась и проводила пионерские сборы, голос у Ивонны приобретал какой-то неестественный грудной тембр. Поворачивалась она почему-то одним профилем: кто-то ей сказал, что правый профиль у нее лучше, чем левый. И вообще Ивонна совершенно перестала быть сама собой.

Так потихонечку, полегонечку, совсем незаметно для Аси и Ивонны наступило отчуждение, и отчуждение такое глубокое, что его уже ничем, никак и никогда нельзя было преодолеть. Им всем предстояло выбрать свой жизненный путь... Ивонна, которая всегда училась не ахти как, на все Асины вопросы отвечала только одно: «Главное — чтобы было красиво», и пошла учиться на парикмахера.

Ася всегда училась хорошо. Она училась не для того, чтобы ее хвалили. Ей просто нравился самый процесс занятий. Нравилось, когда решалась трудная задача... Кроме того, она, вероятно, была самолюбива. Она не могла себе представить, что выйдет к классной доске и будет прислушиваться к подсказкам или вякать что-то невнятное. Поэтому она старалась. После семилетки Ася поступила в педагогическое училище. В училище она пошла не случайно. Начиная с шестого класса она работала вожатой. Ей нравилось возиться с малышами, и она придумывала для них самые неожиданные, как говорила их учительница, «мероприятия».

Когда она кончала училище, все девушки — а в училище были почему-то только девушки — очень радовались, что остаются в Москве. Они даже «переживали районы» — каждой хотелось попасть в тот район, который поближе к дому.

Всем этим девушкам Ася завидовала. Она завидовала по-доброму, пожалуй, даже сама не понимая, чему же она завидует. В училище они жаловались на самые разные вещи: на сварливых соседок по квартире и на то, что мама не позволяет приходить позже одиннадцати, на то, что отец выпивает, и на младшего брата, с которым приходится возиться, и на то, что надо бегать за покупками, или опять перед праздниками стирать и мыть полы...

Ася завидовала всему. Она завидовала комнате в коммунальной квартире, где есть сварливые соседки, с которыми, думалось ей, можно поладить. Она завидовала тому, что есть маленький брат, — с ним мож-

но поговорить, почитать ему или выучить его играть в шашки. Она завидовала тому, что можно убирать собственную комнату или стирать и крахмалить белые шторы,— майским утром они взвоятся, как парус. Она завидовала даже тому, что поздно вечером, нетвердо ступая, не глядя в глаза дочери, войдет подвыпивший отец и можно дать ему горячего чаю и прижаться к его виноватой руке... И уже совершенно невысказанно — она завидовала тому, что есть мама, которая не позволяет приходить позже одиннадцати.

Ее никто никогда и нигде не ждал. Она могла приходить в общежитие как угодно поздно и не услышать ничего, кроме равнодушного вопроса уборщицы: «Гуляешь?» Откуда ей было знать, что Ася ни с кем не гуляла, а просто бродила одна по московским улицам, заглядывая в окна, за которыми теплились оранжевые и зеленые абажуры, бесконечно завидуя тем людям, которые читали или пили чай под этими абажурами в своей семье, в своем доме и жаловались, что комната мала и они живут в первом этаже. Ася никогда не убирала своей комнаты к празднику, потому что в общежитии просто вывешивали лозунг «Да здравствует Первое мая!» и стенгазету, которая потом висела до ноября. И когда девушки в училище жаловались на то, что отец в праздник выпил, она мучительно морщила узенькие брови и пыталась вспомнить, какой же был ее папа, который, наверное, никогда не пил, никогда не обижал мать и которого убили в самые последние дни войны. Она не помнила о нем ничего, кроме запаха табака и тройного одеколона и того, что он был очень высокий. А может быть, просто казался ей таким, потому что она сама была очень маленькая? И она твердо верила в то, что отец никогда не пил, не ссорился с матерью, и соседи были бы добрые, и комнаты бы хватало на всех, и мама, наверное, жила бы до сих пор, а не умерла от рака, если бы папа остался жив.

Если бы Асе сказали, что она думает обо всем этом, она, наверное, очень бы удивилась. Она привыкла засыпать в шумном шепоте спальни детского дома, кончать вечер на собрании и встречать Новый год в клубе. Она привыкла обедать в столовой и никогда не иметь ничего своего, кроме платья и тапочек. Она всегда была с друзьями, с ребятами, с девушками, и ей казалось, что она и не знает, что такое одиночество.

Впервые она поняла, что такое одиночество, когда Степан однажды застрял на работе и явился в час ночи. Тогда она бродила по своему дому, который уже успела полюбить, и тосковала так, как еще никогда в жизни. Эта комната в шестнадцать метров (четыре на четыре) с окном, которое упиралось в заснеженные елочки, была ее первым настоящим домом.

Видимо, в ней проснулось то, что, оказывается, дремало где-то в самом дальнем уголке души, притихшее, примолкшее... Когда Ася впоследствии думала об этом, она сама не могла понять, что это чувство не прорастало на поверхность просто потому, что так складывались условия, или потому, что она не позволяла себе думать на эту тему.

Ася не понимала, как она успевала стряпать нехитрые завтраки и ужины, готовиться к урокам и давать эти уроки, обсуждать мировые проблемы со своими учениками и создавать этот самый первый в своей жизни дом.

Так как обнаружилось, что она совершенно не представляет себе, какую материю надо покупать на занавески, какие нужны скатерти и что такое соусник, к созданию Асиного дома подключились все продавцы маленького магазина строительства.

Почти каждый день в дом входили новые вещи. Это была то чертежная доска для Степана, то шторы на окно, то салфетки, которые было так уютно подрубать, пока Степан занимался, то половичок.

Степан часто получал премиальные, и в дом постепенно въехали широкая тахта, круглый стол, ножная машина и, наконец, гардероб с зеркалом. В нем помещалось все имущество Аси и Степана: белье, платья и даже нашлась полочка для посуды, конфет и печенья.

Омрачил присутствие гардероба в комнате только разговор с начальником, который, встретив запыхавшуюся Асю (впереди нее четыре человека несли гардероб), сказал: «А это тебе к чему? Ты же жена строителя». Но это быстро забылось, потому что у Аси было ощущение, что гардероб, хорошо поместившийся в углу комнаты и отражавший окно так, что теперь в комнате была уже не одна елочка, а две, встал тут навсегда, на всю жизнь, и всю жизнь она с удовольствием будет открывать его дверцы, вдыхая свежий, вкусный запах дерева...

Через два дня после того, как в комнате появился гардероб, Степан пришел домой не то чтобы взволнованный — взволнованным Ася не могла его себе представить, — но какой-то неуравновешенный.

— Поздравляй, — сказал он и поднял Асю на руки. Ася была очень маленькая, Степан громадный, с крупными руками, сильный. Он любил пользоваться, как он выражался, портативностью своей жены, и в тот день, когда она привезла гардероб, даже поднял ее и посадил на гардероб. Асе казалось, что это просто так, для смеха, а Степану хотелось проверить, может ли он взрослому женщину поднять, посадить на шкаф, потом снять оттуда. Оказалось, что может...

В этот вечер Степан приподнял ее, потом посадил на стул против себя и повторил:

— Поздравляй — везут четырнадцатикубовый!

Четырнадцатикубовый привезли через полтора месяца, и Степану было поручено собрать бригаду из самых лучших ребят и «обеспечить четырнадцатикубовый».

Ася вместе со Степаном ходила его встречать. Ей казалось, что подойдет платформа и с платформы, широко шагая разлапистыми ногами, слезет диковинная машина и тут же начнет делать чудеса. Но ничего подобного не произошло. Пришла не одна платформа, а несколько, и с них долго одну за другой сгружали замерзшие металлические доски и ящики с деталями.

С этой минуты Ася Степана почти не видела. На все ее вопросы и робкий лепет о том, что не худо бы сходить в кино и на танцы в новый клуб, он отвечал одно: «монтируем».

За это время Ася уже совсем сжилась со школой и чувствовала себя там почти как дома. Ася сама не понимала, за что ее так любят малыши. Она была с ними строга, не прощала ни одного непрigотовленного урока, а они любили ее. Она знала это. Весь класс просто ходил за ней по пятам. С ней советовались по самым серьезным вопросам: «бывает ли неправа бабушка» и «сколько лететь до Луны». Ася отвечала на все вопросы подробно, честно и абсолютно правдиво, а если на какой-нибудь вопрос она не могла ответить сразу, то так и говорила, что ответить не может, ей нужно для этого кое-что почитать, узнать. Так было, например, с полетами на Луну. Эту проблему они решили вместе с библиотекаршей Лидой, и она ответила на этот вопрос согласно последним имевшимся в библиотеке строительства источникам. Что касается бабушки, то она пошла, посмотрела на эту самую бабушку и убедилась, что эта бабушка и в самом деле могла быть неправа.

Она не знала о себе одного, того, что давно уже поняли в ней старшие учителя, того, что она жила жизнью ребят, всерьез принимая все их радости и беды, грустя вместе с ними и радуясь вместе с ними. Зато ее первоклассники отлично понимали, что двойка, которую она выводила в журнале, доставляет ей никак не меньше огорчения, чем им самим. Вот они и пыхтели изо всех сил, чтобы не было двоек.

Да что первоклассники!.. Получилось так, что очень скоро Асю знали чуть не все ученики в школе, тем более, что со старшими она была в одной комсомольской организации.

Это была странная школа, совсем не похожая на те, к которым мы привыкли в больших городах, где битком напиханы все классы от первого до десятого и где каждых классов много: А, Б, В... В школе на строительстве были самые разные классы. В Асином, например, первом было двенадцать ребят — не все матери решались везти таких малышей на Север. Зато во втором, третьем, четвертом, пятом было человек по двадцати. Десятого класса не существовало вообще. Десятиклассники так же, как и сын начальника, просто уже не могли расстаться с той школой, в которой они учились, они остались на прежних местах... В девятом было восемь человек: три девочки и пять мальчиков. Из пяти мальчиков трех звали Юрами, поэтому класс назывался «девятый Юр». Этот самый «девятый Юр» был главной движущей силой в школе, его слушались беспрекословно, с ним бежали советоваться, и учились там самые старшие и самые авторитетные товарищи.

Вечера — исключая те, когда были комсомольские собрания или педагогические советы (на которых Ася безуспешно доказывала директору, что в перемену школьникам надо не ходить парами, от этого кружится голова, а бегать или играть в жмурки, тогда они выплеснут накопившуюся энергию и тихо сидят на уроках), и кроме тех редких случаев, когда они со Степаном ходили в кино, — были посвящены дому.

Сидя под лампой с тем самым уютным зеленым абажуром, который казался ей когда-то недостижимой мечтой, Ася шила маленькие распашонки и обвязывала кружевом фланелевые чепчики. Однажды вечером, когда чепчик очень удался, в комнату ввалились Степан, дядя Костя и пять парней с множеством пакетов, которые содержали в себе закуски, бутылки с портвейном, кагором и прочими горячительными напитками.

— Собирай, жена, на стол, — сказал Степан, явно гордясь тем, что у него есть и жена, и стол, и что он может здесь, в присутствии этих людей, с которыми провел несколько бессонных месяцев, сказать эти слова.

Ася порывисто спрятала удавшийся чепчик в гардероб и начала накрывать на стол.

Объяснений не требовалось: совершенно ясно, что этот самый замечательный шагающий, который монтировали, смонтирован, кончен, готов. И пока Ася доставала посуду из гардероба, она подробно обдумывала, как завтра они со Степаном пойдут в кино.

В детском доме селедку всегда чистили Петя и Марат. Они состояли членами кружка юных биологов и уверяли, что лучше «препарировать рыбу», чем они, никто не сможет; — поэтому Асе еще никогда в жизни не приходилось чистить селедку, и Ася исключила селедку из меню своего домашнего очага. Она понимала, что неудобно спросить соседку, как это делается. Это не то, что распашонка, — каждая женщина рано или поздно шьет распашонку первый раз в жизни.

Разворачивая пакеты, Ася с ужасом обнаружила в одном из них две большие красивые селедки. Было ясно, что чистить их придется, тем более, что из комнаты уже доносился веселый бас Константина Гавриловича, который объяснял, что у него зажато пол-литра «белой» и что вот она сейчас «пойдет» под селедочку.

Ася взяла свой самый острый нож и, закусив губу, атаковала селедку. Это было ужасно: из селедки во всех направлениях, как из ежа, перли острые кости, на куски она не резалась и выскальзывала из рук. На кухню выглянул Степан. Он поглядел на истерзанную селедку, потом заглянул в полные отчаяния мокрые Асины глаза.

— Вторая есть? — лаконично спросил он. Утешать было некогда — гости уже требовали ужина.

Так начался очередной вечер Асиных мучений. Степан уже не раз сердился на Асю за неподобающие хозяйке действия. Ася считала, что надо всю имеющуюся еду делить поровну и раскладывать по тарелкам: толстый кусок колбасы, сыра, селедку, а сбоку пряник и яблоко — так всегда делали у них в детском доме. И Степан никак не мог ее убедить, что надо поступать иначе. Сегодня споры продолжались, и Степан то и дело бросался на кухню, чтобы привести все в порядок. Когда Ася заглянула в коробку с крабами и спросила тоненьким голосом: «А это что — розовое?» — Степану стало нестерпимо жаль ее, но через минуту он уже снова сердился на нее. Когда гости ушли, Ася долго плакала в кухне над горой грязных тарелок. Степан заснул немедленно.

Утром в Асином классе царила полная тишина. Она сообразила это только потом; когда шла из школы домой. Вспомнила пронизательные взгляды — они, конечно, немедленно определили, что Ася Николаевна плакала, и сидели тихо, как мыши. И в этот день те, кто провожал ее, — а ее всегда провожали несколько человек — тоже разговаривали особенно тихо, сдержанно и в снежки не играли.

Когда их голоса смолкли за дверью, Ася разделась, положила тетради и села к столу. Сейчас это был обычный стол, покрытый чистой скатертью, и посередине стояла даже ваза с еловыми ветками. Ничто не напоминало о том, что этот стол — вчерашнее поле сражения.

Совершенно ясно: теперь Степан бросит ее. Ведь он не раз посмеивался над ее кулинарными способностями, а она даже не обращала внимания. Кому же нужна жена, которая не умеет накрыть на стол, спечь пирог, почистить обыкновенную селедку? Ну, почему она не ходила на кружок кулинарии или кройки и шитья? Девочки пекли пироги на конкурс, шили себе платья, а она все читала, читала или возилась со своими пионерами.

Ася еще раз оглядела комнату. Еще вчера она была такая счастливая...

Вчера утром Степан пил с ней чай, потом ушел. Она убралась дома, побежала в школу, и на каждом шагу ей говорили: «Здравствуйте, Ася Николаевна!» И в классе тоже было тихо, только иначе, чем сегодня: сегодня было грустно тихо, а вчера весело тихо. И Витька Захалдеев хорошо разобрал задачу...

Ася вздохнула. Пора идти в столовую. По дороге она зашла в книжный магазин и с таким выражением лица, с каким бросаются в ледяную воду, спросила, нет ли случайно книги, как готовить. Продавщица сказала, что этих книг на строительство забросили всего несколько. Потом порылась под прилавком и торжественно извлекла толстую книгу с множеством красочных картинок, изображающих накрытые столы.

Значительно приободрившись, Ася побежала в столовую, но Степан обедать не пришел. Вечером он явился очень поздно, мрачный, как туча, и сел за стол, ни слова не говоря. Ася с ужасом наблюдала за ним. Он даже не заметил, что стол был накрыт почти совсем так, как на картинке в книге. Почти — так как множества предметов, необходимых для сервировки по всем правилам, у Аси не было. Он ел, а Ася стелила постель, боясь, что опять заплачет. Но он вдруг оттолкнул тарелку и подошел к Асе. В нем было что-то беспомощное, и Ася, встав на цыпочки, погладила его по голове.

— Ничего я не умею, девочка, — жалобно сказал Степан. — Вчера пили, гуляли, а сегодня, думаешь, работает? Ни черта подобного — барахлит.

Ася долго утешала Степана, уговаривала, пока он наконец не уснул у нее на плече.

Четырнадцатикубовый «барахлил» долго. Он отказывал то тут, то там, и день, когда он впервые вступил в строй, прошел совершенно буднично, окончился в четыре часа утра, и Степана только и хватило на то, чтобы прийти и повалиться на тахту. Даже есть он не мог, так устал.

На другой день все строительство смотрело, как работает четырнадцатикубовый. Вот тут-то Ася поняла, что она важная личность среди окружающих. Она не только стояла в толпе и смотрела со стороны на мудрую, хотя и нескладную на вид машину,— Степан повел ее внутрь. Внутри четырнадцатикубовый был похож на комнату со множеством приборов. Потом Степан вывел ее на мостик, и Ася увидела, как ковш зачерпывает землю и плавно, медленно, уверенно сбрасывает ее под откос. Спустя некоторое время Степан сказал: «Сейчас шагать будет, увидишь». Ася вылезла из экскаватора и отошла в сторону. Ей все время казалось странным, что толпа стоит неподвижно, и она боялась, что ей помешают идти рядом с экскаватором, что она отстанет от него. И опять получилось все совсем не так, как она ожидала. Шагающий поднял одну лапу, чуть-чуть покачнулся в воздухе — если вообще эта махина могла качаться — и передвинулся метра на два от того места, где стоял до сих пор. Это и был его шаг. Нельзя сказать, чтобы Ася была разочарована, чтобы она ждала, что экскаватор уверенными и твердыми шагами отмахает этак сразу километров пятнадцать, но все-таки то, что шаг оказался таким маленьким, ее огорчило. Она даже вспомнила, как Гриша говорил: «Шагающий — это не генеральная линия развития технической мысли». Впрочем, это было только в первую минуту. Потом она привыкла к шагающему, и он стал для нее чем-то привычным, домашним. Она носила туда Степану еду и вбегала в экскаватор почти с тем же чувством, как в собственную комнату с елочками. Так же исчезло у нее и то ощущение, что четырнадцатикубовый похож на какое-то допотопное животное с громадным хоботом.

Но настал день, когда Ася не смогла пойти ни в школу — а в школу она ходила до последнего дня,— ни к экскаватору с обедом для Степана.

Этот день начался в пять часов утра, и Степан, совершенно не похожий на обыкновенного спокойного Степана, смешной, милый Степан, которого с этого дня Ася знала одна на всем свете,— с белыми губами, с большими трясущимися руками, помогал ей одеваться и вел ее в больничный городок, а она всю дорогу успокаивала его...

Ни на какое другое имя Ася не согласилась, и мальчика назвали Степкой. Степан утверждал, что это самый горластый мальчик в мире, и Степан-младший всячески старался оправдать свою репутацию. Он орал, когда хотел спать, орал, когда хотел есть, орал, пока Ася готовила ему купание. Потом засыпал совершенно неожиданно в самом разгаре крика. И Ася, изнеможенная, опускалась на стул подле его кровати.

Время декретного отпуска подходило к концу, а мать Степана, которую они так ждали, не приехала. Из письма выяснилось, что у жены брата Степана родилась двойня и мать по справедливости осталась в Москве помогать жене старшего сына.

— Перешибли...— огорченно подытожил Степан. Он с нетерпением ждал мать, а теперь совершенно неизвестно, когда они увидятся. Кроме того, было еще другое, то, в чем Степан не признался бы не только Асе, но даже самому себе: он ревновал мать к брату. Ревновал всю жизнь, с самого раннего детства. А брат был высок, весел, ловок, удачлив. И учился он хорошо. И уже в первом классе, когда мать привела Степана в школу, директорша Лидия Петровна сказала ему: «Я надеюсь, что ты будешь так же хорошо учиться, как твой старший брат». И с тех пор каждый год все учителя, во всех классах напоминали ему о брате и приносили эту же самую фразу. И все соседки во дворе, стояло Сте-

пану покричать погромче или попасть мячом не туда, куда следует, сейчас же напоминали, что Сереженька так никогда не делал, хотя это была сушая неправда: Сереженька делал точно так же, а иногда и похуже. И дома мать говорила: «Смотри, Степа, какой у Сережи всегда порядок на столе».

Теперь у Степана наконец появилось преимущество перед братом: он жил в Заполярье, Сергей работал в Москве. Было ясно, что мать приедет к нему, и вдруг, будьте любезны, — двойня! И главное, в письмах Сергей ни слова даже не упомянул, что жена ждет ребенка.

Степан несколько дней ходил сердитый, ворчал на Асю, но потом пришло следующее письмо от брата. Оказывается, жена Сергея, Зина, взяла с него слово молчать. Это была уже не первая ее беременнность, и все оказывались неудачными. Она болела, два месяца лежала перед родами в больнице. И эти близнецы — мальчик и девочка — были чудом, их первыми и последними детьми. Чудом было и то, что они родились, и то, что Зина осталась жива.

Степан читал письмо долго, подозрительно отворачивался и размякшим голосом сообщил Асе, что брат назвал сына тоже Степаном. Потом он отправился на телеграф и послал брату, невестке и матери телеграмму, состоящую из сорока восьми слов и пяти восклицательных знаков.

В этот же вечер Ася вдруг узнала, что Степан ничего не понимает в ее жизни. Он сообщил ей, что заработок у него высокий и, по его мнению, раз мать не приедет, ей, Асе, надо оставить работу и всецело посвятить себя сыну. В ясли он Степку не отдаст... Все... Точка...

После своего монолога Степан впервые увидел то, что уже отлично усвоили каждый мальчишка и девчонка из Асиного класса: хуже не бывает. Ася замолчала.

В классе, стоило ей замолчать вот так — на две минуты, наступала полная тишина. А на переменах виновные ходили на цыпочках и канючили нудными голосами: «Ася Николаевна, мы больше не будем!..»

Степан же не знал, что делать в этих случаях. Ася молча выкупала Степку, молча накормила его, молча уложила спать, и Степка в этот вечер орал очень мало и уснул немедленно. Ася так же молча собрала ужин, молча убрала со стола и молча села в углу с книгой подле лампы.

— Ася... — начал было Степан, но Ася закрыла книгу и ушла на кухню стирать пеленки. Степан попытался было помочь ей, но почувствовал, что в его помощи совершенно не нуждаются. И ведро снять с плиты могут сами, и корыто поднять тоже. И Степан ушел обратно в комнату, где довольно бесцельно притворялся перед самим собой, что читает.

Разговор начался в два часа ночи. На другой день Ася подала заявление в ясли и через неделю начала ходить в школу. Если бы Степан видел, что делалось в классе в этот день! Какой неопишуемой красоты были написаны диктанты! А у мальчиков вымыты не только уши, но даже за ушами...

Вероятно, Степан, если бы видел все это, еще больше сердился бы на себя за тот разговор... Как это он сказал? «Все. Точка». Болван! Но он видел только подарки: довольно корявую распашонку и варежки, которые могли налезть ему разве что на один палец... Ася аккуратно спрятала их в шкаф. Жизнь снова пошла своим ходом. Утром Степан относил Степку в ясли, а Ася шла в школу... На обратном пути она забирала сына. Кипу тетрадок нес дежурный, важно топя рядом с ней маленькими валенками.

В яслях Степку приучили развлекаться самому — играть с целлюлозной уткой, и Ася с сосредоточенным видом проверяла тетради под его воркованье.

Но по-настоящему Степан понял, что он собирался натворить, только тогда, когда Степка захворал. Ася не отходила от сына, и Степан, уходя из дому или возвращаясь, неизменно заставал у двери (вход в дом был запрещен из-за боязни инфекции) топчущиеся фигурки. Просто удивительно, сколько они задавали вопросов. Степан должен был подробно объяснять, как здоровье Степки, какая у него температура, нет ли сыпи, что говорит доктор и когда же Ася Николаевна наконец придет в школу.

Болезнь оказалась гриппом, и через неделю Степку стали опять носить в ясли. Но Степан, проходя по улице, обязательно слышал: «Здравствуйте, Степан Алексеевич!», что означало — его признали и держат за своего. Однажды в него угодили снежком, кстати, довольно крепким и брошенным явно опытной рукой, но тут же он услышал шепот: «Балда, это же муж Аси Николаевны!» Это было совершенно новое ощущение, когда про тебя говорят: «Он ее муж». Но фигурки были такие маленькие и так испуганно растаяли в темноте, что Степан не мог рассердиться. Он ничего не сказал Асе об этом происшествии. Но на другой день она, морща губы, чтобы не улыбнуться, передала извинение — в темноте, мол, не разобрали, что это он. Степан спросил: «А в других можно?» Ася неопределенно хмыкнула и заметила, что вообще это чистая случайность: люди играли в снежки между собой, и они совершенно не виноваты, если всякие взрослые ходят по улицам. И вообще, если не хочешь, чтобы в тебя угодили снежком, смотри сам. Полярная ночь все-таки, темно...

Прошла еще одна длинная полярная зима, и наступила весна. Днем уже часа два было светло, и снег падал мягкий и теплый. Степке купили галоши на валенки, и он произносил множество непонятных звуков, в которых, впрочем, отлично разбиралась Ася.

Асины ребята готовились к ответственному переходу в третий класс, и сосредоточенные, внимательные лобики, немигающие глаза на уроках успокаивали Асю: «Не подведут!»

Степана вызвали к начальнику. Он шел, недоумевая. Что случилось? Все в порядке, шагающий систематически перевыполняет норму, находится в полной исправности.

Начальник встретил его в кабинете, усадил в кресло и угостил своим табаком. Степан закурил и вопросительно посмотрел на него.

— Ну что? Что смотришь? — улыбнулся начальник. — Все!

— Что все?

— Все. Шагающий план закончил.

Только в эту минуту Степан понял, что произошло. В сущности, он давно знал это, знал план работ, видел, что он идет к концу, но он забыл, просто-напросто забыл об этом. День шел за днем, они работали и работали...

— Так как? Останешься достраивать со мной или вот просьба: бригаду шагающего направить вместе с ним на новое строительство. Как смотришь?

Степан не помнил, как он шел из управления. Знакомые улицы строительства, новый клуб, кино — все это должно было уйти из его жизни, и все начнется сначала, опять в тундре или в степи, где он со своими ребятами снова начнет монтировать шагающий.

Он пришел домой, молча поужинал и, так ничего и не решившись сказать Асе, лег спать. Спать! Кто придумал это волшебное занятие! Он лежал и слушал тихое дыхание Аси и Степки и думал, думал. Да, он строитель и всю жизнь хотел быть строителем. И всю жизнь больше всего на свете он любил ездить. Ему казалось, что предел блаженства — залезть на верхнюю полку в поезде, зажечь маленькую лампочку, которая будет освещать страницы книги, и читать под стук колес. Он любил даже

маленькие речные пароходики. На них так вкусно пахло краской и чистотой. Он любил незнакомые ночлеги, и ему казалось, что чем больше ему придется переезжать в жизни, тем больше он будет этому радоваться. И вдруг он понял, что этот дом, который они создали с Асей, гардероб с елочками в углу, с сонным дыханием Степки и с чистой скатертью на столе уже не повторится никогда больше. Он понял, что он строитель, а его жена — жена строителя. И что им суждено всю жизнь переезжать с места на место и расставаться с хорошими людьми. А переезжать придется все чаще, так как строить они будут все быстрее. Скажем прямо, его шагающий уже, в общем, вымирающее животное.

Весь следующий день он ходил сумрачный и злой и приглядывался к людям так, как еще никогда не приглядывался. Он понимал, что с собой в бригаду шагающего надо брать только самых лучших. Ему было до смерти жаль начальника, к которому он действительно привязался, и Евстигнеева, который говорил всегда неожиданные вещи. Он ходил как в тумане, пока не наткнулся на дядю Костю. Дядя Костя попросту взял его за пуговицу и увел в темный угол. Там они поговорили. И все сразу стало ясно. Стало ясно, что дядя Костя едет с ним. И кого из рабочих отбирать, и кто годится на шагающий, и кто не годится. И что начальник — человек действительно хороший, но не единственный. А на счет гардероба дело, как дядя Костя выразился, действительно незаконное, и гардеробы строителю не положены. И что все это так ясно, и так просто, и так само собой разумеется, а строить страну надо, и работы еще надолго, и что механизмы будут совершенствоваться, а людям по-прежнему будет трудно расставаться с людьми, к которым они привыкли, но ничего с этим не поделаешь.

На другой день вечером, когда Степка, набегавшись за день, уснул, он наконец отважился сказать Асе: «Послезавтра начинаем демонтаж. Здесь кончили».

Он долго утешал Асю и наконец, когда ему показалось, что она уснула, уснул сам.

Но Ася не спала. В комнате было светло от фонаря на улице. Она лежала, думала, всхлипывала... За несколько минут на ее глазах медленно выползли из комнаты, чтобы уже никогда больше не вернуться, громоздкие, неперевозимые предметы, недоступные для жены строителя: ножная машина и гардероб, в зеркале которого отражалась елочка. Вот когда она вспомнила слова начальника! Да, она жена строителя. Ей суждено всю жизнь приезжать туда, где начинается строительство, ждать, когда войдут в строй клуб, кино, баня, больница, и уезжать, когда их достроят. Ей суждено всю жизнь въезжать в новые комнаты и устраиваться в них, а потом уезжать из них тогда, когда проведут теплоцентраль. Ей суждено всю жизнь расставаться с друзьями. Ей суждено всю жизнь начинать учить детей в маленьких, наскоро сколоченных школах и уезжать, не доучив, не увидев, как они станут большими. Ничего не поделаешь — она жена шагающего. Ася плакала молча, не замечая, что плачет, не вытирая слез..

Сестры мои! Все мы жены шагающих. Невесты летчиков и горняков. Матери солдат и геологов. Дочери моряков и садоводов. Все мы жены шагающих.

Начальник строительства дрался с козой. Коза то отскакивала на своих точеных ножках, то насакивала на начальника строительства, стараясь побольнее пырнуть его рогами в большой, грузный живот. Вслед за ней, точно повторяя материнские движения и грозно размахивая маленькой головой, прыгал козленок. Вместо рогов у него были только бугорки, и поэтому общественность была явно на стороне козы. Наконец одна из женщин не выдержала.

— Хватит тебе, начальник,— сказала она.— Смотри, какое построил, а все с козами дерешься.

Федор стоял чуть поодаль, наблюдая необычную схватку. Потом, когда понял, что драка затягивается, поставил чемодан на землю и сел на него. Все происходило совсем не так, как он ожидал. Он думал, что важный начальник примет его в кабинете, а перед этим он будет несколько часов ждать в приемной.

Наконец сердитый, тяжело дышащий начальник обратился к нему:

— Ну-с, а вам чего надо, юноша?

— Я насчет работы,— сказал Федор.— Эксплуатационник, приехал электростанцию принимать... Мне бы насчет жилья...

— Ну, может, и примете,— вдруг рассмеялся начальник.— Электростанцию мы вам отгрохали дай бог. А насчет жилья — выбирайте любой коттедж и селитесь. Места хватит. Женаты?

— Еще нет,— растерявшись, сказал Федор.

— Пора, пора,— неожиданно нахмурился начальник.— Вас тут народу мало будет. А жениться надо толково. Ну, ладно.

Он вдруг подошел к женщине, которая держала на руках уставшего в боях козленка, ткнул его пальцем в крутой теплый лобик и не спеша пошел к двери с надписью «Управление», которая делилась пополам невысокой сосенкой.



СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

МОГИЛА МАТЕРИ

Ни креста, ни камня даже
На могиле этой нет,
И никто мне не укажет
Никаких ее примет.
Бугорок, с другими смежный,
Был на ней, но в долгий срок
Много вод умчалось вешних —
И сравнялся бугорок.
Только гнет травинки ветер,
Только... сжало грудь тоской.
Словно не было на свете
Русской женщины такой,
Словно в муках не рожала
Шестерых детей она,
Не косила и не жала,
Сыновей не провожала,
Не тужила у окна.
Мне совсем бы стало горько,
Если б край, что нет родней,
Каждой тропкой, каждой горкой
Память не будил о ней.
На озёрках, на елани,
За логами у леска
Кто не видел с самой рани
Темного ее платка?
С ребяташками по-вдовьи
В поле маялась она —
Щипачева Парасковья,—
На полоске дотемна
Ставила, не зная лени,
За суслонами суслон...
И упал я на колени
Той земле отдать поклон.
Пусть к далекой той могиле
Затерялся в мире след,
Знаю, мать похоронили
В той земле, что легче нет,
В той земле, в родной державе,
Где звучит мой скромный стих,
Где теперь высок и славен
Труд ушедших и живых.

И когда свистят метели,
 Снова думаю одно:
 И над ней они летели,
 И в мое стучат окно.

СЫНОВЬЯ

У меня два сына. Младший —
 На заводе, полюбил металл,
 Труд и славу индустрии нашей.
 Старший парень живописцем стал,
 Вечно в красках, вечно взбудоражен
 То своим, то чьим-то полотном.
 Младший — слова лишнего не скажет
 О своем заводе номерном.
 По-отцовски оба супят брови,
 У обоих тот же глаз прищур,
 Только я не в сходстве, не по крови
 В них родное, близкое ищу.
 Пусть до горести люблю обоих,
 Но не им одним — мой сердца пыл:
 Я бы Павлика закрыл собою,
 Если б с ним в тот час жестокий был,
 Не храбрец, но бледный, молчаливый,
 Стал бы к шахте страшной — ждать конца,
 Только б в мире бились их сердца.
 Кто в отваге юных сосчитает
 На шести материках земных!
 От Канады до морей Китая
 Сколько их, мне близких и родных!
 В их глазах блещут не солнца блики —
 Нашей правды дерзкий огонек.
 С этой правдой, трудной и великой,
 Я не буду в мире одинок.
 У меня два сына. Все суровей,
 Все нежней люблю их и больших,
 Ведь не только по родной мне крови
 Я считаю сыновьями их.



КАРЛО КАЛАДЗЕ

★

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

ВСТУПЛЕНИЕ К КНИГЕ

Слова простые не приходят сразу,
Пока придут — польется пот со лба;
Из них не выдуешь пустую фразу,
Они тебе — не медная труба!

Светает, тишина... Так в самом деле
И напишу: «Светает, тишина...»
С читателем, как старый Церетели,
Сойдусь, чтоб пошутить, так просто, без вина.

Я чаще жизни рад, чем горем согнут,
Улыбку на лице не признаю грехом.
Но если у меня вдруг слезы в горле дрогнут,
Пусть пальцы тоже дрогнут над стихом.

Я счастлив тем, что с первых рифм, с рассвета
Жизнь посвятил грузинскому стиху;
Родное слово с грешного поэта
Чужих наветов смоем шелуху.

Печаль придет — мы заполночь проспори́м,
Пока я ей свое не докажу!
Со всем, что есть, — и с радостью и с горем —
Я будний день на горб себе грузю.

И если сердце без оглядки бьется,
Моих годов разматывая нить,
То у меня язык не повернется
Его за нерасчетливость винить.

У сердца на бессмертье нет расчета,
Его земная оболочка — я.
Без отдыха идет его работа
В моей груди. А отдых — смерть моя.

Все знает сердце: где я был поэтом,
Где не был, где пылал, где слезы лил;
Но что бы ни стряслось, всегда при этом
Свой хлеб с друзьями пополам делил.

ГЛАЗА

Уже давно прощальная слеза
Упала над могилою отца,
Но я уверен, что его глаза
Со мною, здесь, остались до конца.

Здесь, на земле, живут они со мной;
Но самому мне вечно жить нельзя,
И, как отец, я в час предсмертный мой
Глаза свои оставлю вам, друзья!

Пусть на земле досмотрят за меня
Все, что любил и что не доглядел,
И тихо догорят, как два огня,
Там, наверху, среди людей и дел.

МОЙ ДЕНЬ

Я за солнцем не гонюсь,
Взглядом друга обойдусь,

Да ущелья тишиной,
Да небес голубизной,

Да кувшинчиком вина,
Опорожненным до дна.

Мне до самой смерти лень
Жизнь делить на свет и тень.

Я люблю мой день — сегодня,
День обычный, день как день!

ПРИТЧА О ГУДА И ГУДА-СТВИРИ¹

Эта притча со мной бывает
Всегда в трескучую ночь зимой,
Огонь в очаге языком болтает,
Довольный, что я вернулся домой.

И, словно два домовых, из тени
К огню ковыляют два бурдючка;
Без спроса лезут мне на колени,
Суют мне под мышку свои бока.

Один, от воздуха задыхаясь,
Дудит из-под мышки в свою дуду,
Другой, как пьяница, колыхаясь,
Ждет, пока я стаканы найду.

¹ Гуда — бурдюк с вином. Гуда-ствирн — народный инструмент, сделанный из бурдюка. На нем играют, зажав его под мышкой, постепенно выпуская из него воздух через вделанный в бурдюк рожок.

Один, похудев, стаканы наполнит;
Другой, потолстев, опять запоет,
Один, чтоб я выпил до дна, напомним,
Другой — не успеешь моргнуть — дольет.

Один мне сплетен полное ухо
Сладким голосом наворчит,
Другой, наклонясь отощавшим брюхом,
Заглянет в стаканы и забурчит.

Один меня хвалит. Другой наливает.
К ним в лапы попал до утра я в плен.
Огонь, как ни сердится, ни пылает,
Не может согнать их с моих колен.

Но утром, когда в очаге лишь уголь,
А ночь улетела с огнем в трубу,
Двое друзей, истощив друг друга,
Заснут, не жалуясь на судьбу.

Один без вина до новой полочки,
У другого всего две ноты на дне;
Свесив свои короткие ручки,
Спят бурдючки, привалясь к стене.

Если мы вновь возьмемся за дело,
Придется приятелей разбудить:
Одному наполнить душою тело,
Другого до горла вином долить.

Раз по душе тебе наш обычай,
К нам к очагу присядь хоть на час.
А смысл этой притчи, как многих притчей,
Пусть выяснит тот, кто мудрее нас.

СЕМЬЯ СПРАВЛЯЕТ РОЖДЕНИЕ СЫНА

У Ташискарн ночью над Курой
Я тамада — и время не теряю!
Луна и та согнулась в рог крутой,
Рог, что я поднял, в небе повторяя.

Ночь над столами листьями шуршит
И лампами мигает прямо с неба.
Хозяйка, добрая душа, спешит
Подать нам мяса, зелени и хлеба.

В семье родился мальчик, первый внук.
И старый плотовщик из Алхадаба
Горд, что у сына — сын, и все вокруг
Пьют и толкуют, что давно пора бы!

И я, я тоже рад тебе, малыш:
Из-за тебя весь этот пир бессонный,
Мой черноглазый камешек — голыш,
Самой Курой на берег принесенный.

Так хорошо, что хоть останови
Мгновение, не пожалев об этом...
А мать с отцом — как две строки любви
В стихах, срифмованных на зависть всем поэтам!

Пусть ставят колыбель перед столом,
Чтоб тост в горах гремел, как перестрелка;
Мы песней ночь пробьем! И пулю пробьем
Закинутую под небо тарелку!

Переводы с грузинского Константина Симонова.



МИХАИЛ ДУДИН

★ ★
★

Как лодка, русло открывая,
Ударом плавного весла,
Плывет моя сороковая,
Сквозящей зелени, весна.

Под нею солнце в глуби тонет,
Перевернув с собой зенит,
Над нею чибис в небе стонет
И тонко ласточка звенит.

Опять весенние дороги
Зовут меня: — Спеши, иди.
Там сзади — мели и пороги,
И водопады — впереди.

Все было — и любовь, и войны,
И поцелуи, и бои,
И за грядущее спокойны
В курганах сверстники мои.

Ровесники Советской власти,
Романтики высоких лет.
Я узнаю друзей по страсти
И по огню иных примет.
Из них любой на дело послан,
Любой в делах не боязлив.

А лодке плыть, и пенить веслам
Весенних паводков разлив.



С. ГОЛУБОВ

★

ПТИЦЫ ЛЕТЯТ ИЗ ГНЕЗД

О детстве и юности великого болгарина Христо Ботева,
о друзьях и недругах его ранних лет

Роман

Только для тех сохраним наше удивление, которые, опережая свою эпоху, имели славу предусматривать зарю грядущего дня, имели мужество приветствовать его приход.

Чернышевский.

Глава первая

Ученый комод

Шагая вдоль белых акаций по гранитным мостовым прямых одесских улиц, вовсе не трудно выйти наконец и на Ямскую — улица с общего вида не очень-то авантажная, но как бы по особому назначению служащая высоким целям: искусство, правосудие, наука. Вот «Депо экипажей» герра Шварца с изображением на жестяной вывеске поверх ворот ярко отлакированного тарантаса — искусство. Вот земский суд в маленьком белом домике под золоченым орлом — правосудие. А вот и гигантский каменный комод, дом Новицкого, уже несколько лет снимаемый казной под Вторую одесскую гимназию, — наука.

Желтая краска густо покрывает стены ученого комода. Внутри — многоэтажный лабиринт полутемных коридоров с комнатами направо и налево. В комнатах — залитые чернилами скамейки и на них дети в сюртучках со стоячими красными воротниками.

Классы в гимназии начинались с девяти утра; сейчас шел первый урок. Черноволосый мальчуган стоял возле учительского столика и старательно выговаривал с неуловимым оттенком чего-то нерусского в произношении:

— Естественная история есть наука, занимающаяся изучением природы. Природою называется все, что создано богом. Природа разделяется на три царства...

Круглые, как луковки, глаза учителя естественной истории с удовольствием прикрылись: он был доволен ответом.

— Вижу, Главанаков, что знаешь, жуки-мухи тебя заешь!

— Цибуля! Цибуля! — донеслось из глубины класса.

Толстое тело учителя вздрогнуло, он выпучил глаза.

— Эй, вы, черви-кашееды! Тише там! Мол-чок!

Однако шум не прекращался.

С. Голубов работает над циклом произведений из истории болгарского народа — освободительного движения XIX века. Общее название цикла — «Вставайте, братья!». Публикуемый роман представляет собой первую книгу цикла.

— Цибуля!

— Тьфу-у!

Учитель плюнул, растер плевков подошвой большущего сапога и проворно выскочил из-за столика. Однако и это не испугало учеников: они отлично знали, что Цибуля — знаменитый ругатель, отчасти драчун, но до порки дело никогда не доводит.

— Эй, Цибуля!

Учитель так ткнул ни в чем не повинного Главанакова, что маленький смуглый болгарин мячиком перелетел через класс.

— Садись, собака, на место, — заревел Цибуля сильным басом, — не то как хвачу тэбэ за лоб!

И затем с необыкновенной быстротой и поворотливостью врезался между скамейками.

— А ну, ты, отвечай! — тыкал он в плечо или в голову то одного, то другого ученика. — Отвечай! Ан не так, ей-богу, не так!

— Эй, Цибуля!

Он с новой яростью тыкал в чью-то голову.

— А ну, ты, отвечай! Врешь, не так, ослиное ухо!

Класс гудел. Теперь уж никто не стеснялся, а каждый вопил:

— Цибуля! Лукерья!

Учитель вел бой.

— Эй, ты, свиное рыло, там, на четвертой скамье! Повтори, что я сказал! Не можешь? Свиныя допоухая — вот ты кто! В ушах-то у тебя сквозняк: в одно влетит, в другое вылетит... А ты, плюгаш-лягаш рядом со свиным рылом, повтори!

Плюгаш-лягаш хохотал во все горло, но повторить не мог.

— Коли так, продолжай опять ты, ослиное ухо!

И, схватив мальчишеское ухо, учитель принимался крутить его, как судомойка тряпку... Между тем урок подходил к концу. Утомленный Цибуля, тяжело дыша, грузно переваливаясь на коротких ногах, отступал к своему столу. Класс звенел смехом и веселыми восклицаниями:

— Эй, Цибуля!

Цибуля стоял у стола с раскрытой книгой в руке. Это был учебник Ю. Симашко под названием «Фауна». Дубовый палец Цибули бродил по развороту книжных страниц, делая на нем отметки черным ногтем.

— Отселева, — орал учитель, изо всех сил стараясь перекричать класс, — доселева!

Белобородый старец, весьма и весьма похожий на древние византийские иконы, — с плоским безжизненно-желтым лицом, лысой, как репа, головой, длинным греческим носом и губами, тонкими, как шнурок, — беззвучно шаркая ногами, входит в класс. Тихо... Так тихо, что можно без труда услышать, как под ступнями невесомого страшилища болезненно вздыхает гнилой пол. Пахнуло могильной сыростью. Этого никогда не бывает при Цибуле. Хлам и Цибуля совсем не одно и то же. Ученики смертельно боятся Хлама, ибо не было в гимназии учителя беспощаднее, чем он. И так среди смиренной тишины Георгий Иванович Феодориди не спеша занимает свое место за столиком.

— Главанаков, — беззвучно произносит он, — иди сюда. Стань здесь.

Смуглое лицо болгарина белеет от жестокого страха. Так всегда начинается «это». Однако мальчик встал со скамейки и вышел вперед.

— Есть полип, — сказал Георгий Иванович. — Полип? Что такое полип? Это грязный нарост из настоящего на прекрасном, светлом теле прошлого. Если резать полип на кусочки, то все будет полип и будет жив. Вот и ты, Главанаков, не мальчик, а полип.

— Почему я полип? — с отчаянием в голосе осведомился болгарин. — Почему, Георгий Иванович?

— Сейчас увидишь. Задано было от третьей строки сверху на сорок седьмой странице до четвертой строки снизу на сорок девятой. Отвечай с десятой на сорок восьмой. Что? Молчишь? Тебя надо сечь, резать на кусочки, как полип, сечь, сечь...

— Я... я... я знаю, Георгий Иванович,— в ужасе прошептал Глава-наксв.

Хлоп! Внезапная оплеуха опрокинула мальчика. Затылок его с силой ударился о ближайшую скамейку. Многим в классе показалось, будто арбуз треснул. Хлоп! Хлоп! Двигаясь между партами, как боевой корабль, Хлам распространял побоище. И, расточая удары по детским потылицам, неудержимо свирепел от сочных арбузных тресков. Хлоп! Хлоп! Иногда он становился в позу — одна нога, длинная, тонкая, остро согнутая в колене, вперед, другая вытянута далеко назад. Зажав линейку в поднятой кверху руке, он походил в такие минуты на древнего воина, готовящегося метнуть в неприятеля копьё. А иногда принимал и такой вид, будто незаметно подкрадывается к неприятелю из-за угла.

— Ты... ты... ты... От седьмой на сорок пятой... От пятнадцатой на... Не знаешь?

Хлам лютел с каждой минутой.

— Т-так! Держи лапу, полип!

Ученик протягивал руку. Феодориди цедил сквсзь зубы:

— Эс-сиг!

Линейка со свистом опускалась на послушные пальцы — раз, два, три...

— Эс-сиг! Эс-сиг! Эс-сиг!

У детей были белые лица, словно их мелом вымазали. Да и в лице самого Хлама тоже не оставалось ни кровинки. Перебрав таким инквизиторским манером с дюжину «полнпов», он начинал изнемогать. И, судорожно дыша впалой грудью, полуживой, выползал наконец из-за парт на середину класса. Всё! Маленькие, замороженные страхом сердца мгновенно оттаивали. Старательно приглушая звон голосов, класс затягивал хором знаменитый гомеровский стих:

Сердце людей молодых легкомысленно, непостоянно;
Старец, меж ними присущий, вперед и назад прозорливо
Смотрит...

И Хлам слушал, согласно покачивая сухонькой головкой. Тонкие губы его чуть слышно шептали:

Юноше, мужу и старцу столько даешь ты, Гомер.
Сколько кто взять возмогает...

И пальцы его жилистых рук, жадно вцепившихся одна в другую, издавали печальный хруст...

..*

— Страж, — приказало начальство, — возвести юношам: час отдохновенья настал!

Даже о самых обыденных вещах начальство выражалось возвышенным слогом. Отставной солдат с ефрейторскими нашивками на драном рукаве схватился за веревку колокола.

— Бим-бам! Бим-бам!

Тихие гимназические коридоры наполнились визгом и воем. Орды пеших наездников бурей мчались по ним к выходу во двор. Здесь, за высокой каменной стеной, в перегонках, в лапте, в потасовках развертывалась большая полдневная рекреация.

— А дай-ка ему леща, — советовал старший ученик, из так называемых «гусар», младшему, — да позазвонистей!

Поймавший леща мальчуган кувырком летел на щебень.

— Кого бить? — с готовностью осведомлялся другой «гусар».

Впрочем, не все старшие бегали, прыгали и дрались. Кучка «гусар» стояла возле надзирателя Трофима Ивановича Стукальчикова. Педагог этот был измят и истаскан в пьяных схватках с матросами на ночном приморском берегу, густо посыпан перхотью и вывалян в песке. Когда-то, очень давно, случилось ему хлебнуть официальной университетской науки — отрыжка не оставила его и до сих пор. Он был завзятый оратор и в речах своих перед слушателями выступал отъявленным патриотом.

— И вот, — говорил Трофим Иванович, подергивая от волнения худыми лопатками под-грязным и тонким, как рядно, сюртуком, — и вот на поприще всемирной истории взошел тогда народ строевой, барочный — русские. А народ мелкий, плюгавый — немцы...

Пронзительный вопль вырвался из дальнего угла двора и заглушил все звуки. Так и есть: какому-то мальчику расквасили нос, и он ревел, обливаясь кровью. Стукальчиков метнулся к месту происшествия. Но там оказался уже и сам инспектор. Потерпевший, захлебываясь, принес ему горькую жалобу:

— То те...бе са...лазки справят, то под ми...китки угодят... да и ро...жества не забывают... бе-е-еда!

Трогательно было не то, что десятилетний малыш плакал, а то, как он рассказывал о своей беде, — словами взрослых, давным-давно обтерпевшихся под людским кулаком. Но инспектора Минакова это не интересовало. Змеевидный человек с длинной шеей и бледным лицом, он прекрасно знал, что хоть разбойник, проливший кровь ребенка, и находится сейчас здесь, рядом, а поймать его невозможно, и для правосудия он решительно неуловим. Между тем высечь кого-нибудь было необходимо, ибо педагогика того настоятельно требовала. Кого же сечь? Минаков пригладил худой рукой с плоскими синими ногтями свои желтоватые русые волосы и, ухватив избитого малыша за воротник, прошипел:

— Учись, учись, учись... Веди себя хорошо! Не лезь в драку со старшими, подлец! У мини всяка вина виновата: то ли за единички, то ли за драку высеку! У мини закон: помни день суботный. Виноват — ты ли, тебя ли, все едино, — значит, марш на скамейку-с!

Колокол ударил:

«Бим-бам!»

Рекреация кончилась.

* * *

Только учитель математики Нечайский не ругал учеников и не бил их. Это был маленький старый человек с большой головой, на которой круто дыбилась львиной гривой густая белоснежных волос, — аккуратненький человечек в мундирном фраке и с эмалевым крестиком на черно-красной ленточке в петлице. Он вовсе не был горбуном, но плечи его так близко подбирались к ушам, как это бывает чаще всего именно у горбунов. Ученик Кошиц, имевший склонность к чтению самых разнообразных книг из гимназической библиотеки, — больше всего нравились ему «Гамлет» и «Фрегат «Надежда», — где-то вычитал о старике, который «в молодости, в силлурийскую эпоху, разводил трилобитов». Кошиц ровно ничего не знал ни о силлурийской эпохе, ни о трилобитах, но чутьем понимал, в чем дело. И от этого ветхим пастырем из вымершей породы представлялся его живому воображению старый карлик с львиной головой...

Сам Кошиц был мальчик некрасивый, неловкий, с сыроватым телом на длинных ногах. Хороши в нем были только одни глаза — серьезные, вдумчивые, серо-голубые, с влажным блеском и золотыми искорками в глубине зрачков. Кошиц очень любил математику и в особенностях геометрию. Случалось ему всеми мыслями уходить в мир прямых, углов, окружностей, и тогда параллельные линии его фантазии начинали, как нежные сестры, разгуливать рядышком где-то далеко-далеко, посреди созвездий. И «Пифагоровы штаны» любил Кошиц развесить в небесных пространствах. И треугольники говорили у него человеческими голосами. Да и всякой геометрической фигуре умел он без труда найти житейское приложение, бессознательно превращая любимую науку в увлекательную игру. Хотел этого старый карлик Нечайский или не хотел, а получалось так, что именно он был товарищем Кошица в этих состязаниях. Редкое сочувствие устанавливалось постепенно между учителем и учеником. Карлик ясно видел несомненные математические способности Кошица и радостно подмечал в нем ту особую хватку специально настроенного ума, которая позволяет не столько решать, сколько разгадывать труднейшие теоремы. А Кошицу мягким теплом ложилось на сердце, когда старый учитель, вызвав его к доске, приговаривал:

— А ну, Семенце, ходи сюда, ходи... Да, Семенце мой! Что ты для меня за Кошиц! Ты вовсе не Кошиц для меня, ей-ей; ты — Семенце. Мы с тобой земляки из-под Киева, только ты мужичок-простачок, а я коллежский советник и государю моему заслуженный кавалер-с!

Радостно было Кошицу знать, что и он и учитель — оба из тех заветных мест, где леса необходимы и наполнены дивью, где богатыри побеждают без пушек, а волшебники без очков видят будущее. Там хаты среди садов, дубовые, ореховые рощи на веселых холмах, широколиственные клены; там отец и все дорогое и милое, к чему рвется душа Кошица, изнывая в давней тоске. Сладко отзывался подросток душой на добрые слова учителя. И, со страстью любя геометрию, не хотел Кошиц да, пожалуй, уж и не смог бы отделить ее в своей любви от старого карлика с львиной головой.

Дружбой с учителем питались в мальчишке самые высокие думы и мечты. Иногда, выйдя из класса, старик останавливался в коридоре, у дверей учительской комнаты, и подмигивал любимцу:

— Погоди, погоди... Главное, горд будь и естества своего не преломляй. А мы еще с тобой...

— Что?

— Мы еще с тобой во как миру покажемся!

Кошиц не чуял смешного в этих словах. Наоборот, что-то громадное входило вместе с ними в его голову, и тогда уже не оставалось в ней места для мелких мыслей о родине и об отце. Хотелось открыть новую звезду, проверить скорость сближения Веги с Солнцем, поставить ученых мира лицом к лицу с оживленной Атлантидой... И мало ли еще о чем мечталось тогда Кошицу!

А карлик Нечайский приходил из гимназии домой, бережно стягивал с узких плеч заношенный вицмундир и, пообедав, садился за работу. Не первый год трудился он втайне над созданием романа, писал небывалую историю своих удач, своей красоты, своего гения, своей славы, своей молодости. Постепенно прибавилась к ней еще и молодость Кошица. Вместе шли они в романе через мир, по его столицам, по петербургским дворцам и великосветским гостиным, знаменитые эвклиды, всюду желанные коперники, ярким новым светом венчающие заново претворенную, а когда-то бедную, темную, затхлую жизнь. О фантастической тайне Нечайского не знал никто. И Кошиц не ведал о ней наравне с другими.

Глава вторая

Тайный советник

Странное событие поразило Вторую одесскую гимназию. Выпускник Бахметев, из небогатеньких дворянских последышей, долго приставал к Цибуле:

— Почему не едят мышей?

Цибуля выходил из себя, непристойно ругался, страшно тарачил круглые злобные глаза и складывал в дулю толстые красные пальцы. Однако вразумительного ответа дать не мог. Тогда Бахметев поймал мышь и, сжарив, съел ее в дортуаре. Множество учеников старшего, среднего и даже младшего возраста присутствовало на этом представлении. Случай далеко выходил из ряда обыкновенных шалостей. Да, может быть, и шалостью-то не был. По крайней мере, когда директор, инспектор Минаков, Цибуля, Хлам, надзиратели и весь вообще начальствующий синклит посетили преступника в карцере и начали наступать на него со всевозможными вопросами, виновный ничуть не смутился. Только побледнел, и глаза его сделались изумленно-большими.

— Зачем ты съел мышь?

— Для опыта, — отвечал он, — ибо мыслящий человек в наше время должен все знать по опыту, как и что.

— Паскудец! — прошипел инспектор Минаков.

Бахметева высекли, уволили из гимназии за «мысли» и, вывезя ночью из города с особо приторгованным чумаком, отправили к каким-то дядьям или теткам ожидать недалекого наследства. Казалось бы, конец... Ничуть не бывало. Так стеклись обстоятельства, что в ряд со странным этим событием пришлось еще и педагогические реформы, предпринятые попечителем учебного округа тайным советником Пироговым.

Поговаривали, будто досиживал попечитель в Одессе последние дни. Уж не потому ли взъершился? Категорически воспретил ругать учеников, в чем достиг, например, такого редкого искусства Цибуля. Мало того, предписывал обращаться с учениками вежливо, называть их на вы, обязательно по фамилии и даже с прибавлением слова «господин». Господин Главанаков... Господин Кошиц... Бить учеников на уроках поставил преподавателям в наказуемую вину. Старец Феодориди охнул, прочитав циркуляр. А сечь дозволял лишь самых неисправимых, за весьма крупные проступки и только после единогласного постановления гимназического совета. Методы преподавания тоже сломал. Уроки превращались отчасти в лекции, отчасти в голую практику с физическими и химическими опытами, с диктантами и переводами. Ну, уж и пошла кутерьма! Как стоячее болотце, зашипела гимназия. И педагоги забегали, в горестном недоумении чмыхая носами. Предстояло им, бедным, жать теперь то, чего они отродясь не сеяли и не ведали даже, как взойшло. А тут, к довершению тревог, возник слух, что намерен тайный советник Пирогов вторую гимназию лично проинспектировать. Растерянность вовсе одолела начальствующих и преподающих. Цибуля бабски плакал на уроках естественной истории, пытаясь жалостью подобраться к ученикам, чтобы отвечали хоть сколько-нибудь поделнее. Но как сам он не смог ничего ответить на бахметевский вопрос о мышах, так и ученики его лишь мычали:

— Есть у человека шкилет...

Хлам ничего не пробовал. Он отсиживал классные часы в тишине и безгласье, немощно сложив когда-то деятельные руки и бессильно прикрыв глаза, как больная птица. Тоска по воспрещенной мертвечине цепенила гимназию. А будущее знай себе наступало. И тайный советник Пирогов стоял уже, можно сказать, в дверях...

* * *

Казалось, что пришло наконец время, когда открылась перед умными, образованными и стойкими людьми счастливая возможность бороться за лучшее. Николай Иванович Пирогов реформировал учебный округ, опираясь именно на этот общий дух нового времени. Но старый ученый слишком много видел в жизни и слишком многое понимал, чтобы очертя голову броситься в новизну. Так, он оставил в гимназическом арсенале воспитательных средств заслуженную старую розгу, лишь обусловив ее приложение к детскому телу исключительно тяжкими случаями баловства. А если бы не оставил? Вот тогда и погреблась бы вся реформа в письменных столах министерств. Между тем известный петербургский журналист Добролюбов — вероятно, молодой и нервный, впечатлительный, вспыхивающий, как порох, торопыга, — по сведениям последних дней, уже бичует осторожного попечителя за... это самое, за розгу. Обидно! Ох, как обидно! И то, что господину Добролюбову надо, еще весьма не близко. Зато вовсе рядом и царь, и Государственный совет, и министры, и жандармы, и исправники, и становые — тьфу, прости господи! Словом, тайный советник Пирогов находился в настроении, отнюдь не спокойном...

...Талант при случае стать незаметным, способность вдруг исчезнуть без следа — ценнейшие качества, всегда отличавшие директора Второй одесской гимназии статского советника Иосифа Григорьевича Шершеневича, — на сей раз использованы им не были. Директор встретил попечителя в белых штанах. Ну, как же тут спрячешься? Крепко зажав под локтем мундирную шляпу, он петушком забегал по свежевывытым коридорам впереди Пирогова, широко указуя свободной рукой в обе стороны. Не угодно ли? Вот классы, а в классах — занятия. И всё как надо. Его превосходительство заглядывал в тусклые дверные стекла и везде видел множество черных сюртучков с красными воротниками. Сюртучки смиренхонько сидели на скамейках. Учителя — за своими столиками. Да, всё как надо. Но всё ли? Пирогов остановился. Будучи не очень высокого роста, скорей даже малого, он привстал на цыпочки, — раз, и еще, и еще раз пристально вглядываясь в мутное стекло. Гм... Привычная наблюдательность не обманула попечителя. Ни в одном из классов, мимо которых он прошел, не слышалось людского голоса, не виделось ни единого рта, который был бы открыт, чтобы произнести живое человеческое слово. Точно замороженные, молчали преподаватели; молчали вместе с ними замороженные страхом ученики. Что такое? Пирогов ударил носком сапога в створку двери и быстро вошел в класс. Учителя, ученики — все вскочили. И класс ожил...

...Невзрачный старичок с большой лысиной и несколько косыми строгими глазами сидел в заранее приготовленном для него кресле и старался уловить беззвучный шепот Георгия Ивановича Феодориди. Хлам давал какие-то вопросы смуглому мальчугану с наивно-добродушной и живой физиономией. И как бы следуя за мертвым голосом учителя, мальчик отвечал еле слышно:

Сердце людей молодых легкомысленно, непостоянно;
Старец, меж ними присущий, вперед и назад прозорливо
Смотрит...

Пирогов не выдержал и резко повернулся к учителю.
— Довольно-с! Извольте тотчас прекратить. Я сам его спрошу.
Загребая воздух маленькой волосатой пригоршней, он энергично поманил к себе мальчугана.
— Русский? Нет? — спросил он.

Главанаков раскрыл было рот. Но ответил за него, сладостно похрустывая пальцами, Хлам:

— Отнюдь, ваше превосходительство. Из котленских българ, ваше пре...

Пирогов протянул руку, взял мальчика за плечо и, придвинув к себе, поставил между колен.

— Фамилия ваша?

— Главанаков, — враз ответили за ученика инспектор Минаков и Хлам, — българская, ваше превосходительство.

Пирогов сердито скосил глаз.

— Я к мальчику обращаюсь, господа... А как город зовется, где родились вы, господин Главанаков? Кóтел? Не слыхивал. И над чем трудится отец ваш?

Румянец радости густо выбился на щеках Главанакова. Кто бы мог подумать? Вот он, простой болгарский мальчик, стоит между коленями человека, на груди которого горит большая русская звезда с бриллиантами, и человек этот, при всей своей важности, таков, что гладит его по голове, ласково заглядывает в лицо и спрашивает... Что же рассказать ему про Кóтел, про малый-малый городок, глубоко запавший в котловине на высоких горах? Что рассказать об отце? Мать Главанакова тклет ковры, а отец гоняет овец по Добрудже. Но нет на свете города красивей, чем Кóтел, нет трав ароматней, чем на придунайских степях. Кóтел... Кóтел... По соседству с ним сельцо Раково. Здесь выбивается из земли буйная Камчия и долго потом извивается змеей и блестит под солнцем, как алмаз. Горы и хребты в том краю покрыты чащами букового леса. Холмы и ущелья кажутся издали множеством туч, громоздящихся одна на другую. А на север посмотришь — гладь. И деревни и села на ней как рассыпанный горох... Мальчик говорил все смелей и свободней, все чаще сбивался на болгарскую речь, и в черных глазах его светилась все ярче да ярче неистребимая память детской любви.

— Вот мы теперь и знаем, каков город Кóтел, что стоит на болгарской земле, — улыбнулся внимательно слушавший Пирогов, — вот мы теперь и видим, что к родине своей отовсюду близок бывает человек. Идите-ка к доске, дружок, да возьмите мел, да напишите по-русски: «Я — Главанаков, българ, и голова моя с сердцем дружит...»

Мальчик старательно выписывал фразу, и все шло отлично до «головой». Тут он запнулся. Голова, голова, голова... Главанаков, а не Гловонаков... Почему? Он уже несколько раз стирал сомнительное слово губкой и снова выводил его по мокрому. И руки мальчика уже слабели от стыда. Как же правильно? Галава... От полной растерянности мел выпал из перепачканных пальцев. И тогда случилось чудо: неслышно шаркая мягкими подошвами, Георгий Иванович Феодориди вмиг очутился у доски, угодливо поднял мел и подал его ненавистному «полипу» с поклоном, беззвучно шепча:

— Голова-с...

...На уроке математики Пирогов сказал учителю:

— Вызовите лучшего.

Карлик ни минуты не колебался.

— Семенце!

И вздрогнул от досады на себя за промах. Попечитель скосил глаза. Разве не воспрещено на занятиях звать учеников одними лишь именами? Не быв никогда зайкой, карлик от волнения проглотил целый ком слов. Но и те, что остались, не поправили дела.

— Го-господин Семенце!

Проклятая привычка опять взяла свое. Пирогов, не шевелясь, сидел в кресле; глаза его косили все суровее, и даже веки глаз слегка покрас-

нели. Да, теперь уже можно было знать наверное, что гордые планы карлика блеснуть перед начальством (а как эта львиная голова на хилом теле мечтала об успехе, как надеялась на сто верст обогнать всех «цибуль» и «хламов!»), — что гордые планы эти провалились.

— Господин Кошиц! — яростно крикнул наконец Нечайский, весь погружаясь в свою досаду и с болью чуя, как злость ущемленного самолюбия обращается против любимца.

Пирогов не шевелился. Выражение его лица было строго и предубежденно. У доски стоял, мастерски вычерчивая фигуры, нескладный юноша, тяжеловатый, с простецким лицом. На щеках его и широких скулах играли, перебегая с места на место, красные пятна нервного возбуждения. Золотые искры вспыхивали в зрачках. Кошиц решал очень трудную геометрическую задачу. Но решал ее так легко и свободно, как если бы давным-давно, задолго еще до гимназии, держал уже всю Эвклидову хитрость в готовой мысли; будто и тогда уже решал подобные задачи, а теперь лишь припоминал истари хорошо знакомое. «Не рождает ли новый век Лобачевского? — изумленно думал Пирогов. — Не дарит ли он нам Ломоносова?..» Попечитель встал с кресла, подошел к Нечайскому и, отведя его в оконную нишу, прошептал, наклоняясь к уху:

— Нельзя «таких» кличками обижать! Запрещаю. Требую к таланту всегдашнего уважения. А коль из народа талант, вдвойне уважайте! Ясно ль, сударь? Надеюсь, ибо и сами-то, кажись, не из Оксфорда вышли...

Не из Оксфорда? Да, конечно. Совсем, совсем не из Оксфорда. Но ведь существовало же в душе старого мундирного человечка из-под Киева нежное и тайное, даже до стыдности тайное, место. Ведь упивался же он по ночам романтическими видениями своих сумасшедших фантазий, перекраивая со страстным упорством вековечный астрономический календарь. Этого не видал никто. И вдруг косоглазый старик со звездой взял да и надавил без жалости как раз на это самое нежное, тайное место, словно бы сразу увидел Нечайского насквозь. Не из Оксфорда... Карлик, багровый, как пион, вздернул, негодуя, плечи. Он одинаково ненавидел сейчас и Пирогова, и Кошица, и собственные глупые бредни. Ну, что ж! Чем с ним грубей, тем он дерзей...

— Хоть в Оксфорде, ваше превосходительство, впрямь не бывал — где нам? — однако и сам собой не пустое место. Ношу коллежского советника чин и в службе государю моему являюсь владимирский кавалер-с. Слов нет, мальчишка не без головы. Но поклоны ему бить излишне. На мне хоть титул дворянский, а он что? Таращанский из-под Киева казачий, на мужицком уряде, сын. И все-с!

Пирогов энергично потер руки, будто для того, чтобы еще раз, да жесточе надавить на большой учительский хрящик.

— Так... А читаете, пишете что-нибудь?

— Ничего-с! — решительно сказал учитель, ложью заслоняя от попечителя свой жалкий секрет, злобствуя при этом и скалясь, как барсук.

— Почему же?

— Лишь то делаю, что по должности обязан.

— Стыдно, сударь. Ну?

— А читать-писать не обязан-с.

— Врете небось...

Пирогов повернулся и, быстро семеня ногами, пошел к своему креслу.

— Отлично, господин... Лобачевский, — не забыл он похвалить Кошица, — а теперь идите-ка к месту. И на ответ прошу худшего из худших...

* * *

Отпуск воскресного дня Главанаков провел по обыкновению у бая Георгия. Еще и года не прошло с тех пор, как появился бай Георгий в Одессе на скромной должности наставника обучавшихся в здешней ду-

ховной семинарии молодых болгар. Сажая его на этот черствый хлеб, едва ли болгарское настоятельство в Одессе могло предвидеть, что из того выйдет. А вышло так, что бай Георгий почти мгновенно осмотрелся в городе, завел множество знакомств и связей, а затем с непостижимой быстротой превратился в самого необходимого человека не только для своих прямых воспитанников, но и для гимназистов и даже для приказчиков одесского бургомистра и первой гильдии купца Николая Мироновича Тошкова. Все молодое и свежее, что родилось в Болгарии, а жило по разным причинам в Одессе, вдруг неудержимо потянулось к нему. Потянулось и маленький Главанаков.

Что же это был за необыкновенный такой человек — бай Георгий? Прежде всего — настоящий болгарин. Отец его из деревни Раково, в Сливенских горах, откуда буйно проливается вниз сверкающая под солнцем Камчия. Близ Ракова — Котел, родина Главанакова; там же родился и бай Георгий. Итак, приходились они земляками друг другу. Было Раковскому всего лет тридцать восемь, а приключений хватило бы и на сто. Еще в Котеле, ребенком, надел он раз отцовский лисий кафтан и, расхаживая по горницам, кричал:

— Вот какой я франт!

И сколько раз случалось потом Раковскому изображать из себя франта, ибо всю жизнь свою провел он в тайных странствиях по Болгарии и по Европе, в переодеваниях, тюрьмах и побегах. Много видел, много знал бай Георгий! А родину знал, как свою ладонь. Но стоило ему появиться в Болгарии, турецкие жандармы — заптии — поднимались на него круговой охотой, будто на зверя. Не давала ему покоя полиция и в Румынии и в Австрии. Только в русской Одессе отыскалось прибежище, где мог он не бояться прямых опасностей и свободно дышать.

Раковский жил на Гулевой улице, в богатом доме известного болгарского «родолюбца» господина Тошкова, в комфортабельно обставленной комнате с глубоким диваном, мягкими подушками и пушистым ковром. Каждый раз, когда Главанаков собирался к баю Георгию, его охватывало беспокойное чувство. В анфиладе сверкающих апартаментов, через которые обязательно надо было пройти, чтобы попасть в комнату Раковского, Главанаков то спотыкался на гладком паркете оливкового цвета, то с грохотом на скакивал на каминные экраны из черного дерева, на кресла — из красного и на дубовые столы. И уж положительно цепенел от смущения, встречая где-нибудь у зеркала в золоченой раме самого господина Тошкова, невысокого брутета с круглыми баками, сонным лицом и в таком красивом сюртуке, который может выйти только из рук первоклассного портного. А на пышную супругу Николая Мироновича — обрусевшую гречанку с ухватками богатых пловдивских дам, которые даже и гостей принимают, не снимая парижских шляпок с головы, — Главанаков просто боялся взглянуть.

Господин Тошков переселился из Калофера в Одессу больше четверти века назад, имея в кармане одну-единственную золотую монетку — желтицу. Года три он прислуживал в одном из одесских трактиров. Потом и сам открыл постоялый двор с лавкой. Начал торговать рисом, вывозя его из Болгарии в Россию. Перешел на хлеб. Прибыль полилась в его кассы десятками тысяч рублей. Тогда он женился, надел русский орден Станислава третьей степени и зажил баринoм. Титул болгарского родолюбца принадлежал ему неотъемлемо. Для закрепления этого титула он вкупе с несколькими богатыми одесскими болгарами составил во время Крымской войны комитет, набравший добровольцев-болгар в русскую армию. Когда война кончилась, комитет превратился в настоятельство. Оно занималось делами благотворительности. Но приглядывало вместе с тем и за политическим поведением компатриотов, очутившихся в России.

Родолюбие господина Тошкова высоко ценилось внутри Болгарии. В Калофере, например, хорошо помнили, как вскоре после Крымской войны он прислал из Одессы на родину два больших церковных колокола. И когда впервые зазвучали их медные голоса, калоферцы радовались и веселились, а турки из деревни Доймушларе жаловались в Пловдив, клятвою уверяя, что из-за звона лишились сна. Весьма родолюбив был Николай Мионович. И потому, живя в его доме, Раковский мог не сомневаться, что состоит под внимательнейшим наблюдением одесского болгарского настоятельства. Но это его не смущало.

— Коли есть борода, так и гребень найдется...

Смело глядя судьбе в глаза, он стремился извлечь из своего положения как можно больше деловой пользы. До последнего времени у него были весьма обширные планы. Сперва он собирался издавать болгарскую газету в Бельгии на средства, добытые в Одессе. Потом — ехать в Москву для занятий славянской филологией. Раковский был самоук-филолог. Влекло его и к изучению санскритского языка. Но планы разбивались о безденежье. Господин Тошков финансировал издание его книги «Показалец» — о быте, обычаях, географии, статистике, земледелии, промышленности, преданиях и народной поэзии несчастной болгарской родины. «Показалец» был уже напечатан и украшен авторским посвящением знаменитому родолюбцу. Но на этом и завяла тошковская щедрость. А между тем у Раковского были готовы к печати и «Болгарское баснословие», и «Иступленный дервиш», и «Опыт болгарского языка», и «Краткое рассуждение» — об истории европейских народов, и монография о древнем болгарском царе Асене. Он работал засучив рукава — заканчивал одни сочинения и обдумывал другие, изучал отечественную историю, народные песни, корнесловие болгарской речи, писал стихи. И мало-помалу начинал догадываться, что делает все это ни для кого...

Главанакову удалось благополучно миновать опасности, поджидавшие его в доме господина Тошкова, — неслышно и незаметно добраться до комнаты Раковского. Он вошел, по-русски поклонился и по-болгарски поцеловал руку бая Георгия. Так повелось между земляками, что каждый приход мальчика начинался с его рассказа о гимназических происшествиях за неделю. Всегда что-нибудь да случалось. Но никогда еще не случилось такого, как теперь. Главанаков подробно рассказал о приезде в гимназию попечителя Пирогова со звездой на груди и о том, как стоял у него меж колен, и как расспрашивал его попечитель о Кдтеле и Добрудже. Хотел было рассказать и о Хламе — как тот кинулся мел поднимать. Но, вспомнив о провале своем на диктанте, мучительно покраснел. Бай Георгий был редкостно сметлив на подобные вещи.

— Ну, а как же ты в лужу сел? — спросил он мальчика.

Главанаков опустил черные глаза.

— Сел...

Выслушав всю историю, Раковский не скрыл досады. Худое, жесткое, энергичное лицо его со смелыми, строгими глазами потемнело. Усы, торчавшие обычно вразлет, опустились вниз.

— Вот и будет теперь знаменитый русский ученый, самый первый в мире хирург Пирогов думать, что все болгарские юнаки так же глупы, как ты. Впрямь голова!

Таков уж был характер Раковского: амбиция в нем кипела, славолубие его снедало, и от досады поднималась в нем желчь. Слезы выступили на глазах Главанакова. Легко было баю Георгию корить, когда знал он одинаково хорошо и древнегреческий, и арабский, и древнеславянский, и сербский языки, когда говорил и по-русски, и по-турецки, и по-новогречески, да и по-французски писал, как француз... Конечно, никогда не бывать Главанакову таким умным, как бай Георгий.

— Голова! — повторил Раковский. — Впрямь голова!

Несколько пробных экземпляров «Показальца», еще какие-то книги и папка с бумагами лежали на конторке, заменявшей Раковскому рабочий стол. Он схватил одну из папок и раскрыл ее на письме с бланком в верхнем левом углу: «МНП. Канцелярия попечителя Одесского учебного округа» — и подписью: «Имею честь быть покорнейшим слугой Н. Пирогов».

— Видишь?

Мальчик смотрел на бумагу с уважением и отчасти даже со страхом.

— Когда я задумал, — сердито сказал Раковский, — издавать в Одессе газету на болгарском языке, то просил Пирогова представить министру мой план. Обещал. И не мог отказать, ибо достаточно просвещен и умен. А в ответ — холодный северный ветер... Почему? Злобная вражеская рука вмешалась и поперечила? Конечно. А к тому еще теперь и твоя глупая голова...

Главанакон тихонько заплакал. Раковский перевернул в папке лист. И вот опять бумага, только уже с другим бланком: «Главное управление цензуры». Бумага эта заканчивалась словами: «...Дозволить вам поименованное периодическое издание, по представленной вами программе, с тем чтобы вы во всей точности следовали оной, не позволяя себе помещать в своем вестнике статей политического содержания». Раковский ударил по бумаге кулаком.

— Ослы! Издавать газету без политики... Да это все равно, что Николаю Мироновичу носить русский орден в кармане. Но Мироновича не проведешь: почуял холод с севера — орден на грудь, а кассу на ключ. Эх, когда взялся человек без собственных средств за народное дело, плохо. Многое придется человеку такому претерпеть, чтобы цели достигнуть. А иначе и не сделает ничего...

Раковский закрыл папку и, подперев кулаком голову, задумался.

— Не хныкай, Божил. Берись за перо, будем до завтрака работать...

Перед Главанаковым лежал томик с надписью на обложке: «Г. Раковский. Лесной Путник. Поэма. 1858».

— Переводить будем вместе, — сказал бай Георгий, — а записывать будешь ты один. Старайся вникать в смысл. О непонятном спрашивай. Начинаю.

Чего они ждут так упорно?
Зачем они крепко так спят?
Кто их, бедняков, пожалеет,
Когда они сами молчат?

Божил писал, и маленькое сердце его стучало. Он знал, очень хорошо знал, о ком горюет в этих стихах его наставник.

— Кто же их, бедняков, пожалеет, бай Георгий? — вдруг спросил он, поднимая взволнованное лицо и повертываясь к Раковскому пылающей щекой.

— Когда-нибудь ты пожалеешь, — тихо и строго сказал Раковский, — затем и учишься теперь в Руси, чтобы потом отслужить Болгарии. Странно только, откуда взяло гимназическое ваше начальство, что можете вы научиться чему-нибудь полезному от бездельника Феодориди, который сам того не знает, чему учит, а умеет лишь бить одних и ползать червяком перед другими? Этакая пакость! Странно это... Ну, а покамест ты мал и не разумеешь, как писать слово «голова», буду я дослуживать Болгарии своей головой...

Грустная улыбка чуть тронула губы Раковского и пропала.

— Ничего у меня не выходит в Руси. Скоро мы расстанемся, Божил.

— Почему? — еле выговорил пораженный мальчик.

— Как «почему»? Я показывал тебе бумаги. Или ты не видишь, что в Руси мне слова о народном деле сказать нельзя... Да еще и синод желает цензуровать все, что я стал бы печатать на русском языке о церковных болгарских делах. Что же мне остается? Одно — придет зима, уеду в Сербию, в Белград...

— Зачем?

— Постучусь в тамошнюю дверь. Есть хорошее правило, Божил: где ни откроется дверь — иди, но, куда бы ни шел, думай о том, что осталось позади, — о Болгарии!

Глава третья

Болгарская память

Огненно-черные глаза мальчика широко открыты. Смуглые веки трепещут. Мальчик задумался. Лучшего места, чтоб думать, не сыщешь. За спиной — угрюмые великаны: Чафадарица, Большой Купен, Белые берега; а над ними — высоко-высоко — плешивое темя Юмрукчала под сверкающей шапкой тысячелетних снегов. Направо — фруктовые сады Карловского Поля; налево — розы Казанлыка; впереди — изумрудный рай веселой Калоферской долины. Неужели и на дивной этой земле не всегда бывают счастливы люди? Ослепительно блестят стекла окон и стены городских домов на фоне черных среднегорских круч; ласковый южный ветер обнимается с великанами. Калофер — у ног задумавшегося мальчика. Груды огромных красно-серых камней скатились когда-то со Стара-Планины как раз к тому месту, где сидит он сейчас и глядит, не мигая, на небо и солнце, на темные рощи и светлые поляны, на зеленые нивы и цветистые луга, на хрустальные извивы речек, со звоном падающих вниз. Думает мальчик...

...Кому не ведом в Калофере учитель Ботю Петков? И жизнь его кому не известна? Не раз и не два слышал Христо историю своего отца и от него самого и от других людей. Многие, очень многие помнили, как вернулся молоденький Ботю из Руси, где учился четыре года в Одесской семинарии. Вернулся, на удивление всем, с бакенбардами, в астраханской шапке, в сапогах, в сюртуке на подкладке. Калоферские парни ходили в кафтанах из такого жесткого сукна, что, поставь кафтан на пол, он и будет стоять колоколом, словно сделан из подошвенной кожи. И на Ботево одеяние глядели, выпучив глаза.

— Из Руси приехал...

Ботю вернулся, полный сил и страстного влечения к работе. Он мечтал стать учителем. Чем можно лучше послужить родине, когда она связана по рукам и ногам узами турецкой неволи? Ботю отправился к дядю Неделко Куюнджиолу. Это был чорбаджия¹ высокого полета, владелец многих подгородных нив и левад, крупный торговец галуном и шнурами, безжалостный ростовщик. Собирал он еще и налоги на скот, на хлеб и даже подати для архиерея. Начал когда-то с маленьких взяток местному аге, затем перешел к крупным подкупам пловдивских пашей, а кончил тем, что грабил народ, как ему хотелось. Говорили, будто лежало у дядю Неделко в сундуках никак не менее миллиона грошей. Часто бывало в те времена, что именно такие, как он, сажали людей в тюрьмы, — ага лишь подписывал. Они же и выпускали на свободу. Женили, разводили, как им нравилось. И в общинных делах решительно все зависело от них.

¹ Богач и общественный воротила; слово — от «чорба» (похлебка), по аналогии с языческими вожаками, которые назывались чорбаджиями в силу их обязанности распределять чорбу.

Ботю вошел в дом дядо Неделко, густо облицованный плитками разноцветной керамики. Тихо пробрался в комнату с деревянной обшивкой стен, великолепно инкрустированной перламутром, и скромно остановился у дверей. Дядо Неделко погладил впалый живот. Узколобая голова дядо поражала своей сухостью и желтизной. От постоянных мыслей о деньгах и наживе он так жадно грыз ногти, что капельки крови то и дело падали с его пальцев на штаны. Выслушав Ботю, он медленно потянул сквозь зубы черный кофе из золоченой чашечки и покачал головой справа налево, слева направо. Это значило: согласен.

— Что ж? С богом. Затем мы тебя и посылали в Одессу. Затем и учили тебя и платили за твою науку. А теперь ты вернешь нам долг. Говори, сколько хочешь взять за то, чтобы учить детей зимой?

— Сколько община даст,— отвечал Ботю.

В серых глазах дядо Неделко зажглось по острой точечке.

— Такá, синко, такá! Пастуху мы платим триста грошей за то, что он пасет стадо с весны до осени,— весь день на ногах, и в дождь и в жару. Пасты — трудное дело. А ты — учитель. Знай себе сидишь в комнате, в тени, ни холод, ни ветер тебе не страшны. Летом же и вовсе учить некого...

Ботю был поражен такими рассуждениями. Но спорить не стал и духом не упал. Куюнджиолу приоткрыл резную шкатулку в кованных медных обручах. Из шкатулки вырвался солнечный свет золота — турецких лир и французских луидоров. Роясь дрожащими пальцами в этой звонкой могиле, старик медленно извлекал наружу один венгерский крейцер за другим. И когда крейцеры образовали маленькую серебряную горку, сказал внезапно охрипшим от жадности голосом:

— Бери плату вперед. Но придешь еще за деньгами — не дам.

* * *

Иванка родилась в Калофере, где что ни дом крутили гайтан или пряли шерсть. Прясть бы и ей всю жизнь. Но никто своего будущего не знает. Выросла Иванка веселая, живая, смешливая, сильная, много-много старых песен перенявшая с чужих голосов на свой, нежный и чистый. Это дал ей бог. Всегда славилась здешняя околия красотой своих женщин. Поискать и не найти таких быстрых и ясных глаз, как у них. И таких темно-каштановых, волнистых, могучих кос, как за спиной у Иванки, тоже поискать и не найти. И это также дал ей бог...

Пели скрипки, свистели гайды,— на калоферской площади бешено вертелось воскресное хоро. Молодые ноги дружно били оземь. Широкие юбки девушек плескались, как волны разноцветной реки. Ботю стоял в тесной толпе зрителей и, будучи изрядно высок ростом, далеко вперед высунулся любопытным горбатым носом. Какой-то сморчок сорвался с места и, приударив враз обеими ногами, пустился, словно припадочный, откалывать самые необыкновенные штуки. Живые звенья пляшущей цепи на миг разорвались, чтобы принять его в хоро. И тотчас унесли с собой. В летучей пестроте танца то пропадала, то вновь появлялась его щупленькая фигурка и в конце концов исчезла бы совсем без следа, не держи прыгун за руку высокую и стройную девушку. Он говорил ей что-то смешное: она смеялась. И так чист, так нежен был ее смех, что и колокольчики не звенят слаще.

Хоро обскакало круг. Вот девушка опять против Ботю. Румяное лицо ее пылает, улыбка светится на губах, а глаза.. смотрят на Ботю. Мелкий пот выступил на орлином носу учителя. Она смотрит на Ботю.. На-

важенье! Уж не слишком ли много думает о себе Ботю, коли стали ему мерещиться подобные вещи? Он краснел и потел от смущения. А между тем хоро обернулось еще раз. И снова слышит Ботю, как она смеется, и видит, как глядит на него.

Куда же это шел сегодня учитель через площадь, когда наткнулся на воскресное хоро? Спросите-ка его — не скажет. По какому делу шел? Не знает. Все позабыл. Зато врезалось в память другое. Юбка из полосатой шерсти домашнего тканья, надетая поверх рубашки. Два фартука — красный спереди и синий сзади. И серьги, тяжелые, красивые, и кольца на руках, и браслеты, и ожерелье из бус, кораллов и монет...

Как дерево стряхивает листик, так и хоро выбросило из себя маленького веселого парня. Опять очутился он возле Ботю.

— Олеле! — проговорил парень, задыхаясь и обтирая рукавом багровое лицо. — Каково хоро, таков и пляс. Уж это верно! А видел ли ты, учитель, красотку, с которой рука в руку плясал я?

— Видел, — сказал Ботю и подумал: «Какое ему дело? И откуда он меня знает?»

— Горе на твою голову!

— А что?

— Представь себе: заика!

Он сказал это и, хихикнув, пропал, точно в землю ушел между ног Ботю. Сердце учителя ухнуло. Заика? А собственно, почему бы и не быть такому несчастью? Случается. Не все ли равно для Ботю? Однако сердце его продолжало ухать и, словно оторвавшись, стремглав летело вниз. Один за другим замирали смычки, сводя мелодию на полутон. И гайды тоже немели от усталости. Круг хоро распался — плясуны брели кто куда, дыша, как загнанные кони, и пошатываясь. Заика... Бедная девушка остановилась неподалеку от Ботю. Хоть он и не плясал, но сердце его стучало, как дверь пустого чулана, в котором гуляет ветер. Из стука родилось сомнение, из сомнения — жгучее любопытство. Ботю подошел к девушке.

— Скажи, пожалуйста, где твой отец?

Он спросил, чтобы услышать, как она говорит. Но странно: еще спрашивая, он уже знал, что глупо околпачен насмешливым паренком и что, если заикание девушки — действительно всего лишь его дурацкий бред, он при первом же случае посватается к ней. Смеющееся лицо Иванки радостно смотрело на красивого Ботю. Алый рот раскрылся для ответа, и зубы блеснули, как солнечный день за окном.

— Уехал в Карлово по делам, — сказала она.

Дай бог, чтобы нашлась на свете девушка, говорящая на родном языке плавнее и ровнее, чем эта!

— А когда приедет?

— Завтра. Почему ты не спросил об этом брата?

— Какого брата?

— Стойко. Ты же говорил с ним.

И, горько дивясь своему неразумию, Ботю охнул. Так запомнилась людям его первая и единственная любовь...¹.

...Дом стоял на улице, выходящей из города к Галюв-долу; хороший дом — с двумя очагами, большим, широким балконом и резными деревянными решетками на окнах. Когда Ботю, сильный и смелый, подхватил после свадьбы жену на руки и бегом понес ее через каменный мост в свою холостяцкую учительскую келью, ему никак не думалось когда-нибудь жить в этом доме. Но старое выпадает из жизни. А новое вторгается в нее

¹ Из рассказов калоферских старожил.

маленькими бурями отдельных человеческих судеб. Навсегда уехал в Кишинев веселый шурин Стойко, забрав с собой родителей Иванки. Семья же Ботю множилась: дочь Анна, сын Христофор. Петковы понатужились — сняли дом у Галюв-дола, просторный, с трех горнищами, с подвалом и балконом. И наполнился этот тихий дом пронзительными криками детей, песнями Иванки и громким говором Ботю. Он учил жену русской речи. Но, как и грамота, не давался ей трудный язык. Скажет, бывало:

— Ты женился на меня...

А он, счастливый, хохочет. Так запомнились людям ранние радости его жизни.

* * *

Тихо светились стеклянные лампадки перед задвинутыми в глубь темной ниши образками святых — Кузьмы и Демьяна, Кирилла и Методия, Иоанна Крестителя. Гордо красуясь, пузатились на полках кофейники, чашки и прочая наследственная посуда. Жарко блестел в углу мангал с пылающими угольями. День кончался, деревья уже темнели за окном в золотых отсветах умиравшего солнца, и на улицу перед домом ложились длинные полосы синих теней. В горнице было прохладно. Сливаясь цветом длинной красной юбки с таким же покрывалом на лавке, сидела у мангала сильная смуглая женщина, вытянув босые ноги вдоль рогожки к теплу. Это была Иванка. Двое ребят у ее ног — девочка и мальчик, — разинув круглые рты, неотрывно смотрели на мать. Иванка пела. Ее чистый голос разносился по горнице, и казалось, будто под напором его звонких волн то стены дома раздвигаются, то потолок уносится вверх. Слезы дрожали в певучих разливах голоса Иванки, — жгучие слезы дрожали на длинных ресницах ее больших глаз.

Эй вы, братцы, верная дружина! —

пела Иванка, —

Унесите труп мой, схороните
Где-нибудь на вольном бездорожье.
А в ногах моих поставьте знамя
И коня ко древку привяжите.
Пусть, кто молод, на коня садится,
Направляет бег его ретивый
И, умчав вперед святое знамя,
Вспомынет Вылко-знаменосца!

Хоть и знала Иванка сотни четыре таких хороших старых песен, хоть и певала иные из них по множеству раз своим детям, но любили они почему-то больше всего именно эту — «Завешание раненого Вылко-знаменосца». И особенно восхищался ею сын Иванки, Христо, и плакал, и прыгал конем, и грозил туркам ножиком, и на бой с ними выходил храбрым Марком Кралевичем. Стоит смолкнуть Иванке, а он уже требует шумно:

— Еще! Еще! Еще!

Учитель Ботю работал в комнате, служившей ему кабинетом, а семье — спальней. Его письменный столик был так удачно приставлен к окну, что спина сидевшего за ним человека должна была постоянно ощущать благодетельное тепло от жарко пылавшего огня. Большой комфорт — два огня в одном доме! Левая сторона комнаты убрана под ложе; стены увешаны изображениями Иерусалима. Два шкафа с книгами — под рукой. Старательно собирал Ботю все, что могло бы пригодиться для его домашних ученых работ. Тут был Софрониев «Кириакодромион», выпущенный рымникской типографией в 1806 году, «Рыбный букварь» доктора Петра Берона, вышедший через восемнадцать лет после того в Брашове и представлявший собой хрестоматию для чтения со «Сказаниями о природе» — о соли, кофе, табаке, о муравьях, слонах, крокодилах, пти-

цах, об анатомии человека, о воздушных явлениях, и ко всему этому — арабские цифры и четыре правила арифметики. Русских книг в библиотеке Ботю было не меньше, чем болгарских. Сочинения Пушкина, Гоголя, Жуковского, Белинского; труд Венелина о политическом, историческом и религиозном отношении древних и новых болгар к русскому народу; и еще немало отчасти самим Ботю привезенных, отчасти потом уже полученных им из Руси книг.

Задумчиво опуская перо в зеленую бутылку с «алеппскими» чернилами — очень густыми, черными и блестящими, — Ботю сидел за столом в елеке — домотканной курточке со шнурами, без рукавов. Его красивое лицо с крупным носом и большой черной бородой казалось то пожилым, то моложавым — мгновенные отражения непрерывной смены настроений. Худое и темное лицо это низко склонилось над бумагой. А по бумаге, утомляя глаза, шустро бегали туда и сюда яркие зайчики от огня, колебавшегося над старинной медной светильней. Правда, водились у Ботю и сальные свечи. Но они береглись для праздников. А в будние дни от сумерек и до глубокой ночи попыхивал над медной чашкой туго крученный фитиль. Ботю был на редкость жаден до работы. Еще в Одессе он перевел на болгарский язык две книги, вышедшие с тех пор несколькими изданиями. А теперь, в Калофере, один ведя целую школу, успел закончить перевод капитального венелинского сочинения «Критическое исследование по истории болгар». «Прошлое,— думал Ботю, перелистывая книгу знаменитого русского слависта, — никогда не бывает лишним... Почему? А потому, что лишь мерой прошлого измеряются настоящее и будущее. Да, да, да...» Раздумывая таким образом, он просидел еще несколько минут неподвижно, а затем положил перо. Ботю чувствовал решительную потребность высказать вслух пришедшие ему сейчас в голову мысли. Он уже не раз замечал, что высказанные вслух мысли вдруг получают новое развитие и даже меняют иногда свою первоначальную суть. Но никаких других слушателей, кроме Иванки и детей, у Ботю не было. Высокий, худой, с круглыми плечами, в широких, как парус, штанах, он не спеша вышел из своей комнаты и присел на диван у мангала, прислонясь спиной к стене и покачивая стоптанную туфлю на конце ноги. Иванка допела песню о Вылко-знаменосце и замолчала. Ботю, сказал:

— Ты как сказочница Динаразада в красном платье, на котором вышиты все птицы мира...

И, подумав, добавил:

— Любы сказки о прошлом детям нашей грустной болгарской земли. И про Вылко, и про Стояна, и про Дойчина... Хорошо! Но почему бы не знать вам, детки, еще и правды, голой правды, как ни бывала она тяжка?

И не успел он сказать слово «правда», как Христо уже переполз от ног матери к отцовским, и Анна очутилась у него на руках. Оба они хотели знать правду...

Глава четвертая

Человек рождается дважды

Ветер донес до Христо слабый звук человеческого голоса. Мальчик встрепенулся и прислушался. Голос шел издалека. Чтобы донестись до Христо, ему надо было проскользнуть между множеством скал, обогнуть холмы и деревья, перелететь через громады каменных гряд.

— Х-р-и-с-т-о!..

А может быть, и не «Христо»... Что же? Одно из двух: или голос из Джендема¹, и тогда пусть возвращается он, проклятый, в то самое пекло,

¹ Ад — самая глубокая и страшная пропасть в Калоферских горах (болг.).

из которого вышел; или это бродит по Русалочьей дороге старый калоферский сумасшедший хаджи Паро и зовет своих никогда не родившихся детей. Вот тогда будет очень плохо, если Христо откликнется.

Но зов растаял в тишине. И Христо вернулся к своим мыслям.

* * *

Новое калоферское училище поднялось над рекой Тунджей — громадное белое здание с красивыми выступами на стенах и множеством закругленных вверху окон, самое большое в городе, если не считать старой церкви св. Атанаса. Ни в ближних, ни в дальних селениях не было подобного. На торжественное освящение съехались гости из Карлова, Сопота, Казанлыка и Пловдива. И вот отзвучали молебные песнопения. Священники сняли ризы и принялись рассовывать кожаные требники по карманам. Учитель Ботю Петков вышел на середину большой залы, что в нижнем этаже, и остановился перед толпой празднично разряженных гостей. Откашлявшись и побледнев от волнения, он поднял длинную руку, жилистую и костистую. В зале стихло.

— Братья! — воскликнул Ботю, окрыляя пламенным порывом трепетный звук своего громкого голоса. — Братья! Мы сделали великое дело! Исполнилась наша вожденная мечта. И притом мы не докучали мольбами о помощи его царскому величеству, всемилостивейшему покровителю и защитнику нашему — султану. Не отвлекали нашими просьбами министров от государственных дел. Нет! Материальные средства для постройки училища мы отыскивали в своих домашних кассах, а энергию — в самих себе...

Старик Куянджиолу вспомнил про сто двадцать тысяч общинных грошей — стоимость здания — и ужаснулся. Как могло случиться, что расточительный мальчишка — учитель убедил скупых воротил калоферской общины выложить столько грошей? Как? В изумлении и страхе дядо Неделко сложил кровоточащие персты и осенил крестным знаменем впалую грудь.

— Волшебные дали раскрываются перед нами, — охваченный младенческим жаром восторга, говорил между тем Ботю, — и зовут нас к полету ввысь. Перед нами — народное поле. Оно готово принять в себя семена нашей благотворной деятельности. Братья! Разве не видятся вам впереди светлые, радостные дни?..

Господин Тодораки Митров, высокий и тучный старик чрезвычайно внушительного вида, в добротном европейском костюме из очень красивой шерстяной ткани, просвистал, насмешливо поблескивая в сторону оратора масляно-черными глазами:

— А мозет быть, о столь важном культурном событии в насей стране надлезит оповестить и Европу?

* * *

Еще обучаясь в эллинской школе, кир¹ Тодораки перестал быть болгарин. Школа сделала его знатоком арифметики и некоторых других точных наук; он умел превосходно говорить по-гречески и восхищался мифами об олимпийцах и героях Трои. Кир Тодораки считал себя подлинно просвещенным человеком, а болгарский язык почти совсем забыл. Он говорил на нем, как большинство старозаветных болгар, получивших воспитание в греческих школах, то есть не мог выговорить ни «ш», ни «ч», высвистывая эти звуки, словно дрозд. Он жил на родине, а мысль о ней никогда не приходила ему в голову. Все в Калофере отлично знали, что он болгарин, но никто не смел ему об этом сказать. Кир Тодораки смотрел на свой народ пустыми глазами ничего не видящего вблизи человека. Он был

¹ Господин (греч.).

убежден, что болгары и вовсе даже не народ, а просто толпа угнетенных, раздавленных давним османским владычеством людей. Тут он сходиллся во взглядах со многими образованными турками, так как, подобно им, полагал, что Болгария ничем не заслужила участи лучшей, чем та, на которую она до сей поры была обречена судьбой.

Перевод венелинской книги был окончен. Надо было ее издавать. Деньги... К самым деньгам Ботю относился свысока, а к отсутствию их — вполне равнодушно. Но страстным желанием видеть книгу Венелина вышедшей в свет мучился и терзался. Других путей не было. Он отправился к дядю Неделко Куянджиолу. Старый скряга любил, когда его именовали «родолюбцем»; а вместе с тем понимал, что наименование это не дается даром. Мысль о том, что на ученой книге будет печатными буквами обозначено его имя, как «спомощника», дразнила воображение старика. Он закрывал глаза и с радостным волнением представлял себе заветную строчку: «ученолюбивый, мудрословеснейший хаджи Неделко С. Куянджиолу»... Ах, как хорошо! И, окончательно соблазненный горделивыми мечтами, ростовщик сказал Ботю:

— Ты грамотный человек. Знаешь, как подобные вещи делаются. Пошли книгу в Сербию для печати, а мы заплатим.

Требовался аванс в восемнадцать тысяч грошей. Куянджиолу задрожал и с остервенением ухватился зубами за ногти. Но тщеславие превозмогло.

— Дадим, — прохрипел он.

Ботю послал рукопись в Земун и поручил подходящему человеку наблюдать за ходом работ в типографии. Однако до совершенного спокойствия было далеко. Дядю Неделко — могущественный человек. Но и кир Тодораки Митров не меньше значит. Первый — невежда, зато чувствует себя болгаринном. У второго — хитрый ум международного пройдохи и подлинно чужеземное бессердечие. Ботю зависел от обоих. Полагаясь на первого, он страшился второго; боясь второго, терял веру в первого. И больше всего на свете опасался спора или ссоры с Митровым.

Между тем книга была благополучно отпечатана в Земуне. И тираж ее уже лежал на полках издательского склада, когда возгорелась Крымская война.

В ряд с Турцией стали Франция и Англия; Австрия принялась двурушничать. Кир Тодораки Митров потирал большие белые руки.

— Теперь Русия пропала, — говорил он на заседаниях училищного настоятельства, — дамоклов меч давно висел над этой страной. Теперь он падает и поражает ее на смерть...

Ботю не смел подать голос. Он только усмехался потихоньку: «Русия в опасности? Да ведь это все равно, что сказать: океан в опасности». А церковные «владыки» служили молебны о даровании победы его величеству султану. И пловдивский митрополит заехал в Калофер, отслужил обедню в пустой церкви и потом до вечера пировал в двухэтажном доме кир Тодораки Митрова, ловко пользуясь за столом английскими вилками для жаркого и тоненькими рюмочками для огнистого зеленого шартреза. Горячая чугунная печка стояла за жирной спиной владыки. Ах, как приятно!

Кир Тодораки переживал счастливое время: взял громадный подряд на поставку продовольствия для войск европейских союзников Турции, воровал и разбойничал, как ему хотелось. Золото сотнями тысяч лир лилось в кассы обеих царьградских митровских контор — в Кючук-Ени-хане и в Зюмбул-хане. Ах, как славно!

Но болгарскому народу жилось нехорошо. Налоги взимались за год вперед. Богатых уводили из дому силой, а потом требовали выкупа. Силой

же брали деньги «взаймы». У крестьян, поставлявших хлеб и мясо в интендантство, отнимали полученные из казны деньги. А сплетники Гурджо и Мурджо бегали по городу и рассказывали о турецкой пехоте: «Ой-ой, какие солдаты! У каждого по три руки!» Когда дядо Неделко услышал об этом чуде, у него со страха открылся понос. Старика уложили в постель и, не откладывая, вызвали из Царьграда сына Спаса. Молодой чорбаджия приехал злой и растерянный. С одной стороны, было ему очень невыгодно покинуть Царьград в самый разгар сдачи огромных поставок галуна на обмундирование турецкой армии. С другой — он так нетерпеливо ждал смерти отца, что никак не мог не приехать, коль скоро тот заболел. Спас Куонджиолу всегда опасался неизбежных потерь при вступлении в наследство, если кончина отца произойдет в его отсутствие. Кому можно верить? Разве умные люди верят кому-нибудь? Молодой человек был похож на отца — так же худ, так же скуп, но в отличие от него был отчаянным туркофилом.

Дядо Неделко не имел сил подняться с постели. Однако и не умирал. Пребывание Спаса в Калофере затянулось. Растерянность его постепенно уменьшилась, зато злость возросла. Ботю пришел в дом Куонджиолу с экземпляром венецианской книги, присланным ему из Земуна. Он хотел поднести этот экземпляр дядо Неделко и напомнить о выплате денег издателю, как то было условлено. Но его не пустили к больному старику. Объясняться пришлось с сыном. Разговор происходил в столовой за низеньким круглым столиком. Спас долго вертел книгу в руках и бросал острые взгляды на смиренного Ботю. А потом спросил:

— Сколько учеников у тебя в училище?

— Взаимообучающихся — триста; а в четырех классах высшего отделения — шестьдесят.

— Сколько учителей?

— Четыре. Один взаимоучитель, два в высшем отделении и один по турецкому языку.

— А сколько ты получаешь в год?

— Тринадцать тысяч грошей.

— Много это или мало?

— Не знаю.

— Кир Тодораки находит: очень много.

— А твое мнение, господине Спасе?

— Ты дорого обходишься общине...

— Твой отец...

Чорбаджия засмеялся и махнул рукой.

— Отец?

При этом слове взволнованные мысли Ботю мгновенно повернулись к тому, что произошло вчера в его доме и в его сердце. Вчера Ботю в третий раз стал отцом. Родился сын, имя которому Стефан, — морщинистое багровое личико, глаза без зрачков, еще мутные и пустые, круглый животик и пухлые ножки, выющиеся в воздухе червячками...

— Настоятельство так решило. Соглашайся: мы сокращаем тебе плату наполовину.

Ножки Стефана вились червячками перед самыми глазами Ботю. А из-под его собственных ног куда-то вниз уходил пол чорбаджийской столовой, навзничь падали ее перламутровые стены, и окна переставали пропускать солнечный свет.

— Как же...

— Идет война. В кассу настоятельства почти не поступают доходы. Сам посуди: можем ли мы так много платить главному учителю?

Если бы Ботю увидел сейчас себя — иссиня-бледного человека с красными глазами и судорожно кривящимся под усами ртом, — он спросил бы,

заново знакомясь с самим собой: «А как тебя зовут, бедняга?» Тем временем из внутренних комнат в столовую торжественно выплыла представительная фигура кира Тодораки Митрова. Его пухлая белая рука медленно перебирала на животе массивные звенья золотой цепочки, седые кудри красиво вились на висках, и во взгляде блестело черное масло.

— Археологическая курица, — свистнул он в сторону Ботю, — надеюсь, тебе ясно, что спорить бесполезно? Ссгласайся, пока хузе не стало. А как твоя книга?

Догадка ослепительной яркости пронизала мозг Ботю: если не вырвать сейчас у этих людей денег на книгу, она погибла.

— Напечатана, — сказал он не обычным своим звонким голосом, а глухим и как будто вовсе даже не ему принадлежащим, — я пришел просить... дядо Неделко... восемнадцать тысяч грошей...

Спас протянул книгу Митрову. Кир Тодораки насадил на лиловое седло губчатого носа маленькие овалы очки и раскрыл томик на титульном листе.

— «Критические исследования... — бормотал он, — перевел с русского Ботю Петков. В Земуне»... А это?

Палец кира Тодораки уперся в подзаголовок. Из горла его вырвался зловещий свист.

— Цто? «От появления болгар на Фракийском полуострове до 968 года, или до покорения Болгарии великим князем русским Святославом»... На цто намекаешь, учитель? Русия когда-то владела Болгарией? Нет ли и теперь у Русии на Болгарию прав? Против войны зовешь, учитель, — ай-ай-ай, как плохо!..

Кир Тодораки с таким негодованием швырнул книгу на низенький круглый столик, что она, скользнув по нему, упала на пол.

— Это не я, — в ужасе шептал Ботю, — так у Венелина... Я...

— Ты — враг султана, — злобно сказал Спас Куюнджиолу, — вот кто ты. И ты задумал, пользуясь болезнью моего отца, сделать нас тоже его врагами. Врешь, собака! Мы — верные дети нашего государя. Кир Тодораки вовремя поймал тебя. Оправдывайся, сколько хочешь. У нас нет тебе веры. Пусть тысячу раз пропадет твоя скверная книга, ты не получишь от нас на ее оплату ни единого гроша.

Мысли — одна другой страшнее и мучительнее — вихрем проносились в голове Ботю. Отчаяние, гнев и обида наполняли его грудь. Он нагнулся, чтобы поднять книгу — и не поднял. К чему лишнее унижение? Мужественная гордость вдруг встряхнула его существо.

— Шайка! — крикнул он так громко, что стекла звякнули в окнах. — Обманщики!

И кинулся бежать из столовой...

* * *

Победоносный мир вовлек Турцию во множество затруднений. Европейские войска покинули страну. И цены на рынке тотчас упали. Сократились поставки, исчезли барыши. Товары лежали на складах, не имея сбыта. Мелкие и средние торговцы разорялись. Появилось новое слово: кризис. Скоро и Ботю почувствовал влияние кризиса на свои дела. Земунское издательство потребовало денег. Ботю начал выплачивать стоимость книги из своего жалованья. Нужда надвигалась. И тут-то Иванка родила третьего сына, Кирилла. Бедность окончательно одолела семью...

Христо запомнил это тяжелое время. С того апреля, когда родился Кирилл, Ботю приступил к набору частных учеников. Под большим ветвистым каштаном, над ручейком, пересекавшим двор длинного низкого дома, в Карлове, где Петковы укрылись от калоферских врагов, работала маленькая школа. И Христо оказался в числе учеников.

— Болгарин, синко, — сказал ему тогда Ботю, — родится дважды. Первый раз — когда появляется на свет, а второй — когда начинает учиться и понимать, что такое родина...

Христо слушал, и горячие глаза его неотрывно глядели в никому не ведомый дальний мир.

— А как я родился в первый раз? — неожиданно спросил он, стяхивая с себя облако полусонной мечты.

— Как ты родился? — с удовольствием повторил Ботю. — Хорошим болгариним, Христо. Дай, боже, каждому родиться под рождество, когда начинает смеркаться, в домах вспыхивают огоньки, а в небе над горой разгорается большая вечерняя звезда. В такой-то именно день и час ты родился. А утром мальчики побежали по улицам, громко выкрикивая: «Бог се роди, ой, коледо!» Один подобрался к нашему дому и звонко ударил о землю палочкой — коледаркой. Вынес я ему рождественские подарки — хлеб, кусок солонины и серебряную монетку. В этот ранний час раздался благовест на церковной колокольне. Но ты так сильно закричал, что и звона не стало слышно. Вскоре, на «бабий день», встречаю повитушку. «Поздравляю, — говорит, — тебя, даскале ¹, сын твой родился в сорочке. Голос у него, как иерихонская труба. Будет большой человек!..»

Да, небо не всегда бывает ясным. Иногда бродят по нему черные тучи, и гром гремит, и молнии блещут. Но ведь все это для того, чтобы благодатный дождь поскорее пролился на жадную землю. И вот Петковы вернулись в Калофер. Случилось это так. Дядо Неделко Куюнджиолу все еще был жив; почти не двигался, но заветной шкатулки не выпускал из рук. А в шкатулке хранилось не меньше ста тысяч грошей капитала, принадлежавшего калоферскому церковно-училищному настоятельству, и дядо Неделко раздавал общинные деньги в рост из двенадцати процентов, прихвывая лихву в собственный карман. Он предложил Ботю восстановить его учительский оклад в прежнем размере и вперед уплатить за полгода; на этом согласились.

Петковы въехали в старый дом, что близ Галюв-дола, и разместились в нем так удобно, как если бы и вовсе никогда из него не выезжали. Снова окна с точеными решетками, и во всех комнатах — резные деревянные потолки; снова ходит Иванка по комнатам в нарядных войлочных туфлях, снова поет по вечерам, но уже не только над прялкой, а и над маленькой американской швейной машиной с загадочной маркой «Howe». Для всего этого есть хорошее слово: благополучие...

Зимой умер дядо Неделко. За месяц до того приехал в Калофер Спас. Два доктора — греческий и турецкий — не выходили из дома с керамикой. Был слух, будто старик очень не хотел умирать и, когда пришел час, начал звать мюджурину ² и кричать, что его отравили калоферские чорбаджи, а всего вероятнее — Спас. У покойника был подозрительный характер. Отпевали дядо Неделко в церкви св. Атанаса. Под церковью, на базаре, было у дядо пять-шесть лавок, торговавших ситцем, перкалем, шелком, фесами и полотенцами — целый пассаж. С утра в день похорон лавки были закрыты. Народ приходил покупать, а шел молиться за грешную душу богаташа...

¹ Учитель (греч.).

² Градоначальник (тур.).

...Когда отпевание кончилось, Ботю стал в головах гроба и, стараясь не глядеть на сухое коричневое яблочко, бывшее еще совсем недавно живым теменем дядо Неделко, начал речь.

— Братья! От нас ушел видный согражданин, попечительный и заботливый спомощник всего доброго...

Ботю говорил громко и выразительно. Но почти все произносимые им слова так мало соответствовали действительности, что, услышав их, покойник умер бы от изумления во второй раз. Ведь он не обучался, подобно Ботю, духовному красноречию в Одесской семинарии. Впрочем, Ботю мало думал о словах. Они сами лились с его языка, торжественные и проникающие в душу: добросердечный, благомысленный, человеколюбивый... А думал он лишь о том, как бы красивее и убедительнее произнести их. И это ему удавалось. Подчиняясь воздействию силы и сладости произносимых им слов, оратор начинал пламенеть и зажигать своим огнем окружающих. Уже по углам храма всхлипывали неприметные до сих пор старушки. Кир Тодораки перестал зевать и уже не прикрывал больше белой ладонью своих пушистых усов, а усиленно крестился. Спас молитвенно наклонил голову; вспомнив, однако, о закрытых лавках, ощутил в сердце резкую боль. Иванка с раскрытым ртом восхищалась мужем. В храме было жарко и душно. Воск топился на паникадильных свечах и горячими каплями падал на гроб и головы молящихся. Наконец Ботю кончил речь. Волосатый священник пригласил воздать почившему столь необходимое ему именно сейчас последнее целование. Спас шагнул вперед. Кир Тодораки — за ним. Старушки с энергией выступили из углов. Христо вырвал руку из сильных пальцев матери — и пропал...

О, как ненавидел Христо калоферских обманщиков — богаташей за то, что они сделали с его отцом! О, как стыдно ему было за отца, только что произнесшего свою жалкую хвалебную речь! А на церковном дворе могильщики кончали рыть могилу. И на мраморной плите, прислоненной к дереву, значилось: «Земля еси и в землю отыдеши».

* * *

— Христо!

На обветренном, щелястом, словно кровью облитом, красном камне стоял хаджи Паро. Седая борода его развевалась за плечами. Палка, которой он размахивал, свистела в крепкой руке. Другой рукой он придерживал черную хламиду и, подогнув ноги в рваных кожаных лаптях, готовился прыгнуть на голову Христо. Мальчик вскочил. Да, это уже был не таинственный голос из Джендема, а подлинный, живой хаджи Паро. И звал хаджи Паро не кого-то еще, а именно его, Христо.

— Эй, ходил верблюд за рогами, да вернулся без ушей! Куда ты забрался, головорез? Уж, кажется, все местечки знаю, где прячется детвора, чтобы курить или в кости играть, мошенники. А тебя больше часа искал, бездельник. Беги домой! Живо!

Мальчик вскочил. Что? Зачем? Ведь он не прятался и не курил...

— Не болтай много! Живо! Ну!

И Христо помчался. С хаджи Паро не пошутишь. Пятки легких ног мелькали с заячьей быстротой. Слово ухватив за хвост невидимую птицу, перелетал Христо с одной скалы на другую, и каждый такой прыжок сближал его с городом. А хаджи Паро, отаптывая рваными лаптями кроваво-красный камень оставшихся за спиной мальчика гор, еще долго гоготал и орал хриплым голосом, сверкая круглыми глазами и разевая широкую, как у зверя, но беззубую пасть.

— Така! Така е!

И наконец швырнул вслед мальчику свою узловатую палку, похожую на посох древнего патриарха...

Глава пятая

Стар и млад

Пасха в том году приходилась на третье апреля, а Юрьев день, как всегда, был двадцать третьего. Между этими двумя праздниками Христо впервые заглянул в свою будущую судьбу. И сейчас он бежал навстречу ей, обгоняя разномастные стада буйволов, коров и коз, которые, пыля по дорогам и помахивая сотнями ленивых хвостов, медленно тянулись к городу с пастбищ Поля и Цыганской могилы. Калофер утопал в зелени, белый и светлый, под весенними синими небесами. Среди живописных домиков и высоких церковных колоколен змеей вилась сверкающая Тунджа. Дым из труб тихо тянулся за ветром, — было десять часов по-турецки, и старухи в черных платках уже ковыляли вдоль плетней к вечерне. Чем ближе к родному двору, тем нетерпеливее коровье мычание, требовательнее козьи и овечьи голоса. Дети радостно встречают скот; женщины снуют у заборов, загоняя его в калитки.

Красный и потный, Христо ворвался в город, засвистел и загинал. Курь, еще не рассевшиеся по нашествиям, в ужасе заметались на тесных улочках, перемахивая через ограды и роняя из крыльев пестрые перья и белый пух. Собаки гнались за Христо, остервенело лая и норовя ухватить его за живое. Черная, словно углем натертая, женщина в рваной оранжево-синей юбке, с косматой крашеной косой, остановилась, любуясь зрелищем.

— Цыганка-маганка! Эй..

— Ах, ты... Чтоб тебе до смерти задыхаться и пыхтеть...

А Христо уже мчался мимо церкви св. Богородицы и нового дома Пенко Кирова к мельнице бабы Бенчовицы Ганевой, к мосту у конака¹ и дальше по шоссе к Галюв-долу. Но здесь он натолкнулся на толпу ребят, весело игравших в слепую кошку. И, подумав немного, остановился...

...В это время через каменный мост, что у Тотьовой кофейни, одиннадцатилетняя Райна Митева, голубоглазая, русоголовая, торопясь изо всех сил, гнала корову. Заметив Христо среди мальчиков, игравших в слепую кошку, Райна слегка ударила корову по репице длинным тонким прутом и, послав ее таким способом вперед, кинулась к ребятам.

— Христо! — кричала она на бегу. — Христо!

Но корова — большая, рыжая, в белых пятнах, с крутыми рогами, из которых один смотрел почему-то вбок, — услышав звонкий голосок своей маленькой хозяйки далеко позади, не пошла дальше; она остановилась, оглядываясь и будто удивляясь: что случилось? Действительно, что-то случилось. Задыхаясь от волнения, Райна шептала Христо:

— Такой гость... Ты никогда не видел такого... Цоко! Сам дядо Цоко!

Это верно, что Христо никогда не видел дядо Цоко, но слышал о нем довольно. Изумленный, он спросил:

— И ты сама видела? Дядо Цоко сидит у нас?

— Сидит... — шептала девочка, — видела... Я пригнала вашу корову и зашла в дом, чтобы... А он... Отец мой еще не знает...

Все это было сказано меньше чем в минуту. Райна бросилась к своей криворогой корове. А Христо, и думать забыв про слепую кошку, — домой...

...Вскоре на шоссе, с того края города, где шумела Караминкова мельница, показался быстро шагавший крестьянин. Это был отец Райны, Митю Брадатый. Полотняные штаны Брадатого низко сползли с худого живота, а фес был измят, как бумажный колпак. Лицо Митю выражало жестокою тревогу. Он стремительно подвигался по шоссе, держа направление к Галюв-долу, где в квартире учителя Ботю, по словам дочери, сидел

¹ Градоначальство (тур.).

сейчас Цоко. Наконец-то услышит Брадатый о своем Станчо! Узнает судьбу милого сына! По мере приближения к Галюв-долу старый Митю все ускорял и ускорял шаги, как молодой, и сердце его билось все сильнее и сильнее, точно молодое. И вдруг он побежал, странно закидывая в обе стороны длинные ноги...

...Станчо пропал год назад. Как? Куда? В этом все дело. Ушел от достатка и сытости, от теплой родительской и от братской любви, от нежных сестриных ласк. Митю жил под городом, близ турецкой деревни Доймушларе, издольщиком на земле богатого бея, сеял, жал, молотил и веял и, кроме того, очень искусно мастерил из букового дерева рукоятки для мотыг и колесные ободья. Вся семья его трудилась. Один шил туфли, другой крутил шнурок, третий варил мыло, четвертый сбивал масло, пятый вязал чулки. И все были самыми настоящими болгарскими крестьянами — тихи, осторожны, подозрительны, замкнуты в себе и миролюбивы. Все были таковы — и сам Митю Брадатый, и жена его Любица, и мать баба Тана, и второй сын Добри, и младший сын Симо, и дочь Райна; только Станчо один не был таков. Находился еще Станчо в тех годах, как теперь Райна, а уж держался, словно большой, и глядел с головы до ног юнаком. Брадатый никогда не бил детей, а жена его их била. Брадатый учил малолетков:

— Если майка бьет, скажите ей, милые, спасибо!

А Станчо тут как тут и непременно добавит:

— А коли турок, милые, боитесь, так уж и конское копыто целуйте!

Очень не любил тех, кто боится турок. Сам же не боялся никого. У него было простое крепкое сердце — с таким сердцем человеку ничего не стоит и на смерть пойти, — хладнокровная, мужественная душа. Как, бывало, надвинет на лоб шапку из светлой овчины да запряжет серых волков, чтобы ехать на пахоту, глаз от него не оторвешь. Не про таких ли молодцов поется в старых песнях, будто превращаются они в сизо-белых орлов? Все бы хорошо. Но дивился Брадатый на сына: юнаку двадцать лет, а все не женат. Не было Станчо проходу — парни над ним смеялись, девки дразнили. И уж так все это ему надоело, что в один прекрасный день объявил он отцу, как отрезал:

— Стоп! Ухожу на гурбет¹.

И впрямь ушел, не сказав куда и даже не пообещав вернуться. Долго гадал Митю, соображая и прикидывая, и так и сяк повертывая упрямую мысль. И надо было целому году пройти, чтобы он наконец догадался.

— Да благословят бог и святой Илья его саблю и его ружье! — сказал тогда Брадатый и заплакал.

А сейчас он бежал к учителю Ботю, чтобы увидеть у него славного воеводу горных бойцов и спросить, не знает ли он чего-нибудь о его пропавшем сыне...

* * *

Стара-Планина проходит у Калофера через Русалочью дорогу. Отсюда Цоко спустился к городу, пробрался садами и задворками к дому Петковых и, никем не замеченный, постучал в заднее окно.

— Хей, хора, не бойте се! Свои сме!

И вот он сидит в большой горнице учителява дома у мангала, худой, широкоплечий, с длинными седыми усами, желтыми под носом от табачного дыма, с частой сеткой глубоких морщин на лице, маленькими серыми глазами, полными необыкновенно серьезного и сосредоточенного выражения, молчаливый, ни на минуту не расстающийся с коротенькой трубочкой и отплеывающийся после каждой затяжки. Огонь на кухне ярко пылал за занавеской. Пока Иванка хлопотала, распоряжаясь запасами свиного

¹ Поиски заработков (тур.).

сала, венками стручкового перца и связками вяленого мяса, Цоко неподвижно сидел на соломенной подушке у мангала в истрепанной до колен чабаньей накидке и, раздумывая, попыхивал трубкой. Петковы не закрыли перед ним своей двери — хорошо. А найдется ли и в сердце у них угол для старого хайдута — это он сейчас увидит. Цоко ждал угощения. Иванка поставила на стол молочник, полный простокваши, миску с жирной бобовой похлебкой и тарелку с белым хлебом. Цоко оставалось только перекреститься, отломить кусочек хлеба, макнуть его в чорбу и отправить в рот. Но он ничего этого не сделал.

— Дай вам боже, други, — сказал он, — а мне нельзя. По средам и пятницам постимся мы всей дружиной. Для стариков же и в понедельник пост.

Он произнес это с радостной душой, так как ясно видел теперь, что его встречают у Петковых, как дорогого гостя, и что, следовательно, не будет ошибкой начать разговор о главном. Ведь не обедать же, в самом деле, пришел сюда Цоко, давно позабывший, как обедают люди. И не для того спустился он с гор в долину, прорываясь сквозь чащи непролазного леса, сквозь буковые кустарники, дубовые заросли, виноградники, чтобы прийти сюда голодным, а уйти сытым. Нет, не для этого! Цоко пришел с горькой просьбой от хайдутской дружины. Если не дадут калоферцы просимого, сгинет дружина. А почему не дать? По обоим берегам реки Тунджи, от Ореховой долины вверх до мельниц, работают, оглушительно стуча днем и ночью, шнуровые мастерские. Вода Тунджи крутит машины, а в них крутится шнур. Из каждой машины за год выходит по две тысячи кусков готового шнура. Всего в мастерских города тысяча двести машин. Сколько же Калофер за год изготовит шнура для продажи? И не сосчитаешь! Сколько выручит прибыли? И не выговоришь! А что сказать о калоферских абаджиях¹, которые могут одеть в свой шаяк целый Пловдив и половину Царьграда? Эх! Калоферцы — богачи. Хайдутам же много не надо: двадцать пять турецких лир, тридцать пар лаптей да десяток ок пороху. Дядо Цоко убедительно хлопнул себя по штанам, которые были так широки, что в них свободно уместилась бы не одна мера ячменя. Больше ничего не надо дружине! Не будут хайдуты разбойничать, ибо хорошо знают, что за разбой по «Исповеднику» отлучают виновного от причастия на двадцать лет, а будут, как и прежде, стеной стоять на Стара-Планине, не давая проехать турецкому купцу с караваном, пройти турецкому жандарму, проползти поганой змее.

Христо живо сбегал за баем Драганом Вылчановым. И бай Драган не заставил себя ждать — пришел, уселся против Цоко по другую сторону мангала и, выслушав о деле, задумался. Это был пожилой человек, худой, бледный, серьезный, в синей безрукавке из сукна самого высшего сорта. Сукно это изготовлялось в Аха-Челеби, а платье из него шили для бая Драгана лучшие пловдивские портные. Цоко незаметно плюнул. Он не любил встречаться с чорбаджиями.

Действительно, было время, когда бай Драган решительно ничем не отличался от большинства калоферских богатшей. Женат он был на дочери покойного дядо Неделко Куюнджиолу. Получив за ней в приданое три шнуровые мастерские по пяти деревянных ткацких станков в каждой, он, однако, заниматься этим делом не захотел. Продал мастерские шурина Спасу и завел в Калофере большую сукновальню со складом, а в Казанлыке и в Пловдиве — по лавке. Калоферский шаяк был тогда известен не только по всей европейской Турции, но и в Малой Азии, и на Архипелажских островах, и в Египте. Торговля им озолотила бая Драгана, когда

¹ Ремесленники, производившие абу и шаяк — грубое сукно (болг.).

началась Крымская война. Целые караваны с сукном, уложенным в большие чувалы, отправлял он в те счастливые годы из Калофера. Впрочем, и после войны торговля шла прибыльно. С ярмарок в Узунджове и Ески-Джумая да еще и с Татар-Пазарджикской большой ярмарки, которая начиналась в Петров день и кончалась только через восемь недель, возы возвращались порожними. А остатки раскупались со склада торговцами, приезжавшими в Калофер из Македонии и Боснии со множеством турецких лир и австрийских минцов в торбах, крепко привьюченных к коням. Приезжие торговцы отсчитывали деньги и щелкали языками:

— Алтын-Калофер!¹

Смолоду бай Драган был так беден, что в кармане у него редко вошло больше одного медяка; и тогда говорили о нем: золотое сердце. Но по мере того, как приумножалось его состояние, на сердце все виднее проступала ржавчина. Значит, было оно не золотым, а железным.

— Когда работаешь, — говорил он своим пряхам и чесальщицам шерсти, мастерам и подмастерьям, караванщикам и доверенным, — трещат плечи, а когда ешь — челюсти. Не плечи жалеите, а челюсти, и будете людьми. Так нас учили старые хозяева, бог им прости.

И пряхи, и сукновалы, и караванщики, и доверенные старательно работали на бая Драгана, робкими песнями и пустыми надеждами облегчая свой тяжелый труд. Все они безотказно слушались не только хозяина, но и жены его, хозяйки, не смели курить в их присутствии, а в день Петра и Павла, на праздник портных и шнуровщиков, почтительно стоя перед ними, просили разрешения погулять. Правда, так было оговорено в цеховом уставе. Но в уставе не было ни слова сказано о том, сколько часов в день должен работать мелкий подручный за свою миску щей.

Особенно худо приходилось мелюзге, недавно всунувшей слабенькую полудетскую шею в тугую хомут ученичества. По воскресеньям ученики копали хозяйский огород, месили коровий навоз для сушки и топки, таскали мокрое белье из бани, стирали пеленки и почти ничего не ели от усталости.

— Хочешь быть сытым — поменьше ешь, — говорил им бай Драган.

И усердные ученики последними садились за стол, первыми вставали, работали от темна до темна, пока не подрастали настолько, чтобы отпустить усики и получить от хозяина первую грошовую плату. Словом, все шло, как идти положено. И сердце бая Драгана, казавшееся некогда золотым, совсем бы со временем очугунилось, если бы не случилось вот что.

Года за полтора до возвращения Петковых из Карлова в Калофер, ранним утром Пантелеймонова дня, люди нашли калоферский склад бая Драгана настезь открытым и разграбленным; в чулане, на горе необделанных кож, лежал семнадцатилетний сторож Димо; длинный нож торчал в его груди, а на кудрявую голову была нахлобучена сорванная со стены торба с красным перцем. Весь Калофер поднялся на поиски убийц. Впрочем, дело это оказалось нетрудным. Убийцы и сами не таились и преступления своего почти не скрывали — два разбойника из подгородной турецкой деревни, отлично известные всему городу в лицо и по именам. Оставалось арестовать негодяев и предать суду. Но ни калоферский мядюрин, ни карловский кадия ничего не предпринимали. Тогда бай Драган словно переродился. На удивление городу, он так плакал у гроба бедного Димо, точно скромный и красивый мальчик этот был не наемным его слугой, а родным и любимым сыном. Догадавшись, что местные власти не хотят наказывать виновных, бай Драган отправился в Пловдив и за большие деньги нанял известного адвоката. И все-таки дело не двига-

¹ Золотой Калофер (тур.).

лось. Тогда он уехал в Одрин, добился приема у паши и продолжал, не жалея, совать деньги в бездонные карманы алчных взяточников. Дело продолжало стоять. Наконец он увидел, что добиться ареста убийц и суда над ними нельзя, ибо справедливости для райи — для христиан в султанской Турции — не существует. И тогда бай Драган впервые ощутил на своей болгарской спине проклятую тяжесть османского ига и страстно возненавидел его.

Итак, Ботю Петков хорошо знал, что делал, когда посылал сына за Вылчановым. Именно он, бай Драган, мог помочь в хайдутской нужде. И дядо Цоко, внимательно разглядев сидевшего перед ним в глубокой задумчивости человека, понял: ятак! ¹

...Брадатый хотел набить трубку. Но руки его дрожали, а табак, миную трубочную головку, сыпался в огонь мангала. Да, действительно Цоко принес весть о Станчо — первую и последнюю весточку о милом старшем сыне. И не только руки — весь Митю дрожал от судорожной боли в остановившемся сердце. Не было больше Станчо. Погиб сизо-белый орел на высокой горной вершине, едва успев расправить саженные крылья, чтобы пуститься в бой. Цоко подробно рассказал, как все случилось. Надо было непременно выбить аскеров из башни, а самую башню разрушить, отваживая проклятых от привычки взбираться на орлиную высь. Башня была очень крепка — четырехугольный дом из серого камня; длинный ряд маленьких окон под крышей; сбоку — вышка, а кругом — каменная стена с бойницами... Цоко говорил медленно, по-стариковски, хриплым, дребезжащим голосом. Христо слушал, а в ушах его звенел свежий и звонкий запев любимой песни:

Кто из нас не пожелает
За Болгарию погибнуть,
За отчизну дорогую,—
Пусть того господь погубит,
Проклянет пусть мать родная,
Пусть отец его зарубит,
Плюнет сын в его могилу...

Митю плакал, трясая головой. Острые углы лопаток быстро двигались под его рубахой. Глядя на Митю, не выдержал и Христо — тоже заплакал.

— Зачем огорчаешься, мой ягненок? — ласково сказал ему Цоко. — Жить на земле скучно и трудно, на том свете, наверное, лучше. Сидит Станчо, богатырь, спокойный и неподвижный, под облаками. Птицы вьют гнезда в его голове, деревья уходят корнями в уши, в глаза. Хорошо теперь Станчо. А вот я жив, да... смотри-ка!

Он вытянул руку с отрубленными пальцами. Сбросив плащ, обнажил исполосованные турецкими ятаганами сине-багровые плечи. И, приподняв волосы с затылка, показал на нем глубокий рубец. Края страшной раны трепетали, как живые. Цоко вздыхал, а они колыхались, точно дышали вместе с ним. Христо замер от ужаса.

— Видел, ягненок?

Еле ворочая пересохшим языком, Христо спросил:

— Ты «их» тоже не жалеешь?

— Жалею,— усмехнулся дядо Цоко, прикрывая плечи накидкой,— убью, завалю сухими дровами, обсыплю порохом и запалю. Ну, и... как не было!

¹ Тайный сообщник (болг.).

Еще целый день наслаждался Христо рассказами старого хайдутского воеводы. Вместе с Цоко как бы спустился в домик Петковых звучный воздух лесных гор.

Клич раздался смелый
 Удальца хайдута:
 — Слушайте, юнаки,
 Парни молодые!
 Разве вам не жалко
 Матерей любимых,
 И отцов-кормильцев,
 И любезных братьев,
 И сестер печальных,
 И невинных деток?
 Поглядите только,
 Как они страдают,
 Слезы проливают
 И обиды терпят,
 И оковы носят,
 Горько проклиная
 День, когда родились...

Иванка пела, а Цоко рассказывал про «медногласый кавал», с которым чабил на Стара-Планине в молодые бродяжные годы. И для каких только чудных дел не пригаживалась людям свирель в то далекое время! Очарованные ее чистыми звуками, навек отрекались разбойники от грязного своего ремесла. Самодивы так и льнули к музыкантам, предлагая им свою любовь...

— А в тебя, дядо, не влюблялись самодивы?

— Было, ягнечок, было... Пас я однажды стадо в горах. Знай себе дюю в кавал, оловянные колечки на нем налаживаю, кистями на кожаном чехле потряхиваю. Стоп! Будто меня через голову перевернуло. Гляжу, за спиной хоровод красавиц вьется. Отродясь таких не видывал. Закружилась, запели и совсем было затормошили меня...

— А ты?

— А я как вспомнил, что за этакый грех в отлучении от святого причастия по «Исповеднику» десять лет избыть надо, так и пошел их крестить направо, налево. Тут они отпрянули, завыли, запрыгали и одна за другой сквозь землю попроваливались. Я еще крещу, а их уж нет, пусто. Да вот горе: с ними и кавал мой провалился...

...Под вечер Цоко ушел из Калофера так же неприметно, как и пришел. А наутро обнаружилось, что бесследно пропал из родительского дома парень Добри, второй сын Брадатого, Райнин брат. Был Добри, и не стало его этой ночью...

Невозможно желать, не представляя себе желаемого, то есть не воображая. После знакомства с дядо Цоко воображение Христо разыгралось. Не так же ли точно разыгрывается около Георгиева дня в молодых болгарских юнаках природный хайдутский бес, и бегут они дюжинами в леса? Может, Христо и стрельнул бы из дома, будь постарше. За ним и приятель его Симо, младший Райнин брат. Но, глядя друг на друга, видели они ясно свою малорослость. И тогда разыгрывалось воображение...

...Христо мечтал: уйдет он на Стара-Планину, в горы, то мрачные и голые, то густо покрытые чашами непролазных лесов, — уйдет к хайдутам и будет жить с ними, нападать на казенную почту, на сборщиков податей, на караваны богатых купцов (бая Драгана не тронет, а кир Тодораки и Спас Куюнджиолу — другое дело); что ни день, будет напоминать тур-

кам: нет, не умерли еще в болгарском народе ни боевой дух свободы, ни ненависть к своим угнетателям. И лишь много спустя, когда имя славного хайдутского воеводы Христо станет ведомо всей Европе, отправится он в Русию и поднимет ее на турчина.

Не было больше игр, кроме одной. С той поры, как Христо начал учиться в классной школе, товарищей верных, сговорных стало у него хоть отбавляй. Один Симо Митев, брат двух хайдутов, живого и мертвого, что за юнак! И все поддавались настроениям Христо — рвались в четники. Местом сбора четы была поляна за церковью. Здесь удалцы накрест связывали свои деревянные сабли. Симо развертывал бумажное знамя. И хайдуты клялись над крестом:

— Кто из нас нарушит эту святую присягу и не послушается Христо-воеводы, пусть поразит того гром в Ильин день. Пусть заптии выбьют ему глаза и скажут: «Гяур, трус, заячья шкура!» Пусть он, по божьему попущению, кончит век свой на виселице. Такому — собачья смерть. Аминь!

Христо учил дружину:

— Эй, братья! Честь болгарского хайдута дороже тысячи турецких лир. Кто того не знает, не хайдут...

Вскоре и Райна Митева начала воеводить, точь-в-точь как девушка Сирма, водившая некогда в бой по семидесяти парней. И никто из парней не догадывался, что Сирма — женщина. Лишь когда ее убили, узналось это диво. А так как Райна была покамест жива, совершенно здорова и даже на редкость краснощека, то нечего и удивляться, что подчиненным ей хайдутам в голову не приходило видеть в своем воеводе женщину. Другое дело — хаджи Паро. Вот уж кого не обманешь! Встретив Райну на дороге между Калофером и деревней Доймушларе — голубоглазую и скромную, с чулком и быстро мелькавшими вязальными спицами в руках, — он ни на миг не усомнился в том, что она девочка, долго гладил ее по голове, по плечу, а потом закричал:

— Аферим, аферим! Хорошо, дитя мое! Боже, продли твою жизнь!

Матушка Дансия и тетушка Тиудушия, монахини из верхнего женского монастыря, обучавшие девочек в старой школе, тоже никак не желали принимать Райну Митеву за существо другого пола. А что она, сверх того, воеволица Сирма, это им и не снилось.

* * *

С яркого света улицы и широкого двора Христо влетел в сумрачный вестибюль училища и остановился у лестницы, которая вела наверх. Здесь он живо стащил с себя башмаки, приставил их к длинному ряду разнокалиберных обувок и, прилепывая босыми ногами, вошел в класс. Это была большая высокая комната с окнами на обе стороны и ровными шеренгами черных парт. На простенках между окнами виднелись красиво выведенные надписи: «Онаго, коего ты мразишь, другому да не правишь»¹. В классном отделении училища мальчики проходили обширную программу: и болгарская грамматика, и география с историей, и арифметика с физикой, и русский, французский, турецкий и греческий языки. Русский язык был введен в программу усилиями Ботю. Тогда же он взял на себя и его преподавание, а от греческого отстранился. Сколько укусов и ударов со стороны кира Тодораки Митрова и Спаса Куюнджиолу пришлось выдержать Ботю, прежде чем необходимое было сделано! Сколько подозрений опровергнуто, доносов, обезврежено и опасностей преодолено! Сколько пережито унижений, страхов и обид!

И вот с русской грамматикой Греча и «Рыбным букварем» доктора Берона под мышкой учитель Ботю входит в класс — высокий, с широкими

¹ Чего не хочешь себе, не делай другому (болг.).

плечами, в длинном сером пиджаке и европейских брюках, которых никто никогда не носил до него в Калофере. Длинное белое лицо его выглядит значительно и важно. Большие руки бессильно болтаются вдоль бедер — так по крайней мере кажется.

Христо наскоро набрасывал на клочке бумаги смешную рожу человека с выпученными глазами и распухшим носом. Криво надетый фес свидетельствовал о чрезвычайной философской небрежности, с коей жил этот человек на свете. А об остальном говорила строка под карикатурой: «Люблю горячую ракию!» Христо делал набросок с такой легкостью и быстротой, как если бы подлинник стоял перед ним. На самом же деле Ованез-эфенди, пловдивский армянин и учитель турецкого языка в младшем отделении калоферского училища, лежал в это время в чулане под лестницей и храпел во все носовые завертки, ибо был, по обыкновению своему, мертвецки пьян.

Ботю взошел на кафедру и внимательно оглядел класс.

— Христо,— сказал он,— поди сюда. Вот «Рыбный букварь». Найди историю под названием «Разница между отцом и учителем». Нашел? Теперь прочитай эту историю по-русски.

Христо перевел без запинки:

— Александр Македонский говорил часто: Аристотелю я обязан больше, чем Филиппу, ибо отец дал мне только жизнь, а учитель научил жить...

— Дети! — громко воскликнул Ботю.— Запомните: неуч столь же отличен от знающего, как мертвый от живого. Только мертвый никогда не станет живым, а неуч обретет в науке знание. Знающий бежит от невежества, как живой от смерти...

Дверь тихонько растворилась, и в разъеме ее обозначилась белобородая фигура в черной хламиде, с пастушьим посохом в руках. Хаджи Паро протиснулся боком, на цыпочках вошел в класс, почтительно кланяясь учителю, и, прислонясь к стене, остановился со сложенными на груди руками. Круглые глаза его с жадным вниманием упирались в Ботю. Благоговейно слушая его слова и ничего в них не понимая, он делал, однако, вид, будто все ему ясно, и время от времени одобрительно кивал головой. В классе стало тихо-тихо. Сам того не желая, дядо хаджи нагонял своим присутствием на учеников такой страх, которого, может быть, напрасно добывается иной главный инспектор.

— Дети! — громко говорил между тем Ботю, расхаживая широким шагом перед партами и помахивая в воздухе правой рукой.— Как живой человек не может желать себе смерти, так и неуч должен стремиться к знанию...

...Ученики, сидевшие поближе к окнам, выходящим на передний двор, словно по команде, повернули головы и устремили взгляд направо. По двору шел малорослый человек в кожаном колпаке; на его сторбленной и худой спине громоздилась тяжелая связка свеженарубленных в лесу кизиловых прутьев. Связка была так велика, что казалось, будто не тщедушный училищный сторож Лилко тащит ее на себе, а сама она движется на слабых его ногах. Зрелище это отозвалось в классе угрюмой тишиной мрачных предчувствий. Ботю глянул в окно и неслышно усмехнулся.

— Симо, скажи-ка мне по-русски, что ты видишь за окном?

Симо побледнел.

— Вижу прутья.

— Какие?

— Очен болшие, но тоненкие.

— Для чего они здесь?

Симо молчал.

— Для внушения тем, кто не понимает, как важен в человеческой жизни честный труд. А особенно важен труд в жизни нашего издавна порабощенного болгарского народа...

Симо придвинул губы к уху сидевшего рядом Христо и прошептал:

— Если Лилко будет меня сечь, я не дамся!

Христо вскипел:

— Четник, знаменосец — шутка ли! Да я скорей умру, чем Лилко подойдет ко мне, хайдуту!

Бумажка с изображением Ованез-эфенди как бы сама собой скользнула из-под взволнованной руки мальчика и, слетев с парты, упала к ногам хаджи Паро. Ботю оборвал шаг.

— Что это? — строго спросил он. — Кто бросил бумажку?

И два пальца большой руки учителя уже сложились для легкой оплеухи, которой обычно сопровождал он свои увещания виновным. Но пальцы не понадобились. Хаджи Паро приставил свой посох к стене, живо вынул из кармана сальный кисет с табаком и, кряхтя, нагнулся за бумажкой.

— Молю, даскале, не сердись! Уронил, мой грех...

И на цыпочках вышел из класса, провожаемый десятками восхищенных черных глаз.

..*

Было когда-то — маленький Христо читал книги из отцовской библиотеки не из интереса к их содержанию, а лишь потому, что знал азбуку и умел читать. Время это прошло. Читая, Христо погружался теперь в наслаждение мыслью, перед которой открывается мир. При сильной любви к чему-нибудь человек удивительно быстро и легко развивается. Так именно было с Христо. Математика давила его фантазию, а история выпускала ее на простор. Христо столько же страдал от избытка математики в школе, сколько от недостатка исторических книг в библиотеке отца. Тогда он выпросил разрешение читать книги из училищной библиотеки. Он очень любил эту комнату на втором этаже, с большим дубовым столом посередине и мягкими лавками вдоль двух стен, заставленную красивыми шкафами и служившую местом заседаний церковно-училищного настоятельства и канцелярией школы. Он подолгу рассматривал висевшие здесь в широких рамах картины художника Павловича. Картины изображали разные сцены из древней болгарской истории. Вот Аспарух идет с дружиной к Дунаю, а это — Крум усекает кому-то голову, это — ночное видение царю Петру; а это... Христо отворачивался, чтобы лишний раз не взглянуть на большой портрет султана Абдул-Меджида верхом на коне и с пером на фесе. Воображение мальчика кипело. Мечты о хайдутстве росли, росли и вырастали наконец в неистощимо радостную поэму. О, это кипящее воображение, эти неистощимые мечты! По ночам Христо молился святому Харлампию, призывая небесную благодать на свое детское мужество, на свою верную любовь...

...К Ботю пришли три монахини из верхней обители, чтобы обсудить какие-то церковно-училищные вопросы. Одна была его тетка по матери, Екатерина Недева, — старая, с седой щетиной на подбородке и выпуклыми серыми глазами под низкой черной камилавкой. Две другие — учительницы девичьей школы, матушка Даисия и тетушка Тиудушия.

— Все читаешь, читаешь... — сказала матушка Даисия, укоризненно глядя на Христо. — А зачем? Книг на свете столько, что всех никак не перечитать...

Христо молчал. Ботю улыбался. Странное дело: был он уже не очень-то молод, и утомленное лицо его не отличалось свежестью — легкая припухлость черт, вялость губ, уходящий в редящие волосы негладкий лоб. Но было в его лице и еще что-то, от чего вовсе не трудно было представить себе Ботю юношей, даже мальчиком. Стоило только ему улыб-

нуться, как сейчас, весело сверкнув лукаво прищуренными глазами, — и на месте пожилого даскала вдруг появлялся шаловливый и бойкий мальчуган.

— Эх, матушка Даисня, — сказал он монахине с усмешкой, — да ведь и хлеба так много, что всего не съешь. А без хлеба не проживешь.

И погладил голову сына...

..*

Из русских книг Христо облюбовал, кроме исторических, еще одну — сочинения Лермонтова. Особенно нравился ему «Мцыри».

...Знал одной лишь думы власть,
Одну, но пламенную страсть...

Как и Мцыри, Христо сосредоточил все свои мысли в одной-единственной думе, все желания — в одной страсти. Что это была за дума? Что за страсть? Он не мог бы ни объяснить, ни назвать и, однако, все ближе подходил думой к счастью родины, а страстью — к борьбе за него. Стихи Лермонтова — поэзия. Совсем еще недавно Христо полагал, что стихи и поэзия — одно и то же. Но теперь думал совсем иначе. Нет, настоящий поэт не сидит, как птичка, на ветке рододендрона, пробегая легкими пальцами по струнам золоченой арфы. Христо вдруг понял, что поэзия — меньше всего стихи; что поэзия — жизнь, прелесть которой бывает иногда выражена в стихах, а иногда нет, и что именно такой, настоящей поэзии исполнена его дружба с Райной Митевой. Христо очень хотел сделать все это понятным и для Райны. Но как ни старался, а поколебать ее детское представление о поэзии и поэтах ему все-таки не удалось. Райна не понимала...

...Однажды вечером случилось Христо оказаться под городом, за мельницами, на берегу светлой Тунджи. Удивительного мало. Отчего не гулять парню? Странно только, что все его прогулки неизменно направлялись к турецкой деревне Доймушларе. Может быть, тянуло хайдута в Орешник — нет по дороге с Унджовской ярмарки других таких славных разбойничьих мест, как Орешник да Касапский камень. Но в этом ли только дело? Между Доймушларе и городом стоял дом Митю Брадатого. И жила в нем Райна. Так почему бы еще и по этой причине не оказаться хайдуту вечером в той стороне? А уж коли так случилось, почему бы не вывести случаю и Сирму на красивый речной берег?..

Христо предавался задумчивому, сладостно-томному созерцанию природы, и мир обманчивой неподвижности, призрачного покоя постепенно наполнял собой его душу. Горы белели и синели, сливаясь с небесами. Христо смотрел на них и думал: «Зачем люди так жадны и хотят непременно все себе присвоить? Вот горы стоят на болгарской земле. Отчего же турки...» Он не успел додумать мысль. Голубоглазая девушка с венком на русых волосах, славная воеводица Сирма, шла прямо к Христо и пела:

Расти, мой жених, расти...
А потом проси меня у отца.
Я соглашусь, мой жених,
Если ты яблочко мне подаришь —
Голову турка на остром колу...

— Экая песня! — сказал Христо. — Я от матери такой не слышал. А откуда ты ее знаешь?

— Станчо пел, когда был жив. И Добри тоже. Они говорили, что она сложена на Черной горе. Тебе нравится?

— Пой! Пой! — радостно воскликнул Христо. — Все равно, кто сложил. Пой!

Он стоял перед Райной, рослый тринадцатилетний юнак, белый, румяный, с сочными губами и живым взглядом огневых черных глаз. И Райна стояла перед ним — светлая и чистая, как Тунджа, в этот вечерний час. Две жизни начинались рядом...

Глава шестая

Маркизские острова

В большой комнате за письменным столом сидел полный человек с очень свежим, чуть красноватым лицом и длинными прямыми волосами. Стол был завален книгами, журналами и бумагами. Сбоку висела картина в узкой золоченой раме. На ней был изображен колокол. Кто-то невидимый широко раскачивал его мощный язык. Для набата? Художник сумел придать подлинную жизнь чугунному сюжету: глядя на картину, казалось, будто колокол и впрямь гудит, рассылая по целому свету свои грозные зовы. Высокая арка отделяла кабинет от гостиной. Одна дверь вела в столовую. Другая, распахнутая настежь, — в сад. Через нее вривались в кабинет яркие солнечные лучи.

Человек, сидевший за письменным столом, не писал и не читал. Он думал. Его маленькая нервная рука быстро перелистывала то сегодняшней номер «Дейли ньюс», то влажные листы типографского оттиска под русским заголовком «Колокол»; иногда рука с энергией бралась за гусиное перо, но тут же и ослабевала. Вероятно, все это были случайные, произвольные движения. Глубокие серые глаза сидевшего за столом человека — глаза, полные огня и юношеской отваги (а сам он вовсе не был молод), — смотрели в сад. Множество вековых вязов тихо шумело в саду. На вязах торжественно колыхались огромные вороны гнезда. И на широких ветвях старого трехсотлетнего дуба — тоже. Человек за столом пристально смотрел на все это, но едва ли видел. «Итак, — думал он, — прошло семь лет с тех пор, как завелась в Лондоне наша типография и начали выходить здесь первые русские книги... Типография? Да, сарай с верхним светом и четверо наборщиков. Конечно, это не типография «Дейли ньюс» на Флит-стрит. А все-таки три года назад уже был выпущен первый номер «Колокола»... Типография наша бойко постукивает и движется вперед. И великанская Россия жадно прислушивается к голосу ее игрушечных машин». Маленькая рука порывисто нажала и повела перо. На бумаге обозначилось: «Когда последняя надежда исчезла, когда осталось самоотверженно склонить голову и молча принимать довершающие удары... вера в Россию спасла меня...» О, эта спасительная вера! Да, Россия, больше, чем просто Россия, она... Человек за столом смотрел в будущее. Недавно слушателем Московского университета стал болгарин Любен Каравелов. Учредив студенческий журнал, он печатает в нем свои стихотворения и статьи о Болгарии. Не значит ли это, господа, что Россия уже и теперь служит человечеству? А как еще послужит она ему, когда выведет за собой на свободу истерзанного рабством и несчастьями болгарского брата! Да, да!

Человек за столом задумался — глубоко-глубоко. Чуть приметная седина уже начинала пробиваться в его красиво подстриженной бороде: но быстрые глаза огнем молодости освещали лицо с высоким чистым лбом.

* * *

Поезда (кроме экспрессов) не ходили в тот день по всей стране. Накануне закрылись городские конторы, банки и магазины. Громадная столица Англии казалась совершенно пустой. Рыжее небо и рыжие об-

лака, рыжий собор св. Павла, рыжие воды Темзы, рыжее кружево знаменитого аббатства — все одинаково величественное, мрачно-коричневое, одетое в туман пополам с дымом, словно в надгробное кисейное покрывало, и — пустое. Жилые дома под пышной одеждой из дикого винограда выглядели так замкнуто и недружелюбно, как если бы в них никогда не жилал ни один человек. Не видно было людей ни на улицах, ни в парках с неподвижными деревьями чудовищной толщины. Только в квартале Британского музея двое конных часовых застыли красными пятнами в нишах старинного караульного здания — живые или мертвые, кто их знает. Что же все-таки случилось с Лондоном в тот день? Ровно ничего. Это был самый обыкновенный воскресный день старой благочестивой Англии, такой же точно день, какими были здесь все воскресенья до сих пор и какими им предстояло быть еще очень долго впоследствии.

Извозчий кеб медленно катился вдоль левой стороны пустынных улиц. Это был маленький двухколесный кеб. Кучер в шинели со множеством воротников, один длиннее другого, сидел позади пассажира и правил лошадью поверх его головы. А пассажиром был совсем еще молодой человек, в пальтеце, подпоясанный ремнем, с весьма помятым чехоланчиком в руках, бледный, изумленный и оттого казавшийся непомерно большезлым. Было в нем что-то до очевидности русское — степное, допотопное, и походил он на голодного кадетика, только что давшего стрелка с барабанной каторги всероссийского корпусного плаца. Когда полисмен в черной однобортной куртке с маленькими золотыми пуговицами вдруг повернул в сторону кеба свое бритое рыжее лицо, юноша вздрогнул. Впрочем, тут же и овладел собой.

Кеб постепенно выбирался из центральных частей города. Наконец, с трудом одолев мост в Путнее, начал медленно втягиваться в глухой переулок Фулгама. Что за странная местность! Ни звука, ни света. Дома — насквозь сырые каменные коридоры без крыш. Все — линочье, осунувшееся, покрытое многолетней сажой и таким плотным дымом, что его можно было бы, кажется, резать на куски и завертывать в бумагу. Неужто и здесь живут люди? Да, живут... Вот один, другой из них появились и исчезли, словно пепельно-матовые призраки давно изъеденных могилой мертвецов. Кто же эти несчастные, кто они?

Миновав печальный Фулгам, кеб заторопился. Известно: чем ближе корабль к пристани, тем попутней ветры. Это они сдунули с неба дым и тучи. Солнце стояло над предместьем в такой чистоте и ясности, каких из Лондона никогда не увидишь. Извозчик лихо сдвинул на ухо цилиндр; конь его принялся делать вид, будто и в самом деле скачет. Цель странствия была теперь совсем недалеко — дом, известный в этих местах под именем Laurel-house, — каменный, под железной красной крышей, слегка похожий на ферму.

Его окружала высокая, тоже каменная стена. Поверху она была сплошь усыпана битой стеклянной мелочью, ослепительно горевшей под солнцем. Зелень густо окутывала со стороны сада и дом и стену. От этого вся усадьба казалась глубокой ванной, в которой радостно плескались яркие волны трав, сирени и воздушного жасмина. Красивый Laurel-house! Юноша выскочил из кеба, и железное кольцо брякнуло у зеленой двери.

* * *

Немилосердно калеча французскую речь, кто-то с сиротской робостью заявлял о своем желании видеть господина Герцена. Привратник Жорж — негр безупречно джентльменского вида — имел решительное приказание хозяина не принимать никого в утренние рабочие часы.

— Monsieur pas à la maison¹,— твердо отвечал он.

Однако сиротский голос не унимался:

— Канд иль ревьендра?² Вы только поймите: же дуа ле вуар³...
Непременно!

Герцен долго прислушивался, незаметно выходя из задумчивости. Наконец его рука протянулась к сонетке. И тогда, сверкая зубами, появился на пороге элегантнй Жорж.

— Господин звонил?

— Да,— сказал Герцен.— Вам известно имя этого русского?

Жорж залепетал:

— Бак... Бах...

Фамилия не выговаривалась. Бах... Бак... От этих бесплодных усилий глаза Жоржа выпучились, толстые губы вывернулись наизнанку. И, взволнованный до глубины души, он прокричал по-английски:

— О да, мастер! Конечно, знаю! Только вашего соотечественника зовут удивительно трудно для произношения. Нечто совершенно варварское на слух...

Герцен махнул рукой.

— Зовите!..

...Перед юношей стоял невысокого роста, по-студенчески живой, дружески внимательный человек с мягко льющейся быстрой речью.

— О том, что вам надо от меня, вы сами скажете, надеюсь,— говорил он громким и звучным голосом,— а я желаю знать: кто вы?

Юноша поклонился.

— Бахметев, из Харьковской губернии...

Герцен смотрел на его тягостно смущенное лицо и думал: «Тоска от неотстоявшихся мыслей... Стремление к подвигу и великой судьбе...» Как бы спеша подтвердить его догадку, Бахметев сказал:

— Я вам еще из России писал, Александр Иванович. Но в письме что можно сказать? Боялся... Зато теперь не боюсь ничего!

И вдруг закусил удила.

— Я никогда не вернусь в Россию, Александр Иванович, никогда!

— Помилуйте, да вы еще...

— Все равно! Я очень люблю Россию, очень! Но люди там... Нет, в России мне не жить! Для опыта я хочу завести колонию на совершенно социальных основаниях. Мыслящий человек в наше время должен все знать по опыту... Я это очень хорошо обдумал и теперь еду прямо туда.

— Куда же?

— На Маркизские острова.

Огненно-блестящие, серые, насквозь прожигающие глаза впелись в молодого человека. Но Бахметев не смутился.

— Дело решенное. Плыву с первым пароходом...

Герцен подумал: «Ума мало, характера много... Масса идей, схваченных в школе, в книгах. Снежные высоты Шимборазо, дремучие леса Ориноко... То, чем обновляется, возрождаясь, дух». Однако мальчишку надо было спасать. Как? Отнестись к нему просто с жалостью, точно к несовершеннолетнему, нельзя. Как же? Сильный, едкий и колкий ум Герцена взбудоражился. «Горячие люди увлекаются под напором впечатлений, негодуют и гневаются, падают и гибнут в борьбе. Доктринеры не увлекаются сами, но и других зато не увлекают. А это что за случай?..»

— Послушайте, Бахметев,— сказал Герцен,— страх — ужасно консервативное чувство. Ждать, довольствоваться возможным, не желать

¹ Хозяина нет дома (франц.).

² Когда он вернется? (франц.).

³ Я должен его видеть... (франц.).

большого — на этом все здание реакции основано. Оттого же и вы из России убежали, спасая свою еще не совсем надломленную рабским страхом душу. Конечно, мысль без дел мертва, как и вера. Чем она дальше от дел, тем суше, холоднее, ненужнее. Вы скажете: я не таков, я готов погибнуть! Отлично! Но где смысл? Ничего нет легче, как «зачислиться по химии» — умереть. Но без толку рваться к смерти — зачем? Не желайте ни завтра умереть, ни долго жить. Пускай конец ваш придет сам по себе, как и начало. Только умейте сделать главное. Где? Для кого? Вот вопросы... Ах, Бахметев, какая это жестокая вещь — эмиграция! Говорю вам по собственному опыту. Итак, перед вами дверь. Хотите войти или выйти — ваше дело.

Бахметев сидел на диване и слушал, то краснея, то бледнея. По живости характера Герцен не мог разговаривать сидя, он ходил по кабинету. Дверь из столовой — та самая, на которую он только что указал Бахметеву, — вдруг распахнулась. Прелестная девочка лет десяти впорхнула в кабинет и бросилась на шею отцу с поцелуями. Герцен подхватил дочь и крепко прижал к лицу.

— Оля!

— Папа!... Тетя Наташа говорит... А злюка Мальвина...

Герцен расхохотался, счастливый.

— Вот вам, Бахметев, и Маркизские острова! Уж лучше попробуйте полюбить весь земной шар. Куда ни поедете — все будете в любимом месте. И в Россию рано или поздно непременно образом вернетесь! Маркизские острова... Впрочем, они тем хороши, что никому не известны, тогда как европейский прогресс слишком известен. Прогресс... Партии морального и политического порядка... Да, именно с их помощью Европа через потоки крови добралась наконец до Наполеона Третьего, который тридцать семь миллионов думающих французов отдал под надзор полиции! А королева Виг-тория? А вся вообще буржуазия с ее грубостью нравов и грязно-сальным прозаизмом? Разврат не широкий, не рыцарский, а мелкий, бездушный, скарденый — разврат торгаша...

Герцен поставил дочь на пол.

— Иди к тете, Оля! Маркизские острова... Утопический социализм... Сметы фаланстеров, икарыйская управа благочиния... Явная нелепость!

Бахметеву никогда еще не приходилось сталкиваться с людьми, подобными Герцену, скользкое, парадоксальное, раздражающе умное слово которых обжигало бы, как огонь. В безоглядной расточительности герценовской мысли, в ее резкой остроте, в блеске и силе ее сарказма Бахметев с болью чуял горячие слезы любви к истине, к справедливости и мучительную жажду свободы. «Умен, как день, — восторженно думал он о Герцене, — слушаешь — по краю пропасти ходишь... И с непривычки кружится голова...» Так казалось сейчас Бахметеву. Но совершенно так же казалось всегда всякому, кто пускался с Герценом в спор: слабая мысль сдавалась почти мгновенно, а сильная с угрюмой медленностью повертывала вспять. И все же, несмотря на испытываемый Бахметевым сладостный восторг, с ним не случилось ни первого, ни второго. Он оставался при своих мыслях и был решительно несогласен с Герценом.

— По дороге к вам мне встретились вовсе голодные люди. Кто они, Александр Иваныч? — неожиданно спросил он.

— Если в Фулгаме, то это рабочие из Ирландии...

Бахметев опустил голову.

— Видите, — печально прошептал он, — видите...

— Что?

— Мне непременно нужно ехать на Маркизские острова, чтобы сделать опыт и помочь людям. В России меня сначала выгнали из гимназии, а потом чуть было не упрятали в желтый дом. Здесь я сяду в тюрьму.

В Европе, как и в России, опыты невозможны, и я никому ничем не смогу помочь!

При стойком, гордом, энергическом уме Герцена характер его был мягок и добродушен, а сердце — детское, чуждое лжи и скрытных чувств. Он видел, как в споре с Бахметевым поворотливая и находчивая диалектика его мысли разбивалась обо что-то непреодолимое. И потому сказал просто:

— Коли так, поезжайте!

— Можно мне задать вам один нескромный вопрос? — робко осведомился Бахметев.

— Сколько угодно.

— Какую выгоду вы имеете от «Колокола»?

— Выгоду? — изумился Герцен. — О чем это вы? Я меньше всего думаю о выгоде. Мой друг Огарев и я — мы с детства мечтали о том, чтобы служить родине. Эта заветная мечта осуществилась наконец здесь, в Лондоне. Наша типография есть прежде всего действие, политическое событие, социальный запрос. А вы — о выгоде. Дело окупается, и все тут.

— Ну, а если не будет окупаться?

— Буду приплачивать.

— Значит, это не торговля? — спросил, заметно веселея, Бахметев. Герцен громко рассмеялся.

— Пусть будет известно всему миру, что в половине девятнадцатого столетия отыскался чудак, так веривший в Россию и так ее любивший, что завел типографию для русских и потерял множество своих денег, чтобы печатать в ней книги на русском языке. Ах, бог мой! Ни Европу Россией, ни Россию Европой я обманывать отнюдь не намерен...

Бахметев вскочил с дивана.

— Позвольте... Но что ж получается? — почти закричал он, отчаянно тараща глаза. — Издания ваши — золото для всех. А расходы несете один только вы... Почему?

Он схватил Герцена за обе руки.

— Александр Иванович! Не сердитесь на меня за расспросы. Я спрашивал... не без цели. Уезжая навсегда из России, я все же хочу сделать для моей родины нечто... Вот у меня с собой пятьдесят тысяч франков... — Он тряхнул чемоданчиком. — Прошу вас, возьмите из них двадцать для вашей типографии, для пропаганды, прошу вас...

— Благодарю, — строго проговорил Герцен, — но ни моя типография, ни пропаганда, ни я сам не нуждаемся в деньгах. Напротив, дело идет в гору. Зачем же я возьму ваши деньги?

— Нет-с, нет-с, — взволнованно повторял Бахметев, — обязательно возьмите... Не понадобятся, возвратите, когда я вернусь с островов...

— Вы не вернетесь, — сердито сказал Герцен, — вас непременно ограбят и убьют... Вы и до островов не доедете...

— Ну, что ж! Если не вернусь, вы все-таки употребите мои деньги на дело. Вот и правильно! Александр Иванович!

— Что?

— Вы завтра утром свободны?

— Пожалуй.

— Сделайте одолжение, сводите меня завтра в банк, к Ротшильду. Там мой франковый счет. Я не умею говорить по-английски, а по-французски очень плохо. Но мне надо как можно скорее обменять тридцать тысяч, отделаться от двадцати и... ехать. Прошу вас!

Герцен энергично зашагал по кабинету. Множество соображений вихрилось в его голове. Наконец он остановился.

— Хорошо. Я приму от вас деньги. Но выдам расписку.

— Зачем? — крикнул Бахметев.— Что это вы, бог с вами! Мне не надо никакой расписки. Я верю вам, верю!

— Да, но расписку вы получите. Без этого я не возьму ваших денег. В расписке будет сказано, что вы вверяете их мне и другу моему, Огареву. Мы подпишемся оба. На все двадцать тысяч мы купим для вас гарантированные английским правительством пятипроцентные бумаги. Даю слово, что денег ваших мы для пропаганды не тронем. Следовательно, вы можете на них рассчитывать всегда и во всех случаях, кроме государственного банкротства Англии...

— Прекрасно,— торопливо говорил Бахметев,— превосходно... Только зачем так много затруднений? А завтра — к Ротшильду!

Звонкий удар колокола разнесся по дому. Часы принялись отбивать полдень.

— Извините! — засмеялся Герцен.— Остановка за малым: идем завтракать!

И он распахнул дверь в столовую — большую комнату с темными дубовыми панелями и овальными зеркалами.

Завтрак состоял из двух блюд: холодное мясо и русская каша. Насчет каши Герцен тут же объяснил, что она из припасов, которые поставляет ему с родины почитатель, капитан русского морского корабля. У каждого прибора — кружка пэль-эля, и бутылка хереса — посреди стола. Человек с курчавой бородой и задумчиво-мягким выражением кроткого лица, прихрамывая, подошел к столу. Пока Герцен рассказывал ему, в чем состояло дело их сегодняшнего гостя, Огарев молча кивал головой. А затем произнес странно тихим голосом:

— По мне, уговор твой с господином Бахметевым имеет резон самый полный. Золото в вигваме дикаря — мусор, а в банке — деньги. Расписка наша, сохраняясь у господина Бахметева, сделает его капитал неприкосновенным. Так?

Вопрос решился.

— Налей нам, Ник,— сказал Огареву Герцен.— После стакана вина горизонт расширяется и свет принимает розовую окраску. Ах, поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования? Поймут ли они, отчего мы лентяи, отчего ищем всяких наслаждений и даже пьем вино? Отчего в минуту восторга не забываем тоски? Пусть же погрузят они над памятью о нас: Мы заслужили их грусть...

Он закурил тонкую папиросу, самую легонькую, почти дамскую.

— Странная, усеченная, наполовину пустая жизнь... Она похожа на большой дом, где две-три комнаты обставлены для жильцов, а прочие пусты, стекла в них выбиты и пыли — на вершок. Правда, Ник?

Герцен выражал свою мысль сжато, рельефно, и она вспыхивала, как молния. Конечно, такому кипучему человеку до нарезки были нужны улицы, шум, движение, а главное—слушатели. Даже здесь, в этой сумрачной столовой, слушатели были ему необходимы. Малоречивый Огарев выпил еще один стакан хереса, поправил больную ногу и, слегка откинувшись на стуле, задремал. Герцен не заметил. Он продолжал говорить.

— Когда в сорок восьмом году город Дрезден воевал с прусским королем, вооруженные профессора, музыканты и аптекари по совету Бакунина собирались выставить на городских стенах картины Рафаэля и Мурильо. Посмотрим, дескать, как осмелятся пруссаки стрелять по Рафаэлю! Это тоже Маркизские острова, Бахметев. К счастью, Бакунин не настоял тогда на своем. Ха-ха-ха!

Герцен смеялся и над иллюзиями Бакунина и над бахметевской простотой. Но это не был беспощадный смех, которым он насквозь пронзал

казенную Россию. Герцен умел почти мгновенно понять любой предмет и всякое явление. Громадная вера в благородные инстинкты человеческого сердца и доброе желание оправдать самые страстные его увлечения не обманывали его никогда. Герцен так хорошо понимал теперь Бахметева, что и не пытался больше отвлекать его от пагубной идеи братства с людоедами. Серьезное и глубокое то и дело перемежалось в его речи с детски беззлобной шуткой. Огарев открывал глаза и, слабо усмехнувшись, вновь закрывал их. Речь Герцена сверкала и кололась, как электрическая искра. Освобождение крестьян, будущие реформы в России, османские безобразия на Балканах, и вдруг — анекдот из тех, что солнечным лучом проникают в темное прошлое человеческой истории, а потом — Виктор Гюго, Гёте, философия и — опять политика... «Что за лучезарный ум!» — радостно думал Бахметев...

Глава седьмая

Издольщики

Через село Чукурлие, что под горой Песнопой, идет большая дорога из Пловдива на Баню, Калофер и Казанлык. Чифиджик-бей ехал по этой дороге верхом на коне, с борзой собакой на смычке, с легавой на воле и с соколом на седельной луке. Его прямая, как палка, неподвижная фигура казалась окоченевшей. У него были впалые щеки, нос крючком и маленькие, как бы провалившиеся глаза, которые светились из-под густых черных бровей, как горячие угольки. Он был дерибей¹ и держался так, что всякий сразу понимал, с кем имеет дело. Конь, на котором сидел Чифиджик, был строгой вороной масти. У коня была сухая голова, а нервные ушки его так и бегали — вперед, назад. Большие, навывкате, глаза были налиты кровью. Он с шумом втягивал в себя воздух широкими ноздрями, дрожал и косо оглядывался по сторонам. Шея его блестела своей тонкой, переливчатой, как черный муар, шерстью. Не так еще давно этот красивый жеребец принадлежал султану. Но в одну из пятниц, когда султан ехал в мечеть, жеребец взыграл и едва не сбросил седока. Абдул-Меджид расвирепел. Святотатство! Жеребца продали цыганам, а у них купил его Чифиджик-бей. За отцом ехал сын. У юноши были большие черные глаза и маленькие усики. Как у гвардейцев в Стамбуле, одежда его была обшита широким ярко-желтым галуном. И под ним был тоже отличный конь, ценой в шестьдесят, а может быть, даже и в семьдесят турецких лир.

С Калугерского Поля, от Терновника, где расходятся дороги, одна — в мужской монастырь, а другая — к Параджику, была ясно видна старая, давно развалившаяся башня на холме между Стремой и Тунджей. Это Стража. Говорят, будто в прежние времена досхавшие до Калофера турки здесь расковыряли своих лошадей и сдавали оружие. Пропали, исчезли прежние времена... Чифиджик-бей с сыном важно проехали мимо Стражи, и никто не потребовал от них выполнения обычая, никто не ссадил их с лошадей. Они въехали в город, как будто вошли к себе в дом. А чтобы здешняя райя лишней раз убедилась в своем ничтожестве, сын Чифиджика на первой же улице позабавился за ее счет. Заметив куриный выводок, он пустил коня на цыплят. Клужка отчаянно заголосила, и нежные, как желтый пух, живые комочки со всех сторон покатались к ней. Минута — и под могучими копытами танцующей лошади лежало, слегка дымясь, куриное кладбище.

¹ Турецкий феодал, не подчинявшийся власти султана (тур.).

— Турки едут! Турки!

Сигнал ударил по городу, как электрический разряд.

— Бежим!

— Куда?

Если пуститься вверх по Тундже, к хаджи-Василевской мельнице и лугам, то между скал или в гуще дубового леса легко спрятаться так, что и с собакой не сыщешь. Христо и Симо шли из училища, когда на них наехала турецкая кавалькада.

— Бежим?

— С места не сойду,— сказал Христо.

И глаза его наполнились огненной влагой гнева и горечи...

Солнце садилось. Пыль висела в воздухе и, пронизанная лучами заката, сыяла переливами золотистых оттенков. Крестьяне — турки и болгары — шли с полей; кто вдвоем, втроем шагал за телегой, а кто и один в стороне от прочих тащился с топором в руке. Кончалась косьба. На верхних и нижних левадах, по склонам бесчисленных старопланинских вершин и по днищам широких впадин между ними, везде, куда глаз ни глянет, громадные скирды сена. И мир — вечерний мир этого дня — был полон аромата, которым дышит сено, тонкое, как шелк, и пахучее даже в самое засушливое лето. Стада овец и коз тянулись к загонам. На полях и в лесах здесь было немало загонов для скота. Некоторые — с саманными стенками, разукрашенными цветной керамикой. Хозяева самых больших и красивых — кир Тодораки Митров, Спас Куянджиолу, а поближе к деревне Доймушларе — богатый местный помещик, бей.

— Едет!

Доймушларовцы взапуски кинулись смотреть. Действительно, Чифиджик-бей — сын позади — ехал от башни, что у шоссе, мимо высокой мечети, густого орешника и тополей, между которыми тут и там проглядывала красная черепица домовых крыш. Он ехал на прекрасной лошади в блестящей сбруе, словно паша; конь его, гарцуя, разгонял прохожих. Чифиджик-бей не смотрел по сторонам и не видел ни жадно глазающего на него народа, ни дивной прелести открывавшихся далеко вокруг картин. Не видел каменных оград, сползавших вниз, в прохладную долину, где стояла вечная тень и где под колышущимися сводами деревьев струились сонные ключи. Не слышал звона этих ключей, обложенных там, где они выбиваются из зеленой земли, тесаным мрамором с затейливыми надписями золотой вязью. Ничего не видел и не слышал — он был выше всей этой пустой земной красоты.

Худая, черная от загара и грязи рука протянулась из толпы и ухватила драгоценного коня за уздечку. Жеребец вскинул задом и остановился. Чифиджик-бей медленно повернул орлиную голову и поднял плеть. Удар предназначался старому турку в рваных холщовых шароварах, еле доходивших до колен. Зеленая куртка его была расстегнута. Красный фес — на затылке. На кирпичевом лице играла хмурая улыбка.

— Здравствуй, господин, — сказал он. — Узнал?

— Да, — ответил бей, — все бездельничаешь?

Турок перестал улыбаться.

— Я не гяур, чтобы работать. У меня целы еще и ятаган и карабин.

Чифиджик-бей опустил плеть и тронул коня. Старик отлетел в сторону и непременно упал бы, не наскочи на чьи-то протянутые вперед руки.

— Чтоб ты подох от заразы! — заорал он вслед бею, остервенело тряся кулаком над головой. — Чтоб ты... — Он подумал секунду. — ...сперва от болезни скрючился, а затем подох!

Но как само проклятие, так и дополнение к нему запоздали. Чифиджик-бей с сыном были уже на выезде из деревни и стремительно прибли-

жались к своему чифлику. Бей был богатый человек. В его владении состояло триста шестьдесят пять чифликов. Обезжая их, он проводил в непрерывном путешествии целый год, и такая жизнь ему нравилась. Чифлик у деревни Доймушларе был лучшей из его ферм. Здесь были красивые дома, павильоны и сарай с широкими заборами. На земле чифлика в семидесяти домах жило около сотни болгарских семейств; да еще два десятка цыганских ютилось у дюжины печей. Землю обрабатывали отчасти селяне, а отчасти годовые батраки — пекари, жнецы, молотильщики, поденщики разного рода. Цыгане надсматривали за работой.

Итак, Чифиджик-бей прибыл в одно из гнезд, доставшихся ему по наследству от знатных предков.

* * *

Нива походила на желтый океан, круто вздыбившийся кверху прибоем неподвижных волн. Это были тысячи хлебных снопов, сложенных в копны. Около молотилок толкались и шумели пыльные, грязные, потные люди. Так бывало днем, под обжигающими потоками солнечного жара; так же и ночью, под ударами ветра, капризно разбрасывающего по полю отвесное зерно. Не спали, работали с сальными свечами в фонарях. Почти не ели — наскоро, не присаживаясь, жевали кусок посоленного хлеба с головкой лука или стручком перца и запивали из баклажки горячей водой. Митю Брадатый ссыпал в мешки готовое жито; Симо грузил солому на телеги; Райна водила волов, усердно оглаживая палкой их широкие бока. Скорей! Скорей! Запоздавшие еще только вяжут снопы, еще и в скирды не сложили их. Скорей! Малая богородица¹ не за горами. Именно с этого дня на планинской земле начнется дождливая осень: обмякшие хлебные стебли упадут наземь, и небесная хлябь столько сбросит воды, что утонет в стремнинах вместе с хлебом тонкий чернозем. Скорей! Во что бы то ни стало надо закончить обмолот и уборку хлеба к концу первой недели сентября. Надо убрать и свой хлеб — крестьянский, и султанский — десятинный, и помещичий — издольный. Скорей!..

...В тени под большим деревянным навесом сидели усатые турки, откупившие сбор десятинного налога. С ними был и калоферский мюдюрин — Рахман-ага, старик, лет под шестьдесят, среднего роста, в туфлях на босу ногу, толстый, белый, с подстриженной седой бородой, чем-то очень схожий с недавно вступившим на оттоманский престол султаном Абдул-Азисом, портреты которого уже висели во всех учреждениях и школах. Откупщики попивали огненно-крепкую мастику без воды и курили доройгой табак. Мюдюрин, приехавший на ток якобы за тем, чтобы отдохнуть от дел и подышать чистым воздухом, уже опорожнил несколько чашек мастики и до отказа набил вкусным зельем свою серебряную табакерку. Услужавшие туркам веселые цыганки в желтых платках и красных ситцевых шальварах то и дело таскали из-за кустов глиняные блюда с жареным мясом и тарелки с яблоками и грушами. Наглые шутки горохом сыпались с их блудливых уст.

— Не хочешь больше кушать, господин? А кому велишь отдать — собаке или райе?

— Все равно.

— Не все равно: собака родится собакой, а райя — райей...

— Ха-ха-ха!

Рахман-ага, поводя перед животом рукой с крепко зажатой в ней табакеркой, рассуждал о Крымской войне:

— Эта война велась не только с дозволения калифа, но даже по его

¹ 8 сентября — праздник.

повелению. Англичанам, французам, итальянцам очень хотелось узнать, до какого могущества дошла сила их войск. Вот они и стали покорно просить падишаха, чтобы он позволил им испытать свою военную силу на Руси, конечно, под его надзором и под наблюдением его армии. Султан не любил кровопролития. Но так как они просили очень усердно, то он в конце концов согласился. С одной стороны, послал приказ русскому царю воевать, а с другой, и своим войскам повелел выступить в поле и сражаться для примера. Вот и вся причина войны...

Рассказ этот очень понравился откупщикам, и они заговорили все сразу, расхваливая мюдюрина за правильное освещение великого события. Между тем на току уже давно вертелся между женщинами, усталыми, пыльными и до глаз обвязанными тряпьем, молодой человек, бело-розовый от румян, в обшитой желтым галуном одежде. Мужчины сердито поглядывали на него и плевались, когда он начинал двумя пальцами сучить и подвинчивать свои черные тонкие усики. Юноша старался лучше рассмотреть лица женщин и девушек. На пожилых и некрасивых покрикивал:

— Живей, а то возьмусь за хлыст! Один чесоточный осел другого из-за горы чует. Так и с вами: изобью одну до крови — всем больно станет...

Голубые глаза Райны сверкнули из-под платка. Сын Чифиджик-бея тотчас поймал их блеск. Заметил также и свежий загар на висках девушки и ее молодую, тонкую, как прут, сильную фигуру. Он быстро подошел к ней.

— Как звать, красавица?

Симо, исподлобья наблюдавший за повадками молодого чифликчи, схватил паламерку¹.

— Отойди, господине, а то быть беде...

— Что за беда, душа моя, если я с девки сорву платок да поцелую?

Паламерка свистнула, взвившись кверху, но длинная рука Брадатого поймала ее за конец.

— Эй, потомок старого рода!

Сам Чифиджик-бей подходил к месту ссоры.

— Что ты тут трешься между бабами? Разве так наблюдают за работой?

Юноша вмиг очутился за отцом. Чифиджик хозяйским глазом окинул ток.

— Старый пес,— сказал он Брадатому,— один твой сын в аду, как и все враги святой веры. Младший торопится за ним. А где средний? Почему не работает?

Как подлинно рачительный хозяин, он хорошо знал «свою» райю. И спрашивал наверняка. Митю был правдив, честен, простодушен. Но была в нем и хитрость человека, с малых лет привыкшего к полному бесправию в постоянном соседстве с сильным и безжалостным врагом. Он ожидал этого вопроса. И потому ответил, не задумавшись:

— Прости, господине! Второй мой сынок — в Царьграде, учится портновскому делу.

— Врешь, собака. Для учения нужны гроши. А у тебя их нет.

— Бай Драган Вылчанов дал... Спроси — он то же скажет.

Но Чифиджик-бей смотрел на Райну...

..*

Мехмед-чауш² был худ и черен, как кочерга, и имел такие густые и длинные усы красивого темно-синего цвета, что рта его разглядеть было совершенно нельзя, и только белые, как репа, зубы поблескивали ярко-

¹ Деревянное приспособление, которым жнецы захватывают стебель (болг.).

² Полицейский сержант (тур.).

ярко. Бравый чауш немало нянчился со своими усами. В кармане его необъятных шаровар всегда лежала круглая коробочка, величиной с буйволоный глаз, с зеркальцем на крышке. В коробочке хранилась черная и очень вонючая помада для усов. Может быть, именно из-за этой помады и шел от Мехмеда тяжелый запах, издаваемый обычно раздавленными клопами. Так или иначе, помада пускалась им в ход каждый раз, когда усы его, искупавшись в ракии, теряли свой гордый вид. А купались они в ракии ежедневно.

Возможность хлебнуть представилась Мехмеду и в тот вечер, когда, обходя город, он встретил за базарной площадью, у церкви св. Атанаса, странную процессию. Впереди шел, ощупывая своим ветхозаветным посохом дорогу, хаджи Паро. За ним два парня тащили большую бутылку с красным виноградным вином. Стражник был так поражен этим необычайным явлением, что тут же решил проникнуть в его суть.

— Скоро праздник? — крикнул Мехмед.

И, сорвав с хаджи Паро колпак, бросил его наземь. От потной головы старика потянуло горячим паром, словно она только что выварилась в кипятке. «Эге! Значит, вино в бутылки не слабенького сорта...»

— Доброй встречи, бай Тодор, — сказал Мехмед, стараясь смягчить свою грубую шутку, и поднял с земли колпак.

— Дай тебе бог добро, — отвечал хаджи Паро, быстро поводя по сторонам круглыми глазами.

— Куда идешь?

— Эх, не спрашивай! Иду лечиться.

— От чего?

— Да вот подрались два парня. И угодил мне один камнем в голову. Теперь несут, негодяи, мое лекарство. Не знаю, поможет ли... А завтра пойду к мюдюрину жаловаться. Поглядим, что скажет.

Мехмед внимательно выслушал басню.

— И я нездоров, — со страданием в голосе сказал он, — живот так распучило от холода, что только теплом и разгонишь. Давай-ка полечимся вместе.

Разговор происходил в десяти шагах от кельи хаджи Паро — прицерковной конурки, отведенной ему городской общиной под даровое жилье еще в те далекие времена, когда он вернулся от божьего гроба в Калофер бездомным и нищим старым холостяком. Круглые пуговицы глаз бешено вертелись на багровом лице хаджи Паро.

— Пойдем, господине, — неуверенно проговорил он, — пойдем полечимся. Хайде, ребята! Шагайте вперед с лекарством, живо!

Христо и Симо заторопились. Услужить вешему старику было для них приятным делом. Да и вряд ли был в Калофере хоть один парень, который не потащил бы с величайшей охотой дядову бутылку. Юнаки огибали угол церковной паперти. Как и вся церковь св. Атанаса, сложенная из гранитных камней на вершине южного городского холма, эта паперть представляла собой кладку твердых и острых очертаний. Но сейчас ее поглощал мрак. Вдруг что-то с силой ткнуло Христо под коленки, и нога его подсклалась.

— Ай! — вскрикнул он и, угодив под новый толчок, кувырком полетел через ступеньку невидимой паперти в прорыв ночи.

Цок!

Бутылка стукнулась о камни. Кисловатый запах разлившегося по земле вина ударил в нос.

— Дядо! — в ужасе крикнул Христо. — Дядо, не взыщи!

Но старик не был расположен к снисхождению. В первую минуту гнева он призвал господина и богородицу. Затем перешел к святым и ангелам. Наконец принялся поминать всех дьяволов, имена которых мог осилить

его грешный язык. И посох хаджи Паро уже свистел над головами юношей. Симо увернулся и, ломая палки, нырнул в соседнюю фасоль...

Мехмед-чауш молча наблюдал эту сцену. Было в ней что-то задевавшее его природную подозрительность. Но откуда возникают сомнения и куда ведут, он не знал. Одно было ясно: лекарство ушло в землю. Мехмед поправил усы и метнул злой взгляд на хаджи Паро.

— А вот я схвачу тебя за бороду и размочу твои кости в пыль!

Припугнув таким элементарным способом старого бродягу, стражник глубоко и протяжно вздохнул. Больше здесь нечего было делать! И он медленно двинулся к базарной площади, чтобы лишний раз обойти ряды...

Попасть в келью можно было только из коридора с настолько прогнившим полом, что доски так и прыгали под ногами. Зато внутри кельи было порядливо и чисто. Это была старая монашеская нора с огромным, ярко раскрашенным бумажным «иерусалимом» на стене. Перед «иерусалимом» — две белые церковные свечи и большущее расписное яйцо. Все эти предметы были вывезены хаджи Паро с божьего гроба. У противоположной стены — пузатая печь, обмазанная известью и красной глиной. Хаджи Паро вошел в келью, сопровождаемый обоими парнями, и весело крикнул:

— Хей, каков у тебя ум, таков у тебя и дом! Что скажете?

На жарко натопленной печке сидел большой бело-рыжий кот с обожженной шерстью. Райна гладила кота. Христо застыл, изумленный, не в силах собрать разбегавшиеся мысли, но уже начиная постепенно постигать тайный смысл происшедшего. Умен дядо! Умен! Симо рассказывал сестре историю разбитой бутылки, а кот, завидев хозяина, приподнимался на упругих лапках, выгибал спину, штопорил хвост и наконец, хрипло мякнув, прыгнул прямо к ногам хаджи Паро. Здесь он еще усилил маневры — терся о грязные царвули, требуя внимания к своей радости, и все громче мяукал, прося еды.

— И у нас тоже есть кот,— сказала Райна,— только он кошка...

В тихом приступе смеха хаджи Паро присел, упираясь обеими ручищами в колени.

— Дядо! — сказал Христо и приник щекой к багровой лапе старика.— Дядо! Ведь ты спас Райну...

И опять он и девушка смотрели друг на друга и воочию видели счастье своего сегодняшнего дня. Но завтрашнего дня не знали и даже не думали о нем...

* * *

Как и положено болгарскому крестьянину, Митю Брадатый был крепко привязан к семейному очагу, беззаветно любил тихую радость у родного огня и с неизъяснимым удовольствием погружался в хозяйственный обиход жизни. Дом Брадатого был похож на своего хозяина: сложен из глубоко вбитых в землю, гладко отесанных и туго переплетенных древесными ветвями брусев. Переплет этот и снаружи и внутри был обмазан глиной. Стены выбелены известью. Крыша — под черепицей. При доме — садик, огород; все вместе — малый хутор. И тут же, конечно, аист, задумчиво стоящий на длинной и тонкой ярко-красной ноге, еле заметно поводя таким же красным клювом. Птица ли, человек ли — как можно не любить своего гнезда?..

Внутренняя деревянная стена делила Митев дом на две горницы. Пол был везде земляной и плотно утопанный, застеленный рогожкой и шерстяными ковриками домашней работы. По углам — сундуки и одеяла, свернутые на день в трубки, а ночью превращающиеся в постель. Сейчас еще не ночь, но уже и не день — смеркается. И потому в задней гор-

нице зажгли свечу¹. Здесь собралась вся семья Митю, правильное сказать — то, что осталось от его семьи. Станчо — в божьем царстве; Добри хайдучит; даже Райна не дома — вовремя догадались спрятать девушку от жадных господских глаз в келье старого хаджи Паро. Налицо сам Митю, мать его баба Тана, жена Любица да младший сынок Симо — школяр. Симо прилаживал железный зубец к большущему гребню, на котором чесалась шерсть, а Любица чинила рваные штаны парня. Баба Тана прыла посконь, быстро двигая узловатыми черными пальцами. Митю курил, сидя на куче выброшенных к стене длинных подушек, набитых соломой и обтянутых с одной стороны грязным фиолетовым ситцем. По стенам мутно поблескивала посуда на полках. Рогожи, лежащие на полу, издавали сырой дух.

Вот уже десять суток, как глядят крестьяне на угрюмый Юмрукчал и просят у бога милости:

— Господи, господи, пошли еще хороших деньков!

Но не доходит молитва. Сырое и холодное, непосильно отяжелевшее от влаги небо отдает свое мокрое бремя земле, низвергая на нее водопады ливней. И земля превращается в грязь. Мертвенной гниостью убивается корень живого злака. Митю не успел до дождей убрать хлеб. Беда! Пропал Митю, ибо не сможет он уже сдать теперь Чифиджику столько зерна, сколько причитается по издолью. Уплачен налог на хозяйство, сколоченное многолетним воловьим трудом, — за дом и двор, за пару буйволов, за корову и лошадь, за свиней и кур, за индюков и гусей. Отдана десятина с зерна и овощей. Внесены подати за проданного вола, за шкуры, за шерсть и за дрова. Все сделано. Но, для того чтобы рассчитаться исполу с Чифиджик-беем, у Митю неостанет зерна. Любица покопалась в горячей золе, вынула и подала мужу кукурузную лепешку. Митю и не взглянул. Чифиджик... Чифиджик...

— Всякий злодей — от бога! — сказала смиренномудрая баба Тана.

Она сказала то самое, что пятьсот лет до нее говорилось в соответствующих случаях старыми болгарскими женщинами. Это значило в их покорных устах: если не можешь жить, умри. Симо вспыхнул.

— Тате, — сказал он отцу, — если нет хлеба, отдай еще что-нибудь...

— Не тебя ли?! — вдруг заплакав, крикнула Любица.

Мысль, высказанная сыном, ее поразила. Хлеб приходит и уходит — его съедают, или отдают помещику, или продают на базаре. Но буйвол, ковер хорошей работы, красивый медный кувшин — такие вещи не должны уходить из рук, отдать их хуже, чем умереть, и Любица содрогнулась от злости и горя, когда ее сын заговорил об этом.

— Не тебя ли отдать?! — кричала она, замахиваясь на Симо. — Тогда не надо будет в училище платить. Да только кому ты нужен?

Митю курил и думал...

..*

В деревне Митиризове — полтора ста турецких домов и мечеть, окруженная высокой каменной стеной. Около этой деревни у Чифиджик-бея был еще один чифлик. Бей жил здесь в красивом деревянном строении — две горенки и конюшня под одной общей крышей из квадратных аспидных плит, — с открытым кьошком². Он недавно переехал сюда из Доймушларе и был очень доволен...

Митю стоял перед кьошком в праздничном убранстве: шапка из светлой овчины, а волосы заплетены в косу; рубашка с широкими рукавами ярко расшита на груди и плечах; суконные штаны подвязаны ремнем под коленками. Чифиджик с сыном слушали крестьянина из кьошка. Как и

¹ В комнатах, выходящих на улицу, болгарам было запрещено зажигать свет.

² Павильон, веранда, терраса (тур.).

всегда, оба они были разряжены в пух. На Чифиджике — шитая золотом, узкая куртка и фес с длинной кистью, обмотанной во что-то голубое. Ноги — в пестрых носках и красных туфлях — на редкость суховаты и малы. Со спины свисал суконный плащ с гайтанной оторочкой, а на груди блестящая цепь. Молодой потомок старого рода щеголял в красных шароварах и зеленом жилете с большими серебряными пуговицами. Дух Митю сплелся от зрелища такой красоты, и слова застредали в глотке...

Однако ему удалось сказать главное:

— Милостивый господине, молю: прими мое послушание...

Он просил Чифиджика снизить к его крайней нужде и взамен неданного хлеба добрать издолжье живностью и домашним скарбом. Чифиджик слушал, не произнося ни слова, с неподвижным лицом и оцепенелой фигурой. Казалось, что он лишь телом в кьюшке, а мыслями далеко-далеко. Но это только так казалось. На самом же деле Чифиджик обдумывал просьбу Митю. Может быть, она и заслуживала внимания. Корова, овца... Он прикидывал, как рачительный хозяин своего будущего добра: масло — по шести грошей за ока; сыр — по три; овечья шерсть — по семи, — гм! Тут безжизненный взор бей остановился на янтарной трубке, колом торчавшей из его зубов. «Корова.. овцы... Да одна эта янтарная трубка стоит нескольких кровных кобыл!» И вдруг ему вспомнилось нечто, от чего нестерпимо захотелось разделаться с райей совсем по иному, большому и сладкому счету.

— Где твоя дочь? — спросил он, хрипя и еле выговаривая слова от внезапно овладевшего им волнения.

— Уехала к тетке в Пловдив, господине, — твердо отвечал Митю, быстро проводя рукой по тому месту живота, где за широким кушаком был заткнут нож в жестяных ножнах.

И Чифиджик тоже дотронулся до золоченого эфеса своей сабли.

— Не лги, сын гяура!

Так стояли они друг против друга не одну минуту и не две — молча, грозно и недвижно. Молодой потомок старого рода, нарумяненный и черноусый, кривляясь за спиной отца и делал непристойные жесты. Но и он молчал. «Проклятый гяур! — думал Чифиджик-бей. — Дай срок — спаю твое сокровище. А пока жри солому и неси мне то, в чем прежде всего нуждается знатный человек...» Его маленькие ноги в красных туфлях так яростно затопали по деревянному полу кьюшка, что балконная дверь распахнулась как бы сама собой.

— Вот мой приказ, вонючая лисица! — крикнул бей. — Плати мне долг не хлебом, не скотом, не пустыми горшками, а серебряным чистоганом, — слышишь? Доставай деньги, где хочешь, и плати. Масло, сыр и мед я возьму у людей почище тебя. Прочь со двора! Не то пса на след выпущу... Хей!

Глава восьмая

«Инфлексибль»

Прошел дождь, крупный и редкий, оставив на песке круглые ямки — следы капель, только что с силой ударявшихся о землю. Герцен вышел из дому в сюртуке и плаще, с круглой шляпой на голове. Путней — в полчаса езды от Лондона. Станция железной дороги совсем близко от Laurel-house. Из Фулгана, за мостом, омнибус через каждые десять минут отходит в самый центр города. Очень удобно!

И вот лондонский понедельник в разгаре: трещат тележки лавочников, развозящих съестные припасы, изящные кабриолеты подкатывают к большим гастрономическим магазинам, гремят извозчичы кареты, кри-

чат разносчики, лают собаки, люди бегут, как на пожар, и солнце старательно прячет свое туманное лицо за густым пологом далеких облаков. Что же под этим бледным солнцем: жизнь или наваждение? Труд или мука?

— О,— сказал Герцен, входя с Бахметевым в подъезд лондонской конторы ротшильдовского банка,— о, как несчастны люди этого чудовищного города!

Здесь их встретили с поклонами. Как только Герцен объяснил директору смысл обменной операции, внимание конторы тотчас приковалось к тщедушной фигурке Бахметева. Старший из клерков с висками, зачесанными вперед, и аккуратно подстриженными баками — ни дать ни взять водевильный нотариус — немедленно приступил к делу. Десятифунтовые ассигнации замелькали в его руках. Вдруг Бахметев запротестовал:

— Же не ве па...¹

Оказывается, он не желал иметь вместо франков английские банкноты.

— А что же вы хотите? — спросил Герцен.

— Испанское золото или серебро...

Клерки изумленно смотрели на молодого человека. Бахметев упрямо пожал плечами.

— Ну так — летр креди иль Маркиз².

Директор взглянул на Герцена с опаской: «В своем ли уме ваш спутник?» Действительно, никто никогда не требовал в лондонской конторе Ротшильда аккредитивов на Маркизские острова. Герцен сказал:

— Бахметев, не смешите людей. Берите деньги английским золотом — и едем домой.

Клерки заработали. Теперь они проворно бросали золото на весы. А старший скатывал его в свертки. Известно: двадцать пять франков составляют один фунт стерлингов. Бахметев старательно пересчитывал содержимое каждого свертка. И когда работа по обмену уже подходила к концу, он все еще считал да пересчитывал. Старший клерк, с давних пор известный Герцену за совершенное воплощение английской корректности, не выдержал:

— Не полагает ли ваш спутник, сэр, что наш банк способен обсчитывать?

Высказав с невозмутимейшей серьезностью такое дикое предположение, этот плотный человек с жесткими, как сталь, голубыми глазами позволил себе чуть приметно улыбнуться.

— И он действительно едет на Маркизские острова, сэр?

— Да, он действительно едет на Маркизские острова, мистер Реттингтон,— отвечал Герцен,— скажу вам больше: он отбывает завтра с пароходом «Инфлексибль».

Мистер Реттингтон поднял густые брови.

— До конца сезона, сэр? Гм... Сезон продолжается в Лондоне девятью днями, точь-в-точь как срок векселя, от мая до августа: театры, концерты, скачки...

— Он очень спешит.

— Колумб без корабля...

— Что?

Но мистер Реттингтон не слышал этого «что». Он уже снова скатывал золото в свертки. Пиджак, ловко и свободно державшийся на плечах Герцена и как бы облегчавший ему его порывистые движения, круто запарусил. Герцен быстро подошел к Бахметеву.

¹ Я не хочу (франц.).

² Аккредитив на Маркизские острова (франц.).

— Довольно проверять, — шепнул он ему с досадой, — здесь это не принято. Банки никогда никого не обсчитывают...

— Тошков... Тошков... — вдруг донеслось из другого угла комнаты. Там тоже считали деньги.

— Тошков...

Это походило на русскую фамилию. Бахметев вздрогнул и испуганно оглянулся.

— Что такое — Тошков? — спросил Герцен водевильного нотариуса.

— Это крупный одесский коммерсант, — с готовностью ответил мистер Реттингтон, — кажется, болгарин. Вот уже четыре года, как он вывозит из России хлеб в Лондон, Марсель и Триест. Дело идет отлично. Очень!

* * *

На северной окраине Лондона, близ Толлингтон-парка, есть улица, сплошь застроенная узенькими двухэтажными домиками в два окна по фасаду. Первый этаж — семь-восемь ступенек вниз и черный ход под крыльцом, кухня, столовая. Второй этаж — приемная и кабинет.

Именно такую квартиру в одном из этих домиков занимал мистер Реттингтон. Сумерки еще не наступили, и газ еще не зажегся ни на улице, ни в доме. Но вечерняя сырость уже наполняла маленькую комнату, где сидел перед камином мистер Реттингтон в ваточном халате и с трубкой в зубах. В камине жарко рдела горка кокса, корзинку с которым только что принесла из угольной ямы под тротуаром худая женщина с заплаканными глазами и такая еще молоденькая, что с первого взгляда казалась всего лишь подростком. Между креслом мистера Реттингтона и камином на трехногом столике поблескивали рюмка с абсентом и сифон с сельтерской водой.

Отличаясь необыкновенной выдержанностью, мистер Реттингтон во всех случаях жизни производил впечатление абсолютно спокойного человека. Но это внешнее спокойствие достигалось им за счет громадных внутренних затрат нервной энергии. Никто никогда не мог бы сказать, скучно мистери Реттингтону или весело. Однако чем грустнее или радостнее ему было, тем невозмутимее казалось наружное спокойствие его фигуры и лица. И сейчас он выглядел так спокойно, что маленькую женщину с заплаканными глазами начинало трясти от страха. Она очень хорошо знала своего хозяина.

— Так где же наш уважаемый друг, Эстер? — спросил мистер Реттингтон. — Как вы полагаете, где Чарльз?

— Я не знаю, сэр, — тихонько отвечала Эстер, обнаруживая желание поскорее юркнуть за дверь.

— Ваш приятель тверд на ногах лишь тогда, когда видит корыто прямо перед собой!

Мистер Реттингтон хотел добавить что-то еще, покрепче, но шустрая Эстер провалилась сквозь землю. Ах люди, гнусные люди! Ничто не было так отвратительно старшему клерку лондонской конторы банкирского дома парижских Ротшильдов, как тупое бездельничество и глупость людей. Сам он столь безупречно разбирался в любой обстановке, что ошибок не делал никогда. И поэтому многие всерьез полагали, не спрятаны ли в голове у него весы, механически отмечающие сравнительную тяжесть фактов. Может быть... может быть! Вот и сегодня в банке золото взвешивалось на глазах у всех; а для фактов мистер Реттингтон пустил в ход свой таинственный измеритель, которого не видел решительно никто. В результате он превосходно знал, как надо поступать дальше. Завладеть главной частью плодов намеченного дела нетрудно. Только самое дело предстояло совершить не мистери Реттингтону, а приятелю распутной девки Эстер, которую он из жалости держит у себя в услужении. И по

этой-то причине совершенно корректный, несколько даже с виду похожий на нотариуса джентльмен вынужден ждать пьяного проходимца Чарльза Блэйфила, матроса с большого океанского парохода «Инфлексибль»...

Мистер Реттингтон вынул из кармана хронометр и с негодованием взглянул на циферблат. Негодяю давно бы следовало быть здесь. А его нет, и собака воеет на дворе, словно черт схватил ее за горло. Времени остается мало, очень мало... Свидания, подобные нынешнему, мистер Реттингтон предпочитал назначать не у себя дома, а где-нибудь на стороне: в далеком южном лондонском предместье Клапаме, или в итальянском ресторанчике на Сого-сквере, или, наконец, в одной из тех грязноватых таверн, где посетители бывают отгорожены один от другого, как лошади в стойлах. Но сегодня он вынужден был строго экономить время и вызвал Блэйфила к себе. Ах, что за негодяй!..

Внизу громыхнуло, словно толпа людей свалилась в дом с улицы. Затем пара неустойчивых ног беспорядочно застучала по лестнице, вознося кого-то на второй этаж. Мистер Реттингтон нажал холодными пальцами горячую золу трубки и медленно повернулся к двери. На пороге стоял, покачиваясь, длинный, худой и жилистый матрос с узенькими бакенбардами, острым подбородком и пристальным взглядом бешенопьяных, почти совершенно белых глаз. Его упрямый четырехугольный лоб прятался под кепкой с вышитым на ней изображением трех корабельных палуб; куртка — в обтяжку; на ногах — гетры.

— Человек, для которого стакан виски дороже дела, — сказал мистер Реттингтон, — дрянь. Я говорю о вас, Чарльз.

Матроса так качнуло, как если бы порог, на котором он стоял, неожиданно дал ходу назад.

— А я скажу о вас, сэр. Вы обращаетесь со мной, как с собакой, которая недостаточно живо является на хозяйский свист. Черт возьми! Я не желаю этого!

На круглое лицо мистера Реттингтона мгновенно снизошло выражение невозмутимого спокойствия.

— Довольно, Блэйфил, довольно... Точность никогда не может помешать... Я вас спрашиваю: для чего человек живет на свете?

— Чтобы делать дело, — с угрюмой убежденностью в голосе отвечал Блэйфил, — чтобы защищать деньги!

— Верно! А если так, то потолкуем, компаньон. Эстер!

Женщина с заплаканными глазами выглянула из-за спины матроса.

— Плачете, бедная Эстер? — ласково осведомился хозяин. — Страдаете от скорой разлуки с любимым человеком? Глупая... Представьте-ка себе лучше, что Чарльз уже вернулся из своего плавания богачом. Вытрите-ка глаза, да поцелуйте вашего друга, да принесите нам закусить — именно то самое, что я сегодня выдал вам из буфета.

— О чем это вы ей ввернули, сэр? — спросил Блэйфил, придвигая кресло к камину, располагаясь в нем поудобнее и вытягивая широко раскинутые длинные ноги. — Разве может матрос вернуться из плавания богачом?

— А почему бы и нет, Блэйфил? Коль скоро за него думает какой-нибудь очень умный человек...

Эстер внесла поднос с двумя тарелочками, на каждой из которых плавала в померанцевом соке пригоршня зеленого горошка. За горошком последовали эль, сыр, мясо и бутылка портвейна.

— Хотелось бы мне, дорогой компаньон, угостить вас устрицами, супом из черепахи или из бычачьих хвостов, словом так, как принято угощать «львов дня». Но отложим эту роскошь на будущее. А пока...

И мистер Реттингтон заговорил о чем-то глухо и невнятно, слегка давась своими собственными словами...

...Через полчаса не оставалось и намека на какое-нибудь охлаждение между друзьями. Поддев на вилку кусок сырого мяса, Блэйфил подержал его несколько минут над каминным огнем, а затем принялся жевать, приговаривая:

— Вы — великий ум, мистер Реттингтон, вы — гений, сэр! Да и я не просто голодный пес, которого достаточно пхнуть ногой, чтобы он поджал брюхо. Конечно нет, сэр! Ваш мозг, мои руки, сэр, о черт, это — сила! Но уж если вы кое-что во мне цените, то как же не обождать меня маленькой Эстер! Эй, потаскушка! Вот тебе билет в театр «Альгамбра» стоимостью ровно в шиллинг. Завтра вечером, когда меня не будет в Лондоне, посиди в театре, подумай обо мне, пореви на свободе...

Эстер не стала ждать завтрашнего вечера и громко зарыдала, припав лицом и грудью к его спине.

— Так, так... А когда я вернусь богачом...

Моряк собирался уходить. Вероятно для того, чтобы особо оттенить решающий смысл сегодняшней беседы с мистером Реттингтоном, он засунул свою кепку в один карман брюк, а из другого извлек кожаную шляпу. Раскачиваясь на пороге и напяливая шляпу, он бормотал:

— Из вываренной кожи, сэр... Прекрасная защита от солнца, от ветра, от... Все будет, как надо, сэр... Да!

* * *

Двадцать тысяч франков лежали в конторе Ротшильда, а расписка Герцена и Огарева — в кармане дорожной шинельки, туго подпоясанной ремнем. Тридцать тысяч английским золотом в свертках Бахметев уложил вместе с бельем и другими мелкими пожитками в большущий платок и завязал его двумя узлами наперекрест, точь-в-точь как завязывают в России фунт крыжовнику или орехов. Так «Колумб без корабля» уезжал на Маркизские острова. Герцен сказал:

— Положите деньги в чемодан.

— Места нет.

— Хотите, достану саквояж?

— Ни за что на свете. К чему это?..

...«Инфлексибль» принадлежал обществу «Всемирный странствователь». Это был громадный океанский пароход, уже три раза обошедший вокруг света и следовательно, шесть раз пересекавший экватор. Бахметев никогда не видывал подобных махин и, вступая на корабль, был потрясен его гигантскими формами. За первым удивлением последовало второе. Молодой путешественник испытал его в тот же день, когда пароход вышел в море и началась бортовая качка. Белую массу «Инфлексибля» с такой непостижимой легкостью швыряло то вправо, то влево, что у Бахметева дух занялся, а сердце, ухнув, затрепетало. Один из пассажиров — шотландец, красивый высокий блондин с большой бородой и синими глазами — попробовал заговорить с Бахметевым по-английски. Бахметев развел руками и выронил чемодан. Англичанка, одетая совершенно по-мужски — в широком сюртуке, длинном жилете, просторных штанах, заправленных в сапоги на толстейшей подошве, и в шляпе на стриженных волосах, — отперла перевешенную через плечо сумку, достала бинокль и зачем-то протянула Бахметеву. Он поклонился и не взял. Она открыла другую сумку и, вынув оттуда что-то, завернутое в бумажку, опять протянула. На этот раз Бахметеву предлагалась пилюля против морской болезни. Но он и пилюлей не соблазнился. Тогда разобиженная леди гневно смерила его желтыми глазами и решительно повернулась к нему костлявой спиной. Зазвенел сигнал: шесть часов. И матросы хором запели молитву, которой неизменно встречали свой обед...

...Есть в морском воздухе нечто особенно легкое и живительное. Как бы ни был силен ветер, он лишь охватывает со всех сторон, но в кровь не проникает и сердце не леденит. После обеда ветер усилился. Зато бортовая качка кончилась, и Бахметев стоял на палубе, мужественно любясь тем, что происходило кругом. Вот, закрывая путь кораблю на целую половину горизонта, волна острится прозрачным, как жидкое стекло, гребешком,— безмолвная, подступает все ближе и рассыпается наконец по палубе потоками снежной пены. Вот низкие обкладные тучи бегут над океаном; волны, куда ни глянь, всюду круто поднимаются и бурлят; далеко вперед летят полосы ледяных брызг, и кажется, будто белые гривы развеваются по бокам парохода. Как хорошо!..

...Вдруг посерело. Ни день, ни ночь. Что такое? Близкие предметы еще видны, но за ними — ничего не поймешь. Непроглядная муть сжала перспективу до полусотни шагов. А ветер все усиливался и усиливался, и воздух становился упругим, как разреженная вода. Почему? Грозно клубились синеватые, темно-дымчатые громады туч. Под ногами отчетливо чуялся ретивый и беспокойный бег корабля. Точно недоумевая, куда повернуться, вздрагивая под незримыми ударами, «Инфлексибль» то и дело врезывался в хребет водных гор. Позади стлалась полоса кильватера, а впереди... Тучи вились, задевая за трубы, цепляясь за мачты, и мачты уносились вместе с ними, как последняя из последних надежд. Бахметев продолжал упорно смотреть вперед, в загадочную пустоту своего будущего. Несколько солнечных лучей внезапно прорвались сквозь мрак и, скользя по тусклой бездне океана, рассыпались крупными блестками на ее дальнем краю. Хорошо! Значит, существуют еще где-то в мире и солнце и день?..

...Глухой, как бы далекий-далекий гул наступал на «Инфлексибль». Чудилось, вот-вот подойдет он ближе, разразится и оглушит. Бахметев храбро ждал этой минуты. Океан вспенивался и бледнел; воздух насквозь пропитывался горьким соленым паром. Все было влажно на Бахметеве. Мельчайший водяной бисер густо садился на его ресницы, и радужные пятна то слабо лучились перед глазами, то разгорались и гасли при новом движении век. Косая полоса озаренных брызг ударила в лицо. Отблески света разлетались по мокрой палубе. Запахло серой. Целой стороной горизонта шел теперь гул, креп, разливался... И вдруг все затрещало вверх, заскрипело вниз, яростным зигзагом сверкнула ослепительно-белая молния, и, точно свалившаяся откуда-то, лавина небесного грохота всколебала мир. Несколько матросов вбежали в кают-компанию и наглухо принайтывали мебель. Буря! Буря!..

...Всю ночь клокотал и ревел океан. Водяные горы вздымались над пароходом, грозя обрушиться и раздавить его, но у самого борта ломались и пропадали. «Инфлексибль» то взлетал на их острые вершины, то низвергался в черную, как котел с кипящей смолой, прорву. Иногда из пучины возникал на мгновение огромный круг бледно-зеленого цвета, чтобы тут же излиться жидким огнем под киль парохода. Бахметев изнемогал от усталости, цепенел от холода. Тяжелый узел с золотом выпадал из его бессильных рук. И все-таки он не уходил с палубы. Что-то мешало ему вдосталь намучиться, натомиться, насладиться чудовищным великолепием совершавшейся кругом бури. В минутных просветах грозной ночи он различал близ себя то бородатого, голубоглазого шотландца, горячо молившегося на коленях со скрещенными на груди кулаками, то англичанку в мокром пледе, с раскрытой библией, спокойно глотавшую пилюлю за пилюлей. Но всех чаще виделся ему высокий матрос, на багровом лице которого были особенно приметны сверкающие глаза и туго сжатые губы. Все это продолжалось долго — может быть, даже очень, очень долго. Но кончилось сразу, в один миг. Удар сокрушительной си-

лы пришелся в спину Бахметева и сбил его с места. Бахметев махом пролетел мимо шотландца и англичанки, напрасно пытаясь упереться ногами в стремительно убегавшую вперед палубу. Поняв бесполезность этих попыток, он помчался еще быстрее. Ноги несли его прямо к борту. Странно: внутренне готовый скользнуть песчинкой в бешеный водоворот бури, он и теперь все еще продолжал хвататься за свой узелок с золотом. Мачта... Влепившись с разгона в ее полукруглый, твердый и гладкий ствол, он замер от боли в голове, в лице, в груди. Только тогда пальцы его рук наконец разжались, выпустив груз, а сами руки судорожно обвисли кругом мачты. Он обнимал свою спасительницу, и ему казалось, что с ее помощью можно еще поддержать тяжело обвисшее книзу тело. Так длилось это упрямое страдание — еще и еще...

Вдруг наскочившая волна, будто проволоккой, окрутила ноги Бахметева. Он упал. И, падая, наспех додумал последнюю короткую мысль: скоро и беспечально, как радуга, зачем-то мелькнувшая в небе, гаснет его маленькая. ненужная жизнь... Пусть!

..*

Пока буря гоняла русского мальчика по палубе парохода «Инфлексибель», била и ломала его, грозя вышвырнуть за борт, матрос Чарльз Блэйфил не отходил от бедняги ни на шаг. Здесь длинные ноги Блэйфила гораздо тверже подпирали его железный корпус, чем на любой из лондонских улиц. Бахметев лежал, не двигаясь. Кругом — темно и пусто. Матрос нагнулся, завладевая богатством. Золото... Золото... Вот оно, вот! Холщовая рубаша с широко расхлестанным воротом вздулась живым горбом над спиной матроса. И, еще раз разглядев его багровое лицо, бешеные глаза и страшные губы, Бахметев перестал что-нибудь видеть, понимать или знать...

— Ракам на закуску! — прохрипел Блэйфил, торопливо толкая русского к борту и все крепче прижимая к себе тяжелую добычу.

Конец мокрой снасти, невидимо метавшейся в просторах адской ночи, несколько раз просвистал над самой головой Блэйфила, но матрос не заметил. А снасть продолжала виться, хлопая, шелкая, настойчиво предупреждая об опасности. Бахметев уже летел с парохода, когда, подпрыгнув с обезьяньей быстротой, Блэйфил схватился обеими руками за свое окровавленное лицо и простонал свирепо, жалко и протяжно... Выбитый глаз висел на его щеке, как перламутровая пуговица на красной нитке. Узел с золотом? Словно догоняя своего хозяина, узел стремительно катился с палубы — вниз, вниз... И Блэйфил застонал еще страшнее.

Глава девятая

Мюдюрин

Калоферский мюдюрин Рахман-ага был холост, жил в конаке и получал семь турецких лир в месяц. Кроме того, причиталось ему сто пятьдесят грошей на писаря. Но он умел обходиться без писаря, предпочитая тратить его жалованье на хороший табак. Для этого все дела, проходившие через конак, Рахман-ага решал устно. В многописании он не видел никакой надобности и был, вероятно, прав. Уж никак не чаще одного раза в месяц получалась из Пловдива какая-нибудь официальная бумага, вроде приказа поторопить внести в казну собранные с населения налоги. Соответственно этому и из Калофера исходило за месяц не больше одного письма. Вместо подписи Рахман-ага ставил на исходящих печать, предварительно смазав ее хорошенько чернилами. Печать эту он постоянно носил при себе в кошельке с деньгами.

Вот стоит мюдюрин в углу присутственной комнаты конака, на ситцевом тюфячке, плечистый и малоподвижный старик, с папиросой в зубах, в суконной куртке, подбитой лисьим мехом, с фесом на бритой голове, в белых шерстяных чулках и черных кожаных туфлях. Поблескивая медалью на красной ленточке ордена Меджидие, Рахман-ага судит и рядит.

— Поди сюда! — говорит он подгородному крестьянину, вызванному в конак по жалобе кредитора.

Митю подходит к деревянному столику с жестяной дощечкой. Теперь один только этот маленький столик отделяет подсудимого от судьи. Как просто! На дощечке — несколько тростниковых писалок, фаянсовая банка с густыми алеппскими чернилами, коробок с бронзовой пылью для посыпки написанного, костяная точилка и ножницы. Над головой мюдюрин торчат из стены ржавые гвозди. На каждом висит белый полотняный мешок, покрытый толстым слоем пыли и, как видно, давно уже не снимавшийся с гвоздя. В мешках — документы. Это архив конакского управления. Рахман-ага долго смотрит на Митю, стараясь вспомнить сущность его дела.

— Семечки есть? — наконец спрашивает он.

Мюдюрин еле говорит по-болгарски. Но вопрос его вовсе не лишен смысла. Ему надо знать, есть ли у Брадатого зерно, продав которое он мог бы уплатить свой долг Спасу Куюнджиолу. Брадатый так и понял. Смирненно складывая руки крестом на груди, он отвечает:

— Нет, господине...

И объясняет, почему нет. Еще в сентябре он сдал все свое зерно помещику, Чифиджик-бею. Но из-за дождей не смог рассчитаться полностью. Чифиджик-бей потребовал денег. Митю занял их у Спаса Неделкова Куюнджиолу. Это верно, что срок уплаты недавно прошел. Но ведь Митю не отказывается платить. Он только просит небольшой отсрочки. Едва ли чорбаджия очень нуждается сейчас в деньгах. А он, Брадатый, твердо уверен, что в будущем месяце... и т. д.

Рахман-ага пристально смотрит на кожаную шапку Митю. Одни бедняки носят такие убогие шапки. Собственно, Рахман-ага вовсе не злой человек и без необходимости не сходит с доброго пути. Он знает, как жесток Чифиджик-бей, как жаден Спас Куюнджиолу, как обманывают народ сборщики налогов. Иной раз ему очень хочется помочь жертве беззакония. Но если он видит, что это невозможно, то и не вмешивается, а лишь вздыхает, подобно Мехмед-чаушу на другой день после выпивки. Что же такое в конце концов Рахман-ага? Справедливый и богобоязненный фанатик, читающий много религиозных книг, умиляющийся и плачущий от мыслей, которые возникают при чтении, но делающий хорошее только тогда, когда никто не мешает. Он смотрит на Митю и думает. Собственность, по корану, принадлежит богу. А так как султан есть божий наместник на земле, то единственным собственником всего, что есть в Турции, и, главное, турецкой земли является именно он, султан. Рахман-ага — живое олицетворение султанского права в Калофере. Крестьянин Митю не может в срок уплатить свой долг чорбаджии, потому что разорен помещиком, на земле которого живет и работает; земля эта, в конечном счете, принадлежит султану. Гм! По-видимому, Рахман-ага может решить дело Митю по совести.

— Слушай, — говорит он Брадатому, — скажи спасибо милостивому зачитнику нашему — султану. Он велит тебе платить через месяц. Пошел!

Митю падает на колени и ловит мюдюринову руку. Рахман-ага взглядывает на старые турецкие часы в большом серебряном футляре: не пришло ли время совершать намаз? Что бы он ни делал, сколько бы людей его ни ожидало — все равно. Если время пришло, он все бросает, быстро уходит из присутственной комнаты в другую — маленькую, с очагом,—

и, приступив к обряду, шепчет молитвы, умывает руки и кланяется. Но время еще не пришло. И следующий по порядку ответчик выходит вперед на зов аги:

— Поди сюда!

.

Конак находился неподалеку от каменного моста на Тундже, в улице, которая вела к училищу, то есть по соседству с церковью св. Богородицы. Поэтому для посещения конака Спас Куюнджиолу выбрал воскресенье и отправился туда после обедни, прямо из церкви. Высокий, худой и тонкий, как бильярдный кий, с маленькой, как у змеи, сухой головкой, он прошел через малые ворота — большие, дубовые были всегда закрыты — во двор конака. Мехмед-чауш сидел на доске у приворотного кюшка. Он только что снял с усов белую тряпку, которой пользовался ночью, как бинтом, и теперь старательно помадил их, смотрясь в зеркальце. Усы... Сколько забот и радостей доставляли они Мехмед-чаушу! Чтобы концы их как-нибудь не смялись, он даже и спал-то на спине... Четверо заптий лежали рядом на траве вразвалку, звали, пересмеивались и плели белые фески. При виде Спаса Куюнджиолу вся эта компания миглом бросила свои занятия и разразилась хором приветствий. Чорбаджия считался в конаке почетным гостем.

Спас вырос, поощряемый ехидными подзатыльниками отца. Но потом, когда отец одряхлел, вернул ему все эти подзатыльники разом. Кричал же Неделко, умирая, будто отравлен сыном. Завладев наследством, Спас повел дело с редкой удачей. Он нигде не учился, кроме келийной школы, но был так хитер, двоедушен, жаден и зол, что не везти ему не могло. Осев после смерти отца на житье в Калофере, он очень скоро сделался (если не принимать в расчет кира Тодораки Митрова) первой персоной города. Не только бесконтрольно заправлял церковно-училищным настоятельством, но и на прочих чорбаджийских собраниях повертывал все на свой лад. Трудно понять, каким образом сумел Спас завоевать столь безусловный авторитет. Вечно сидел он на балконе своего нарядного дома и, винтом извернувшись на подушке, попыхивал длинным чубуком. Но разве это настоящее занятие для делового человека? Маленькие серые глазки его зорко следили за каждым проходившим мимо по улице. Вот фес криво надет на голове молодого человека. Спас окликает виновного и наставляет на истинный путь. Вот уже и перестали ребята ходить мимо нарядного дома с балконом. Но разве таким способом завоевывается деловой авторитет? Странно...

Чорбаджия прошел через длинный, грязный и поросший бурьяном двор конака и по шатающейся деревянной лестнице поднялся на второй этаж старого, вымазанного известкой здания. Здесь его встретил глубокими поклонами слуга мюдюрина Иван, тщедушный, но шустрый малый, и провел в кофейню. Спас Куюнджиолу с брезгливой осторожностью примостился на лавке, кое-как застеленной истертым красным покрывалом. Иван, готовивший для мюдюрина кофе без сахара, поставил перед ним чашку.

— Кушай, эфенди!

Спас пригубил: горько. Как это обычно бывает с людьми его характера, владевшее им раздражение неимоверно усилилось даже и от такого пустяка, и ему вдруг захотелось плюнуть в чашку, как в помойное ведро. Между тем Рахман-ага поспешными шагами уже входил в кофейню, делая в знак почтительного приветствия быстрые и ловкие движения рукой около груди и лба. Спас не замедлил ответить ему такими же точно движениями длинной тонкой руки. Хозяин и гость уселись на лавке. Иван принес вазочки с вареньем, кувшин холодной прозрачной воды.

И две папиросы, жарко зардевшись с концов, скоро наполнили комнату синими клубами вкусного дыма.

— Я пришел к тебе по делу, ага, — сказал Спас.

— Говори, — отвечал Рахман, не меняя позы и с особым старанием сохраняя обычную невозмутимость.

— Ты лишил меня моих денег на целый месяц. Известному бездельнику и плуту ты позволил меня обмануть. Зачем? Я не могу для твоего удовольствия жертвовать своим добром. Это грабеж!

По мере того как упреки Спаса делались резче, его узкое тело изгибалось все круче и туже.

— Кто позволил тебе так поступать?

Рахман-ага пожал широкими плечами и почесал пальцем в белой бороде.

— Кто? Мой милосердный царь и государь. Не забудь — я стою у подножия его державного престола и лучше тебя слышу его высокие слова.

Спас развернулся и снова стал похож на бильярдный кий.

— Пловдивский губернатор слышит эти слова еще лучше, чем ты. От кого ты ждешь награды?

— Ни от кого, — отвечал Рахман-ага, — мой закон: делай добро и бросай его в море; люди не видят, бог видит.

«Из этого прохвоста вышел бы недурной христианин», — подумал Спас и сказал:

— Может быть, ты поступаешь хорошо, но мне делаешь худо. Да и не только мне. И Турции и государю нашему, султану...

Рахман-ага слегка запыхтел.

— Что ты толкуешь? Прошу тебя, не говори лишнего.

— Какое там лишнее! Разве ты не знаешь, что Панайот Хитов весь год хайдучил в Шуменско, Тырновско и возле Сливена? Дружина выбрала его воеводой. Знаешь?

— Знаю.

— А кто знаменосцем в Панайотовой чете, знаешь?

— Нет.

— Добри, второй сын Митю Брадатого. Ну? Видишь теперь, кому ты помог? И кто твоей рукой наложил грязи в мой карман? Видишь?

Рахман-ага молчал. Спас глядел на него с нескрываемым презрением.

— Ты поступил так, что никто из верных слуг нашего великого царя не оправдает тебя, ага. Но что делать? Уж так и быть, я потерплю и жаловаться на тебя не буду.

— Не будешь? — с наивной жадностью спросил мюдюрин.

От мгновенного недоверия к его наивности Спаса слегка покорило, и он вонзил свои колючие глазки в толстяка.

— Если... Я хочу тебе сказать кое-что об учителе Ботю... Кажется, мы слишком нянчимся с этим ученым дураком. Боимся: уйдет из Каллофера, примут его в другой общине с распростертыми объятиями. Ну и что из того? Уже раз было: ходил в Карлово да вернулся. Видно, у нас лучше. Думаю, не будет беды, если снова уйдет, да и не вернется...

— Почему тебе это надо? — тихо спросил Рахман-ага. — Ведь он большой учитель.

Куянджиолу вынул из кармана газету. Она издавалась в Царьграде и называлась «Болгария».

— Смотри, — сказал Спас, — вот передовая статья.

Он провел ногтем под заголовком: «Панславизм».

— И в ней говорится про Ботю?

— Имени его нет. Но кто не знает, что во всех училищных вопросах Ботю глядит на Русию? Кто затеял учить болгарских детей русскому языку? А?

— А?

— Это потому, что он панславист!

Страшное обвинение! В статье говорилось о трех течениях панславизма, одинаково гибельных для болгарского народа и враждебных Оттоманской империи. Одно течение требовало соединения всех славянских народов под единым скипетром. Другое стремилось к созданию из них общей государственной конфедерации. Третье ратовало за культурное и языковое сближение славянских народов — «книжный» панславизм. Преподавание русского языка, введенное учителем Ботю в калоферском училище, как бы само просилось под эту последнюю рубрику: книжный панславизм...

— Странно, — пробормотал Рахман-ага.

— Что?

— У Ботю такой громкий голос, что, когда он учит в школе, я слышу здесь, в конаке.

— Учишься панславизму? — ехидно спросил Спас.

Мюдюрин пропустил мимо ушей.

— Однако я никогда не слышал, чтобы он упоминал про панславизм. Дай-ка газету.

Он понюхал «Болгарию».

— Не пахнет и не воняет...

Куюнджиолу вскочил с лавки.

— Запомни: не стану жаловаться на первую ошибку, если не сделаешь второй.

Рахман-ага тоже поднялся, но с таким лицом, как если бы угроза относилась вовсе не к нему. И оба они начали, прощаясь, быстро вертеть правыми руками у груди и лба.

— Лгун! — кричал Рахман-ага. — Я тебе верил, а ты оказался врагом султана. Эх, верить людям — значит не понимать, где правда. Лгун!

В горле мюдюрина булькало, в брюхе ёкало, а круглое лицо его было цветом похоже на свеклу.

— Садись! — приказал он. — Садись, негодный человек, и пиши губернатору в Пловдив, что я прошу запереть тебя в тюрьму.

Он достал кошелек, а из кошелька печать.

— Вот! Пиши! Я поставлю печать. Погибай!

Ботю делал над собой неимоверные усилия, чтобы казаться по наружности спокойным. Но внутри него бушевали вихри страха, гнева и тоски. Что случилось? Почему?

— Сейчас напишу, ага. Но погибать не стану. Уже раз так было — не погиб.

— Когда? — с яростным любопытством осведомился мюдюрин. — Что с тобой было? Говори, но не лги.

— Было так. Начали строить новое училище. Я носил тогда серую шинель с большим воротником, привез ее из Руси. Там она называется николаевской. Турки из Митиризова и Доймушларе зашептали: в Калофере строят казарму для московских солдат, а учитель — московский паша; фес на нем для вида, а шинель подарил ему царь Николай. Видно, не нравилось им, что у меня голова на плечах сидит прямо, а не висит к земле. Да и того не знали, что честному человеку нечего бояться...

— Ты думаешь, нечего бояться?

— Думаю. Сперва приехали разведчики из Казанлыка. Потом — комиссар из Пловдива. Арестовали меня и повезли в Пловдив, к тогдашнему губернатору Измаил-паше. Сидел в тюрьме и оправдывался две недели. А кончилось тем, что вернулся домой, жив, здоров, только без шинели. Глупый и совершенно пустой случай. Так и теперь будет...

Рахман-ага достал газету «Болгария» и разложил ее на лавке.

— «Панславизм»... Сам читал. Тут о тебе написано.

Ботю ободрился: он отлично знал эту статью. Действительно, она была по нему, но имя его в ней не упоминалось.

— Автор на каждом шагу ревет, как буйвол: панславизм, панславизм... Ох! Ух! А я при чем?

— Да ведь ты панславист. Ты враг султана.

— Такой же панславист, как и пьяница.

Ботю вытащил из кармана своего широкого белого пальто другой номер той же газеты «Болгария».

— Полюбуйся, ага. Здесь речь уже прямо обо мне: «Г-н Ботю, известный калоферский пьяница...»

— Разве ты пьяница?

— Наверно, если газета пишет. Такой же пьяница, как и панславист. К тому же еще развратник...

Ботю водил тонким жилистым пальцем по газетной полосе.

— Вот... И сестра моя, и племянница, и дядя, и вся семья... Все мы развратники, панслависты и пьяницы. А что мы пьем? Вот: ром, розовую ракию, сливянку...

Рахман-ага хохотал, откинувшись на подушку и вытирая слезы обоими кулаками.

— Ха-ха-ха! Ракию! Ха-ха-ха! Сливянку!..

Он смеялся долго, упорно, с трудом преодолевая постоянно возвращавшиеся приступы и сдерживая взволнованный живот. Фес свалился с его головы, а он все не мог успокоиться. И наконец после многих напрасных попыток, всхлипывая, проговорил:

— Ты очень умный человек, Ботю-эфенди. И ученый... Ха-ха-ха! Очень умный... Хочу тебя спросить... Однажды великий визирь Рашид-паша говорил речь в Законодательном совете. И сказал: «болгарская народность». Объясни мне, что это такое? Может быть, это то же самое, что и «греческая народность»?

Ботю с изумлением глядел на мюдюрину: глаза, губы... Нет, мюдюрин уже не смеялся. Он спрашивал серьезно. Учитель развел длинными руками. И кто спрашивал? Управитель болгарского города. Ох, турецкое чудо!

— Извини меня, ага. Но болгары вовсе не греческая народность. Они особая, болгарская народность, со своим языком, письмом и книгами. Болгары населяют большую часть европейской Турции...

Рахман-ага внимательно слушал. Затем, подумав, спросил:

— А ты кто?

— И я болгарин, из Калофера, Пловдивский округ.

Мюдюрин еще подумал.

— Так ли ты говоришь? Не врешь ли? А? Да, ты, конечно, очень умный человек. И не панславист. Садись и пиши в Пловдив губернатору Мухлис-паше: налоги за три месяца по Калоферу полностью собраны в сумме ста пятидесяти тысяч грошей и внесены по реестровой книге в Пловдивское казначейство... Написал? Вот и все!

Глава десятая

Гости приходят и уходят

Время приближалось к зиме — снега еще не было, но калоферское солнце уже грело плохо, и хаджи Паро бегал по городу в теплом длинном кожухе. Он бегал, как и всегда, без усталости и передыха, появляясь то в церкви, то в училище, то в кофейне, то в женском монастыре, то в конаке. Везде у него были заботы и хлопоты. Везде он спорил, кричал и

на чем-то жарко настаивал. Все калоферцы были ему свои, и подготовка каждого из них была его собственным делом. Ничто не могло от него укрыться. Обо всем он узнавал первым и тотчас разносил повсюду. Кто приехал в Калофер, кто уехал — он знал. Первым приветствовал возвращавшихся из Царьграда или с ярмарки калоферских торговцев и взимал с них за то обязательную дань — лимон, сигару или четки...

Не было в городе дома, дверь которого не распаивалась бы перед хаджи Паро настезь. Пришел хаджи Паро — пришла новость. А новости — такая приятная вещь! Поэтому, когда на бледном рассвете холодного дня черная фигура дядо появилась на балконе петковского дома, Иванка хоть и вздрогнула, но не отшатнулась, как от привидения, а, наоборот, с приветствиями ввела гостя в горницу, где стоял мангал. Это была парадная комната дома, украшенная белыми занавесками, с подушками на лавках и искусно расшитым ковром на полу. Пока хаджи Паро старательно отвертывался от зеркала и делал вид, будто не видит стола, все с нетерпением смотрели ему в рот, ожидая необыкновенных известий.

— Ботю-эфенди, — устроившись как можно удобнее на лавке, начал старик, — вчера пришел караван из Царьграда, двадцать телег. И приехал с этим караваном... кто бы ты думал?

Он медлил, поводя кругом выпученными глазами, точно и впрямь ожидал, что кто-нибудь разгадает его загадку.

— Хаджи Димитр Николов Паничков! — выкрикнул наконец он и торжественно ударил посохом в пол.

Да, это была новость! Ни слова не говоря, Иванка пошла в кладовую. Первый, кто приносит столь интересное известие, получает награду. Хаджи Паро мог смело рассчитывать на мешочек с мукой и хорошие куски сыра и вяленого мяса. Итак, одноэтажный красный домик с зелеными оконницами снова принял своего хозяина в теплые недра...

* * *

История хаджи Димитра Николова Паниčkова была не простая. Он приходился шурином Спасу Куюнджиолу, так как был женат на его сестре Велике. Многие калоферцы удивлялись, когда дядо Неделко выдал дочь за безденежного парня, некрасивого, с совиным лицом, да к тому же еще и глуховатого. Но Паничков умел проникать в души людей не широкими воротами, а узенькой дверкой. Так он привлек к себе сперва Велику, а потом и ее отца. Только Спас не поддавался. Как ни был Паничков умен, ловок, предприимчив, но не далось ему одно: нажива. Что бы ни затеял он по части наживы — все так и валилось у него из рук и в конце концов окончательно вывалилось. Случилось же это вот как.

Женившись на Велике, Паничков выстроил на берегу Тунджи, против церкви св. Атанаса, хорошенький домик и открыл у Каменного моста лавку. Но почему-то запутался в расчетах и вынужден был задолжать Спасу Куюнджиолу сто двадцать желтиц. Подошел срок. Спас тотчас ухватил шурина за глотку и начал выматывать из него душу, как завязтый ростовщик. И вот года три тому назад, весной, в понедельник первой недели Великого поста, Паничков, решительно никому, даже и молодой жене, не сказавшись, с сотней грошей в кармане и с мешком за плечом, точь-в-точь так, как ходил обычно в Карлово, вышел из Калофера — и пропал. Не раньше как месяца через два узнали, что Паничков добрался с турецким доймушларским караваном до Царьграда, добыл там где-то денег, сел на большой пароход «Силистрия» и оказался сперва в Яффе, а потом и в Иерусалиме. Обыкновенно поклонники божьего гроба уходили в свой дальний путь из Калофера на Петров день, переживали зиму в святой земле и, лишь дождавшись весны и великдена¹, возвращались.

¹ Пасха (болг.).

на следующий год домой. Паничков поступил иначе. Через месяц он был снова в Царьграде с почетным званием хаджи и то портняжил в абаджийских лавках Айвасарского предместья, то занимался словослагательством в болгарских печатницах, которых тогда было в столице не меньше, чем грибов после дождя.

Но зачем Паничков вернулся в Калофер, где его могли ожидать только одни неприятности, — вот вопрос!

..*

— Эй, паренек! А где у вас тут живет самый главный в Калофере хаджия?

— Кто это?

— Как кто? Конечно, хаджи Димитр Николов Паничков...

Христо удивился. Когда же это Паничков стал главным в Калофере хаджией, если ни разу после паломничества в Иерусалим и носа не показал в Калофере до сегодняшнего дня — боялся сесть в подвал. Странно. Разговор происходил на калоферской улице поздним вечером — было часа три по турецкому времени, то есть почти полночь. Христо возвращался домой по шоссе от Доймушларе, возвращался счастливый, неся в ушах не совсем еще растаявшие в воздухе звуки милого девичьего голоса. Совсем-совсем не об утренней новости думал он, собираясь свернуть от Каменного моста домой, к Галюв-долу. Да так бы, наверно, и не вспомнил о проделке хаджи Димитра, если бы не...

— Эй, паренек!

В тележку был впряжен маленький вороной турецкий маштак. Сидел на тележке человек, совершенно такой, как и все гуртовые торговцы, с которыми приходилось встречаться Христо. Хоть и не похоже это на Паниčkова, а как знать: вдруг разбогател Паничков в Царьграде, и человек в тележке — его компаньон? Не любил Христо купцов. Почему? И сам не знал. Однако Паничков, даже и разбогатевший, все-таки не был ему противен. Компаньон искал Паниčkова. Двери всех домов по городу сейчас накрепко заперты, окна наглухо закрыты ставнями, и никто не откроет и слова в ответ не скажет. Христо почувствовал, что иначе поступить нельзя.

— Хайде! — сказал он.

Заезжие торговцы всегда начинают разговор хвастливой болтовней о своем знакомстве с местными кровопийцами. «Чорбаджия Минчо в городе живет или в Царьград уехал?» — «Уехал». — «А с сыновьями помирился?» — «На успенье, как объелся после обедни да заболел, всех простил». — «А дочь собирается замуж выдавать?» И так без конца... Однако купец, которого Христо провожал к Паничкову, помалкивал о калоферских богачах, словно и не знал, что есть такие на свете. А ведь про Митрова, например, по всей Болгарии слышно...

...Тележка с купцом въехала во двор Паниčkова дома; купец спрыгнул наземь — темнолицый худой человек в толстой коричневой абе, бараньей шапке и башмаках на высоком каблуке, подкованном для прочности гвоздями, — и, по-болгарски не снимая шапки, быстро вошел в дом. Навстречу компаньону кинулся хозяин. И кости обоих затрещали в объятиях...

Хаджи Димитр был невысокий человек лет пятидесяти, с носатым, глазастым и усатым лицом. Как и все южные болгары, он выглядел опрятливо — темно-синяя куртка, обшитая шнурком, и такие узкие внизу шаровары, что казалось, будто ноги его в шиколотках уже не человеческие ноги, а просто тонкие деревянные палочки. Друзья целовались, обнимались, красные от радостного смущения, и что-то восклицали, смеясь. Как ни терзался Христо любопытством, а все же, соблюдая приличие, вышел из дома во двор. Здесь он выпряг не спеша лошадь приезжего,

поставил ее под навес, задал ей сена и, побродив еще несколько минут по двору без дела, спросил сам себя: «Домой?» Но любопытство не отпускало Христо. Он знал Паничкова с тех пор, как себя помнил, и потому любопытство его не было грехом. Ноги Христо положительно не хотели шагать домой. Точно кто-то привязал к ним по гире. «А не сказать ли хаджи Димитру, что с лошадей все в порядке?» При этой счастливой мысли ноги Христо мгновенно сделались легкими-легкими и тотчас же перенесли его через порог Паничкова дома...

...Наполняя горницу вкусным запахом, жарился на углях кусок говядины. С подноса заманчиво глядела вяленая колбаса. Рядом черный кофе, сладкая вода и искристое вино. Счастливая тем, что снова видит мужа, толстая Велика готовила славную трапезу. По-видимому, гость уже глотнул мастики, потому что сидел молча, зажмурив глаза и будто прислушиваясь к тому, как огненный напиток палит рот и обжигает холодные внутренности. Вдоволь насладившись этим ощущением, гость закусил. Тут вернулась к нему способность продолжать разговор, и он сказал:

— Я из Белграда не первый день. Много объехал, много увидел, о многом потолковал. Ты же, хаджи Димитрчо, прямо из Царьграда. Ну, как там?

Паничков сделал жене знак — проверить дверь, прислушаться в сенях.

— Новость одна, братче, — заговорил он, — но, дай бог, какая! Молодыми болгарам в Балкапан-хане¹, сам знаешь, хоть пруд пруди. Вот и составили они дружество «Верные приятели». В канун праздника, лишь замкнутся лавки и конторы, собираются вместе, поют народные песни, пишут письма в Белград и заметки шлют в «Дунавски Лебед»², читают «Лесного Путника». Хорошо?

— Лучше, чем хозяевам полы мыть, — задумчиво сказал гость, — а еще лучше, что кукушка у турок ум выпила, вот что!

Когда Христо вошел в горницу, незаметно впущенный Великой, купец произносил как раз эти необыкновенные слова. «Какой же купец так скажет? — молнией сверкнуло в голове Христо. — Да это не купец, а хайдут! Самый настоящий хайдут...» Сердце юноши забилося, как птица. Во рту пересохло. Паничков повернул к гостю глухое ухо, а глазами уперся в Христо.

— Соколче! — вдруг закричал он, только теперь распознав в стоявшем позади гостя красавчике того самого черноглазого мальчугана, который был ему известен с первого дня своего рождения. — Здравствуй, соколче! Э, да и вытянуло же тебя к небу... Садись-ка рядом, ешь и набирайся святых мыслей!

— Что за парень? — строго спросил гость.

— Свойский, — твердо ответил хаджи Димитр, — сын Ботю Петкова, слышал?

Гость потер лоб ладонью.

— Было, было... Еще в начале войны с Русией, в пятьдесят третьем году, открылся в Бухаресте болгарский политический комитет. Думали тогда, что не обойдется без восстаний внутри Болгарии. И выбирали руководителей. Выбрали и Ботю Петкова — во Фракию. А уж то не его была вина, что русские вскоре отошли с Балканского полуострова...

Он улыбнулся и ласково поглядел на Христо.

— Не говорил отец?

— Нет, — прошептал Христо, задыхаясь от счастья.

— Узнай, пора! Болгарский пост длится триста шестьдесят пять дней в году. Но голодная душа не стареет. Говорят: смерть... Пустое!

¹ Квартал в Царьграде со множеством болгарских лавок и предприятий (*тур.*)

² Газета на болгарском языке, издававшаяся Раковским в Белграде с 1 сентября 1860 года.

Бывают и такие мертвые, которых надо дважды убить, чтобы они наконец замолчали. Но ведь во второй-то раз не убьешь... Нет страшной врага, чем этакий живой мертвец. Знай кричит из своей могилы. И крика его ничем не заглушишь... Слов не обезвредишь. Запомни, юнак! Если есть у тебя голос для борьбы за свободу, кричи и не бойся смерти. Не умрешь!..

...Гость рассказывал о своей поездке по Болгарии. Был он в Рилском монастыре, нашел там готовых к делу людей. В Родопах орудует с сильной четой Петко Войвода, так орудует, что дрожат от страха родопские турки. Год назад село Габрово было переименовано в город. И там был гость. Что за город! Все жители поголовно кузнецы. За открытыми дверями каждого дома вьются и плещутся багровые огни. Гремят молоты — настоящее жилище циклопов. Встать таким — конец Турции. А габровские кузнецы знай себе выделывают шнуровые машины. О калоферцах что сказать? Эти смиренный народ. Прясть да ткать — не по наковальне стучать. Зато город — в горах. И турок в нем нет. А?..

Глухое ухо Паничкова стояло торчком. Он горько вздыхал.

— Зато кир Тодораки Митров всех турок стоит. Такой лошадиной головы, такого кабаньего брюха ни на одной бойне не сыщешь...

— Знаю, — сказал гость, — хорошо знаю эту тварь. Корчит из себя старую ученую обезьяну, на болгар же плюет, как молодой верблюд. А шурин твой, Спас, и вовсе прямая агенция османских людоедов. Плохо у вас здесь, в Калофере. Да что говорить! Плохо и по всей Болгарии. Везде Митровы, Куянджиолу. И все чорбаджии, как они. Я приехал в Елену под видом торговца. Кажется, свой своему — брат. Не тут-то было. Тамошнее «солнце», чорбаджия хаджи Йорданов, ни за что не пускает в свой огород купцов со стороны. И меня не пустил. Думаю: донесет аге, как пить дать, — и повернул. А уж как мучает еленских бедняков! Ей-ей, не понять, кто вредней для нашего народа: то ли турки, то ли свои кровососы-предатели...

Паничков согласно двигал седой головой направо-налево, Христо слушал, потрясенный. Недаром, недаром были ему всегда ненавистны чорбаджии...

— Ой-ой-ой, — простонал наконец хаджи Димитр, и светлые глаза его потемнели, — где ж искать свою правду болгарам? Где?

Гость положил локти на стол и подпер щеки кулаками.

— Не ищи ее далеко, хаджи Димитрчо, ищи рядом.

Паничков испуганно оглянулся.

— Как? Надеяться на реформы?

— Только дураки надеются на реформы. После Крымской войны султан Абдул-Меджид издал указ о равенстве в Османской империи всех народностей и религий. Обещал провести судебную реформу, изменить налоговую систему, устранить злоупотребления и взяточничество. В указе говорится: «Будет начато строительство каналов и дорог, которые улучшат сообщения и умножат источники богатства моей страны. Будут уничтожены все препятствия для развития торговли и земледелия». Что же из всего этого получилось? Десятина осталась в силе. Подушный налог заменился военным, а грабежи и взяточничество только усилились. Затем началась горячая постройка шоссейных дорог и мостов, разных нивелировок и зигзагообразных горных путей. Открылась первая железная дорога в европейской Турции, от Черноводы к Констанце. Дураки говорили: «Вот взялись наконец турки за дело, теперь перестанут потрошить болгар». Как бы не так! Двух лет не прошло, Турцию постигла небывалая финансовая катастрофа, деньги ничего не стоят, чиновники не получают жалованья, государственный долг — полмиллиарда франков. И снова паразиты впиваются в тело болгарского народа, сосут, сосут... Снова платят болгары и за себя и за своих господ, за прошлое и за будущее. Снова тюрьмы полны бедняками, поля пустуют, и младенцы умирают...

рают с голоду у тощих материнских грудей. Ищи правду ближе, ближе, хаджи Димитрчо!

— Где же?

— В самих себе. Будем, друзья, готовиться к великой работе, к такому подвигу, какого не видел свет...

«Восстание в горах!» — с восторгом подумал Христо.

— Будем твердо знать, что делаем. Молодежь идет к нам. Скоро мы разобьем свои рабские цепи. И уже не как хайдуты, а как бунтовщики, как революционеры воскресим Болгарию, нашу святую мать...

Христо слушал, и старые мечты его разлетались, как дым под ветром. Вот она, подлинная правда борьбы за свободу! Значит, задача не только в том, чтобы, став хайдутым, мстить за себя, за отца, за мать или за друга. А и в том еще, чтобы стать бунтовщиком, революционером, чтобы помогать всему народу, чтобы сорвать, наконец, с его шеи тесное, нестерпимо душное иго. Но Христо хорошо знал лишь, что такое бунт. А революция?.. Вдруг человек, приехавший из Белграда поднимать Болгарию, повернулся к нему.

— У нас, у болгар, есть старая поговорка: люби детей, чтобы тебя любили родители. Жил когда-то герой, сражался за народную свободу и попал, как полагается, в турецкую тюрьму. Долго он там томился и все ждал, когда освободят его отец с матерью. Но старики были так дряхлы и хилы, что сделать ничего не могли. Ждал герой помощи от жены. Но она только плакала и убивалась. Много времени прошло, пока узнали о беде героя его верные товарищи. Выбрали они бурную ночь, подкрались к тюрьме, убили стражу и вывели героя из тюрьмы. Вот это и есть революция. Помни, юнак: жизнь наша полна уколов, утрат и разочарований. И трудно бывает переплыть через это море, коли нет впереди великих целей. Но если есть великие цели, пробуждается в человеке такая сила, что жив будет человек всегда и светом своим может озарить целый мир. Помни еще: между книгой и револьвером много общего. И то и другое необходимо для борьбы за свободу. Револьвер заряжается пулями, а книга — правдой. Но если не будет у тебя ни книги, ни револьвера, чем же ты станешь драться?

Христо поднял мокрое от слез лицо.

— Зубами! — тихо сказал он.

Было пять часов по турецкому времени — светлая, лунная полночь. Лошадь приезжего отдыхала, с удовольствием разжевывая ароматное сено, которого только что подвалил в ее ясли Христо. Ах, как ясно теплое небо, прозрачен тихий воздух и как хорошо, точно днем, виден со двора Паничкова дома недалний двор конака. Христо пристально глядел на это скверное место, жестко убитое за день ногами болгарских просителей, густо посыпанное с вечера песком и теперь ярко искрившееся под голубыми лучами месяца. Пусто в конаке. Нет, не пусто... Две темные тени явственно шевельнулись на турецком дворе. Что за тени? Э, да это вовсе не тени, а люди. И на головах у них что-то вроде поповских камилавок, и кафтаны необычайной ширины, точь-в-точь как у Мурджо и Гурджо, известных калоферских сплетников и вестовщиков, с которыми подлецы водят дружбу, а честные боятся слово сказать. Где же и быть этим доносчикам ночью, как не на дворе конака? Уж непременно сладили какое-нибудь мерзкое дело и побрякивают сейчас пиастрами в бездонных карманах шаровар. Они, они... Вот Мурджо показывает пальцем далеко вытянутой вперед руки прямо на Паничков дом. Христо невольно отступает со светлого места под навес. Вот и Гурджо тянет свой палец туда же. Что-то затеяла эта шайка, — что? Страшная догадка мгновенно рождается в мозгу Христо, и он, не колеблясь, бежит в дом...

...На востоке только что обозначилась узенькая стальная пол6ска за-ри. Паничков и гость наскоро проверили запряжку. Лошадь фыркнула и неслышно перебрала копытами обмотанных соломой ног. Патроны тща-тельно уложены в две конские торбы. Все готово. Оставалось ехать. Ночлег отыщется где-нибудь впереди. А и не отыщется — бог с ним.

— Садись, хаджи Димитрчо!

— Нет, — решительно отозвался Паничков, — не сяду. Поезжай без меня. В одиночку проедешь, вдвоем — навряд. А я и пешком уйду.

Христо не слышал, что ответил приезжий, но видел, как он проворно вскочил в тележку и тронул вожжи. Он спешил. И лошадь, успевшая отдохнуть, бойко двинулась со двора, унося на своем хвосте необычно-венного «купца». Кто же, однако, он, этот человек, о котором Христо не позабудет, вероятно, никогда?..

...Христо вошел в дом. Хаджи Димитр энергично укладывал в мешок остатки богатой трапезы, которую Велика с такой щедростью изготовила для вернувшегося мужа и для его гостя. Недавно радостная и веселая, Велика стояла теперь возле мужа и горько плакала. Толстый живот ее колыхался, как тугой парус под ударами ветра, и хриплые ахи и охи вырывались из сжатого судорогой горла. Хаджи Димитр уходил.

— Куда?

Паничков не ответил. Он обнимал жену.

— Легкой ночи!

И снова дом — без хозяина.

* * *

Даскал Ботю был добр и честен, общителен и услужлив. Был он так-же и независим, но только, разумеется, в той мере, в какой это было воз-можно для калоферского учителя. И характер был у него твердый, на-сколько твердость эта не грозила его семье повторением карловских бед-ствий. Кроме того, он верил в себя, в свои физические и моральные силы, хотя уже и начинал замечать, что здоровье и бодрость все чаще отступа-ют перед усталостью и тоской. Наконец, он высоко ценил свое призвание и свое достоинство, мало-помалу догадываясь, однако, что и то и другое — карточный домик на песке. Тяжело ему бывало иной раз! И особенно тяжело было в тот день, когда хаджи Димитр Николов Паничков вторич-но бежал из Калофера. Христо рассказал отцу обо всем, что делалось и говорилось памятной ночью в красном домике с зелеными ставнями: и о «купце» из Белграда, и о «Верных приятелях» из царьградского Балка-пан-хана, и о том, как гуляет по Болгарии ветер бунта и свободы, и о ре-волюции...

— Кто же это был у хаджи Димитра? — спрашивал Христо.

Ботю не знал. «Может быть, человек от Раковского...»

— Почему ты скрыл от меня, отец, что тебя выбирали руководить вос-станием во Фракии?

Ботю молчал. Но Христо уже и не допытывался больше и не спра-шивал ни о чем...

Он стоял в горнице, где мангал, и глядел на потолок. В каждой из трех комнат дома был очень красивый деревянный потолок: в спальне — с резными ромбами; в кухне — с накладным солнцем; в гостиной, где мангал, — с превосходно выточенными фруктами и хлебными снопами — плодами благословенной Болгарии. Христо смотрел, и видел, и летучей мыслью своей создавал роскошную картину изобилия, от века дарован-ного природой несчастным жителям здешней счастливой земли. «Кто же владеет всем этим? Турки и чорбаджии!..» Христо схватил себя за голо-ву и неслышно застонал:

— О-о-о!..

Глава одиннадцатая

Светлая седмица

В обычные дни Рахман-ага не покидал конака. Закончив разбирательство спорных дел и отпустив просителей, он совершал намаз, закусывал и затем выходил на галерею. Здесь он усаживался на приготовленных Иваном подушках, стараясь расположиться самым удобным образом. Рядом кальян, кофе без сахара и прибор для чистки ногтей. Пригнув голову к плечу и сощурив добрый серый глаз под седеющей бровью, он принимался полировать свои ногти. Мимо конака шли люди, и все они почтительно приветствовали сидевшего на балконе мюдюрина. Рахман-ага смотрел на этих людей и думал. Вспоминать и думать было для него одно. Вспоминая, он думал, а думая, вспоминал. Память же была у него отличная. Никогда не сбиваясь и ничего не путая, он помнил за много-много лет: когда был голод или мор, когда и где проходили войска султана, где, кто, кого и когда ограбил, когда был введен налог на грудных младенцев... А больше уже и не о чем было помнить или думать.

Из открытых окон мужского училища доносился до ушей мюдюрина звон множества детских голосов. Очевидно, ученики собрались на урок, а учителя почему-нибудь нет. Хотя Рахман-ага до последнего времени даже и не подозревал, что управляет болгарями, но город свой и всех его обитателей он, тем не менее, знал превосходно. Стоило ему подумать, например, об исчезнувшем учителе, как учитель тут же и появился. Вот из Тотьевой кофейни, что у моста, стремительно выскочил на улицу желтолицый, рябой, с распухшими от пьянства глазами человек в съехавшем на ухо измятом фесе. Это был Ованез-эфенди, учитель турецкого языка в младшем классе училища. За ним гнался хаджи Паро, норовя поддать армянину посохом по спине.

— Ованезе, Ованезе!— кричал старик. — Где пропадаешь? Что за детьми не глядишь?..

Ясно: учитель опять метал в корчме кости, попивая горячую ракию и благодушествуя, вместо того чтобы учить в классе. Ованез-эфенди оглядывался на преследователя.

— Коли здесь меня не ценят, так в другое место позовут, да еще и курочку зарежут!

Рахман-ага добродушно смеялся и, что-то вспоминая, бормотал: «Ай, как хорошо!» Так это бывало в обычные дни. Но сегодня — великден. Бьют колокола, присланные когда-то господином Тошковым из Одессы, и веселый звон их скачет и прыгает через весь город. Заптии храпят в приворотном кюшке: ночью, во время заутрени, они дежурили на церковных папертях, тщательно следя за порядком. Вон прошел старый турок с дубинкой, еле волоча за собой подгибающиеся ноги. Это ночной сторож. Его обязанность — зажигать в пасхальную ночь на главных улицах города пыльные фонари с тусклыми нефтяными лампочками и колотить что есть мочи дубинкой по мостовой. Рахман-ага — в свежем фесе и с медалью на ленточке ордена Меджидие. Сегодня ему предстоит выйти из конака и нанести поздравительные визиты.

— Иван, разбуди двух ослят!

Двое заптий должны сопровождать Рахман-агу в его путешествии по городу. Он направляется к Крыстецу, где живет кир Тодораки Митров. Тучки весело шныряют по небу, то закрывая собой солнце, то выпуская его из плена, и тогда ослепительно яркие золотые лучи начинают сыпаться на землю, как червонцы из разорвавшегося мешка. Люди, которых встречает на улицах мюдюрин, одеты по-праздничному: мужчины — в суконных шальварах и куртках, подбитых мехом, женщины — в муаровых юбках и в венских шляпках на головах. Все они дают Рахману до-

рогу и почтительно кланяются, ожидая ответного кивка. Так, не спеша, идет мюдюрин и доходит наконец до митровского дома.

Кир Тодораки жил на краю города, в большом красивом доме. Позади дома фруктовый сад — рай на земле: вишни, сливы, яблоки, груши, гранаты и миндаль. Слива зацвела еще в начале апреля. Как густа эта роща из садовых деревьев! Между ней и домом — клумбы розовых кустов и повитые виноградом беседки. Вход в дом только один, со двора; а двор — широкий, с дорожками желтого песка и загородками из подстриженного самшита, с источником, звонко бьющим холодной балканской водой, — чудесный двор этот окружен высокой стеной. Несколько дальше от дома — амбары, кладовые, сараи, конюшни, хлевы. Лошади ржут, коровы мычат, свиньи хрюкают и визжат. Вот как живут иные болгары в прекрасном царстве османлисов!

Внутри дома — ничего болгарского. Все привезено из-за границы: мебель — из Вены, зеркала — из Венеции, картины — из Рима, бронзовые часы — из Парижа. Апельсиновые и лимонные деревья с плодами, поднимающиеся пышными купами из огромных цветочных горшков, тоже были доставлены сюда откуда-то издалека. Как известный откупщик, кир Тодораки имел право носить оружие и турецкое платье даже в тяжелые дни волнений, которым время от времени предается голодная болгарская толпа. Но Митрову одинаково неприятны и болгарская толпа и турецкий ятаган. Он — эллин, чистый сын Эллады, полный высокими знаниями и светлого духа древности. Ему ли, классику, иметь дело с современной грязью и кровью? Конечно, нет. А с другой стороны, трудно, ой, как трудно не запачкаться во всем этом даже такому человеку, как он — кир Тодораки!

Митров встретил Рахман-агу с соблюдением всех церемоний стамбульского этикета. Высокий, толстый, свежий и душистый, в седых кудрях и алом фесе с длинной лиловой кистью, он сиял, как и утро этого радостного дня. Мюдюрин проследовал за ним в комнату для приема гостей. Это был большой апартамент с шестью окнами, застланный пушистым ковром, с широкими и мягкими диванами под шелком. На окнах — дорогие занавески, а на дверях — искусная резьба. Розговенье! Вкусные запахи, от которых, пожалуй, закружилась бы иная слабая голова, так и гуляли по комнате. Рахман-ага бросил взгляд на угощение и зажмурился. Вот жареная баранина, вот облитые нежным жирком телятина и пудинг. Вдруг слуга быстро схватил со стола и вынес из комнаты какое-то блюдо. Деликатность! Да, это был поросенок весом по крайней мере в десять ок. И он не должен был смущать мусульманских глаз правоверного гостя. Зато хрустальные вазы с трендафиловым, вишневым и абрикосовым вареньем поднимались башнями на круглом подносе между кубками с чистой холодной водой и бутылками вин всех цветов.

— Милости просу!

При виде бутылок Рахман-ага вздрогнул.

— Турчин вино не пие...

В комнате был еще один гость — Спас Куянджиолу. Рахман-ага не был падок на острые блюда. И потому сразу протянул руку за красным пасхальным яйцом. А проглотив его и заев вареньем, принялся за кофе...

— Чок риджа едиорум!¹

Кир Тодораки и Спас курили табак мюдюриня. А Рахман лакомился марсельской маркой Митрова. Все хорошо. И вдруг Спас прошипел:

— Напрасно только, ага, гнушаешься ты нашими советами...

¹ Очень прошу! (тур.)

— Какими? — спросил Рахман, ожидая наскока на панславизм Ботю Петкова и готовясь с торжеством дать отпор.

Но Спас имел в виду другое.

— Ты уже однажды заплатил моими деньгами хайдуту Добри Митеву за его злодейства. А теперь упустил из Калофера и другого моего должника — бродягу Паничкова.

— Я велел его арестовать, — спокойно сказал мюджурин, — но он скрылся.

— А ты знаешь, зачем он приходил в Калофер?

— Откуда я могу знать?

— Ты для того и поставлен, чтобы знать.

Рахман-ага молчал, обдумывая ответ.

— Я Моралю Рахман-ага Февзи, — наконец сказал он, — и не хочу, чтобы со мной разговаривали, как с мальчишкой. Паничков не сделал ничего худого — пришел и ушел. Вовсе не мое дело держать, Спас-эфенди, всех твоих должников под присмотром. Этого не доставало! Как твое мнение, кир Тодораки?

Митров пожал плечами.

— Пока мой коселек не страдает, у меня мнения нет. Как тебе угодно, господин!

Рахман-ага хотел рассмеяться по поводу остроумной шутки, но не успел, так как Митров продолжал:

— Однако дело не так просто. Паничков провел в Калофере только ночь. Но он был не один.

— С женой, — сказал мюджурин.

Кир Тодораки и Спас укоризненно покачали головами.

— Нет, ага, он был не с женой. Спроси Мурдзо и Гурдзо. Они расскажут тебе, как накануне вечером заметили тележку с неизвестным купцом, который ехал без фонаря. Тележка показалась им подозрительной. Ботев сын Христо проводил купца к Паничкову. Мурдзо слушал у окна, а Гурдзо — у двери. Паничков угосил купца. А что говорил купец! Боже милостивый, что он говорил! Мурдзо и Гурдзо клялись, что готовы сесть на кол, если этот купец не окажется Петко Войводой, зачем-то пробравшимся в Калофер из Родопских гор...

— Пустая болтовня, — сказал Рахман-ага, — надо бить болтунов палками. А Паничкова я хотел задержать. И уже послал Мехмед-чауша... Но...

— Известно: послал, когда обе птички улетели. Согласен с тобой, что никакого Петка Войводы в Калофере не было. А кто же был? Говорят, будто Раковский сидит второй год в Белграде. Я спрашиваю: зачем такому летущему голландцу сидеть второй год на одном и том же месте? Разъезжают по Болгарии люди и поднимают народ на бунт. Кто они? Ясно: сам Раковский ездит по Болгарии, да!

Митров поднял большой белый кулак.

— Сам! Он сам был здесь!

— Вот что ты сделал, ага, упустив моего должника! — взвизгнул Спас Куюнджиолу.

— Ты упустил Раковского, ага!

Рахман-ага уже не сидел, а стоял. Лицо его было бледно, и он дрожал.

— Нет! Не было здесь Раковского! — восклицал он. — Раковский — в Белграде... Был другой человек... Проклятье!.. Раковского не было... Сатана!..

На мюджурину было жалко и тяжело смотреть. Но ни Спас Куюнджиолу, ни кир Тодораки не испытывали неприятных чувств.

— Мюджур-эфенди, — сказал Митров, — кончено! Пей вино!

Рахман-ага сел и, уже не кокетничая больше, прямо потянулся к самой большой бутылке.

Пловдивский губернатор Мухлис-паша, ученый, честный и справедливый человек, считал всех городских мюдюринов своего округа дураками и разбойниками, ни для кого из них не делая исключений. И потому позволял им решать лишь мелкие дела, а крупные приказывал направлять в Пловдив. Все остальные споры по Калоферу ведались карловским судьей. Для этого кадия Хайруллах-эфенди ежемесячно приходил на сутки, на двое в Калофер. Последний визит его несколько затянулся. Зато ушел кадия веселый, увозя с собой что-то в тележке, запряженной осликом, и удовлетворенно разглаживая худенькой старческой рукой длинную и узкую седую бороду. Как только кадия ушел, Рахман-ага вызвал в конак Ботю Петкова и продиктовал ему донесение в Пловдив. Потом законвертовал письмо, опечатал пакет и снарядил Мехмед-чауша в поход. Черноусый удалец набросил на плечи серый плащ, закинул за спину тузлуджский карабин, а за пояс заткнул кривой ятаган с белой костяной рукоятью. Вывел из стойла старую рыжую клячу и, стуча пятками по ее вспученному брюху, съехал со двора.

Кабинет Митрова находился на втором этаже его дома и представлял собой очень красивую и богато обставленную комнату. Диван, кресла, круглый столик с газетами, журналами и альбомом, шкафы с книгами, письменный стол, поставленный левой стороной к окну, — все было добротное, приятно для глаза и удобно. На стенах — хорошие гравюры. Над диваном — зеркало в овальной бронзовой раме. Одна из стен до потолка увешана ценными чубуками из перламутра и янтаря. Пожалуй, не у всякого из европейских магнатов сыщется такой поистине комфортабельный кабинет.

Чорбаджии приступили к делу после обеда. Сперва казалось, что это совсем пустое дело. Но потом возникли трудности. Действительно, какую следовало привести причину, чтобы требовать увольнения Рахман-аги? Сказать, что Рахман — пьяница, нельзя. Сказать, что он взяточник, невозможно. Распутник? Нет. Мотив подлежал доказательству и потому, вероятно, никак не шел под перо. А кир Тодораки готовился к отъезду из Калофера для летнего отдыха на острове Халки. Отъезд — завтра утром; чемоданы еще не сложены, а вечер на носу. Спас Куюнджиолу скорчился в кресле. Его мстительная душа терзалась нетерпением.

— Толстое пузо! — с досадой обругал он мюдюрина.

Вдруг Митров приложил палец ко лбу.

— Фью! — тихонько свистнул он. — Эврика!

— Что ты придумал?

Он зажег свечу, да впопыхах не одну, а две. Огни заплясали, и кабинет ожил. Черные тени быстро забегали по стене с чубуками. Янтари засветились и занскрились прозрачной желтизной.

— Две свечи, — смеясь, сказал Митров. — Неузели хадзи Паро зенился? — И задул лишнюю.

Он был очень экономен. А на пороге уже стоял, низко кланяясь и сверкая белками неугомонных глаз, лохматый цыган Исо, чорбаджийский гонец.

Пловдивский губернатор Мухлис-паша получил из Калофера почти одновременно два письма. Вот они.

Первое: «Его превосходительству покорнейшее донесение. Во имя господа и нашего милостивейшего царя султана — бог да продлит его дни! — молю не оставить без внимания мои верные слова. Большие злоупотребления совершаются в городе, где я поставлен управителем, но не

могу взять строгих мер против виновных. Карловский кадия Хайруллах пришел в Калофер на четыре дня и присудил дом Димитра Николова Паничкова отдать за долг чорбаджии Спасу Куянджиолу. Сумма долга — сто двадцать желтиц. А сумма взятки, которую взял кадия со Спаса, — красивый пиротский ковер, кадушечка сибирского коровьего масла и еще двадцать желтиц. Когда кадия Хайруллах брал взятку, он сказал: «Пара — бизим, гюнах — сезин. Амин де»¹. А чорбаджия поклонился и сказал: «Амин, ефенди!» Это верно. Чорбаджия Спас завладел лесом, который спускается с Планины до самого города (полтора часа в длину и полчаса в ширину). Завладел также местом, которое не обойдешь и за пять часов, — от старых виноградников до села Аджар и от Калофера до села Омар Абас. Все это — собственность калоферской городской общины. Присвоил себе ложе реки Тунджи с берегами. Загородил реку сетями, ловит рыбу и на прибрежном рынке продает. А община боится спорить, потому что всякий ему что-нибудь должен. Это верно, что чорбаджия Спас Куянджиолу есть звероподобный разбойник и гнусный похититель чужого добра. Свидетельствую моей печатью: верно».

Второе: «Протокол. Во имя господи и нашего милостивейшего царя султана Абдул-Азиса ефендимиз — да продолжит бог его дни! — собрались мы сегодня, попечители и настоятели Калоферской городской общины, и просим принять наше покорнейшее представление. Управитель нашего города, Моралю Рахман-ага Февзи, неподвижен и беспечен. От этого страдают интересы и правительства и населения. Мы не можем сказать, что Рахман-ага — пьяница. Зато он такой обжора, что почти постоянно ест. Не можем утверждать, что он распутник и редко бывает в конаке. Но не выходит он из конака лишь потому, что непрерывно спит. Он и взятки не берет, а просто ничего не делает. Какое может быть уважение у граждан к своему управителю, если у них нет для него другого названия, как толстое пузо...»

Пловдивский губернатор Мухлис-паша, умный, честный и справедливый человек, долго читал и обдумывал эти письма. И наконец решил...

* * *

От Пловдива до Калофера шестьдесят верст. Конный запряга, доставивший Рахман-аге ответное письмо губернатора, проскакал это расстояние за шесть часов. Никто не читал письма. Но сомневаться в его содержании не приходилось. Рахман-ага сел в ту самую тележку, на которой прибыл в Калофер новый мюдюрин, уехал и больше не возвращался. Юсуф-ага был гораздо моложе Рахмана, мал ростом, сух и желт, с пальцами, коричневыми от табака. Носил он синие суконные штаны, куртку без рукавов и кафтан, густо обшитый золотым галуном. Ходил быстро, повертывался туда и сюда, как обезьяна, а по обращению с людьми был настоящий «лют турчин» из старинной болгарской сказки.

С появлением Юсуф-аги кое-что в Калофере затрепало. Мюдюрин прогнал старшего сторожа и отправил в Пловдив всех прежних заптий. Новые пришли в зеленых куртках и штанах — в униформе. Мехмедчауш вернулся с ними. Но и он был уже не в сером плаще, а тоже в зеленой униформе, с плеткой в руке, и никогда больше с этой плеткой не расставался. Заптии не валялись больше у ворот конака, а чинно, как солдаты, ходили по двору.

Вскоре Юсуф-ага пригласил в конак Спаса Куянджиолу и сразу начал серьезный разговор. Мюдюрин тыкал пальцем в лежавшие перед ним турецкие книги и повторял:

¹ Деньги — наши, грехи — ваши Скажи: амишь! (тур.).

— Хатти шериф... Хатти-хумаюн... Ферман...¹.

Он доказывал, что калоферское церковно-училищное настоятельство незаконно присвоило себе права мюдюринской власти. Мюдюрин властвует формально, а настоятельство — фактически. Между тем старые калоферские привилегии давным-давно отменены султанскими указами.

— Вот, читай! — кричал Юсуф-ага, тыкая пальцем в турецкие книги.

Однако хитрый Спас скоро разглядел, что прыткий ага тычет сплошь да рядом наугад. По-видимому, он не умел читать. Зато турецкие цифры писал довольно бойко. Это можно было видеть, когда мюдюрин развернул годичную смету податного сбора на толстой пергаментной бумаге и тут же принялся за перекройку податных сумм между разрядами плательщиков. Подсчеты он производил чрезвычайно ловко, и своими итогами они прямо били по чорбаджийскому карману. Спас зашипел было, заплелся и рванулся в спор. Но вовремя сообразил, что спорить бесполезно. Юсуф-ага был женатый человек. Жена его жила в Пловдиве. Она происходила из знатного турецкого рода; ей-то именно и обязан он был своей должностью. Спихнуть его было бы много труднее, чем Рахмана. Спас Куянджиолу перестал спорить. Юсуф-ага усмехнулся и сказал:

— Эй ты, слушай — пойми, кто из нас впереди!

Спас Куянджиолу понял. И уже не в первый раз пожалел о старом Рахмане. Он продолжал слушать наглую болтовню Юсуфа и думал с ненавистью: «Плюю в бороду твоего Магомета!» Вдруг мюдюрин тихо проговорил:

— А теперь скажи, сколько будет мне давать настоятельство за то, чтобы все оставалось по-прежнему?..

Глава двенадцатая

В Калофере варят кофе

Матушка Даисия и тегушка Тиудушия усердно перебирали четки своего монашеского счастья. Слава подателю всех благ: бедствия, с которого времени усиленно валившиеся на головы иных строптивых калоферцев, до сих пор еще не задели ни женского монастыря, ни его смиренных обитательниц. Первой жертвой судьбы оказался абаджия Вылчанов. Гром небесный поразил бая Драгана вместе с прочими известными шерстобитами и суконными торговцами из Сливена, Казанька, Карлова, Пирдопа — из всех мест, где процветало до последнего времени старинное портняжное ремесло. Это были люди состоятельные, спокойные, безусловно покорные султанским властям (по крайней мере с виду так казалось), а между тем ни один не вынырнул из беды. Что с ними случилось? То же, что и с баем Драганом.

Все было у бая Драгана, кроме только большого дома. Но чорбаджийское самолюбие имеет свои собственные законы. И Вылчанов принялся строить двухэтажный дом. Он строил его на выезде к полю, сплошь проросшему в этом месте колючкой и дроком, по правилам лучшей архитектуры. В нижнем этаже — конюшня, лавка и еще одна горница — под жильем. В верхнем этаже — пять маленьких низких конурок и просторная галерея. Некоторые из конурок примыкали к галерее; они не имели потолка, и стены их не доходили до кровли аршина на полтора. Окна, сделанные только в нижней жилой комнате, были забраны плотной решеткой из продольных железных прутьев. Пола в этой комнате настлано не было, по-болгарски. Все остальные комнаты были слепые и темные —

¹ Султанские указы (тур.).

в них хранились брынза, овечья шерсть, белая глина, ткацкие станки и чесалки. Рядом — огромные ворота, чуть ли не вдвое больше самого дома. Словом, бай Драган хотел показать Калоферу, что он не беднее любого хаджий и тоже может соорудить себе изрядное жилище. Это и было понятно всем...

...Вдруг понаехали в Болгарию английские купцы и понавезли с собой горы разноцветных сукон, изготовленных на их родине не человеческими руками, а фабричными машинами. И, на беду болгарского абаджийства, оказалось английское сукно ничуть не хуже рукодельного, а главное, вдвое дешевле. Горы абаджийского товара залегли на складах. Обозы Вылчанова возвращались с ярмарок в том самом виде, в каком он снаряжал их в путь. И приезжих покупателей, которые раньше десятками своих коней запруживали калоферские улицы, не показывалось теперь ни одного. Дела бая Драгана круто пошли вниз. Не то от огорчения, не то от опухоли в груди умерла в самый праздник суконщиков — двадцатого июня — его жена, почтенная Драганица, сестра богача Спаса и одинокой Велики. И это несчастье Вылчанов принял, как подобает хорошему христианину, — смиренно и с непоколебимой стойкостью веры в божий промысел. А с провалами в делах продолжал мужественно бороться. Однако слухи о его разорении бежали впереди всех расчетов. Наконец он и сам подтвердил их, когда пришел к Спасу Куюнджиолу и принялся выпрашивать денег в долг. Капитал настоятельства, сильно распухший в счастливые дни Крымской войны, продолжал и теперь увеличиваться, так как раздавался по заведенному еще дядо Неделко порядку ремесленникам и торговцам в рост из очень высоких процентов. И никто не спрашивал, кому и когда помогли эти бесплодные ссуды, — яловые коровы под ножом мясника. Приходили, просили и брали. Просили и брали... Спас поступил с баем Драганом не лучше, чем сам бай Драган поступал прежде с теми, кто приходил в цех суконщиков с мольбой о помощи. «Хорошо, — сказал он, — дадим. Но уплатишь сто восемьдесят процентов годовых». — «Бога на тебе нет, — тихо сказал Вылчанов, — столько и ростовщики не берут». — «Можно подумать, брат, что ты вчера лишь родился. Иди себе, коли хочешь, к ростовщикам». Вылчанов опустил голову и к ростовщикам не пошел. Да и кем же был Спас Куюнджиолу, если не ростовщиком? И вот, как раньше было ясно, что Вылчанов богат, так теперь стало ясно, что он разорился...

Однако за что же именно покарал его господь? Принялись гадать, перебирая на все лады прошлое Вылчанова, чтобы докопаться до причины. Матушка Даисия и тетушка Тиудушия твердо стояли на том, что при закладке знаменитого вылчановского дома каменщик уловил чью-то мимо идущую тень и замуровал ее в фундаменте. И поселился с тех пор в новом доме вампир. Мурджо и Гурджо клятвенно уверяли, будто Вылчанов снабдил Паничкова перед его последним уходом из Калофера какими-то деньгами, то есть поступил прямо против священной воли султана, и за то наказан справедливой судьбой. Особого мнения держался учитель Ботю...

* * *

По субботам в церкви св. Богородицы святили кутью по усопшим. Старики выходили после обедни из церкви, садились под навесом на лавках и ждали поминального угощения. Каждый вытаскивал из-за пазухи платок с белыми звездочками и принимал в него из черных старушечьих рук ложку кутьи — «Прости, боже, души усопших!» Затем появлялись и каравай пшеничного хлеба, и слоеные пироги с творогом, и молоко, и мед. Здесь-то, неподалеку от выхода из города на долгую поляну, что под Голой Могилой, и встретился однажды учитель Ботю с Вылчановым.

— Добрый день, бай Драган! Как поживаешь?

— Эх,— печально ответил абаджия,— живу.

Он всегда был худощав и невесел, а теперь и вовсе походил на больную галку. Его синяя безрукавка, сшитая когда-то из самого дорогого сукна, так истерлась и выгорела, что совсем потеряла какой бы то ни было цвет.

— Дай бог и пресвятая богородица! — сказал Ботю.

— Поминал сегодня жену. Все несчастья да несчастья...

Мимо прошел бирник, из тех, что сдают по субботам собранный за неделю податной приход общинному кассиру и за два квартала приветствуют на турецкий лад Спаса Кюнджиолу. Проводив этого человека пристальным взглядом угрюмых черных глаз, Вылчанов проговорил:

— Видать, мало ослу, что напала короста. Еще и мухи кусают!

Действительно, на днях бирники пойдут собирать налоги по трехмесячной раскладке, и когда бай Драган думал об этом, в его печени возникла тупая боль. Было время, он платил торговую подать по первому разряду — триста грошей в год. Потом платил по третьему — сто пятьдесят. А теперь не мог уплатить и по седьмому — двадцать пять. Что же оставалось? Был еще один разряд — восьмой, по которому платили пятнадцать грошей. Были и такие в Калофере люди, что совсем ничего не платили. Вот он — завтрашний день остающейся баю Драгану жизни!

Неужели можно подслушать чужую мысль? Очевидно, можно. Учитель Ботю сказал:

— Дай бог, чтобы не было хуже. Тогда, может, станет лучше.

Ботю произнес эти загадочные слова тихо-тихо. Бай Драган вздрогнул.

— Что ты хочешь сказать, бай Ботю?

Не сговариваясь, они сделали несколько шагов в сторону от стариков с поминальной кутьей. Бай Драган выжидательно смотрел на учителя тусклыми черными глазами.

— Что ты хочешь сказать?

— Хочу сказать: опротивел свет. Ушел бы в Русию, да не на кого оставить жену с детьми. Как можно мне жить рядом с людьми, которые посягают на училищный капитал и грабят его? Как могу я знать об этом и молчать? Подумай! Так по всей Болгарии. Бедная мать наша во власти каторжников. Одни из них зовутся пашами и мюдюринами; другие носят болгарские имена. Но преступления тех и других спрятаны в мешках, подвешенных в конаках к потолку, цель жизни тех и других — воровство. Турция...

Ботю говорил с гневной силой. Громкий голос его трепетал от волнения и звучал, как набатный зов. Два маленьких человека давно уже слушали учителя. Они были необыкновенно похожи один на другого. И звали их тоже почти одинаково — Мурджо и Гурджо. В грязеньких фесах, с масляными круглыми рожицами, в рваных шальварах и туфлях без носков, они припрыгивали от удовольствия и так размахивали ручонками, точно старались помочь голосистому учителю извергнуть как можно больше нужных им слов. Вдруг Ботю увидел их, и речь его осеклась. Но Мурджо и Гурджо исчезли гораздо скорее, чем появились. Ботю и Вылчанов долго смотрели им вслед. Потом глянули друг на друга. И молча двинулись прочь с опасного места.

Вот они шагают по субботнему базару между телегами с житом, во множестве съехавшимися сегодня в город из окольных сел. Вокруг них шумит, толкается и звенит грошами разноязычный и разноплеменный народ — болгары, турки, цыгане, — сплескиваясь в живой многоцветности общей картины и расплескиваясь во все концы. Не было на базаре человека, который не подавал бы голоса. Все эти голоса сливались в один — оглушительный. И потому чем громче говорили люди, тем хуже слышали

себя и других. Но учитель слышал бая Драгана, а бай Драган — Ботю, ибо, гуляя по базару, говорили они вполголоса,— верное слово тайны и язык потревоженных душ.

— Как ты думаешь,— спрашивал Ботю,— отчего опустели твои карманы?

— Судьба...

— Нет, не судьба. Валится турецкая пирамида, все перевертывается в Турции вверх дном. Чем кончится,— не мы, так наши дети увидят. А мы... Вот пришелся удар по тебе. Но не жалея, бай Драган. Деньги делают скотом человека...

— Знаю. И не денег мне жалко, бай Ботю. Помогал я в былое время хайдутам. Помнишь? Совестя говорит: мало...

— Лишь бы не стало хуже,— повторил свою мысль Ботю,— а то так и лучше станет. Трещит пирамида и валится. Что до меня — последний кожух продам, но сыновья мои будут учеными и разбудят наш народ...

..*

Юсуф-ага и Спас Куюнджиолу договорились. Все пошло по-старому. И подати собирались прежним порядком. Полученную из Пловдива хартию податной сметы Юсуф-ага передал в церковно-училищное настоятельство. Затем состоялось хорбаджийское собрание, на котором податная сумма была по указаниям Спаса распределена между восемью рядами плательщиков. Особая комиссия занялась раскладкой по домам и отдельным лицам. Наступили дни сбора городских податей. Заптии в зеленой униформе совершенно так же, как их предшественники без униформы, бродили по городу, заходили в корчмы, чтобы хлебнуть ракии, в лавки, чтобы прихватить в долг рису, сахару, масла, сыра, табаку, и выскакивали из лавок под звонкую брань бакалейщиков. Все шло по-старому. В библиотечной комнате училища, на втором этаже, заседал хорбаджийский штаб: Спас Куюнджиолу, векил и кассир. На столе лежали реестровые книги податей на хлеб и на скот. Бирники приходили, сдавали деньги кассиру и, убедившись, что они записаны в книгу, вновь отправлялись обходить город. Векил подбивал итоги и хлопал общинной печатью. Спас Куюнджиолу шипел и плевался, возмущаясь недоборами: то муж убежал в Румынию или в Русию, а с жены взятки гладки; то неплательщик, которого уже вели в конак под палки, вдруг расталкивал своих конвоиров и уносил ноги...

В городе было суматошно. Вот заптия уцепил за рукав должника, который что-то доказывал и в чем-то оправдывался.

— Стой, пустобрех, пойдем в конак, там расскажешь...

Молодой болгарин в широком красном поясе выбежал вперед, стараясь протиснуться между заптией и его жертвой.

— Погоди, я за него ручаюсь!

— А за тебя кто? — заорал взбешенный жандарм.

Из толпы выдавился седоусый старик в синем жилете.

— Я, господин...

— А за тебя?..

— Я, я, я... — раздалось отовсюду.

И, отступая перед общим напором, заптия выпустил рукав обреченного...

Вот уже подобрался бирник и к дому Брадатого, за городом, у Доймушларе. Любика встретила его жалобными воплями с мокрым от слез полотенцем у глаз.

— Где Митю? — спросил бирник, развертывая большую тетрадь в толстом кожаном переплете. — Куда ушел?

Любица плакала, не отвечая. Бирник на всякий случай заглянул в печь.

— Плати пятнадцать грошей!

— Дядо господь! — взмолилась в углу баба Тана.

— Где дочь Райна? Где сын Симо? Где?

Баба Тана посоветовала невестке:

— Отсыпь ему малость мучки, — может, удовлетворится...

Много еще было сказано жалких слов и пролито слез, прежде чем бирник вытянул от бедных людей пятнадцать грошей, сделал отметку в своей книге на счете Брадатого и, выкрикнув на прощание с полдюжины сердитых слов, вышел из дому. Бирник вышел, а хаджи Паро вошел. Любица продолжала плакать.

— Возьму Симо из школы, — всхлипывала она, — ученье не для бедняков... Чему там учиться, когда ни денег нет, ни одежды, ни дров, ни обуви, ни книг...

Хаджи Паро стоял, скрестив на черной груди огромные красные руки и слегка грозя Любице посохом.

— Деньги, деньги, — заговорил наконец он. — Найдутся деньги... Не плачь: все дал тебе господь, на все у тебя найдется. И ты и я остались слепыми без ученья — смотри, как бы и дитя твое не осталось таким же! Симо твой — умный и добрый парень. Посылай его в училище. Пусть будет от него польза и тебе, и Калоферу, и всему болгарскому народу!

Пророчество старика сбылось: вечером появились в доме Брадатого и башмаки для Симо и гроши для уплаты в школу. А откуда взялось все это, знали только Любица да хаджи Паро.

В тот же вечер перед домом бая Драгана запылала жаровня. На огонь стали находить люди и, столпившись кругом, дивились происшедшему. Грудой лежали в жаровне красные угли. Бай Драган швырял на них турецкие бумажные деньги. Ассигнации ярко вспыхивали, извинаясь и топырясь, потом взлетали кверху черными бабочками и снова падали в огонь. Багровые отблески скользили по изможденному лицу Вылчанова, и сходство его с больной галкой делалось поразительным. На жаровне стояла посуда, в которой варился густой кофе. Он так хорошо вскипал и пузырился, что черная пеночка оседала тонким ободком вдоль краев всей посуды. Одной рукой бай Драган помешивал кофе, а другой подбрасывал ассигнации в огонь. Однако запас их был невелик и уже подходил к концу. Никто не спрашивал, что он делает и зачем. Толпа молчала.

— В Калофере варится кофе! — вдруг закричал сам Вылчанов. — Дорогой калоферский кофе! Эй, будем пить!

Кто-то зарыдал, где-то враз дохнули десятком человеческих грудей. Кто-то в страхе шепнул:

— Мюдюрин!

И действительно перед жаровней стоял Юсуф-ага. Фес еле держался на его голом затылке — так спешил Юсуф к месту происшествия. Глаза горели еще ярче углей, расплавившихся под вылчановским кофе. Кривые ноги били в землю. А коричневые руки тряслись высоко над головой.

— Что делаешь, разбойник? — орал он. — Что делаешь? Отвечай!

— Варю кофе, ага, — спокойно сказал бай Драган, и Юсуфу показалось, будто он плывет и растворяется в красных отблесках пламени. — Варю дорогой калоферский кофе!

— Молчать! — яростно крикнул мюдюрин, может быть и не понимая ответа, но чувствуя в нем дерзостный вызов не только себе, но и пловдивскому губернатору, и ординскому наместнику, и самому великому султану. — Я милостью монарха майор. Не позволю!

И, оборотясь к Мехмед-чаушу, с усов которого уже начинала капать растопившаяся возле калоферского кофе вонючая помада, приказал:

— Взять негодяя! В конак! В ошейник!

Мехмед махнул плетью. Заптии, ухватив Вылчанова, живо скрутили ему руки за спиной и повели.

На следующий день, в перерыве между уроками, учитель Ботю поднялся из классов на второй этаж и вошел в библиотечную комнату. Спас Куюнджиолу и векил Манджуков говорили о Вылчанове.

— Спятил,— сказал векил,— что еще может быть?

Спас был потрясен событием вчерашнего дня. Его воображение никак не могло успокоиться. Допустим, что разорился не Вылчанов, а он, Спас. Допустим, что это у него, Спаса, осталось всего-навсего несколько ассигнаций. Он — в отчаянии. Сможет ли он расстаться с этими последними драгоценными бумажками? Избави бог! Да он вцепился бы в них зубами. Попробуй-ка ты у него их вырвать — он руку твою прогрызет до кости. Сжечь? Только сумасшедший способен...

— Обезумел,— подтвердил Спас мнение векила,— не иначе.

Ботю сказал:

— А говорят, он в полном уме...

Вскинув на него свои маленькие серые глазки, Спас пробурчал:

— Много знаешь...

Да, Ботю отлично понимал, почему бай Драган устроил вчера свое представление: «Деньги делают скотом человека». Бай Драган искал высоты и свободы—искал и нашел, победил отчаяние и растоптал тоску. Он жалел, что не отдал все свои деньги хайдутам. И не хотел ждать скорого конца Турции. Что же оставалось ему делать с деньгами, которые были ему не нужны, не могли пойти на доброе дело и не должны были вернуться ни в каторжную суму турецкого казначейства, ни в бездонный чорбаджийский карман, — что? Нет, бай Драган не безумец. Он поступил очень умно. Но разве можно сказать обо всем этом людям, сидевшим сейчас в библиотеке за круглым дубовым столом?

— Откуда мне знать? — сказал Ботю.

Спас Куюнджиолу умел видеть людей насквозь. Да и Мурджо и Гурджо не напрасно подслушали разговор Ботю с Вылчановым у церкви св. Богородицы в родительскую субботу.

— Не ты научил его, а?

Ботю качнуло.

— В уме ли ты сам-то, Спас-эфенди,— дерзко сказал он, изумляясь своей смелости,— не спятил ли?

— За меня не беспокойся,— прошипел Куюнджиолу,— за себя беспокойся. Лучше будет. Зачем пришел?

Если выйти из Калофера в Поле на изъеденный прихотливым и бурным течением берег горной речки, миновать три холма, покрытых низким грабовым лесом, и от оврага спуститься в зеленую котловину, за которой гигантской стеной поднимается Юмрукчал, можно часа через полтора оказаться среди белых стен и под красной черепичной крышей калоферского мужского монастыря. Ежегодно, в великое заговенье, калоферцы ходили в этот монастырь молиться и по старому обычаю совершали паломничество не в одиночку и не толпой, а разбившись предварительно по цехам.

— Зачем пришел?

Ботю спросил:

— С каким цехом прилично мне и прочим учителям идти в монастырь?

Спас Куюнджиолу изгибался в кресле, предвкушая удовольствие, которое собирался себе доставить.

— С каким цехом? Гм! Телятники, пастухи, бирники и учителя — один цех. Вместе и идите.

Векил Манджуков захохотал. Ботю поднял голову.

— Что ж? — сказал он. — Покойный отец твой, дядо Неделко, тоже не видел большой разницы между учителем и пастухом. Спасибо за правильный ответ. Если всякий дурак имеет право кричать не только на пастуха, но и на учителя, другого ответа быть не может.

Ботю повернулся и пошел из библиотеки, изо всех сил стараясь, чтобы широкая спина его выглядела как можно равнодушнее. За дверью стоял бледный Христо. Он схватил руку отца.

— Ты хорошо сказал ему, тате! Хорошо!

Глава тринадцатая

Даль зовет

Встреча с необыкновенным купцом была для Христо чем-то вроде солнечного луча, который вдруг врывается в темную комнату. Ребенок кинулся к лучу, чтобы схватить его, удержать... И действительно, луч на ладони, и детская ручонка крепко сжимается в кулачок — поймано солнце! Или не поймано? В комнате вновь темно, пальцам холодно, ребенок оглядывается, ищет убежавшее солнце, и слезы обиды вскипают на его изумленных и испуганных глазах. Нет солнца, нет!

Однако солнце было. Только светило оно на Болгарию все еще изда- лека, из Белграда. Учитель Ботю зачитывался газетой, которую изда- вал там Раковский. Называлась она «Дунавски Лебед» и плыла из Бел- града в Болгарию, будто настоящий лебедь, по широкому простору поч- ты всеобщих надежд. Христо выучивал каждый номер наизусть. Кто бы ни был необыкновенный купец из Белграда — сам Раковский или кто- нибудь из близких к нему людей, — все равно. Встреча с ним широко- широко раздвинула кругозор Христо. Еще недавно Христо думал, что единственная цель его жизни — месть туркам за обиды и оскорбления, за убийства и грабежи. А теперь видел и понимал, что есть и другая цель — много важнее первой. Слова бунтовник, революционер засели в его голове. Он уже не хотел быть просто хайдутином, чтобы мстить за себя, за родных и друзей; он хотел быть революционером и уж по крайней мере бунтовником, чтобы помогать народу избавиться от ярма, под которым он так долго страдал и мучился. И уже гордо и радостно причислял он к этим бунтовщикам и себя.

А между тем слышно было, что в Сербии, около болгарского Гари- бальди, собирались мало-помалу известные отчизнолюбцы — Стефан Ка- раджа, Илю Воевода, Цеко Берковский, Христо Македонский и многие, многие другие. Очутились там также и юнаки из царьградского друже- ства «Верные приятели». А когда сошлось всего человек шестьсот, Раков- ский объявил болгарскую легию сформированной.

Ясно было Раковскому, что болгарское восстание лишь тогда может иметь успех, если совпадет по времени с тяжелыми осложнениями во внутренней и внешней жизни Турции. Такие осложнения были очевидны. Падение денег потрясло турецкие рынки. Усиление конкуренции с ино- странными фабрикантами губило болгарское ремесло. Кризисы — фи- нансовый, промышленный, торговый — следовали один за другим, слива- ясь в общую картину хозяйственной разрухи. Непомерно увеличивались подати, народ негодовал. И в это самое время князь Михаил Обренович задумал освободить Сербию от турецкой зависимости. Раковский ясно ви- дел, что срок пришел. Был у него готов и план освобождения Болгарии: движение из Сербии от Княжеваца по Стара-Планине, захват древней

болгарской столицы, Тырнова и общенародное восстание. Составилось уже в Белграде и временное болгарское начальничество во главе с Раковским. Сербия дружески встречала пришельцев, одевала их и кормила, братски поддерживая в них дух. Политическое небо над Балканами дрожало от разрядов предвоенной грозы. Сербов оскорбляло присутствие турецкого гарнизона в белградской крепости. А Стамбул видел в Сербии «фабрику бунтовщических замыслов». И верно: люди Раковского бродили по Болгарии — огородники, сапожники, скорняки, портные, пекаря и подмастерья разных ремесл. В крупных городах уже сколачивались комитеты. Агентов Раковского начали ловить, хватать. Волна обысков затопила Болгарию...

— Эх, братья,— говорили люди Раковского,— да когда же перестанем мы грызть и предавать друг друга? Почему не уважаем народности своей? Турки нас топчут, грабят, бросают в тюрьмы и убивают. Султан ничего не знает. Турки его не слушают, лгут ему, что мы скверный народ и идем против него. А мы молчим, как мертвые в гробах. Если мы живы и знаем свой долг перед отечеством,— поднимем голос. И братья наши сербы мучились вроде нас, пока один серб не взялся за дело и не сказал султану, что баи терзают райю. «Прогоните их!» — сказал султан. «Не имеем ружей», — отвечал серб. Тогда султан дал ему ружья. Сербы собрались вместе и прогнали помещиков. И теперь в Сербии турок — наравне с христианином и даже слезает перед ним с коня. Там теперь спокойно, и турок там больше не судья. Сербы сами собирают подати и дают султану, да еще как мало дают-то...

Побежало по рукам письмо Раковского: «Слушайте, братья болгары и вы, храбрые планинские юнаки, мои слова! Будьте юнаки, будьте готовы, будьте веселы. Ходите до Петрова дня по Планине и ждите того времени, о котором каждый из нас мечтает. Готовьтесь! Около Петрова дня я пришлю человека, который вам скажет, что надо делать. Отечество ваше скоро будет свободно. Готовьтесь!»

* * *

Как и все трудолюбивые калоферские домакини, бросавшие по субботам после базара обычные работы, чтобы прибрать дом к завтрашнему дню, так и Иванка Петкова в ту памятную субботу мыла полы, мела террасу, выбивала ковры и наполняла лампадки перед иконами кунжутным маслом. Завтра, в воскресенье, будет торжественная служба в верхнем женском монастыре по случаю обновления в нем старинного храма. Иванка с мужем и детьми пойдет в монастырь и будет умиляться сперва во время обедни, а потом — когда весь двор обители сделается черным от множества монашеских мантий и клобуков. Это бывает после церковных служб. Среди монахинь — тетушка Ботю, Екатерина Недева, и племянница его, Христина Печева. Вот сколько поводов для глубокого сердечного умиления, для живого восторжения самых добрых душевных чувств!

Христо шел домой. Перейдя мост через Тунджу, у поворота к Галювдолу, он заметил трех заптий, стоявших в тени и о чем-то шептавшихся. Конечно, как и при множестве подобных встреч, случавшихся раньше, Христо мог бы и теперь не обратить никакого внимания на эту живописную группу зеленых жеребцов. Но сегодня во встрече с ними вдруг почувлось ему что-то отнюдь не случайное, чем-то с ним связанное и ему грозящее. Что это было? Христо не знал. Однако прибавил шагу и скоро был дома. Поднимаясь по лесенке на балкон, он оглянулся и замер: заптии шли за ним. Понял ли Христо, что происходит? Наверно, испугался? Едва ли. Он мгновенно вышел из оцепенения первой секунды, повернулся к заптиям лицом, засмеялся и крикнул как можно громче:

— Добре дошли!

Иванка услышала голос сына и вышла на балкон с ковром и палкой в руках...

...Итак, после Вылчанова именно учитель Ботю оказался в Калофере очередной жертвой непостижимой враждебности судьбы. Многие, очень многие понимающе качали головами, вспоминая давнишнюю историю учителя с русской николаевской шинелью. Когда заптии во время обыска тыкали ножами в одр, перевертывали лавки и ломали шкафы, Ботю не волновался, полагая, что вполне готов к нападению. Не волновался? Так ли? Иванка прижалась к стене, незаметно ломая руки. Христо, Стефан и Кирилл неподвижно стояли у окна, изжелта-белые, как папиросная бумага. Заптия сунул нос в толстый французско-сербский словарь, изданный шестнадцать лет тому назад в Белграде и почти не покидавший с тех пор библиотечной полки Ботю.

— Ага! — кричал он. — Сербия!

Кризис напряжения в отношениях между Турцией и Сербией тогда только что разрядился. Турецкий гарнизон белградской крепости обстрелял город. Сербские войска осадили крепость. Зашевелились Босния и Герцеговина. Сербия затевала поголовное ополчение. Было ясно, что не нынче-завтра она объявит Турции войну. Уже болгарская легия Раковского плечом к плечу с сербскими братьями штурмовала белградскую цитадель, и сам Раковский водил легионеров в атаки. Естественно, что и внутри Болгарии тоже закипало. Некий хаджи Ставри, бывший капитан русской армии, набрал в Тырновском округе сотню молодых парней и поднял знамя восстания. Правда, отряд был скоро рассеян турками, а Ставри бежал в Румынию. Но так или иначе бунт разгорался в самом сердце Болгарии. И не удивительно, что заптия, разглядев в книге сербские слова, кричал: «Ага!» Конечно, словарь — не то, что воззвание Раковского, где прямо сказано: «Милые братья болгары! Пришло время сокрушить и нам тяжкое иго наших мучителей. Пусть никто не думает, что свобода добывается без крови и дорогостоящих жертв. Пусть никто не ждет, что его освободит кто-то другой. Наша свобода зависит от нас! Народный воевода Г. С. Раковский». За это воззвание молодежь шла в тюрьму, учителя и священники — на виселицу. Но и французско-сербский словарь сгоряча показался заптям недурной находкой...

Однако Ботю не тронули — только словарь отобрали. Когда же он вздумал заспорить, Мехмед-чауш круто подвинул черный ус и, блеснув белой кипенью ровных зубов, разом оборвал спор:

— Лучше высунь язык, как корова, да помалкивай!

И Ботю замолк...

...По-видимому и сами заптии считали, что дело обошлось для учителя Ботю благополучно. Они стояли, курили и, не выказывая никакого желания уходить, переговаривались вполголоса. Наконец Иванка поняла: турки хотели обедать! Тогда, задыхаясь от ненависти, бледная от гнева, она покрыла скатертью низенький столик на кухне, поставила на него большой поднос, такой же круглый, как и столешница, а на поднос — три тарелки с горохом и маслинами. Затем принесла миску с пирамидой пилава и горячую, завернутую в полотенце, лепешку.

— Во имя аллаха! — сказал Мехмед и, разломив лепешку, положил перед каждым по дымящемуся куску.

Обдувая пальцы, турки принялись крошить свои порции на маленькие частички, скатывать каждую в шарик и глотать. Покончив с лепешкой, Мехмед сунул пальцы в пилав. За ним то же сделали другие. Ели, вздыхая, сопя, пыхтя, запивая отрыжку водой и передавая кувшин из рук в руки.

Мехмед дружелюбно глядел на Ботю. Он осуждал не самого учителя, а науку, невольной жертвой которой оказался бедный учитель.

— От ученых людей только вред, — философствовал Мехмед, — никто лучше судьбы не умеет защитить ислам. Ученый человек орудует по своему и портит дело. Неученый сидит сложа руки, а судьба за него делает...

Погладив раздувшиеся животы, турки поднялись на ноги. Мехмед окрутил своей плеткой толстый словарь и засунул добычу под мышку. Икая, они выходили один за другим на балкон, в сад и на улицу...

...Заптии ушли, оставив за собой разгромленную квартиру, слезы Иванки, яростное негодование Христо и его братьев и грустные речи учителя.

— Вот он, конец моего долгого муравьиного труда, — повторял Ботю, переходя из комнаты в комнату, поднимая валявшиеся на полу вещи и старательно расставляя их по местам. — Что ж? Разве могут они поступать с нами иначе, когда трещит и падает вся султанская держава? Ведь задача болгарского учителя не только в том, чтобы обучать детей чтению и письму. Болгарский учитель обязан нести просвещение в самую гущу народную, быть вожаком своего народа и в образовании и во всех делах. Таков именно великий долг болгарского учителя. Если же мой язык обречен на молчание, а мысль — на могильный покой, что же я за учитель? Я уже вовсе не учитель. Я...

Тут он выпрямился, высоко поднял руку с зажатой в ней глиняной чашкой и швырнул чашку себе под ноги.

— А где ты возьмешь столько грошей, сколько нужно, чтобы всем нам жить? — мгновенно отерев слезы, спросила Иванка, никогда еще не видавшая своего мужа в таком боевом настроении. — Где?

Ботю посмотрел на нее так, как если бы глядел сквозь нее вдаль и, видя там необычайное, изумлялся.

— Где возьму? — повторил он, усмехаясь.

И вдруг вспомнил то, что еще недавно говорил Вылчанову и что был готов теперь сказать где угодно и кому угодно.

— Последний кожух продам, но сыновья мои будут учеными и разбудят наш народ!

* * *

Сегодня отправляли в Пловдив подследственных по серьезным делам. И потому на дворе конака стояли три тележки, запряженные старыми полуслепыми лошадьми, которые уныло обмахивались хвостами и, низко опустив головы, жевали сухой бурьян. У каждой тележки стоял конвойный с ружьем и ранцем. С минуты на минуту надлежало также приступить к публичному наказанию виновных в маловажных проступках. Ждали только, когда появится мюджурин на балконе — на том самом балконе, где сиживал прежде на подушках и чистил ногти Рахман-ага. Теперь этот балкон служил для его преемника местом, откуда он наблюдал за экзекуциями.

В нижнем этаже конака было несколько полутемных чуланов с толстыми деревянными решетками на маленьких оконцах, обращенных во двор. В одном из чуланов хранились уголь и дрова. В другом сидели арестанты. А в третьем толпились, мыча и блея, задержанный в поле скот. За решеткой среднего чулана виднелись лица арестованных. Отсюда-то и вывели подлежащих отправке в Пловдив. Их было пятеро. Они шли к своим тележкам, спотыкаясь, ослепленные ярким солнцем и подгоняемые сзади ружейными прикладами конвойных. У тележек суегились люди, пришедшие проводить своих близких и снабдить их деньгами и едой. Хаджи Паро не суегился. Когда худой, оборванный и грязный бай Драган Вылчанов взобрался на тележку, хаджи Паро уложил рядом с ним тугой мешок, завязанный у горла и, как видно, не очень-то легонький на вес.

— Закололи корову! — рассказывал старик, — приготовили вяленое мясо, вот! Добрые люди принесли сыр-кашкавал, винца, соли да муки — все здесь. Придется на своих ногах идти — не ходи босиком: есть царвули. Вот... А от меня...

И он сунул что-то баю Драгану за пазуху. Тележки съезжали со двора. За каждой шагал конвойный. Возле той, на которой сидел Вылчанов, величаво двигалась высокая черная фигура. Уже и мост позади, и река отошла вправо, и бесконечная лента шоссе все гуще пылит своим разбитым полотном, а черная фигура, постепенно уменьшаясь в росте, знай себе двигается вперед...

...Мюдюрин вышел на балкон, и тотчас началась палочная расправа. Из каталажки вывели Делиушака¹. Это был отчаянный малый, то и дело попадавший в конак за пьянство или за то, что мучил жену. Его вели двое здоровых запгтий, но он так вертелся у них в руках, что казалось — вот-вот рванется и уйдет. На исполосованной побоями сине-багровой роже его мигал только один глаз.

— Дайте-ка безобразнику тридцать раз палками по ногам! — крикнул с балкона Юсуф-ага. — Да чтобы не вертелся, как припадочная овца, еще двадцать по заднице!

— Эй! — завопил Делиушак. — Эй! Кто меня бивал, все подошли!

Храбрый Мехмед-чауш подскочил к наглецу. Хлобысть по зубам! И язык бешеного укоротился. Стражник стирал с кулака кровь, а мюдюрин одобрительно смеялся.

— Чона Мишов!

Это был подросток с мордочкой злого барсука. Его наказывали за то, что он избил свою старую и глухую мать. Чона ревел:

— Олеле, мамо!

Мюдюрин наклонился с балкона.

— Мать бьешь, бездельник, и ее же зовешь на помощь! Дайте-ка ему тридцать раз по пяткам. А если не замолчит...

Чона мгновенно притих и свалился на скамью. Смеялся мюдюрин на балконе, смеялись запгтии с палками у скамьи, смеялись Христо, и Симо, и прочие школьники, стоявшие у ворот. Чона поднялся. Христо сказал своему приятелю:

— Пора на урок...

— Иди, — отвечал Симо, — а я за тобой.

В чулане за толстой решеткой сидел отец Симо — Митю. Утром, когда Райна принесла ему еду, он сказал ей, что боится, как бы не положили его нынче под палки. Сидел он за неуплату долгов, но вместе с пьяницами, ворами и шалыганями. Отчего бы и не вздумалось мюдюрину наказать его вместе с ними?

— Я за тобой, — сказал Симо, — иди!

— А я с тобой. Не пойду!

Мехмед-чауш закричал:

— Тащи Митю Брататого!

Ведут Митю. Он упирается, но не очень, а слегка, словно делает это не всерьез, а нарочно. Зрачки его глаз, что ни миг, все шире. Лицо белей. Рот кривится, как в плаче. Но он не плачет. Все тело его трясется от страха. Слабенький тенорок, дребезжащий, как стеклянные осколки, не годится для мольбы и проклятий. Но он просит о чем-то, и на кого-то жалуется, и поднимает голову вверх. Из толпы зрителей выступает черная фигура. Отчаянно крутя пуговицами глаз, красный, запыхавшийся, но все-таки подоспевший к расправе, хаджи Паро стучит посохом о землю.

— Я поручитель!.. Слушайте меня: я поручитель!

¹ Бешеный (тур.).

— Врешь, старая собака! Нищие не бывают поручителями!

Симо стоит неподвижно. Он смугл от природы, почти коричневатый. Это — загорелость красивых янтарных теней. А сейчас в лице его не проступает никакой живой краски. Лицо его черно, как у мертвеца.

— Врешь, собака! — кричит мюдюрин.

Мехмед-чауш хватается Митю за шиворот и бросает на скамью. Сделав это полезное дело, стражник отступает на шаг, чтобы поправить усы. Но чья-то сильная рука вцепляется в его ус, и ус трещит, а маленький жесткий кулак свистит перед самым носом Мехмеда.

— Ай!

Двое здоровых заптий еле оттащили Симо.

— Фалагу!¹ — командует мюдюрин. — Вяжи мальчишке руки, ноги! Ложись, волчонок!

— Не лягу!

Симо скрипнул зубами. Могучий удар чауша повалил его на фалагу. И вот он на доске; его руки и ноги просунуты в круглые дыры. Симо смотрит вниз. В глазах его — недоумение и странная мутная неподвижность. Двое заптий придерживают Симо. Третий, стоя на коленях и закусив конец веревки зубами, быстро прикручивает бессильные руки к крючкам фалаги. Сделано. Заптия принимается за ноги. Узел, другой, еще... Сделано. Заптия поднимается с колен и выбирает палку.

— Начинай!

Но тут Христо вырывается из толпы школяров. В руке у него острый блеск — не нож ли? Легкий прыжок — и он у фалаги. Резанул раз, другой... Еще... Симо вскакивает с быстротой и силой пружины, у которой лопнул запор. Христо хватается его за руку. У заптий разинуты рты. З толпе зрителей кто-то смеется, трясая кудрявой головой. Толпа расстается. И — мальчиков нет...

Урок уже дотянулся до половины, когда пришел заптия, вызвал учителя Ботю из класса и сообщил о происшествии в конаке.

— Юсуф-ага велел тебе, Ботю-эфенди, высечь обоих разбойников на фалаге. Да так, чтобы все ученики видели. Слышишь?

Ботю молчал.

— Строго велел. Да еще сказал, чтобы все ученики непременно видели. На фалаге.

Некуда деться. Некуда! Ботю был бледен, как декабрьский туман на Юмрукчале. Его длинные руки неуверенно и неловко двигались возле бедер.

— Лило, — позвал он училищного сторожа, — мальчишки не приходили?

А если пришли, что тогда? Маленький Лило кивнул головой: нет, не приходили. В коридоре появился кир Тодораки Митров. Он вышел на шум из библиотеки, где заседало церковно-училищное настоятельство. За ним — Спас Куюнджиолу, Манджуков и другие чорбаджи крупного веса.

— Что за заяцья топотня? — спросил кир Тодораки.

Ботю объяснил в двух словах.

— А где мальчишки?

— Они убежали, — сказал учитель с тихой радостью в голосе, — их нет!

Кровь густо захлестнула белки маслиноподобных глаз Митрова. И от этого глаза его перестали быть похожими на обыкновенные человеческие глаза.

— Убезали?

¹ Доска с отверстиями для рук и ног; употреблялась при телесных наказаниях.

— Да.

Кир Тодораки задохнулся от гнева.

— Пой-мать! Бездельников этих, разбойников, ослов — бить! Или... Или пусть идут пасти уток!

Он задыхался, кричал и подпрыгивал, долго еще подпрыгивал и кричал, надсаживая жирную грудь и мягкое чрево:

— Бить! Бить!

А учитель Ботю задумчиво шел по училищному двору к выходу на улицу медленной и тяжелой походкой, в белом суконном пальто и широких панталонах, которые свободно болтались на его худых ногах. Урок оборвался на середине. Дети сидят и ждут. Пусть!

* * *

Ботю не показывался в училище дней десять. Христо и Симо объявились раньше — никто их пальцем не тронул. Никто и не спрашивал их ни о чем. Но очень многие из товарищей, почти все, глядели на них с восхищением на лицах и с восторгом в глазах. Казалось, пришло такое время, когда боевые потехи хайдутской калоферской четы, по-прежнему собиравшейся на поляне за церковью, должны были бы разыграться не на шутку. Казалось, пришло время воеводе Христо и знаменщику Симо с такой безраздельностью овладеть фантазией своих сверстников, что могла бы, пожалуй, и от рук отбиться калоферская детвора. Но ничего подобного не случилось. Правда, репутация хайдутских вождей никогда не была выше. Правда, однако, и то, что сами вожди после происшествий в конаке и школе вдруг разучились играть. Не с руки приходились им теперь детские клятвы и ребячьи сговоры. Фантазия их летела мимо, дальше. И очарованные одноклассники смотрели на них с жадным ожиданием, предвидя необычайное.

Скоро Калофер забыл о школьной драме. Близилась ярмарка. Не днем лишь, а и ночью кипела работа в обывательских домах. Свекрови, снохи, дочери и внучки пряли шерсть, сушили ее, чесали, сновали, навивали, ткали и перебрасывали свертки. Сукновалы трудились из последних сил. Светлая, прозрачная Тунджа посинела, почернела, помутнела, и далеко во все стороны пошел от нее тяжелый дух. Христо был бледен и задумчив. Его всегдашняя любовь к природе незаметно переходила в горячую любовь к людям. Страстно хотелось Христо видеть людей такими же сильными и красивыми, как сама природа, — такими же счастливыми, как она. Но этого не было. Он думал: «Плачет земля, полная страданий, и слезы ее текут, текут... Они текут, как ключ, открывший себе дорогу из беспредельных источников горя, лежащих под землей...» Он знал: чтобы покончить с этим, необходимы железная воля и целый океан любви. Иногда ему казалось, что есть в нем и то и другое. Вдруг он загорался, как сухое дерево. Лишь бы узнать, как взяться за дело... Но как? Горы были подернуты сизым паром. Свинцовой тяжестью лежал на них этот пар. Вот хорошая старая хайдутская песня:

Сказала невестка Янкина:
«Янка, золовка милая,
Ты поднимись-ка повыше,
Узнай, золовушка Янка,
Какой воевода едет,
Какие он взял пистолеты,
На борзом ли он конечке,
Да кто у него в дружине...»

— Нет, не то, Райна... Совсем, совсем не то...

Девушка поникала светлой головкой, и веселый румянец сбегал с ее нежных щек.

— Чего же ты хочешь, Христо? Уж не смерти ли хочешь ты?

— Нет, не смерти. Но если бы твой отец думал, что год будет сух и неплодороден, и сидел бы сложа руки, то и он, и мать твоя, и баба Тана, и Симо — все вы оставались бы голодными. А если бунтовщик испугается смерти, то он уже и не бунтовщик. Разве не так?

Совсем недолго оставалось до летних дождей. Подошли восьмидневные праздники в честь самодив. Параличные потянулись к лесам и разлеглись на лесных проталинах, ожидая, когда вилы соберутся хороводом на свой праздник и вернут им силу. Христо и Райна встречались по вечерам в высоком орешнике за Караминковой мельницей, забираясь в непролазную чащу из самых густых ветвей.

Небо было еще прозрачно и широко, и восточные склоны гор со всем, что пристало к ним, уже тонули в подступающем мраке, и никакие мелкие подробности не отвлекали внимания от общего вида. Словно что-то невообразимое прошло по вершинам, оживило их, и еще выше поднялись горы в обступившей их вечерней тьме. Райна прибежала в орешник так, как была дома днем за работой: задний фартук сборчатый, передний — гладкий. Смуглые руки ее лежали на плечах Христо. Ресницы часто моргали. Голос дрожал и прерывался.

— Что ты задумал, Христо? Что?

Христо молчал. Было очень тихо. И поэтому шум воды, текущей где-то близко по камням, да стук мельницы казались грохотом, готовым сокрушить мир. Еще долго молчал Христо. А потом сказал все сразу:

— Судьба нашего народа решается в Белграде. Быть или не быть... Да разве у меня куриное сердце! Разве я немошен и слаб, как те параличные, что надеются только на волшебство самодив? Бегу, Райна, бегу... Много лесов в Македонии и Фракии... Любит Стара-Планина смелых болгар... Приду в Сербию, дойду до Раковского. В бою завоюю знамя легии и вернусь домой знаменитым победителем. Бунтом и революцией вырвем Болгарию из звериных османских когтей. Как я люблю тебя, моя вила!

Он прижался лицом к лицу Райны и почувал на своей щеке тепло ее слез. Христо опустил на колени.

— Захоти для меня такого счастья, молю тебя: захоти!

Райна прошептала чуть слышно:

— Хочу, милый... Хочу! Иди к Раковскому, бейся с турчином, выручай болгар из неволи. А любовь моя — с тобой!

Нежный, лиловато-белый туман поднимался к небу. Заслоненные туманом, смягчались резкие очертания гор. Но зато и вершины их не были больше видны. Глубокая ночь ложилась на землю, отдавая мечтам влюбленных свои благоуханные часы...

Глава четырнадцатая

Удар в спину

Бойко, шумливо бывало на калоферских улицах и в лавках по четвергам. В этот день цыган Исо — почтарь — привозил из Царьграда в Калофер сотню, а то и полторы писем. Дети писали родителям, мужья — женам, — живы, здоровы, радость! Цыган Исо останавливал своего взмыленного и облепленного мухами конька у Тотьовой кофейни. Навстречу выбегал кривой Енчо и принимал мешки с корреспонденцией. Тотьова кофейня была вместе с тем и почтовой станцией.

У базара, неподалеку от хлебных амбаров и каменного моста через Тунджу, стоял этот старый-престарый дом с маленькой галерейкой, гля-

девшейся в реку. Принадлежал он с незапамятных времен дядо Тотю. Енчо — дядов сын. Просторно было в кофейне, но не пусто. Простор не гнал посетителей, а, наоборот, собирал их. Иной раз заходил в кофейню даже сам мюдюрин, чтобы разменяться десятком слов с видными городскими чорбаджиями, свившими у дядо Тотю прочное гнездо. Были из них такие, что постоянно сидели там за кофе и трубкой, перебирая в руках янтарные четки или сражаясь в кости. Досуги — здесь, дела — тоже. Многие крупные общинные и училищные вопросы сперва решались в кофейне, а уж потом оформлялись в конаке. Но полнее всего бывал чорбаджийский сбор у Тотю в почтовые дни, по четвергам.

Енчо развязывал мешки с письмами. Векил Манджуков так и набрасывался на царьградские газеты. «Право», «Македония» мгновенно расходились по рукам. Кофе дымил, кальян дымил; и от газет тоже потягивало дымным запахом европейской политики. Неделя ожиданий прошла в неизвестности. То, что сейчас, — разрядка нетерпения. Что сказал Наполеон? Куда поехал Александр? Митров покачивает седыми кудрями. Изобретение аэростата...

Весь состав церковно-училищного настоятельства налицо — двенадцать членов. Писарь уже развернул протокольную книгу. Началось заседание...

...Сидя в дальнем углу кофейни, хаджи Паро старательно укладывал отобранные им из почты письма в большой синий платок. Сейчас он пойдет разносить их по городу и будет угощаться ракией и кофе. Будет слушать, как получатели, собравшись в жадный кружок, примутся наперебой вычитывать письма. Узнает о том, как живут и здравствуют калоферские торговцы в Царьграде, как идет купля-продажа гайтана и сукна, и разные другие новости узнает и пустится в обгонку с Мурджо и Гурджо вестничать по всем самым видным обывательским домам. Хаджи Паро старательно укладывал письма в платок, а кругом него целая компания молодых людей весело играла в трик-трак. Все они были одеты в хорошие френские костюмы поверх отлично выутюженных сорочек, щеголяли галстуками, сверкали воротничками и манжетами. Не о таких ли вот именно молодых чорбаджиях с гордостью говорили старые, называя их «золотой болгарской надеждой»?

Хаджи Паро был так занят своим почтальонским делом, что, свернув большую папиросу и наполнив ее из кисета черным табаком, отложил в сторону и забыл о ней. Но вот письма уложены, синий платок завязан узлом — можно идти. Хаджи Паро встал, потянулся за посохом, увидел сигарку и обрадовался, словно находке. Закурил, раза два затянулся. Вдруг... Что-то сверкнуло перед самыми глазами хаджи Паро, дым взвился кверху, завоняло серой, и сигарка выпала из обожженной руки. Старик швырнул посох в мгновенно разбежавшихся франтов.

— Ослята!..

Произошло то самое, что уже не раз и до того случалось: пользуясь рассеянностью дядо, шалуны подбросили в его табак несколько зернышек заранее припасенного пороха, вот и все. Но шума, смеха и крика было достаточно. И долго бы продолжалась еще суматоха, кабы кир Тодораки не возгласил, улыбаясь:

— Огласенные, изыдите!

Однако никто не вышел. «Золотая болгарская надежда» снова принялась за трик-трак. А хаджи Паро приступил к поучению.

— Бог не прощает людям обмана, — говорил он юношам. — Между Батаком и Перуштицей есть деревня Пустоша. Почему она называется Пустошей? Потому что однажды приехал в нее владыка и захотел скушать обед с курицей. Ему подали мясо, только не куриное. Он съел — вкусно. Спрашивает: что за мясо? Оказалось: осел. Значит, накормили его жареным ослом. Ох, как разгневался владыка! Ох, как закричал: «Про-

клятье месту сему! Да будет оно пусто!» — и пошел спать. А утром вспомнил о вкусном мясе. «Уж очень жестокою наложил я на обманщиков клятву. Не надо, чтобы совсем опустела эта деревня. Довольно, если никогда в ней не будет больше двадцати трех домов». И что же вы думаете? С того далекого дня и до нынешнего всегда в Пустоше двадцать три дома, ни больше, ни меньше. И зовется она с тех пор Пустошей. Вот какие последствия влечет за собой обман. А вы что делаете?

Но, рассказывая эту басню, хаджи Паро внимательно прислушивался к тому, что говорилось на настоятельской лавке. Может быть, и рассказывал-то, собственно, для того, чтобы слушать. Кассир подсчитал годовой училищный доход: от городских церквей сто двадцать лир; от арендаторов старопланинской земли сто восемьдесят; от магазина в Галате тридцать и т. д. — всего четырехста пятнадцать лир.

— Ой, как мало! — запел Спас Куюнджиолу. — Так ли бывало? Да, пожалуй, меньше четырехсот шестидесяти пяти лир и не бывало никогда.

— Что же делать? — спросил Манджуков.

— Сократить расходы, — просвистел Митров, — на цем?

— На учителя Ботю, — твердо сказал Спас, — он получает у нас тринадцать тысяч грошей. А мы назначим ему в этом году девять.

— Он уйдет, — задумчиво отозвался кир Тодораки, — непременно.

Все молчали. Тогда Спас Куюнджиолу выговорил свою предательскую мысль до конца, точно взял да и сунул настоятелей головами в колодец и сразу показал каждому, сколько в колодце воды.

— Из всех учителей один Ботю гнет на Русию! — взвизгнул он. — Хорош главный учитель, а? Так пусть себе едет к Мироновичу в Одессу...

— А замена?

— Есть, Фингов. Молодой, учился в самом главном Московском университете. Чем не замена?

И все должны были согласиться: придумано хорошо...

...Жара становилась нестерпимой. Против Тотьовой кофейни, через дорогу, стоял совсем простенький дощатый ковшок. Несколько старых ветвистых верб закрывали его от солнца. Чистый ключ холодной воды выбивался под вербами. И чорбаджи продолжали заседать на его прохладном бережку, с наслаждением попивая сайдер. Дымились трубки, поблескивали между пальцами яркие зерна перламутровых четок, и варилась к ужину ракия...

А хаджи Паро, стуча посохом, бежал на Галюв-дол, чтобы поскорей сообщить учителю Ботю случайно подслушанную грозную весть.

«Пока умные думают, дурак свое дело сделает», — вертелось в его голове.

* * *

Новость, принесенная хаджи Паро, сразила Ботю. Неужто могли чорбаджи додуматься до такой подлости? Ведь им хорошо известно, как велика семья учителя Ботю, как велики расходы по ее содержанию. Они знают, что у него нет ни гроша за душой, что все его жизненные ресурсы — учительский оклад. Кто учитель Ботю? Интеллигентный пролетарий, продающий энергию своей мысли, труд своего вечно напряженного ума. И сколько сделал учитель Ботю для Калофера, сколько еще и теперь делает! Неужели же это так просто и легко — взять и снизить цену неповторимого труда?! Уж не забрать ли семью и не отправиться ли на новую жизнь — в Русию... Идея казалась осуществимой. Силы найдутся. Деньги... Но учитель Ботю, как и всегда, мало думал о материальной стороне дела. И как бы гнусная чорбаджийская затея ни потрясала жизненное благополучие семьи Петковых, а все-таки удар, наносимый моральному духу ее кормильца, был неизмеримо тяжелей. Обыск... Издевались турки... Как хотели, так и надругались над высоким призванием

болгарского учителя. Но ведь то — турки. А Спас Куюнджиолу или кир Тодораки Митров — болгары. Болгары ли? Нет. Они злейшие враги своего народа. Как же случилось, однако, что молчит в них народное сердце?

— Откуда такая мертвая бессердечность? — повторял учитель Ботю, останавливаясь посреди своего маленького кабинета и в недоумении разводя длинными костистыми руками.

Размышляя вслух, он все повторял и повторял этот свой вопрос, не обращая его ни к кому, ни от кого не ожидая ответа и уж вовсе не рассчитывая найти ответ в самом себе. Вдруг звонкий голос прозвучал, ломаясь от волнения на самом высоком взлете.

— Сердце? — воскликнул Христо. — Да разве в наших чорбаджиях есть сердце?

Вот это и был ответ. Да, они чорбаджии. Они не болгары, а лишь болгарские чорбаджии — враги всего, кроме самих себя, своих денег и того источника, от которого богатеют, то есть кроме турецкой власти над болгарской землей. Проклятие вырождакам! Проклятие султанату!

— Когда же это кончится, Христо?

Юноша так сверкнул огненными глазами, что Ботю зажмурился.

— На куков ден!¹

— Так ли, сынок?

— Верно, тате! Если только...

Учитель Ботю присел к письменному столику против окошка, слева от книжного шкафа и огня, взял в руки писалку и задумался. Счастье, что хаджи Паро предупредил его о замысле коварных воротил. Горькая минута унижения не может теперь наступить неожиданно. И Ботю не будет ее ждать. Именно он сделает первый шаг к разрыву, — не они, а он, он, он... Тоненькая деревянная писалка забегала по бумаге. Ботю писал заявление в церковно-училищное настоятельство, которым требовал немедленно уволить его с должности главного учителя мужской классной школы.

Весна в Калофере короткая, а осень ранняя. И пришла осень по обыкновению раньше, чем начался так называемый учебный год. Однако и до года этого оставались дни. Ботю все еще не знал своей судьбы и волновался. Иванка бранила мужа за «гордость».

— А на что жить будем, подумал?

Неужели и на этот раз поступиться... Чем? «Гордостью»? Экое глупое слово. В гордости ли дело? Нет, в самоуважении. Если Ботю не будет уважать себя, как может он рассчитывать на уважение к себе со стороны других... Осторожный кашель за дверью оторвал его от этих тревожных мыслей. На пороге стоял служитель кира Тодораки Митрова, греческий недоросток из Фанара.

— Хозяин прислал меня к тебе, Ботю-эфенди, — сказал он, незаметно отводя вбок взгляд своих матово-черных глаз, — чтобы...

— Говори! — разом крикнули Иванка, дети и сам Ботю.

— Ты писал, что не хочешь больше учить. Это хорошо. Не ходи в школу, Ботю-эфенди, — нельзя. В школе будет другой учитель.

* * *

Учитель Ботю сдавал дела учителю Фингову, молодому человеку, живому, быстрому, даже стремительному в решениях и поступках. Одевался Фингов небрежно, спорил до хрипоты — и все по самым высоким вопросам понимания жизни и ее задач. Споря, неистово размахивал рука-

¹ Болгарская поговорка. Русская аналогия: когда рак свистнет!

ми. Преподавал в четвертом классе французский язык, катехизис, физику, историю и математику. В классе тоже отчаянно махал руками и так кричал, что казалось будто все здание училища трещит. Прохожие иной раз останавливались на улице и подолгу слушали его крики, незаметно набираясь знаний. Любопытные простаки забегали в училищный двор, думая, что учителя подрались, но сталкивались здесь только с хаджи Паро.

Старик проводил теперь в школе почти все время. Увольнение Ботю поразило его не меньше, чем самого Ботю. Глаза дядо хаджи налились кровью от гнева. Он терзался и сочувствием к уволенному и тревогой за порядок в училище, которое казалось ему теперь беспризорным. Никогда еще не исполнял он своих инспекторских обязанностей с таким увлечением. Между уроками бегал по двору, растаскивал сцепившихся в драке петушков — одного за вихор, другого за ухо — и грозно свистел при этом над их головами страшной своей палкой. Случалось и ему самому довольно жарко сцепляться с маленьким сторожем Лило.

— Лило! Лило!

Придиричивость самозванного хозяина бесила тихого, скромного, трудолюбивого сторожа. Как он мел двор, так и продолжал мести, не обращая ровно никакого внимания на вопли хаджи Паро.

— Лило! Тебе говорю, Лило!

Сторож, негодуя, опирается на метлу.

— Ну, чего тебе надо? Чего?

Дядо хаджи становится в тупик при таком простом вопросе.

— Вижу тебя и...

— И орешь. А зачем орешь? Разве ты мне господин?

Старик стучит посохом о землю.

— А от кого ты жалованье получаешь?

— Уж не из твоего ли толстого кармана?

— Лило, Лило... Зачем так говоришь? У меня нет толстого кармана. Только чорбаджии имеют толстый карман. Они дают мне деньги, а я выдаю их тебе за дрова, за мел и губки. Вспомни-ка лучше о другом. Кто привел тебя, Лило, сюда и подсунул чорбаджиям? Я. Они взяли тебя в сторожа. А кто им посоветовал? Я. Именно я дал тебе хлеб в руки, сделал тебя человеком. Эх, Лило! Да если бы не я, так ты давно бы ушел в Сопот и сеял бы там репу и лук...

Да, это было правдой. И Лило снова молчал, только уже не от заносчивости, а смиренно опустив голову и потихоньку дometая училищный двор...

.

Газеты прокричали на весь свет, что специальная конференция, созванная в Константинополе для урегулирования сербско-турецкого конфликта, закончила свою работу, и князь сербский, Михаил Обренович, подчинился ее решению. Между Сербией и Турцией заключался мир. Болгарский легион Раковского вдруг оказался без дела и без будущего. Илю Воевода ушел к Крагуевацу и там распустил свой отряд. Раковский уехал из Белграда. Все эти события нанесли жестокий удар планам Христо. Мечта о бегстве в Сербию сразу потеряла смысл. То, что еще совсем недавно казалось таким естественным и необходимым, — даже благоразумная Райна разделяла убеждения пылкого Христо — теперь выглядело простым продолжением их детских игр. Было что-то досадно неловкое в памяти о растаявшей мечте, что-то смешное и грустное одновременно. Будто первым же вздохом ветра затушило давно разгоравшийся огромный костер. Как это случилось? Почему? Христо стыдился заговаривать о своей неудаче. И Райна молчала...

* * *

У Ботю было теперь много свободного времени, гораздо больше, чем прежде. Однако это не шло ему на пользу. Учитель заметно похудел и оттого казался еще выше ростом. Лоб его странно выдался вперед, узкие глаза тускло светились под густыми бровями, неподвижная печаль застыла во взгляде. И только доброта и кротость, все еще не сходявшие с задумчивого лица, оставались прежними. Стоило Ботю уйти со службы, как бедственность положения обозначилась со всей ясностью. Сбережений не нашлось никаких. Еще до воздвиженья Иванка продала все свои ценные украшения, рассталась даже и с красивыми предсвадебными подарками мужа — нужда и долги, долги и нужда... Редко когда бывало теперь на руках у Иванки больше нескольких мелких серебряных монеток сразу — долги и нужда... И совсем непонятно, как удавалось ей, несмотря на все это, неукоснительно поддерживать в доме порядок и чистоту. Пол был всегда выметен. Одеяла сложены. Посуда вымыта. Трехногие стулья стояли на привычных местах. И сама Иванка была такая же, как всегда: черные дуги бровей на смуглом лице, легкость и живость движений, длинные и густые темно-каштановые косы чуть не до пят.

Ботю искал места. В Калофере для него не было дела. Он собирался уехать из Калофера. Куда? Слышно было, будто в Ловече, в Плевене, во Враце мало учителей. Взять бы жену с детьми и... Но ехать без денег не на готовое место он не мог. Написал в Плевен и в Ловеч. Пришли ответы. Плохо! В Плевене боялись взять учителя, у которого недавно турецкие власти производили обыск. В Ловече сомневались: если господин Ботю не сумел воспитать своего сына, который режет веревки на фалаге во время наказания товарища, то какой же вообще воспитатель господин Ботю? Значит, слух о проделке Христо дошел даже до Ловеча. Как? Через кого? Митров недавно был в Ловече...

Ботю думал: если не взяться за Христо сейчас, то когда же? Говорится в народе: «Коли дядя — владыка, так и тебе быть попом». Надо готовить Христо к учительству. Тяжек путь, но другого нет. Надо взяться за сына. Ботю посоветовался с женой. Та повернула на свой лад:

— Раньше бы смотрел. А теперь поспеешь, пожалуй, как фасоль на пасху!

Не доходит до Иванки главное. Ботю и раньше смотрел и все видел. В горячем порыве сына он не увидел ничего дурного. А дурно было лишь то, что Митров использовал этот случай для сплетни. Таким образом, «взяться за Христо» на языке Ботю было совсем не то, о чем помышляла Иванка. И вот Ботю приступил к домашним занятиям с Христо по вечерам. Он с величайшим старанием снабжал сына дополнительными знаниями по географии, истории, учил его говорить и писать по-русски, греческому и французскому языкам.

— Пушкиных, конечно, среди нас нет, но... время наше умнее пушкинского! — повторял Ботю.

Он ясно различал кругом множество признаков наступления этого нового, умного времени, и ему очень хотелось приготовить к нему сына. Он почти не сомневался в счастливой одаренности Христо: редкая память, быстрая мысль, острота понимания, энергия и смелость суждений. Добрый материал находился в руках Ботю. Но вылепить из него живое воплощение силы, создать из мальчишки Христо зрелого мужа новой исторической поры — в такие способности свои Ботю не верил. Что же делать дальше?

В церкви за обедней Ботю нос к носу — у обоих были немалые носы — встретился с Митровым. Кир Тодораки любезно приветствовал Ботю и,

крепко ухватив пухлыми белыми пальцами пуговицу его пальто, придер-жал на паперти для беседы.

— Как зивесь, Ботю-эфенди?

Ботю выпрямился, высоко поднял голову и сразу сделался гораздо выше кира Тодораки.

— Слава богу и пресвятой деве,— твердо сказал он, немножко стыдась своей грубой лжи и слегка краснея от стыда,— никогда не жил лучше.

Но это была ложь не унижительная, и стыдился Ботю не за себя, а за толстого старого эпикура, внимательно глядевшего на него черными маслинами своих противно сладких глаз.

— Благодарю судьбу, кир Тодораки.

— За цто?

— За свою болгарскую душу.

— Не стоит за нее благодарить. А судьбу изобрели люди. Ты бы подумал о своем старсем мальцике. Он способный юноса, но болгарская дуса не доведет его до добра. А?

Ботю пожал своими еще широкими, но уже не круглыми, а острыми, как крылья коромысла, плечами. «Зачем этот разговор?» И он попытался освободить пуговицу своего пальто из пальцев Митрова. Однако пальцы не выпускали добычи.

— Гм! В Турции есть превосходные учебные заведения. Например, царьградский Галата — Сарайский лицей. Там учатся болгары — правда, богатые. Или болгарское училище в Фанаре. Или, наконец, греческая торговая скола на острове Халки... Я казкое лето езду на Мраморное море, живу на Халки и... я, позалуй, мог бы...

Наконец Ботю удалось освободить свою пуговицу. Костистое лицо его, туго обтянутое тонкой белой кожей, опять порозовело, но уж на этот раз не от стыда. Он стал еще выше.

— Мне не надо твоей помощи, кир Тодораки. Я обойдусь без нее.

— Вот как...

— Да. Мой сын будет учиться в Руси.

И кир Тодораки отпрянул от Ботю, как если бы вдруг разглядел на нем проказу...

* * *

Осень смотрела хмуро. Уже плешь Юмрукчала покрылась новым снегом. Иней лег на равнины между горами. И калоферцы надели меховые шапки. Ботю писал письмо русскому вице-консулу в Пловдиве, господину Найдено Герову. Со стороны своей матери Ботю приходился этому человеку двоюродным дядей. Геров учился в Одессе, в Ришельевском лицее, и завершил в нем свое воспитание лет семнадцать тому назад. Возвращаясь из Руси к себе на родину, в Копривштицу, он заехал и в Калофер, где тогда еще только строилось классное училище. За четыре часа, проведенных в Калофере, Найдено сумел весь город поднять на ноги: и Тотюву кофейню с чорбаджиями, и верхний монастырь с монахинями, и дом на Галюв-доле. И уж как восторгался он тогда красотой Иванки:

— Вот настоящая калоферка!

Ботю провожал его до Сопота смехом и шутками — был еще весел и беззаботен тогда молодой Ботю. А теперь господин Найдено Геров — персона, и вся Болгария знает его как истого родолюбца, нелицеприятного и бескорыстного патриота. Такому, не то близкому, не то далекому, человеку и писал сейчас Ботю официальное письмо на русском языке.

«Милостивый государь! Лет двадцать исполнял я должность учителя в Калофере... Находясь теперь в отставке и лишенный средств к пропитанию своего семейства, я утешаюсь только тем, что чувствую себя в си-

лах выработать насущный хлеб каким-либо другим занятием. Единственною же моею заботою ^{идать} есть воспитание моего старшего сына. Из пяти моих сыновей старший, Христофор, которому лет четырнадцать и который Вам известен, при учении указывал хорошие способности. Он учился с успехом: Катихизису, Арифметике, Географии, Истории Всеобщей, Физике, Языкам: Русскому, Греческому и Французскому. Не имея средств докончить воспитание сына на своем иждивении и основываясь на милость и сострадание Русского Правительства к бедным и страждущим моим соотчичам, я осмеливаюсь, Милостивый Государь, покорно просить Вас ходатайствовать моему сыну Высочайшего позволения о принятии его в Московскую Гимназию. Получив воспитание в Руси, я пламенно желаю, чтобы и сын мой воспитался в Руси единоверной, единокровной. Если пламенное мое желание утолится, то я буду считать себя счастливейшим в Свете... С глубочайшим почтением и признательностью имею честь быть

Вашему благородию

покорный слуга
Ботю Петков.

Калофер. 1862. Сентября 15-го».

Письмо... Ох, как потрудился над этим письмом Ботю! Да, Найден Геров имел множество славянских связей в великой Северной стране. Кто же, как не он, помог бы Ботю в устройстве задуманного им удивительного дела? А дело было впрямь удивительно, ибо требовало денег и денег. Но ведь денег-то именно и не было у Ботю. Поэтому письмо Герову он послал, а жене и сыну не сказал о том ни слова. И потянулось время в молчаливом ожидании...

...Подошла зима. Около рождественского заговенья почти вся Стара-Планина до Параджика сделалась белоснежной пустыней. В глубинах горного лабиринта заревели бури. Стало так холодно, что овчары со своими стадами спустились вниз, поближе к городу. И звери, загнанные в ущелья выюгами, истомленные голодовкой и морозами, тоже потянулись за овчарами вниз и, выйдя на равнину, расшвирипели и разлютели небывало.

В один из таких-то именно дней учитель Фингов вбежал в Тотьеву кофейню, где, по обычаю, сидели у огня чорбаджии, предаваясь теплomu кейфу за кофе и картами. Он вбежал так внезапно, что все чорбаджийские головы сразу повернулись к нему. Кто-то забеспокоился:

— Не волки?..

Фингов взмахнул обеими руками, точно был не человек, а птица и собирался взлететь.

— Хуже! Много хуже!

— Да что — хуже?

— Не могу... Нельзя так... Я не свят дух!..

Дело тогда лишь выяснилось, когда Фингов перешел от восклицаний к обыкновенной своей, оглушительно-громкой, но все же последовательной и ясной речи. Он категорически заявлял, что один не в силах справиться со школой, что ученики привыкли слушаться Ботю, а ему кажут со всех сторон носы, что учитель турецкого языка Ованез-эфенди целые дни пьян, что хаджи Паро избил палкой сторожа Лило, а Лилко перестал топить школу... Мерзнут чернила... Дети болеют... Умирают... Что?

Тут Фингов опять неистово замахал руками. Огонь в камине не выдержал и, жарко пыхнув, погас.

— Что же делать?

— Господа настоятели! Вот мой голос...

— Очень хорошо тебя слышим. Говори потисе...

— И мой голос и прочих учителей: господина настоятели, можно отставить от школы Ботю, но школы от него не оторвешь. Верните Ботю в училище!

— Гм! — сказал Манджуков.

— А может быть, Ботю не захочет вернуться? — улыбаясь, спросил кир Тодораки.

— Не захочет? — прогремел Фингов. — Да без школы он пропадет!

— Однако! — тихонько высказался Спас Куюнджиолу. — Мы ведь прежнего оклада ему не дадим. И вернется он на новый, меньший оклад.

Спас кольнул Фингова:

— Ты, Димитр-эфенди, только что сам со школьной скамьи. Извини меня, ты сам еще молокосос! А Ботю — заслуженный, старый даскал, главный учитель. Оклады же у вас обоих будут одинаковые. Не обидно это для Ботю? А? Как думаешь?

Чорбаджии молчали. И Фингов тоже. Что сказать?..

...Однако с января Ботю уже снова ходил в школу. Ученики вели себя тихо. Хаджи Паро перестал буйствовать. Лилко усердно работал. Печи топились. И учителя, собираясь в библиотечной комнате — она же и канцелярия настоятельства и кабинет главного учителя, — дружно вели педагогические разговоры. И Ботю охотно поучал их от своего опыта и всесторонних познаний, и речь его, как и раньше, была горяча и убедительна, и голос могуч, и мысль сильна. И он уже готов был забыть об оскорбительной передряге, которая всему этому предшествовала. Деньги... Было их теперь много меньше. Но все-таки они были. И это особенно важно, ибо Найден Геров сообщил недавно теплым письмом, что дело с отправкой Христо в Русию не стоит на месте, и советовал готовить средства. Вот это — главное. А об оскорблении Ботю старался не помышлять — ведь и бог не может сделать так, чтобы не было того, что было. Родная стихия учительства оживила Ботю и вновь подняла его в собственных глазах...

Глава пятнадцатая

Утренние туманы

Экзамены начались в воскресенье. С утра по калоферским улицам мчались со всех ног к училищу ребята, вымытые, подстриженные, приодетые и всем бы схожие по виду с чистенькими учениками царьградских колледжей, кабы только не торчали у них из-под мышек рваные страницы вдрызг обмахрившихся за год учебников. Шумливая, волнующаяся толпа подростков живо наполнила училищный двор. Появляются уже и гости, разряженные в дух, с тревожно радостными лицами и с яркими букетами в руках. Гости — эгоисты. Они стремятся захватить самые лучшие места в зале нижнего этажа — здесь будут проходить испытания. Предусмотрительнейшие из гостей еще на заре оккупировали понравившиеся им скамейки. Толпа движется и сует не только в зале испытаний или во дворе, но и перед воротами училища. Любопытного народу набралось хоть отбавляй, и бабички в черных платках бойко торгуют пышками...

Пришли священники в длинных рясах, с камилавками вроде поварских колпаков на кудратых головах. На почетных местах уже важно расселись настоятели, чорбаджии, цеховые старшины. Придет ли мюджурин? У составленных рядами столов — ученики по классам. Лица учеников красны и потны. Затаив дыхание, робко поглядывают они на собрание, трепетно перелистывают — в который раз! — измызганные книжки. Уж, кажется, все-все в этих книжках знакомо. И вдруг что-то забылось, так улепетнуло из головы, что и не поймает нигде, кроме

как на засаленной страничке учебника. Христо с презрением глядит на растерянные мордочки трусов и шепчет Симо:

— Красным перцем нынче торгуем!

И оба хохочут до слез. Нет, они не трусы, ни Христо, ни Симо,— все, что хотите, но не трусы. Однако похоже и на то, что учителя сами нервничают. То к одному малодушному подойдут, то к другому, обнимут и на ухо что-то пошепчут. Хаджи Паро хлопочет изо всех сил, выбегает из зала во двор, ругает каких-то звонко болтающих женщин:

— Хайде, хайде... Экая срамота!

И снова в зале — кричит и стучит посохом в пол. Лилко в широком красном поясе стоит у дверей залы. Мехмед-чауш появляется на пороге — усы стрелками, а плетка торчит из кармана. Известие: мюджуринна не будет. «Начинайте!» — «А что с Юсуф-агой?» — «Ничего худого, просто живот болит. Начинайте!»

На особом большом столе — цветы, глобус и чаша. Все приготовлено для водоосвящения. Отец Манасия облачается и старательно высвобождает обеими руками длинные концы седых волос из-под камилавки. Собравшиеся встают со своих мест. Синий кадильный дым поднимается к потолку, наполняя залу тонким благоуханием ладана. Отец Манасия возносит молитву о долгоденствии державнейшего царя и другое — о здравии и спасении учащихся и учащихся в доме сем. Крест опускается в воду. Хаджи Паро торжественно поднимает чашу и медленно ступает по зале, багровый, с выпученными глазами. Отец Манасия широко и сильно размахивает кропилом — капли освященной воды холодным дождем падают на разгоряченные лица. Ученики очень складно поют хором:

«Боже, спаси!»

Молебен кончается. И тогда — экзамены...

...Сперва экзаменовались ученики старшего класса по катехизису. Отвечать требовалось быстро и громко. В зале — глухой шум, словно из пчелиного улья. Экзаменующиеся скороговоркой отстукивают бессмысленно затверженные тексты на церковнославянском языке. Гости с радостным удивлением слушают этот все нарастающий гул — для их смиренных и невинных душ он вернейшее свидетельство школьного успеха. Вот что может сделать за полгода опытный учитель! Ботю, довольный, незаметно поглядывает на первый ряд, где сидят чорбаджи. И здесь эффект несомненен. Кир Тодораки, Спас Куянджиолу, Манджуков одобрительно кивают головами.

— Аферим! Машалла! Аферим! Машалла! ¹

Христо отходит от экзаменационного стола, чувствуя досадный жар в лице и пот на теле, — неужели и он так же красен и мокр, как другие? Вот Симо. И Симо... Да что же это? Христо отвечал очень громко и очень быстро. Он идет к своему месту, а за ним несется:

— Аферим! Машалла!

Несутся и еще какие-то похвальные, но почему-то не до самого конца договоренные хорошие слова. Погодите, еще и не так покажет себя завтра Христо на экзамене из всеобщей истории, а потом из русского, из французского языков, — погодите!..

Экзамены кончились на шестой день, в пятницу. В воскресенье утром происходила раздача выпускникам аттестатов — драгоценных бумажек с круглой училищной печатью, на которой изображен горланящий петух. Не затем ли горланит петух с аттестата, чтобы все знали о совершившемся: Христо закончил курс обучения в мужском калоферском училище и уже подарил младшему брату Стефану желтую чернильницу с длинным

¹ Bravo! Хорошо! Bravo! Хорошо! (тур.).

и плоским футлярчиком из белой жести для перьев. И вот стоит сейчас Христо в библиотечной комнате, посреди красивых книжных шкафов и картин художника Павловича. Стоит перед лавками, на которых под портретом нового султана Абдул-Азиса расселись по обеим сторонам от мюджурин настоятели. Христо смотрит на них и на полное, круглое, румяное лицо султана, на его тщательно подстриженную седую бороду. «Вот я еще здесь. Но всего этого уже нет — оно осталось позади...» А что впереди? Свобода: веселые просторы полей и лугов, живое раздолье гор, лесов, виноградников, туманное утро светлого дня.

Отец встал со своего места. Он будет говорить напутственную речь. Учитель Ботю красивым и легким, смелым и вольным движением заправского оратора шагнул к большому дубовому столу, на котором лежали аттестаты, и заговорил с ходу, бледнея и медленно вытягивая длинные худые руки в ту сторону, где стояли выпускники:

— Теленок, еле встав на шатающиеся ноги, уже ищет корма и действует почти так же разумно, как и его мать. А сколько требуется забот и времени, чтобы новорожденное дитя человека укрепилось телом и духом! Поразмыслите об этом, отроки! И не забудьте, что главная из этих забот была забота школы. Это наш тяжелый и счастливый труд, благослови его господь!

— Аферим! Машалла!

Это сказал мюджурин Юсуф-ага, — сказал и быстро оглядел своих молчаливых болгарских соседей-настоятелей. Коричневые от табака пальцы Юсуфа живо скользнули по усам, а лицо растянулось в улыбке. Он догадался: чорбаджи не хотят хвалить Ботю-эфенди, не хотят перехваливать его за успех экзаменов, — экие христианские свиньи, Азраил их возьми! И он повторил:

— Аферим! Машалла!

Молчаливое равнодушие настоятелей поразило также и Ботю. И он догадался: чорбаджи ждут себе хвалы. За что? Мысли Ботю скатывались вниз неудержимой лавиной. Он взглянул на сына. Да, надо сделать все для того, чтобы Христо смог уехать в Россию. Лицо Ботю из бледного стало серым. Он решился.

— Если бы все церковно-училищные настоятели были таковы, — продолжал он говорить, вдруг срываясь голосом с высокого тона на хриплый шепот, — если бы они были таковы, как наш ученолюбивый кир Тодораки или мудромысленный господин Спас, расцвели бы болгарские школы. Расцвели...

Ботю закашлялся. Из черных глаз Христо глядело страданье. «Что он говорит? — с отвращением и тоской думал Христо об отце. — Зачем он гнет спину и лисит перед подлецами?» Стараясь задавить кашель словами, Ботю прохрипел:

— Расцветет и Болгария наша...

Новый, еще сильнее приступ кашля разорвал грудь оратора мучительным напряжением и болью. Ботю сделал громадное усилие побороть себя, остановить кашель — и не смог. Все его большое тело странно скорчилось в этом усилии и, встряхнувшись, чтобы расправиться, уже не переставало трястись. Он кашлял, кашлял, сине-багровый, с испуганным взглядом налившихся кровью глаз, и наконец, беспомощно махнув рукой, вернулся к своему месту, вздрагивая, точно от холода, широкой, круглой спиной. Но и примостившись на лавке, продолжал кашлять.

Напутственную речь договорил учитель Фингов. У каждого человека, если он только о чем-нибудь думает, непременно есть что сказать другим людям. Фингов не готовился говорить, а сказал хорошо.

— Аферим! — одобрили настоятели. — Аферим!

Ботю еще кашлял, только все тише и все реже. Кашлял еще и тогда, когда Фингов начал раздавать аттестаты...

* * *

Говедары приходят домой на побывку со своих далеких пастбищ не часто — на пасху, на Юрьев, на Димитров день, на заговенье, на рождество, великим постом, на усенье, — иные раз в год, а другие и в два года раз. С тех пор, как исчез из Калофера юнак Добри Митев, прошло еще больше времени. Он исчез, когда приходил к Петковым старый хайдут дядо Цоко, а было это ровно пять лет назад. И вот вернулся Добри домой, стройный, ладный, крепкий и гибкий, в длинной суконной шубе, подбитой мехом; на голове — фес, на ногах — башмаки, в руках — четки. Случалось Христо и раньше видеть овчаров из Добруджи и слушать их рассказы. По многу месяцев бродили они со своими отарами в придунайских степях, спали на сырых овечьих шкурах, ели хлеб да за лакомство брынзу, в зимние вечера собирались у огня сушить онучи, толковать о мьгарствах святой Феодоры и о девяноста девяти чудесах пресвятой богородицы. А домой на побывку являлись франтами, в кафтанах из расшитой галуном шерсти, с котомкой из козьей кожи у пояса, украшенной орлиными когтями, монетами и рачьими глазами. Было на что посмотреть.

Но когда Христо увидел Добри, дух у него занялся от восторга и в горле стало так сухо, точно оно вдруг поросло бурьяном. Суконная шуба, четки — пустое. Не в них дело. Главное заключалось в белых портянках до колен, красиво перевитых черными шерстяными оборами. Вот верный признак настоящей удали и предмет бурной зависти многих людей, мечтавших о таком щегольстве. Словом, как только увидел Христо молодого Митева, так и понял, что он такой же овчар, как сам Христо — архимандрит. И не с пустым кошельком явился Добри в Калофер. Ночью пришел, а утром Митю Брадатый уже побежал к Спасу Куюнджиолу отдавать старый долг. Надо было во что бы то ни стало выпытать у парня правду. А с чего начать? Помог сам Добри. Вообще-то не был он говорлив, смеялся редко, все больше думал и предпочитал спрашивать о том, чего не знает, вместо того чтобы самому отвечать на вопросы. Но с кем не бывает оплошки? Выпил Добри ракии из слив и запел вдруг во всю глотку веселую хайдутскую песню:

Слава Стара-Планине,
Слава мраку лесному,
Слава зеленому буку,
Слава воде студеной
Да жареному барашку!

Тут-то и приступил к нему Христо с расспросами...

...Навсегда запомнился Христо рассказ Добри Митева...

...Одни идут в хайдуты из-за бедности, другие — из молодечества, третьи — из болгарского народного чувства, для борьбы за свободу. Добри говорил:

— Избрал я себе такое ремесло, чтобы драться с турками насмерть, потому что вышел из юнацкого рода, и юнацкая мать родила меня, и брат мой Станчо погиб, как юнак. Ружье, два пистолета, две пороховницы, бутылочка с маслом да широкий кожаный пояс — что еще нужно хайдуту? Дружина — верная, сговорная... Один раз вlepил орешек в пустую турецкую голову, другой раз вlepил, а уж потом и счета не стало. Как иначе? Нет у болгарского народа ни царства, ни покровителя, ни защитников. Только и остается ему надеяться на бога да на нас. Хайдутское дело — честное, и позорить его бесчестьем нельзя. Если убьешь или ограбишь болгарина, обидишь девушку, старика, старуху, ребенка, если возьмешь у турка деньги, а его самого выпустишь за выкуп из рук, если уйдешь

из-под пуль во время боя, — смерть тебе, смерть! Если из того, что возьмешь у турка, ничего не дашь болгарину, когда он у тебя попросит, если не защитишь его, не поможешь ему, — будь проклят! Эй, хайдут: длинное ружье на плече, ятаган за поясом, патронташ и двуствольный пистолет. Знай себе режь турецкую шкуру да выкраивай из нее уздечки!..

Однако чета дядо Цоко, с которой бродил Добри по крутым южным склонам Стара-Планины, скрываясь между осыпями в редких здесь лесах, несколько изменила свои обычные занятия летом прошедшего года. Тогда по Стара-Планине, между Сливеном и Тырновом, двигался отряд воеводы Панайота Хитова. Как услышал о том дядо Цоко, так и повел свою чету к Хитову. Было это, когда хаджи Ставри уже поднял восстание в Тырновском округе. Но связи между Хитовым и Ставри не было. Это очень беспокоило Хитова. Вдруг приходит к нему из Свиштова человек и говорит: «Кончился, воевода, «белградский заговор», сербы помирились с Турцией, и велит тебе Раковский свертывать знамя». Панайот схватил себя за голову и закричал: «Схожу с ума! Схожу с ума!» Но не сошел, а решил зимовать на Планине. Думал: потому лишь Сербия помирилась с Турцией, что не была готова к большой войне. Хотел задержать своих ребят при себе до будущего лета и привел их на зимовище чуть ли не под самое небо — так высоко, у села Колапче, по-турски Ханхьой. Там рассовались они по хижинам, в буковом лесу с такими старыми деревьями, что иным было и по пяти тысяч лет, а иным и еще побольше.

— Чуешь? — спросил Добри.

— Что? — прошептал восхищенный Христо.

— Значит, израсли те старые деревья еще прежде потопа. Может, еще и прежде дядо Адама. А?

Страшное время — зима в горах. Ветер беснуется и ревет, реки и ручьи жалобно плачут, а волки так воют, что сердце надрывается с тоски. Думал Добри: «Перетерплю до Георгиева дня, а там что даст господь!» Но и до Георгиева дня не дожил. Как взыграла весна на малый овчарский праздник сорока мучеников севастиийских, так и пошел гулять с начала марта по Планине хайдутский бес. Нет ничего краше горной весны: звон идет от тонкой древесной листвы, радугой сияет сливовый, яблочный, грушевый цвет, а воздух и чист, и душист, и прохладен.

Роща ли, роща зеленая,
И ты, водица студеная...

До Петрова дня все ждали: двинется Сербия против османлисов. Нет, не двинулась. Такое выдалось лето, что была Турция безопасна со всех сторон. Тогда Хитов пошел в Сербию. Добри же не пожелал идти в Сербию и пристроился к овчарам. А от них — домой...

— Надолго?

— Как бог велит! Придет время — узнаешь...

...Христо слушал рассказы Добри, сердце его стучало, но еще звонче сердца билась в голове взбудораженная мысль. Алая заря восходит над родной землей. Оживают зеленые луга; горные ущелья, в которых теснятся целые полки черных сосен, обнажают под солнцем свое грозное нутро. Христо видит Болгарию, всю покрытую четами повстанцев, как поле — хлебом. Перед каждой четой — воевода. Рядом с ним — знаменосец. И ветер играет знаменами. Весь народ поднялся, восстал, ринулся в битву. О, как радостно быть частью этого светлого, утреннего мира великой борьбы за освобождение!

Весной того года, когда объявился Добри, турецкое правительство издало строгий закон: у всякого, кто скроет хайдута или даст ему хлеба, имение конфискуется в пользу государства, а сам укрыватель подвергает-

ся вечному заключению в тюрьме. Жесток закон! Страшен! Правда, Добри пришел домой открыто, ни от кого не таясь. Но близость отцовского дома к турецкой деревне все же его смущала. Райна проговорила об этом Христо. И Добри стал проводить ночи в подвале дома на Галюв-доле. Днем гулял по городу, заходил в лавки, щеголял оборами против мельниц на шоссе; даже в Доймушларе заглядывал похвастать кушаком. А ночью — в подвал. Симо ни на шаг не отставал от брата. Глаза мальчугана блестели и зубы сверкали на коричнево-смуглом лице, когда он глядел на Добри. Симо приносил брату ужин из дома: печеное мясо, хлеб с чесноком и луком.

— Тебе, бачо!

Добри мало спал по ночам, больше сидел, курил и все как будто чего-то ждал. И редкую ночь Христо не сползал с одра, чтобы неслышной тенью пробраться через террасу в подвал...

...Однажды Добри шепнул молодому приятелю:

— Есть новость, Христо...

— Какая?

— В Белград пришло из РусиИ оружие для болгар.

— Да что ты?

— Тсс!

Хайдут вынул из-за пазухи плоскую четырехугольную коробочку с выпуклыми изображениями на крышке и доньшке. С одной стороны — святой Убрус, с другой — Георгий Победоносец на коне, пронзающий копьем змия под копытами. Коробочка тонкой серебряной цепочкой была подвешена к шее Добри.

— Видишь?

— Что это?

— Кутія. А в ней — честно древо.

Добри открыл кутию.

— Видишь?

Христо разглядел что-то вовсе маленькое, величиной с просяное зерно, не больше, одетое в воск и вату.

— Честно древо. А принес его дедушка от божьего гроба. Тут имя его вырезано. Видишь?

— Зачем тебе честно древо?

— Отец велел носить. Верная от пуль заграда.

Добри помолчал. И вдруг сказал тихо-тихо:

— Ты мой товарищ, Христо...

— Как свят бог!

— Хайде!

— С тобой?

— Да. Симо да ты.

Симо схватил брата за руку.

— С тобой, бачо!

Добри освободил руку.

— Пойдешь, Христо?

О, как скудно светило до сих пор солнце на жизнь Христо! Как мало было в его жизни минут, подобных этой! От счастья у юноши кружилась голова, ослепленные чудным светом глаза слипались, как во сне, и сердце прыгало в невидимый огонь. «Пойду!» — решил он. А Добри думал: «Бойтсся... Колеблетсся!»

— Слушай, Христо, — сказал он, — за одно нынешнее лето перешло ко мне из мусульманских карманов двадцать восемь монет, по пять турецких лир каждая, и еще сто пятьдесят серебряных! Ну? Да хоть бы и за это стоит похайдучить!

Он не договорил еще последних слов, как солнце, только что слепившее глаза Христо, потухло. И непроглядным мраком ночи заслонился

ясный свет утра. Великое презрение к деньгам, которое всегда носил в своей душе учитель Ботю, поднялось в душе его сына. Правда, Ботю отступал порой перед нуждой, перед крайностью. Христо... Нет, Христо никогда ни перед чем не отступит!

— Не пойду! — твердо сказал он.

Словно окутанные серебристым паром, далеко расстилались за Калофером поля, и бежали по ним в разные стороны узкие дороги. Ночью Добри снова ушел из родного города, оставив дома и суконную шубу, и башмаки, и сумку с нарядными кистями. Молодец уносил в своем мешке только тыквенные бутылки для пороха, формы для литья пуль, патронташи, кремни, железную кошку, пистолеты да кутийку. Ушел с ним и Симо...

* * *

...Христо видел, что отец пристально следит за ним. Бледный, то и дело покашливающий, с глазами, горячими, как раскаленные уголья, Ботю был постоянно начеку. С ухудшением здоровья прежние добродушие и доверчивость оставили его. Он сделался подозрительным свыше меры, и какой-то хитрой проникновенностью вооружилась его беспокойная мысль. Но бодрый дух и ясный ум ворчливого и придиричвого учителя Ботю по-прежнему внушали людям невольное уважение. Большое, длинное, костистое и чуть рябоватое лицо его говорило о трудной жизни и непрерывных заботах. Редко-редко случайной усмешкой озарялось темное облако, вечно лежавшее на этом суровом лице. Из всех забот учителя Ботю тревога за судьбу сына была наиглавнейшей. И Христо хорошо знал об этом.

Но и Ботю тоже видел, как зажигался гневом Христо, слушая рассказы о турецких насилиях, как бурны были крики его ненависти и жарко пламя его речей. Христо было пятнадцать лет. Он был здоров, энергичен, дерзок и до крайности неуравновешен. У него были буйный характер и порывистая натура. Того гляди что-нибудь выкинет. Ботю — главный учитель известной школы и знаменитый воспитатель. И он понимал отлично, что приемами обычной строгости воздействовать на такой характер нельзя. «Ребенок только тогда научится обращаться с огнем, — тревожно думал Ботю, — когда обожжется. Пусть же обожжется он не теперь, когда еще так молод, а позже, позже. И чем позже, тем лучше, тем для него безопаснее...» Найден Геров пловдивский принимал на себя часть хлопот по определению Христо в одну из русских гимназий, брался выхлопотать разрешение у турецких властей. Обещал и в Русию написать, но не торопился. А время шло и шло...

Глава шестнадцатая

Плач-камень

Дождей долго не было, и через Калофер двинулись процессии «пеперуды»¹. Девушки, обвешанные зелеными ветками, пели:

— О, пеперудо розовая! Пусть падет роса! О, пеперудо! Пусть пойдет дождь! Пеперудо!

И Райна шла рядом с подругами, в белой расшитой рубашке, с ожерельем из коралловых бус на шее, с венком из виноградных лоз на голове. И Райна пела вместе с другими, обращаясь к пеперудо розовой, но сердце ее смотрело не вперед, а назад. Вчера Христо сказал, что отъезд его в Русию решен. Осенью Христо начнет учиться или в Одессе, или в Николаеве. Сердце девушки замерло, и слезы туго сдавили ей горло. Она чуть слышно ахнула.

— Что с тобой?

¹ Бабочка (болг.).

Стыд выбился огнем на смуглых щеках Райны. Нет, она не скажет, что с ней, не скажет ни за что! Она послала его под знамя Раковского, в смертный бой за болгарскую свободу. Но Белград не Петербург, и Стара-Планина не русская Одесса. Райна никогда не послала Христо в Русию. Однако сказать ему обо всем этом не могла никак.

— О, пеперудо! — пела Райна. — Пеперудо!

А на глазах ее закипали слезы обиды и тоски...

...Нет лучше поры за Балканами, чем сентябрь, когда гроздья созреют и начинается сбор винограда. Шумные вереницы парней и девушек тянутся между непролазными ореховыми рощами, плантациями тута и розовых кустов, навстречу быстро бегущим с гор, извилистым и прозрачным ручьям. Что ни шаг — могучие семьи древних дубов, платанов и буков; яблоневые, сливовые и грушевые деревья — куда ни глянь. Чем выше по склону горы, тем гуще зеленая шуба плюща на стенах домов, на заборах, на древесных стволах. Здесь-то и начинается виноградное царство. Кругом Калофера три таких царства: старые виноградники к югу, новые — к востоку и еще на Поле — к северу. На юг, на восток и на север от города тянутся скрипучие телеги. На телегах — кадки в новых обручах и корзины. Женщины едут на ослах, мерно отбивающих копытцами ровные шажки. Детишки бегут, размахивая маленькими белыми корзинками. И между смехом и шутками доносится отовсюду:

— Эй, народ!

Приехали. Волы выпряжены из телег. Разложены огни. Дымится над углями шашлык. Где-то бахнуло ружье — сигнал. Полные винограда, тяжелые корзины общими усилиями перетаскиваются с земли на телеги. Скоро по всем дорогам к городу, по всем улицам и дворам внутри города — везде засверкают лужицы виноградного сока, пролившегося на пути из корзин в колеи, длинные сладкие озерца, над которыми жадно завьются густые рои мух, пчел и ос. Кто не жаден на сладкое? Вот бежит девушка. Парень — наперерез.

— Стой, сахаруша!

И словил-таки...

...Христо еще издали увидел синее платье и русую косу Райны — вся коса ее унизана раковинами, перевита лентами. На руках у девушки — тяжелые блестящие медные браслеты, и огромные серьги в ушах. Ватага входит в виноградник Митю Брадатого. Где-то всплеснулась песня, с другой стороны — другая. И на винограднике Брадатого тоже запели. Будь старый Митю холост, песня советовала бы ему поскорее жениться. Но он женат. Потому и голоса звонко выпевали иной совет:

Дочь у тебя выросла, дядо Митю,
Что за красавица дочка!
Коли хочешь собрать виноград,
Не тяни, выдавай ее замуж!..

Скрипят телеги под тяжелым грузом. Детишки шныряют между телегами. Пожилая женщина кричит из-под дерева, где сортирует гроздья в тени:

— Ганю, халвуша! Опротай-ка, дружок, корзину!

Боже, как хорошо! Все хорошо — и небо, и горы, и земля под ногами, и люди, родные, близкие, — свой болгарский народ. И ничуть не тягостна, а легка и радостна тайная клятва жить и умереть для этого народа. Помогая Райне резать и складывать тяжелые гроздья, Христо тихонько говорил:

— Куда бы ни ушел я в моей жизни, всюду буду здесь сердцем и душой, везде и всегда!

Он смотрел на свежее личико девушки, на нежный румянец ее щек и густые ровные брови, на открытые до локтей пухлые руки, которыми она старательно заслоняла от него свои глаза.

— Есть ли на свете такая вила, как ты? Наверно, нет. Оттого-то и завидуют вилы красоте земных женщин, мстят им за их красоту. И чаще всего похищают они у женщин глаза...

От этих ласковых слов на сердце у Райны стало покойно и легко. Зачем ей бояться местивил? Она отнимает руки от глаз — и видно, как блестят и смеются ее веселые глаза. Так они болтали в тот день и в тот вечер. А было это уже вовсе незадолго до отъезда Христо из Калофера.

* * *

Калоферские караванщики готовятся в путь изгода. Обходят город и договариваются о цене в тех домах, где есть отъезжающие или товар для отправки. Запивают условия кофе и ракией. Собирают грузы и распределяют их между собой. Откармливают буйволов, мажут их рога кунжутным маслом для блеска, красят им лбы хной, точат для них палки с амулетами в кисточках, чтобы нельзя было заколдовать буйволов, и чинят старые попоны. Все это уже сделал умный, многоопытный караванщик Ахмед из Доймушларе. Завтра день отхода его каравана из Калофера в Царьград. С этим караваном отправится завтра в дальнюю дорогу Христо.

А сегодня он прощается с Болгарией.

Отзвенело жаркое лето. Пронзителен свист осеннего ветра. И снежные сугробы в южных впадинах Юмрукчала стали походить на белую птицу в гнезде, пристально глядящую на запад. Глубок этот вечный снег! Никто никогда не измерял его глубины. Если к утру взобраться на верх Мара-Гидика, окажешься направо от Юмрукчала, высоко над спуском к Новому селу. И если посмотреть тогда на Юмрукчал, то видно станет, как солнце золотит его белую шапку. Видно, как сияет в солнечной яри северная Болгария, а южная тонет в печальной тени. Как тихо на Юмрукчале! Горы стынут в благоговейной неподвижности перед лицом дивного великана, ногами ушедшего в землю, а плечами заслонившего половину всего, что может видеть глаз. С Юмрукчала Болгария еще виднее, чем с Мара-Гидика, — горные хребты и ущелья, леса, села и города. Внизу — острая и скалистая вершина Большого Купена. К западу от него раскрывает свою зловещую пасть бездонный Джендем. На правом берегу Монастырской реки — гора Чафадарица; а к югу от нее — Калофер, малое белое пятнышко между холмами, столпившимися в долине Тунджи. Еще дальше на юг — Средна Гора, равнины рек Стремы и Марицы и, наконец, на горизонте — обведенные слабой чертой силуэты величественно-мрачного Родопа. На север же открыта вся Севлиевская околия вплоть до Ловчанских гор. Увидишь Троян. Увидишь Клисуру. И далеко-далеко — сливающуюся с небесной лазурью круглую Витошу. Говорят, что в очень ясные дни с восточной стороны Юмрукчала виден даже и сверкающий на солнце Дунай.

Христо стоял на Белых берегах — на крутой белой осыпи, к востоку от мужского монастыря, за рекой. Поле и болото поросли тут дубом, кое-где липой, а повыше и буком. Самое высокое место здесь — Попска Могила, покрытая нивами и лугами, заслоненная густым лесом. Под ней — хайдутский колодец с быстрой и холодной водой. Длинное деревянное коромысло и огромная бадья. Здесь останавливаются хайдуты, чтобы через монастырских подручных дать весть домой. Сюда прибегала Райна встречать брата Добри... Но мысль Христо только краем крыла коснулась Райны. Его мысль была сейчас в плену у могучей красоты, окружавшей Белые берега, и, томясь в этом плену, безвольно прикикала к муравьиному человеческому прошлому. Как в наши дни пасут здесь свои стада

каракачапы, так и праотцы их, древние фракийцы, занимались тем же на этих искони пригодных для пастьбы местах. Проходили здесь также и греческие воины, и римские легионы, и болгарские отряды. Одни царства поднимались, наступая, другие падали, уступая. И все так же высоко-высоко над горами висел орел, медленный и спокойный, зорко наблюдавший за тем, что делалось на земле. Сколько поколений людей глядели на эти гигантские горы, на многовековые деревья, и глядели, и удивлялись, и ходили по горам, между деревьями, и уходили, чтобы никогда больше не вернуться. И мы тоже ходим, и дивимся, и тоже исчезнем. Ах, если бы бездушные балканские исполины могли говорить! Какие чудные — занимательные и страшные — легенды и истории они порассказали бы нам! Только, пожалуй, не разберем мы ничего в этих рассказах, ибо не ведаем их языка...

Христо поник курчавой головой. Казалось, унылая мысль о ничтожестве прошлого окончательно им завладела. Но через минуту голова его гордо вскинулась, а глаза зажглись живым, веселым блеском. «Отец говорит: без прошлого не было бы настоящего, а из настоящего растет будущее. Без прошлого не было бы и будущего». Каково же, однако, будущее, навстречу которому идут люди, живущие на этой земле? Если мы прошлого не знаем, кто откроеет нам будущее? Неожиданно странная, даже шальная, дерзкая, вызывающе затейливая идея вдруг родилась в голове Христо. Он еще раз огляделся, но уже не с тихим признанием своего бессилия перед немым величием природы, а с буйным восторгом перед внезапным ощущением собственной силы. «Никто не ведает когда но только не может не родиться на этакой прекрасной земле великий человек! Он-то и покажет людям их будущее сквозь огонь революции и пламя борьбы...» Да. Почему же не рождается такой человек? Или уж и родился, да мы еще не знаем? И как всплеск невидимой воды, прозвучало в мыслях Христо: «Не я ли это, а?..»

* * *

Митю Брадатый разбирал постель ко сну. Баба Тана сидела на полу и пряла шерсть. Любица копалась в кладовой. Низко склонив бледное лицо над мотком красной бумаги, Райна вышивала мудреный узор по голубой ткани и думала о завтрашнем отъезде Христо. С тех пор, как пропал Симо, в доме Митю Брадатого стало пусто и тихо. Редко-редко завяжется разговор, да тут же и оборвется. И сейчас все молчали. Это была тяжелая, давящая тишина, от которой звенело в ушах, точно от напора густой и горячей крови. Думали и молчали. И вместе с тем прислушивались, будто ожидая с минуты на минуту звука, который сразу сделает невозможным продолжение тишины. Вдруг... Что это? словно горстью мелких камешков швырнулся буйный ветер в окно. По стеклу скользнуло что-то твердое и летучее, рассыпалось и упало вниз. Митю выронил из рук одеяло. Райна вскочила — красная, как моток бумаги, — радостно и мучительно стыдясь, сама не ведая чего. Только баба Тана ничего не услышала. Митю быстро пошел к выходу из дома. Вот он уже на дворе, на улице. И прямо на него из черного провалья осенней ночи наступает длинная тень. Кто такой? Стражник...

- Никого не видел, аго?
- Видел.
- Кого?
- Человека.
- Что он делал?
- Метнул в окно и побежал.
- А что метнул?
- Давай посмотрим.

Стражник зажег фонарь, и оба наклонились. Эге! Да это был сахар — мелко колотый драгоценный сахар. Ударившись в окно, кусочки его упали наземь и лежали теперь в грязи белой россыпью, точно звездочки Млечного пути на темном небе.

— Эге!

— А кто метал, аго?

Это был серьезный вопрос. Метнуть сахар в окошко — нечто вроде предложения Райне. О-хо-хо! Стражник поднял фонарь, и хитрое лицо его с дрожавшими от смеха коричневыми губами ярко осветилось.

— Кто метал? Эх, беда! Глаза слабы, не разглядел. Хотел поймать — ноги слабы. Да и кто же еще мог метать, как не Христо, учителей Ботев сын?..

* * *

Обжигаясь и отдуваясь, учитель Ботю наскоро пил русский чай. Как и сахар, это тоже была драгоценность. Ботю выписывал чай из Одессы через посредство тамошней конторы господина Тошкова, как славное и полезнейшее средство против кашля. И Ботю пил его по три раза в день, терпеливо ожидая, когда утихнет нескончаемый кашель. Все было готово к отъезду Христо. Вещи уложены — много ли их? Письма в Царьград и в Одессу написаны, запечатаны. Долог путь каравана в Царьград. Иванка припасла для первенца большую ковригу хлеба, сверток печенья, хорошие куски сыра, вяленого мяса, суджука и сала, все это упаковала в мешок, увязала тщательно и красиво. Сам Христо одет, как на праздник, и не выпускает из рук цветов. Он задумчив, но бодр; бледен, но от бледности этой лишь ярче кажется огонь его быстрых черных глаз. Иванка не отводит от него взгляда, и взгляд ее полон слез. Стефан и Кирилл смотрят на старшего брата с откровенной завистью.

— Пиши, бáчо, пиши...

Так день доходит до половины...

...Поближе к обеденному часу у Орехового источника и дальше до моста на Злой-дол, столпилась целая свадьба. Отец Манасия святил воду, читал напутственные молитвы и кропил отъезжавших и за здравие и на изобилие. Дети, матери и отцы, братья и сестры провожали родных. Парни были приодеты в лучшее из того, что у каждого водилось. Грубые черные пальцы неловко сжимали нежные стволы пышных букетов. Даже и у буйволов был такой картинный вид, словно они перенесены сюда прямо из древнего египетского пейзажа. До Плач-камня все это двигалось вместе — седоусый караванщик Ахмед, его помощники, буйволы и повозки, отъезжающие и провожающие. Двигалась с другими и Райна. Никто бы не разглядел сейчас цвета голубых ее глаз, так они были заплаканы. В руках она держала мешочек сушеных вишен. Но когда у Плач-камня зазвенели последние поцелуи, покатались по толпе глухие всхлипывания, зазвучали советы и просьбы, пожелания и молитвы, в руках Райны очутилось и еще кое-что. Это был букетик герани, связанный красной шелковинкой, золотыми и серебряными галунными нитками. Райна быстро всунула свой букетик в те цветы, которые прижимал к груди Христо. И, вспыхнув, Христо сделался похож на герань. Что за цветок — герань? Его получает жених от невесты, выбранной для него родными, и только тогда узнает о своей помолвке. Никто не выбирал Райну для Христо, он сам ее выбрал. И сама она подарила ему герань.

«Любишь? — спросил девушку пристальный взгляд Христо. — Любишь ли?»

«Навек! — сказали полные слез и блеска глаза Райны. — Люблю навек!»

Ботю обнимал сына, Иванка крестила его дрожащей рукой, младшие братья хватили его за штаны. А караван уже двигался вперед. Медленно

взбиралась головная повозка на ближайший зеленый холм и исчезала за ним, будто сползая под землю, — вот виден Ахмед до пояса, до плеч, совсем не виден, и огромные колеса повозки неудержимо скатываются следом за ним в бездну. Повозка за повозкой сперва поднимается и потом пропадает из глаз. Вот и последняя. Все. Нет каравана, словно и не было. Так по крайней мере кажется сейчас рыдающей Иванке и хмурому Ботю. Они уже идут от Плач-камня к Калоферу, но все еще оглядываются назад. Так кажется и Райне. Она не оглядывается назад, но сердце ее замирает, и грудь сжимается в тоске...

...Караван ползет, а юноши, медленно шагающие возле своих повозок, жадно смотрят в широко раскрытый перед ними простор. Буйные души их рвутся на волю. Но губы еще чувят прикосновение ласковой материнской руки, и задумчивый взгляд отца еще глубоко проникает в их душу. Еще звенят в ушах возгласы братьев, видятся дом, и двор, и ограда... и горы, и ясное синее небо над могучим калоферским Балканом. Боже, да насколько же все это сейчас стало прекрасней вчерашнего, в тысячу раз милее и жалче! И чтобы не показать мгновенной слабости в невольной слезе, юноши с грустной твердостью впиваются взглядами в очи друг другу...

...Свою первую остановку караван Ахмеда сделает вечером и переночует на доймушларских лугах. А уже потом пойдут Казанлык, Дервент, перевал через Средна Гора, Стара Загора, Одрин, Люле-Бургас, Малко-Чекмендже... И будет караван подниматься по утрам часа за два до света. Будут караванчики каждый новый день открывать перекличкой. И парням будет немало хлопот.

— Караман, караман!.. Мачо, мачо!.. Гях, гях!

Буйволы идут на зов. Корма в торбах довольно. Скотина жует, жует... И вот уже снова плывет караван по гладкому пыльному пути...

Глава семнадцатая

Русия

Ночь была теплая, влажная и очень темная. Под носом парохода волны вспыхивали и переливались огнями синеватого цвета. А за парходом стлалась световая полоса — все длиннее, глубже и шире. Была середина ноября, и рейс русского судна, с трюмом, доверху нагруженным фруктами, был последним рейсом этого года между Константинополем и Одессой. Пассажиры ехали, можно сказать, на фруктах. Но пассажиров было немного. Чуть забелело утро — крепкий сон еще царствовал в каютах, — как на палубу вышел высокий стройный юноша с шапкой черных волос на непокрытой голове. Горячая влага сверкала в глазах, сердце билось толчками, и грудь дышала порывисто и глубоко, готовая облегчить себя звонким криком восторга. Нечто подобное Христо уже испытал однажды, в раннем детстве, на пасхальной заутрене в великден. Но то было слепое восхищение верой в непонятное, а это... радость встречи с давно желаемым, исполнение взлелеянных разумом надежд. Нет, то, что совершалось теперь с Христо, не было чудом! Что за чудо в том, что, добравшись с караваном до Царьграда, протолкался он в османской столице трое суток, бегая по улицам вместе с собаками, и в конце концов осмотрел-таки квартал за кварталом все ее грязное великолепие? Так это и должно было быть, раньше или позже. Брат Найдена Герова дал Христо сорок девять рублей. Какой-то богатый калоферец прибавил одиннадцать. Купили парню европейскую одежду, шапку, чемодан и билет до Одессы за восемнадцать рублей. Чудо? Гм!

Немножечко походили на чудо только новости о хаджи Паничкове. До весны этого года Паничков держал типографию при болгарской церкви на Фанаре. Печатал журналы и газеты разных издателей и, выпуская книжку за книжкой, добился того, что богатые болгарские покровители из Галаты представили его самому всемогущему министру Али-паше. От знакомства с министром к самолюбию хаджи Паничкова ничего не прибавилось. Толстяк оглядел тщедушного «болгарче» с головы до пят и, прищутив глаза, сказал с жирной ухмылкой:

— Человек этот похож на молочника! Странно...

Но и это уже было неплохо: правительство не мешало. Однако оно и не помогало. Хаджи Паничков работал на прессах, еле спуская с них за день двести листов, отпечатанных с одной стороны. Дело не спорилось. Узел долгов постепенно затягивался. И неизвестно, чем бы все это кончилось, не распутайся узел сам собой. В пятницу на святой неделе Паничкова схватили по приказанию министра Али-паши и упрятали в столичную тюрьму. Оттуда переправили в малоазийский Моссул. Причина: донос. А надо сказать, что бедняга действительно собирал деньги для болгарских добровольцев в Сербии и отвозил их потом в Калофер, чтобы передать людям Раковоского. Казалось бы, следу Паничкова суждено было затеряться в далеком Моссуле. Ничего подобного. Вот чудо! «Верные приятели» из Балкапан-хана рассказали Христо со всеми подробностями, как ушел Паничков пешком из Моссула в Трапезунд, как перебрался с помощью тамошнего русского консула в Русию...

— Уж не в Одессу ли?

Этого «Верные приятели» не знали. Но и от рассказанного ими у Христо кружилась голова.

Наконец паспорт в кармане. «Прощайте, друзья, прощайте!..» Христо поднимается на пароход... Чудо? Нет. И то, что в этом дальнем пути ему положительно отмотал руки большой старомодный чемодан, обтянутый холщовым чехлом и туго перевязанный веревками, тоже, конечно, не чудо. Всему этому надо было случиться, чтобы надвинулось наконец с востока на мир сегодняшнее утро, чтобы зажглось под его блеском Черное море.

— Одесса!..

Пароход подходил к порту. Впереди рдела пестрая гора зданий. Обозначились линия бульвара, статуя дюка де-Ришелье и грандиозная каменная лестница, сбегавшая широкими ступенями прямо в море. О лучезарная Русия! Чудо? Нет, факт, который с нынешнего дня станет одним из самых главных в жизни счастливого болгарского юноши...

...Одесса не готовилась к встрече с Христо. Она прострела перед ним в будничном, рабочем наряде. Строился новый порт. Стрела железная дорога до Балты с веткой к Днестру. Улицы поражали человеческой суетой возле магазинов и множеством амбаров со складами пшеницы. Ветер, словно бродяга с ножом в руке, носился туда и сюда, пыряя людей то в грудь, то в спину. Над мостовыми крутились вихри мелкой белой пыли. Они засыпали тротуары, вымощенные частью плитами, частью ребристым дикарем, оседали на ручейках грязи в водосточных канавках, окутывали чахлые акации и серые морщинистые стволы тополей, ветви которых походили на руки, беспомощно поднятые ввысь. Такой увидел Христо Одессу и не знал, радоваться или печалиться перед тем, что открылось...

Председатель болгарского настоятельства в Одессе, Николай Миرونвич Тошков, был крупнейшим местным негодником. Разверните его бухгалтерские книги и взгляните, если он вам позволит, на цифры, из которых складывается баланс, — у вас дух захватит: десятки, сотни, много сотен тысяч рублей, полноценных русских золотых рублей, — вот его торговый баланс. Соответствовало ему и общественное значение господина Тошкова. Он бургомистр города. Но и этого мало. Всякий одессит, при-

частный к «делам», знал, что именно господин Тошков — главнейший воротила болгарской благотворительности на юге России. Словом, это был такой чорбаджия, за которым, конечно, не угнался бы даже и сам калоферский кир Тодораки. И вот Христо вступает в его квартиру, ставит к стенке холщовый чехоманчик и, отражаясь своей отроческой художественностью в полудожине высоких зеркал, ждет решения участи.

Христо ожидал появления господина Тошкова довольно долго. За это время он успел разглядеть, что находится в большой, богато отделанной дубом парадной комнате. Направо и налево — двери, прикрытые тяжелыми шерстяными драпри, пестрыми и яркими. Дверь направо была раскрыта. Она вела в столовую. Христо заметил посредине столовой низенький круглый стол — большой поднос на ножках, и около — приземистые табуретки. На столе — красивая ваза с айвовым вареньем, несколько крошечных чашечек с кофе. На тарелках — финики, орехи, винные ягоды и кишмиш. В стене — шкаф с настежь распахнутыми дверцами. На полках — стеклянная и фаянсовая посуда. Все, на что глядел Христо, — и натертый паркет из оливкового дерева и новенькая позолоченная мебель, — все сверкало и поблескивало, как только что вышедшая из рук мастера лакированная шкатулка. Наконец эта шкатулка выпустила из себя человека в желтых брюках, синем фраке, белом жилете и пышном, широком галстуке с бриллиантовой булавочкой в виде якоря. Между пальцами правой руки на отлете господин Тошков держал толстый янтарный мундштук...

...Завтракал господин Тошков на славу. Чего не было на столе: и свежая днестровская икра, и баклажаны по-гречески, и жареная курица, и слоеный пирог со сливками, и яичница под красным перцем, и суп с клецками. Господин Тошков ловко управлялся со всей этой благодатью, слегка икая и причавкивая. Сонные глаза его заметно оживлялись. И не только глаза; оживлялись также густые черные, точно из проволоки свитые и наглухо припаянные к быстро двигающимся челюстям, баки. Господин Тошков ел и говорил, говорил и ел... И Христо уписывал предложенное ему угощение. Только оно было далеко не таким роскошным, как хозяйское: лепешки, овечий сыр да яблоки. Христо долго смотрел на гору огромных греческих бубликов, возвышавшуюся перед ним на фарфоровом блюде. Он внимательно слушал то, о чем говорил господин Тошков, а о бубликах и не думал, он только смотрел на них. И потому совершенно нельзя понять, как случилось, что рука его сама собой протянулась к фарфоровому блюду, ухватила бублик и проворно сунула его в карман штанов. Господин Тошков икнул довольно громко и на минуту перестал есть. Однако никакого замечания не сделал. Он продолжал говорить.

— Итак, еще один молодой болгарин вступил на благословенную русскую землю, — повторял он едва ли не в десятый раз. — Запомни, Христо: кроме русского царя, нет покровителя у болгар. Нет для Болгарии спасения без русского царя. И он также не имеет на Балканах другого, более верного помощника в политических делах, чем наша болгарская «добродетельная дружина». Теперь появилось новое колено поколенное...

Тут господин Тошков заметил, что сморозил чепуху, и чавкнул три раза подряд. Но отнюдь не смутился.

— Словом, сыскались дураки, которые будут, вероятно, толковать тебе что-нибудь иное. Не слушай их, юноша, а помни своих благодетелей из настоятельства. Мы определили тебя в здешнюю вторую гимназию и будем платить за твоё учение пять рублей в год... Что? Зачем ты меня прерываешь? О чём спрашиваешь?

В Одессе было две гимназии. Христо очень надеялся попасть в первую — там бесплатно выдавались ученикам и форменная одежда, и постель, и шапка.

— Э, нет! — с досадой сказал господин Тошков. — В первую гимназию тебя не примут. Многого хочешь!

— Почему? — спросил Христо.

— Потому что там учатся только дети богатых одесских граждан. А ты что такое? Во вторую принимают бедняков, даже евреев. Там и болгар много. Не огорчайся!

Господин Тошков показал пальцем на молодого человека, промелькнувшего в прихожей. Молодой человек имел очень добропорядочный вид — одет был в пальто, клетчатые панталоны со штрипками и башмаки европейского фасона.

— Видишь? Этот малый тоже учился во второй гимназии, а теперь служит у меня приказчиком и очень доволен. Каков? Хоть в Париж его посылай... Так и ты со временем выйдешь в люди. Главное, не слушай болтовни разных молокососов...

Он окликнул приказчика:

— Эй, Божил!

И Главанаков послушно бросился на хозяйский зов.

* * *

Христо сидит на уроках в курточке с красным воротником и двумя рядами позолоченных пуговиц, на каждой из которых выбит герб губернии. Но при всем том он еще не настоящий гимназист. Чтобы стать настоящим, ему надо сдать испытания. А пока он что-то вроде вольнослушателя; ходит в гимназию, когда ему хочется, и сидит на тех уроках, какие ему нравятся. Когда он сдаст экзамен, его включат в число «регулярных» гимназистов. Тогда определится и класс, с которого он начнет свое настоящее учение. А пока Христо сидит в третьем классе—высокий, сильный пятнадцатилетний парень среди двенадцатилетних подростков. В положении этом есть что-то обидное, глупое, мертвой казенщиной наступающее на грудь. А что делать? Занятия в гимназии начались еще седьмого августа. Христо опоздал к их началу и теперь с изумлением разглядывал жизнь, в которую входил и с которой ему предстояло слиться.

По правде сказать, хорошего в этой жизни было немного. Чего стоила хотя бы трескучая пустота, прочно обосновавшаяся в иных ученических желудках. При второй гимназии не было казенного пансиона. Иногородние ученики жили на частных пансионских квартирах. Болгарское настоятельство (господин Тошков) выдавало каждому гимназисту-болгарину по двадцати рублей в месяц. Пятнадцать уходило на оплату квартиры, один рубль — на свечи, а четыре — на все остальное. Утром — тарелка молока с черным хлебом, на обед — кусок вареной говядины с кашей, на ужин — стакан сбитня, — много или мало? Умереть с голоду нельзя, но и про голод забыть невозможно. А родительские выкормыши тут же рядом услаждались в своих семейных гнездышках сытой жизнью и благоденствовали.

Христо попал на пансионскую квартиру к одному из гимназических учителей. Это был рябенький моргун с лиловатыми усами, преподававший в младших классах чистописание и заметно выделявшийся из среды педагогов неискоренимым «идеализмом» своих старческих воззрений. Очив перо и подавая его ученику, он приговаривал:

— Этаким пером-с сам его величество, помазанник божий, никогда не писал-с!

Белый домик «идеалиста» стоял недалеко от гимназии, посреди широкого, густым сладким грузом обвисшего яблоневого сада. С тихой ясностью вспоминалась здесь Христо его цветущая родина, и сердце рвалось прочь от видневшихся за деревьями желтых гимназических стен.

Гимназия... Была в ней большая комната, она же и для занятий и рекреационная. Даже и Помпея в свой последний день не видела той сутолоки и бестолочи, какая царила в этой комнате беспрерывно. Малыши дрались катехизисом Филарета и грамматикой Греча, то и дело ухитряясь этими тоненькими книжками до крови расквашивать друг другу носы. В сильных руках пятиклассников неотразимо действовали своими тяжестью и объемом история Устрялова и география Ободовского. Что же касается алгебры Тихомандритского, геометрии Буссе и зоологии Курторги, то эти ученые труды чаще всего служили способом расчета при игре в три листика. Картежной страсти предавались главным образом «гусары» — великовозрастные молодцы, метившие прямо из гимназии в юнкера кавалерийских полков.

— Стою на кампанте, — резал один, выходя с короля.

— Подлец — дело, — вздыхал другой, — драгунская у тебя, брат, совесть!

— Труба — человек!

И геометрия Буссе шла в ход...

...Христо был годами старше своих одноклассников. Но к «гусарам» не чувствовал никакого влечения. Его жестоко угнетал никогда не прекращавшийся в гимназии кавардак. И, не сдружись он с тошковским приказчиком Божилом Главанаковым, так, может быть, и не совладал бы со своими отчаянием и тоской. По воскресеньям, когда на пансионской квартире дым стоял коромыслом и стекла позвякивали в окнах, Христо уходил из дому и встречался с Божилом на Театральной площади, возле «Механического» театра. Это было необыкновенное заведение. На глазах у людей, разинувших рты и развесивших уши, турки бились с греками при Миссолунги, — пушки изрыгали снопы бенгальского огня, ядра сыпались, как горох, и человеческие головы, свистя, пролетали над сценой. Спектакли завершались фейерверком и скачкой на ученых конях. Голодный червяк мучительно шевелился в животе Христо, когда «Механический» театр, освободившись от зрителей, вдруг терял свое временное очарование, превращаясь в то, чем был на деле, — в пустой и темный холодный балаган. Чтобы посещать этот балаган по воскресеньям, Христо не обедал два раза на неделе. С Театральной площади друзья отправлялись в Казенный сад...

...Дождя уже не было. Но густые мокрые облака еще беспокожно бродили по небу. Воздух в саду холоден и сыр. Припахивало гнилым листом. Ноябрьский ветер метался между кустами старой сирени, трепал и гнул причудливо-извилистые стволы акаций, и мелкие капельки ледяной воды густо сыпались с их голых ветвей. Только три пункта в Казенном саду были людны: у ресторана, у павильона минеральных вод и еще там, где маленький, сморщенный, обезьяноподобный итальянец Кароссо изумлял публику непостижимостью своих фокусов. Итальянец — вечный центр оцепенелой толпы мальчишек, нянек с детьми и хозяек, только что бегом тащивших домой живую рыбу с греческого базара и вдруг позабывших про кухню и обед. «Восточный вопрос», «Дамские капризы», «Тайны сердца», «Крест и могила»... не оторвешься! Однако Христо и Главанаков шли мимо, дальше и дальше, постепенно забираясь в глухую чащу сада, где, кроме звонкого воробьиного писка, не слышен был ни единый звук. Как братья от разных отцов и одной матери, никогда до сих пор не видавшие друг друга, они сошлись и сдружились почти мгновенно — не сами, а далекая родина свела их и подружила. Христо знал Россию только по рассказам отца; Главанаков судил о ней по Одессе. Зато Христо был полон той живой памятью о Болгарии, которую начинал постепенно утрачивать Божил. Естественно, что святые болгарские чувства были главной темой их бесед. А так как олицетворялись эти чувства всего

выразительнее и полнее в необыкновенной фигуре Раковского, то о нем-то именно и говорили друзья всего больше. Главанаков слышал, будто Раковский переехал из Сербии в Румынию. Зачем? Христо твердил: уж, конечно, не затем, чтобы сидеть в Бухаресте, пожиная плоды революционной своей славы, — конечно, не затем! «Ах, что еще будет!» И о том слышал Божил в доме Тошкова, что сербское правительство вновь начинает помогать болгарским революционерам. Только переходить турецкую границу пока еще им не позволено.

— Ах, что еще будет!

Да, это не сражение при Миссолунги в «Механическом» театре и не проволочный фокус итальянца Кароссо под названием «Восточный вопрос». Это — другое, настоящее. И буйные мечты о том, как сыщется наконец «едно болгарче», чтобы вмешаться в борьбу и вверх ногами поставить турецкий мир на Балканах, овладевали фантазией Христо. Пусть же станет этим «болгарче» не иной кто, как сам он, Христо!

...Сердечная память о родине и тихая боль мыслей о ее злосчастной судьбе грубо и глупо обрывались на уроках. Из учителей допироговских времен мало кто оставался в гимназии. Только и новые были не лучше старых. Ботанику проходили по учебнику Декандоля. Уроки состояли из бесконечного перечисления тычинок, пестиков и лепестков. Минералогия занималась перечислением цветов — голубоватый, розоватый, синеватый, фиолетовый, кармазинный, кошениле... Лишь самые тупые не понимали, как это бесполезно. Томительная скука одолевала и умников и дураков. Тогда начинались шалости. Перед уроком потолок над головой учителя украшался лепкой из снеговых комков. К половине урока в классе становилось теплее, и на голову учителя сыпался, все усиливаясь, ледяной дождь.

Так веселилась мелюзга. Развлекались и «гусары» — на собственный свой лад. Воспитанники Одесского коммерческого училища носили странную, очень почему-то их обижавшую кличку «саламингосов». Никогда не было случая, чтобы в уличной драке, один на один или дюжина на дюжину, удалось маленьким трусливым «саламингосам» одолеть мужественных «гусар». Бои всегда кончались решительной «гусарской» победой и гибелью бегущих с поля «саламингосов». Победенные не защищались, отлично зная, что пощады нет. Так развлекались «гусары»...

...Христо не участвовал ни в шалостях своего класса, ни в уличных боях. Далеко уходя силой воображения от мелких затей третьеклассников, он не приближался и к дикости «гусарских» потех. Но где же все-таки то веселье, без которого нельзя существовать человеку на земле? Христо бывал прежде весел — и в родительском доме, и в школе, и в хайдутских играх с Симо, и в орешнике, близ Доймушларе, и мало ли где еще беззаботен и весел бывал он. Но то — Калофер. А здесь? Главанаков никогда не бывает здесь весел. Так и вырос он без смеха в звенящем от хохота городе, в Одессе. Так и живет без улыбки под сонной ферулой господина Мироновича Тошкова, одесского бургомистра. И Христо безжалостно давил в себе порывы веселья. Не надо! Он тоже болгарин! Он тоже приехал сюда учиться. Он должен прилежно сидеть на уроках, чтобы добыть себе настоящее образование и оправдать надежды отца...

Только Христо еще не знал себя. Да, он хочет учиться. Но вместе с тем он видит и другое, — как уныло бездарна гимназическая наука, — хорошо видит и понимает. Лишь одно светлое, как бы солнцем радостного смысла озаренное пятно сияет на угрюмом гимназическом небе. Это учитель русской словесности Шугуров. И откуда взялся в Одесской второй гимназии такой преподаватель? Михаил Федорович Шугуров был человек семинарской повадки — лохматый дуболом с круглым и румяным,

как помидор, лицом, не знающий, куда девать руки и как полегче ступить, чтобы скрипу было поменьше. Таков-то он был в учительской комнате, да и везде, где молчала речь о литературе.

Но когда заводилась такая речь, коллежский ассессор Шугуров преображался. Белым сиянием вставали волосы над его головой, румяное лицо бледнело, а серые глаза наливались огнем, ноги становились упругими, как пружина, и руки резали воздух на огромные куски. Иной раз Михаилу Федоровичу делалось тесно в классе. Тогда он выводил учеников в гимназический зал. Он устраивал в этом зале литературные чтения — великолепное дополнение к классному преподаванию. Громким, взволнованным голосом читал он здесь григоровичского «Антон Горемыку» и тургеневскую «Муму». Христо слушал, зажмурив глаза, и от этого с необыкновенной ясностью представлялось ему читаемое, — слушал, раскаляясь, как уголь в печке, от летучего наплыва ослепительно ярких и горячих мыслей. Читали вслух и ученики. Потом обсуждали прочитанное — говорили о русской народной душе, о русском уме, о русской вере в будущее, о природе русской, вдруг открывающейся, подобно откровению, в искусстве.

На чтениях Христо впервые услышал имя Белинского, впервые увидел в руках Шугурова толстые книжки петербургских журналов. На чтения приходила любопытствующая публика из города. Ученики гордились: как у нас! Сторонние посетители платили за вход на чтения. Собранные таким способом деньги расходовались в помощь нуждающимся ученикам. Вот каков был старший учитель Шугуров! И Христо влюбился в Михаила Федоровича. Ждал его уроков с таким же точно трепетом, как, бывало, Райну в орешнике по вечерам. Смотрел на него и не мог насмотреться. Прятался за выступы коридорных углов, чтобы лишний раз взглянуть на него, когда шел он из класса в учительскую, окруженный беснующимися малышами, и уже не вдохновенно прекрасный, а неловкий, тяжеловесный и совсем-совсем простой...

По подсказке Шугурова гимназическая библиотека выписывала петербургские журналы. И Христо, набравшись духу, осадил учителя на перемене.

— Молю...

— Что-с?

Христо чуть тронул торчавшую из-под локтя Шугурова заветную сбложку.

— Молю...

— Что-с? Потрудитесь-ка...

— Очень прошу... Библиотека выдает только ученикам старших классов...

— И правильно делает.

— А я...

— А вы в третьем.

От безмятежно румяного лица учителя тянуло влажным холодком, точно от белья, когда оно сушится на веревке, протянутой вдоль заднего двора. Шугуров повторил:

— В третьем. На себя пеняйте-с!

Мало того: уже ступая дальше, обернулся, слегка побледнев, и добавил на ходу:

— Всяк сверчок знай свой шесток. Закон-с!

И остался Христо на месте с изумленным страданием в широко раскрытых огненных глазах, неподвижно глядя вслед человеку в синем вицмундире, грузно шагавшему к учительской комнате посреди толпы скачущих малышей. Что же это? Словно дым под ударом ветра, разлетелась, рассеялась радость чувств, которые отдавал до сих пор Христо

Шугурову. И с нежданно мучительной болью обозначилась грубая фальшь в собственном положении Христо. Смешным, ох, смешным должен выглядеть взрослый болгарский юнак в жалкой ролишке... русского гимназиста-третьеклассника! Но что же это все-таки, а? Сказано: всяк сверчок знай свой шесток. Сказано: закон. А пусть-ка идет к шайтану такой дурацкий закон!

* * *

Пьяненький патриот Стукальчиков давно уже вышел из гимназических надзирателей в отставку. А надзирательское место занимал немец Паули — коренастый старик лет шестидесяти, с деревянной ногой и в вонючем парике. Он так скверно объяснялся по-русски, что понять его было почти невозможно. Да и говорил-то несусветную дичь. И все же «гусары» слушали с упоением. Заносчиво выставив вперед деревяшку, немец врал, будто имел в Германии шестнадцать дуэлей из-за любовных интриг с принцессами, в Англии катался на зеленых лошадях какого-то герцога, а по Ладожскому озеру — в лодке вместе с Екатериной Второй. Один из слушателей, высокий юноша с мечтательным выражением детского лица, спросил:

— И очень вас государыня любила, Карл Францыч?

— О! — отвечал Карл Францыч, улыбаясь и делая перед собой деревяшкой широкий полукруг.

— И много серебра вам дарила?

Карл Францыч перестал улыбаться.

— Ну-н,— с пренебрежением сказал он,— золото лучше, нѣчем сребро.

— Кто лучше, нѣчем сребро? — вмешался какой-то насмешник из «гусар».

— Лучше,— подхватил другой.

— Зачем золото лучше, нѣчем сребро?

— Нѣчем...

И тут пошла такая неразбериха и чепуха, что Карл Францыч только пунцовел от гнева и бил по земле деревяшкой, а «гусары» помирили со смеху.

До истории с Шугуровым, Христо не был любителем подобных потех. А теперь стал им. Начал пропускать уроки, даже шугуровские. В «Механический» театр забегал и в будние дни. На дерзких и насмешников ходил с кулаками. И только в кровопролитных боях с «саламингосами» по-прежнему не участвовал. Этим удалось ему завоевать среди них, слабых и трусоватых, такой авторитет, что однажды явилась к нему от «саламингосов» целая делегация, всячески упрашивая его — сильного и смелого — быть их воеводой и вождем. Смешно? Нет, отчего же...

Закон! Как ни презирали «гусары» мудрого Солона, относясь с уважением к одним лишь воинственным спартамцам, а все-таки гимназический закон тоже заявлял о себе. *Dura lex sed lex*¹. Закон вступал в силу по субботам, после уроков, когда в большую пансионскую залу приходил инспектор Минаков в сопровождении солдата Никифора с розгами в руках. Как было до Пирогова, так осталось и после его реформы: день субботний по-прежнему был днем порок. Солдат Никифор ставил посреди залы сѐамейку и клал на нее пучок розог. Усы и брови у Никифора торчали, как щетина на сапожной щетке. Жил он в полутемной каморке, у самых отхожих мест.

— Переезжай на Дерibasовскую,— шутили шалуны.

— Ни,— сурово отвечал солдат,— где поселен, там и живу.

¹ Жестокий закон, но — закон (лат.).

— Да зачем тебя здесь поселили?

— Чтобы злей был!

Как только Никифор заканчивал приготовления, команду принимал на себя «гасильник». Так звали в гимназии инспектора Минакова. Это был сухопарый человек с бледным лицом в бородавках и прямыми, как солома, волосами. Необыкновенны были его большие блестящие уши и совершенно оловянный взгляд, без какого бы то ни было человеческого выражения. Глаза всегда смотрели в угол. А на того, с кем говорил Иван Петрович Минаков, они не смотрели никогда. Трудно сказать, каким образом гимназисты узнали: однажды, произнося речь на педагогическом совете, Иван Петрович постепенно пришел в неистовство, ударил себя в грудь кулаком и завопил:

— Я — гасильник! Я — гасильник!

Что он гасит? Как? Сразу никто не понял. Но постепенно выяснилось.

— Никифор, ты пьян!

— Никак нет, ваше скородие!

— А розги не тонки у тебя?

— Первый сорт, ваше скородие: двои сутки в соленой воде лежали...

— Ну хорошо... Чья очередь по алфавиту?

— Моя!

— Снимай штанишки, ложись!

«Гусар» выступал из рядов, принимал равнодушный вид как бы совсем постороннего человека, двумя ловкими движениями спускал штаны и ложился на скамью. Начиналось сечение. Грубое, морщинистое лицо Никифора после десятка звонких ударов зарумянилось на скулах. Глаза его расширялись в зрачках, и удары начинали зловещим образом посвистывать. Но «гусар» был чудовищно терпелив и не издавал ни звука. Инспектор выпрямлялся, присанивался, даже подносил к глазам лорнет, болтавшийся вдоль его живота на широкой черной ленте. В такие героические минуты «гасильник» становился мягок и ласков.

— Снимай, снимай штанишки, — говорил он следующему, — ложись, не бойся!

Но следующий не был «гусаром». Он трепетал от страха, и поведение его имело ярко выраженный фарисейский характер. Судорожно хватаясь за пояс штанов, он все еще на что-то надеялся.

— Не сердитесь, Иван Петрович, — умоляюще говорил он «гасильнику», — пожалейте себя. Ведь вам это очень вредно. Взгляните, господа, как Иван Петрович побледнел. Правда? Ведь вы же будете нездоровы, Иван Петрович... Ради бога, не сердитесь...

Но «гасильник» не поддавался на эти грубые уловки: мало того, при виде жалкой трусости фарисея он вновь свирепел.

— Так не сердь же и ты меня, собака! — яростно восклицал он и тут же приказывал Никифору. — Чтобы помнил! Слышишь?

Розги свистели, свистели... казалось, свисту не будет конца. Утомленный Никифор опускал их к ногам и обтирал рукавом красное лицо.

— Бил, покеда заморился, — хрипел он, облизывая горячим языком сухие губы...

...Обычно фарисей оказывался мозгляв, слаб телом и духом: вечером он не мог ни лечь, ни сесть, а стоял, прислонясь к печке, и трясся так сильно, как если бы приключился с ним пароксизм самой жестокой лихорадки. Тогда выходил из темноты своей каморки Никифор, растопырив перед собой руки с наброшенной на них старой, залатанной, обожженной по краю пол и вонючей солдатской шинелью. Он медленно приближался к избитому фарисею, имея в виду закутать его в свою шинель и тем помочь согреться. Но, еле завидев солдата, фарисей кидался в сторону. Никифор обиженно качал головой.

— И чего вы, барин, брезгаете? Чай, шинель-то царская..

...Болгары были освобождены от телесных наказаний. Однако обязывались на них присутствовать. И от этого как бы в густой черной клей погружалась душа Христо. «О лучезарная Русия! — горестно думал он, глядя на субботнюю порку. — Где ты?» Рушились воздушные замки; как пыль, подхваченная ветром, разлетались мечты. «О лучезарная Русия! Где же ты, где?» Христо пока еще не догадывался, что Россия — не Одесская гимназия, народ ее — не Никифор, а жизнь — не «гусарский» ералаш. Но догадаться об этом ему непременно предстояло...

Глава восемнадцатая

Первый скандал

Когда Христо приехал в Россию, острые ростки нового торчали здесь над заскорузлой поверхностью старины положительно на каждом шагу. Польское восстание уже кипело. Но и герценовский «Колокол» еще гудел в полную мочь. На хитрых подцензурных статьях Чернышевского воспитывалась смелая молодая мысль. Прокламации гуляли по стране. Крестьяне волновались. Студенты требовали прав. Словом, Россия плавала в свежем утреннем тумане шестидесятых годов.

Два с половиной года тому назад был отставлен от должности попечителя учебного округа знаменитый Пирогов. Он ушел, а розги остались. Выпускник Кошиц, славившийся на всю гимназию своими математическими способностями, дал Христо для прочтения два номера «Современника». В них нашлись замечательные статьи, — Христо прочитал их с тревожным восхищением. Одна называлась: «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами»; другая — «От дождя да в воду»¹. Ну и досталось в них Пирогову! Правда, старик допускал применение розог лишь в самых крайних случаях. Но статьи «Современника» казнили его и за это. Кто же прав — Пирогов или автор статей? Теперь, когда «гасильник», не обинуясь, стегал гимназистов за все про все, вывод был, кажется, ясен. Из мягкой условности пироговских правил «гасильник» выводил для себя безусловное право стегать. И вот именно это, а не что иное предвидел Добролюбов в своих статьях...

Христо отыскал Кошица, чтобы вернуть ему книги. Семенце сидел, низко склоняясь над разбросанными по столу бумагами. Широкая спина его заслоняла и бумаги и стол.

— Что ты делаешь?

Семенце поднял на товарища серьезные серые глаза.

— Вычисляю хорду в единицах дуги.

Христо засмеялся.

— Чему ты?..

— Думаю: если общая цель всех наук — служить благу человечества, то как послужит его благу твоя хорда?

Семенце не стал спорить: «Цыплят по осени считают...»

— Ну что? — спросил он, показывая пальцем на томики «Современника».

— Замечательно!

Христо выражался по-русски шибко и смело.

— Говори каждый, что хочешь, а я скажу: умереть за отечество славно, но быть за него высеченным — самая настоящая гадость...

¹ Статьи Добролюбова («Современник», 1860, № 1 и 1861, № 8) по поводу «Правил о поступках и наказаниях учеников гимназий Киевского учебного округа», изданных попечителем Пироговым («Журнал для воспитания», 1859, № 11).

Вскользь брошенная болгаринном острая мысль задела Семенца, царапнула его как раз по тому, что было ему особенно любо. А любил Семенце и степь, и леса, и горы, и чумаков, и базар, и кучи арбузов, и запах дегтя, и баранки, и пороги на Днепре, и мгlistый берег бесплодно соленого Сивашского моря, и, главное, то светлое и радостное, что неминуемо должно было изо всего этого со временем возникнуть. Он знал, что возникнет, ибо верил в Россию и крепко любил ее. Христо же видел Россию только из гимназического окна — тысячи «гасильников» и никифоров на гигантском болоте, в котором все гниет и расплзается врозь. Он судил о России лишь по гимназии, не знал и не понимал России. А Семенце судил о гимназии по тому, как мало она была похожа на всю остальную, хорошо ему известную Россию. И трудно было бы друзьям сговориться, не приди к ним на помощь «Современник»...

Откуда попадали в Одесскую гимназию книжки этого петербургского журнала? Невозможно сказать. В гимназической библиотеке, составленной Шугуровым, их не было. Между тем «Современник» имел самых усердных читателей среди одесских гимназистов. Кошиц и Христо были в их числе. Христо вел странную, двойную жизнь. Уже третий месяц переводили ученики в его классе отрывки из Софокловой «Антигоны», и он — вместе с ними. Занятия эти томили бедных переводчиков, как мучительно удушливый, бесконечно затянувшийся сон. И уж если кошицевская хорда ничем не служила благу людей, то чего ожидать от Антигоны? Но вот кончались классы, и Христо хватался за «Современник». Он перелистывал одну за другой статьи Н.-бова¹ о Тургеневе, Островском, Достоевском, Гончарове. Его радовало страстное отношение их автора к общественному интересу, восхищал их яркий тон. Да, литература — великое дело, ставящее перед собой громадные общественные и нравственные задачи. Иные места в статьях Н.-бова Христо читал и перечитывал до тех пор, пока они не затвердевали в его памяти неизгладимым рубцом. Извлекая из них то одну, то другую вещь мысль, он видел с восторгом, как его собственное разумение окрылялось их силой, и повторял и лелеял их, готовясь пронести через целую жизнь, «Нёт, при всех неблагоприятных обстоятельствах человек всегда может найти, чем наполнить свое существование, если он обладает не только здоровым характером, но и твердостью убеждения. Здоровье может пошатнуться и пасть, но убеждение всегда останется и поддержит человека как в его борьбе с судьбой, так и среди житейской пустоты...» Христо быстро созревал для принятия таких убеждений. И они пришли к нему из того же «Современника», когда в мартовской книжке этого журнала за прошлый год случилось ему прочитать роман Чернышевского «Что делать?».

Читая роман, Христо испытал точь-в-точь такое же наслаждение, какое испытывает истерзанный жгучей жаждой человек при первом глотке воды. Наслаждение это было вместе с тем и радостью. Оно освежало душу, выводило ее на широкие просторы вновь постигаемого мира. И еще что-то делало оно с душой, от чего как бы электрической искрой пронизывался человек, как бы молния разрывалась над его головой в ослепительном блеске, и тогда, внезапно разглядев вокруг себя со всей ясностью мир и совершающееся в его близких и дальних пределах, шел человек вперед с устремленными прямо перед собой верными очами. Новые убеждения Христо, почерпнутые из романа, олицетворялись для него главным образом в загадочной фигуре Рахметова. Рахметов... Рахметов... Чем бы ни поступился Христо, лишь бы походить на Рахметова, сильного, смелого, справедливого, уходящего на великий подвиг — куда? Роман не давал ответа. Но воображение отвечало...

¹ Н. А. Добролюбов.

Как-то Семенце рассказал Христо историю Бахметева, выгнанного из последнего класса гимназии за неперемное желание до всего доходить собственным опытом. К истории этой Семенце добавил от себя где-то им услышанное, будто Бахметев потом и вовсе ушел из России. Христо был поражен сходством фамилий легендарного гимназиста и героя «Что делать?» — Рахметов — Бахметев, Бахметев — Рахметов... Случайность? Может быть. Но не правильнее ли предположить, что сходство лишь начинается на фамилиях, а кончается где-нибудь на дальнем-дальнем краю света и на таких необычайных делах, о которых автор романа хоть и знал, да сказать не мог ни полслова? Вот о чем думал теперь Христо, и от мыслей этих отвращение его к «Антигоне» становилось непобедимым...

* * *

После столкновения с попечителем Пироговым характер карлика с лвынсьй головой заметно изменился к худшему. Нечайский и прежде не был добр или ласков с учениками. Теперь же стал и зол и груб.

— Эй, водовозы!

Вызвав ученика к доске и словив на ошибке, гнал прочь:

— Ходи в угол, неуч!

Изменилось и отношение Нечайского к Кошицу. Стоило Семенцу запнуться при ответе, даже просто замедлить ответ, а уж карлик цедил сквозь клыкастые желтые зубы:

— Мужиковина!..

Не мстил ли он Кошицу за свою неудачу? Возвращаясь домой из гимназии, Нечайский, как и раньше, наскоро обедал, а затем ревностно принимался за ночную работу. Свеча нагорала, чадила; слабо рдея, плавал в жидком сале косматый фитилек; огонь подпрыгивал над ним и качался. Вместе с огнем размашисто металась по серой стене черная тень от головы учителя. Нечайский теперь не писал. Приставив палец ко лбу, с горящими глазами, с едкой усмешкой на стиснутых губах, он перечитывал уже написанное. Черная тень плясала на стене, то сжимаясь в комочек, то вновь разрастаясь в огромное пятно. Нечайский вырывал из рукописи листы — один, другой, третий — и медленно подносил их к свечке. Пламя взвивалось, вихрилось. Огненные стаи бумажных бабочек, тихо дотлевая на трепетном лету, оседали вниз. А Нечайский все рвал и рвал, жег и жег страницы, на которых мелькал образ его недавнего друга Кошица, ломал, и корежил, и вверх дном переворачивал волшебное нутро своего фантастического романа...

Изредка к Кошицу приходили письма из дому. Он получал их от чумаков, привозивших в Одессу пшеницу и увозивших из нее соль. Чумацкий обоз состоял обычно из двух-трех десятков тяжело груженных телег. Каждую тащили крупные, сильные лошади, запряженные тройками. Самый воз походил на большущую копну сена. Лошади шли мерным шагом, а рогожная копна тихо качалась, слегка вздрагивая, когда колесо попадало в неровную колею. Вozy поскрипывали. Лошади лениво отмахивались хвостами от назойливых мух. Пахло дегтем... Христо много раз видел чумаков с их обозами. Он знал, что отец Кошица — простой украинский казачина на крестьянском уряде, но представлял это себе не просто. Мерещился ему Семенцев отец то в виде лихого терского станичника, который, ловко закинув левую руку за спину и уцепившись ею за тонкий ременный пояс, а правую вздевает над головой, быстро кружится в лезгинке на самых кончиках ступней; то в виде толстого, как чурбан, с седыми усищами по брюхо запорожца. Лермонтов и Гоголь заслоняли старого Кошица от Христо. Между тем старик уже ехал из-

под Киева в Одессу с чумацким обозом — ехал, ехал и наконец вместо очередного письмеца из деревни явился к сыну сам...

...У гимназических ворот остановилась крыса-лошаденка. Из саней вышел человек с длинным лицом и большим прямым носом. Одет он был в чекмень с плисовой оторочкой, из грубого коричневого сукна, и в выростковые сапоги с заплатами в ладонь. Дюжины две деревянных обручей висели у него через плечо — видно, заезжал по пути в бондарню. Привязав лошадь к дереву, он осторожно двинулся по двору к подъезду и, малость не дойдя, снял шапку, как перед церковью, истово обнажив высокий лысый лоб. За стеклянной дверью подъезда маячила сонная фигура швейцара Ананьича в галунной фуражке. Швейцар не видел мужика. «Бис его батьку знае, кто вин таков, — тревожно гадал на его счет старый Кошиц, — а уж верно, поди, чиновенство...» И он низохонько поклонился. Неизвестно, когда бы заметил приезжего подслеповатый Ананьич. Но множество учеников, сбежавшихся на перемене в вестибюль, закричало:

— Ананьич! Ананьич! Глядь, что за урод, — куры пугаются...

Тогда швейцар распахнул широкую стеклянную дверь.

— Чего надо-ть?

Все множество учеников, столпившихся в вестибюле, ахнуло, услышав ответ «урода» на суровый вопрос. Отец знаменитого математика Кошица... Ну и отец! Да разве бывают на свете такие отцы? Мелкое самодовольство приятной волной прошло по маленьким сердцам. Правда, не было среди учеников второй гимназии аристократов, да и простых дворянчиков было не так уж много, — больше чиновничьи, торговецкие, ремесленничьи дети. А все же народ городской, не деревенский; да и город Одесса не Тараше чета; и таких отцов, как Семенцев, впрямь у здешних гимназистов не бывало. По лестнице вниз, к входным дверям, прыгая разом через две-три ступеньки, катился нескладный увалень, долговязый Семенце. Лицо его полыхало огненным цветом радости, глаза лучились счастьем. Он неудержимо рвался к отцу и с разбегу надел на старика, обхватив обеими руками его черную морщинистую шею и крепко вжавшись щекой в грубое сукно чекменя...

А вот и карлик с лвиной головой медленно вышел в вестибюль, чтобы, закончив уроки, держать по обычаю путь домой. Но здесь Нечайский застыл — замер в своей форменной кургузой шинельке с высоко поднятым воротником. Бурная встреча сына с отцом, которой насмешливо любовалась ученическая мелюзга, была и для него весьма небезразлична. «Таков-то казак на мужичьем уряде с-под Киева, — злобно думал он, разглядывая старого Кошица, — таков-то батька Семенцев! И для подобной серой мужиковины тружусь и о великости дней ее будущих мечтаю. Зачем? Чтобы грязному тарашанцу сыном славиться, а мне в Лету нырять? Слуга покорный... Экое окаянство, тьфу!» Выразить свою мысль яснее Нечайский не мог, а может быть, и не хотел от нее большей ясности. Уже перестав быть его героем, Семенце до последней минуты все еще оставался чем-то дорог карлику. А сейчас и это отпало. Старый Кошиц наносил фантазиям Нечайского завершающий, сокрушительный удар. Оскорбленный карлик затрясся от злобы и, гневно надвинув фуражку с кокардой на седые брови, быстро вышел из подъезда во двор...

В тот день вечером отец и сын Кошицы долго ходили по городу. Старик удивлялся великолепию одесских домов. Особенно поразили его колоннады, балконы и блеск магазинных вывесок в начале Екатерининской улицы, от площади направо и налево. Впрочем, стройные ряды колоннад поднимались и у множества иных зданий — у думы и музея, у лавок на старом и новом греческих базарах. Перед памятником гер-

цогу Ришелье на бульваре чумак остолбенел. Семенце глядел на отца с глупым чувством самодовольства, бог весть откуда возникшим. «Сейчас спрашивать будет, а я — объяснять!..» И старик впрямь спросил. Только не о том, на что готовился отвечать Семенце.

— А чего ж он руками-то?

Действительно, герцог разводил с постамента руками: левая, к стороне присутственных мест, держала сверток бумаг, а правая показывала на море.

— Не знаю,— сухо сказал Семенце.

Старик ухмыльнулся.

— А дюже то, сынок, просто.

— Ну?

— Як маешь судиться, так лучше в море утопиться... Вот!

И, нахлобучив на голову снятую перед памятником шапку, точно большим вороньим гнездом прикрывшись, тарашанец зашагал прочь с бульвара, торопясь на постоянный — кормить лошака.

...Ученики решали тригонометрическую задачу. Это была очень сложная задача — для ее решения требовалось знать наизусть много формул. Ученики пытели, кряхтели и в отчаянии почесывали затылки. Семенце изловчился: допустив, что ответ уже получен, он начал воссоздавать все формулы от ответа вплоть до условия и, покончив со всем этим, довольно скоро отнес решение на кафедру. Живо проглядев испещренный формулами листок, Нечайский сердито сказал:

— Это не решение, господин Кошиц, это фокус. Для решения надо вести рассуждение с начала, а не с конца. У вас — наоборот-с!

Он был прав: Семенце поступил не так, как сделал бы всякий другой на его месте. Зато ведь никто другой и не сумел бы сделать, как он.

И сам он понимал это, и карлик не мог не понять.

— Теперь мне легко переписать все формулы в обратном порядке,— тихо проговорил Семенце.

— Нетрудно,— подтвердил карлик.

— Значит...

Но тут случилось нечто поразительное — такое, что весь класс обомлел. Уж не взбесился ли старый учитель? Нечайский вдруг прыгнул с кафедры и, неистово махая руками, заметался по классу.

— Значит... значит...— с яростью повторял он последнее слово Семенца,— а вот я сейчас объясню тебе, Кошиц, что это значит. Слушайте же и вы, водовозы! Слушайте! В другой раз ни от кого не услышите,— закричал он, повертывая малиновую рожу к ученикам,— ни от кого! Это значит, что пришло такое подлейшее время, когда грязным ножищам в смазных сапогах никто не препятствует больше разгуливать на свободе по чистому полю светлых наук. Стоит перед нами деревенский вахлак Кошиц. Хорош! Хорош! Отца его видели? Голову кладу на плаху, что старика не единожды драли по барскому приказу плетью на конюшне. А сынок норовит оседлать высочайшее из человеческих знаний — математику; так задачи решает, чтобы рот разинулся у самого великого господина Лагранжа. Вот до чего мы дожили, водовозы!..

Пробегая мимо Семенца, карлик метнул в него кипящий ненавистью взгляд. Семенце отступил к доске и ухватился рукой за стояк. Ему казалось, что колени в его ногах надломались и пропали и что весь он висит каким-то непонятым образом в воздухе. Он опустил глаза, чтобы увидеть ноги, но рассмотрел только кончик своего носа и поразился: кончик носа был зеленый. Сердце Семенца билось редко и слабо, а в груди было холодно, как в погребке.

— Дожили...— продолжал метаться и размахивать руками Нечай-

ский,— дожили... А пожалуй, скоро еще и такое увидим: проснемся на рассвете утром, подойдем к окну, а за окном громыхает обоз золотарей. И на первой же бочке — золотарь с фонарем. Сидит и читает «Гром и молнию» Араго. Ха-ха-ха!.. А? Увидим? Ха-ха-ха!..

Еще минуту или две хрипло хохотал карлик, отплеываясь в платок и отирая со щек мутные слезы. Мертвая тишина придавила класс. Наконец смолк и карлик — медленно поднялся на кафедру, сел на стул и опустил на грудь громадную седую голову...

* * *

«Будь горд, не преломляй естества своего...» Не забыл и ввек не забудет Семенце этих давних слов Нечайского. Хоть и свергся теперь бедный юноша вниз с высоты, на которую вташил его учитель, хоть и пришел конец его радужным надеждам и бестрепетной вере в будущее, а естество Семенца все же не преломилось. Только жил он теперь на земле. Правда, над землей этой не было ни неба, ни солнца. Правда, это была темная, глухая земля. Но земля. И зажил на ней Семенце по-земному. Вдруг ослабела в нем любовь к математике, и гордиться своими редкими математическими способностями, то есть самим собой, вдруг перестал он. Утратился в нем дух находчивости, и жар особого разумения погас. Не мечтал он уже больше и об открытиях в высокой науке, а все думал и думал о том, как же дальше жить на земле, которую пашет его отец, как быть дальше с людьми, истоптавшими в корень жнитво, над которым гнется его мать в три погибели. Раньше мысли его были светлы и открыты перед всеми. А теперь, угнетенные, прятались глубоко-глубоко. И так, оставаясь на вид все тем же, сделался Семенце совсем другим. Что ни праздник уходил он из гимназии в отпуск. Куда? Возвращался усталый, бледный, полный задумчивости и таинственной тишины, словно приносил с собой трудно добытое, никому не ведомое счастье...

Иногда Христо принимался бранить Нечайского.

— Думал — умный старик. Думал — беспристрастный. А он...

Семенце возражал.

— Да он и есть таков.

— Говори, что хочешь, — спорил Христо, — а по-моему, помесь Дон-Кихота с Гамлетом! Романтическое наваждение вместо беспристрастия...

— А что ты зовешь беспристрастием? — спрашивал Семенце. — Я — честность убеждений. Другого беспристрастия не бывает, и говорить о нем нечего. Старик же в убеждениях честен. Значит, и беспристрастен. Только убеждения его безобразны. Запишем это в его политический кондуит. И все!

Христо задумывался. Горячка его мыслей о Нечайском вдруг остывала. Как не согласиться с Семенцем? Однако оставался пункт, в котором он не мог уступить, смертельно оскорбленный за друга и страстно желавший восстановления справедливости.

— Как — все? Или ты думаешь, что делу конец?

— Думаю.

— А я предсказываю, — твердил Христо, — что конец впереди. Еще будет... Будет... Сам увидишь!

Что же именно будет — этого он не знал.

Влияние любимого товарища походило на силу внушения. Христо все больше и больше отдавался воздействию со стороны Семенца. Все ему нравилось в нем — радовало, как совершенство, которому хочется подражать. И сама непоколебимость его внутреннего достоинства, лишь резче обозначившаяся после истории с карликом, приводила молодого болгарина в восторг. Можно быть красивым или некрасивым на

тысячу ладов. Выразительный образ друга привлекал Христо спокойствием мужества. А разве красота и мужество не одно и то же? Семенце был старше и дольше жил в Одессе. Он больше знал о том, что происходило в глубине городской жизни под внешними всплесками общественного недовольства. Откуда он знал об этом? Христо не спрашивал. Но именно от Семенца услышал об очень многом. Казалось, будто волны недовольства шли на низ, сглаживались, отливали. За обысками следовали аресты — люди исчезали один за другим, пропадали десятками. И наступала тишина — то, что казалось тишиной. Однако под ней ни на минуту не переставала биться сила скрытого сопротивления и дышать энергия неукротимой борьбы. Откуда это бралось? Семенце говорил, что в Одессе — склад оружия, собранного для восставших поляков, и что переправляется это оружие из города в Польшу каким-то тайным центром. Семенце обещал Христо ввести его в кружок одесских гимназистов, тайно обсуждавших способы улучшения горькой народной судьбы.

Все совершавшееся с Христо под влиянием его старшего друга происходило точь-в-точь по Писареву. С каждым бывает в жизни, писал критик, что какая-нибудь мысль или слово вдруг заставляют человека очнуться и приняться за внутреннюю перестройку, а тогда-то и начинается генеральное вышвыривание за борт всякого балласта, то есть начало того спасительного обновления, без которого невозможна разумная жизнь. Именно так, по Писареву, случилось с Христо. Толчков к обновлению было так много, что, едва научившись думать, он уже готов был принять самое горячее участие в ликвидации всех старых понятий, порядков и форм жизни. Непреодолимым препятствием на этом пути стояла гимназия. Казенная форма была тесно сшита и давила Христо. Выбежав за гимназическую ограду, он становился приветливым, ровным в обращении, веселым, отзывчивым юношей. И первый же взгляд на его сильную фигуру открывал в ней то особое изящество, которое придается человеку его естественной простотой. Но стоило ему очутиться внутри желтых стен, как во главе всегда шумной, всегда недовольной ученической толпы появлялся самый буйный, самый неудержимый протестант — Христо. Рахметов нес в себе глубокую веру в скорую «перемену декораций». И Христо тоже окрылялся уверенностью в скором, очень скором наступлении лучшего будущего. Чего он ждал, что видел впереди? По мере того как из книг и журнальных статей перекочевывали в его сознание разные поразительные мысли и, покружась, плотно укладывались одна к другой, взгляд Христо начинал проникать сквозь время. «Собственность есть воровство». — «Первый человек, воткнувший в землю кол и объявивший его своей собственностью, был преступник». Учение, отвергавшее личную собственность, очень легко усваивалось теми, у кого собственности не было, то есть такими, как Христо. Язык юноши искал работы.

— Собственность есть воровство...

Рассудительный Семенце говорил:

— Попадешься на...

— На чем?

— На революционной пропаганде!

А Христо еще и того не знал, что свободное высказывание мыслей может называться революционной пропагандой. И никак не мог понять, чего боится Семенце, — все обещает свести его с тайным гимназическим кружком и все оттягивает, оттягивает...

(Продолжение следует)



ВЛ. ГНЕУШЕВ

★

НА СТАНЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕГОВОРНОЙ...

На станции одной переговорной
В тот вечер было шумно, как всегда.
Настойчиво, привычно и проворно
Большие назывались города.
И можно было видеть, как с разгона,
Едва успев сердито трубку снять,
Гудел седой мужчина о вагонах,
Грозил приказом номер тридцать пять.
Какая-то девчонка в рыжей шапке,
Прижавшись тесно к матери своей,
Кричала в трубку:

«Здравствуй, милый папка!

Ты приезжай, пожалуйста, скорей!..»
Минуты шли ни коротко, ни длинно,
Пока над нами кто-то не сказал:
— Тайга-12 — пятая кабина!..
И медленно стихает шумный зал.
«Тайга-12» — это ведь не Киев,
Не Ленинград и даже не Москва!
Тревожной жизнью веют вот такие
Далекие и странные слова.
Пусть без основания порою,
Но мы привыкли думать каждый час,
Что люди, там живущие, — герои.
Кому ж сюда звонят они сейчас?
И, чувство неприличья отодвинув,
Мы слушали, дышанье затая,
Как женщина, вошедшая в кабину,
Сказала тихо: «Здравствуй. Это я.
Да, получила все. И телеграммы...
Ну, так уж надо — сразу и ответ!
Была ангина у меня и мамы,
Причин, как видишь, для обиды нет...
Я в жизни не искала жизни сладкой,
Но ведь нельзя же полный ералаш.
Ты говоришь — отдельная палатка?
Палатка — это даже не шалаш...
Послушай, Толя, не пори горячку!
Куда мне ехать? Думай головой!..»
Она скривилась, словно от болячки,

Нажала кнопку и дала отбой.
Телефонистка из-за перекрытий
Звала, за жизнь далекую боясь:
— Тайга у аппарата! Говорите! —
Но, видно, прочно оборвалась связь...
И я представил, как беззвездной ночью,
Собрав рюкзак походный второпях,
Он шел в тайге по диким тропам волчьим
И на попутных ехал лошадях.
Осенний дождь висел над черной хвоей,
Он, кажется, весь мир собой накрыл.
А человек все шел.
И сам с собою
О самом милом с болью говорил.



ПУБЛИЦИСТИКА

А. ГУСЕВ

Доктор физико-математических наук

★

ЛЕДЯНОЙ КОНТИНЕНТ

К НЕВЕДОМЫМ БЕРЕГАМ

В эту ночь на корабле никто не спал — флагман первой советской антарктической экспедиции, красавец дизель-электроход «Обь», подходил к берегам таинственного шестого материка нашей планеты, к ледяным берегам Антарктиды. Собственно говоря, ночи не было. Пятый день января — разгар лета в Южном полушарии, и солнце, едва опустившись за горизонт, уже вновь вставало над просторами льда и океана, гоня вспять сиреневые краски сумерек, ненадолго появившиеся на севере горизонта.

Перед кораблем — скопление плавающих ледяных гор. Размеры их огромны — длина некоторых измеряется километрами, а высота достигает ста метров. Но это только малая часть гиганта; основная масса его погружена в воду до глубин в несколько сотен метров. Айсберги кажутся неподвижными, грани их обрывов переливаются зелеными и синими цветами всех оттенков. Лучи яркого солнца, ударяясь в отвесные стены льда и ослепительно белую поверхность снега на айсбергах, заставляют блистать алмазами весь этот сказочный мир. Но красота эта холодна и обманчива, за ней таится опасность. Айсберги незаметно, но движутся, и попавший между ними корабль будет раздавлен, как орех. Ледяная гора может оказаться подмытой снизу, и достаточно небольшого толчка или удара волны, чтобы она потеряла равновесие и опрокинулась, увлекая за собой находящееся рядом судно. Под водой у айсберга могут оказаться большие и острые выступы, и корабль, налетев на один из них, распорет корпус, и тогда гибель неминуема. Ледяные великаны точно сторожат подступы к Антарктиде.

На малой скорости мы осторожно пробирались, держа курс к еще не видимому матерiku. Он появился неожиданно в пролете между двумя айсбергами, туда и направилась «Обь». И вот цель нашего долгого и трудного путешествия перед нами. Ледяной купол, насколько хватает глаз, раскинулся вправо и влево, к востоку и западу, склоны его полого поднимаются к югу. Все застыло в безмолвии под яркими лучами солнца, и только холодный юго-восточный ветер, встретивший нас еще задолго до подхода к матерiku, упорно, не переставая, дует, точно стекая со склонов ледяного континента.

Антарктида — таинственный материк. Предвиденный учеными древних времен, он долгое время был загадкой. Немало отважных мореплавателей, повернув форштевень своих кораблей к Южному полюсу, годами бороздили угрюмые воды Южного океана в попытках обнаружить землю. Но все было напрасно, и многие, отчаявшись, переставали верить в существование шестого материка планеты. Лишь в двадцатом году девятнадцатого столетия двум кораблям русской антарктической экспедиции, возглавляемой Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым, удалось настолько близко подойти к материковым льдам, что в существовании южного континента с этих пор не могло уже быть никаких сомнений.

Много времени прошло с момента открытия Антарктиды, но люди до сего времени еще очень мало знают о ее природе. Только несколько экспедиций проникло в глубь

материка, были они кратковременными и проводились летом. Зимние условия на высокогорном плато Антарктиды до работ советской экспедиции оставались неизвестными.

Огромны трудности, которые ставит здесь природа на пути исследователей. Много жертв принесло человечество во имя изучения шестого континента. В результате героических трудов и упорства Р. Амундсен и Р. Скотт достигли в 1911—1912 годах Южного географического полюса. Экспедиция Скотта не вернулась. Она погибла от мороза и голода, застигнутая сильной пургой при возвращении, недалеко от промежуточной базы с продовольствием.

Южный полюс оказался не самой трудной для достижения точкой в Антарктиде, хотя он и удален от моря Росса почти на 800 километров и находится на высоте около 2800 метров. Если говорить о всей огромной площади материка, то центральные районы его находятся на расстоянии более двух тысяч километров от побережья. Ледяной купол в этих районах поднимается до высот, видимо, более 4500 метров. Таким образом, на пути исследователя Антарктиды наряду с обычными трудностями полярных районов встают еще и трудности высокогорья: бездонные трещины, свирепые морозы и ветры. Воздух на ледяном куполе сильно разрежен, и кислородное голодание валит с ног даже тренированного человека. Недаром эти районы, где не ступала еще нога человека, названы «полюсом недоступности».

И вот к этому-то матерiku, о котором пионер исследований Антарктики австралиец Д. Моусон писал: «Мы поселились на краю неизмеримого материка... Мы открыли проклятую страну, мы нашли царство пурги и ветров», — подошла «Обь» в памятный день 5 января 1956 года.

Советская экспедиция была одной из первых экспедиций, направлявшихся сюда в связи с подготовкой к Международному геофизическому году.

Почему именно Антарктида привлекает столь большое внимание в предстоящих исследованиях?

Этот далекий материк, окруженный бескрайними просторами Южного океана, обладает таким тепловым режимом, который обуславливает циркуляцию воздуха, а через нее и циркуляцию вод Южного полушария. В свою очередь эти процессы связаны с аналогичными в Северном полушарии. Таким образом, не постигнув законов, управляющих природными явлениями в Антарктике, мы никогда не познаем всех условий, формирующих климат и погоду в северной половине земного шара. Это относится к процессам, протекающим в морях, океанах и в недрах нашей планеты. Не изучив магнитного поля Земли у двух ее полюсов, мы не разгадаем тайн огромного магнита, каким является земной шар.

Вот почему так важно для геофизической науки исследовать последнее «белое пятно» на карте мира — Антарктиду.

...Выйдя из скопления айсбергов, «Обь» вскоре вынуждена была остановиться: перед нами лежала сплошная пятикилометровая полоса припая — морского льда, оставшегося от зимы и не оторванного еще от берега ветрами. Где-то в этих местах нам нужно построить береговую базу экспедиции — обсерваторию и поселок «Мирный», — так решили назвать ее в честь одного из русских шлюпов, участвовавших в открытии шестого материка. Дело было очень ответственным, от него зависели успех всех работ и судьба не только зимовщиков первой смены, которым предстояло жить свыше года на ледяном материке, но и судьба всех тех, кто должен будет работать здесь в последующие годы.

В американской экспедиции однажды произошел такой поучительный в этом отношении случай. Край ледника Росса, на котором расположилась их база, обломился, образовался огромный айсберг, измеряемый, очевидно, километрами. На этом айсберге все постройки и сооружения базы уплыли в океан. Хорошо, что в это время там не было ни одного человека, так как база была законсервирована на один год.

Где же лучше обосноваться? Мы вглядываемся в безрадостный пейзаж неприступного ледяного барьера и диких нагромождений ледопадов. Только в одном месте на склоне виднелась цепочка черных точек. Что это за камни? Быть может, валуны, принесенные ледником, или выходы основных скальных пород? Ответ на этот вопрос мог определить, где будет наша береговая база.

Меня вызвали к начальнику экспедиции М. М. Сомову.

— Ну что ж, Саша, — сказал Михаил Михайлович, — собирай свою группу лыжников и иди в разведку. Вам предстоит первым выйти на материк.

Еще вчера, вспоминая нашу совместную учебу в институте, Сомов, как всегда с улыбкой, говорил о моем затянувшемся увлечении альпинизмом. Сегодня, провожая нас, он заботливо просил предусмотреть все мелочи снаряжения, быть особо осторожными.

В состав нашей группы вошли В. Г. Корт, Г. А. Авсюк, К. К. Марков, П. А. Шумский, корреспондент «Комсомольской правды» П. Р. Барашев и кинооператор экспедиции А. С. Кочетков.

С высокого бака «Оби», под которым лед был попрочнее, мы спустились по штурмтрапу и сразу попали в оживленную компанию пингвинов. Пока судно маневрировало и становилось на ледовые якоря в припае, вереницы этих необыкновенно любопытных птиц стали собираться со всех сторон. Оживленно гогоча и размахивая крыльями-ластами, они спешили к кораблю, точно делегации с приветствиями. Скоро их можно было насчитать уже несколько сотен.

Миновав безмятежно спавших на льду тюленей, мы быстро побежали на лыжах в неведомый путь. Прежде чем подняться на ледяной склон, нам пришлось долго бродить среди лабиринта глубоких трещин. Вскоре выяснилось, что мы находимся не на основном массиве льда, а на айсберге, недавно отколовшемся, но, вероятно, сидящем на мели и не пустившемся еще в плавание. Это не предвещало ничего хорошего. Такая же участь могла постигнуть и другие участки ледяного склона. Видимо, лед стекал здесь сравнительно быстро, и образование айсбергов было систематически повторяющимся явлением. Ничего утешительного мы не обнаружили и у цели нашей разведки — у гряды камней. Оказалось, что это огромные обломки скал, принесенные сюда ледником откуда-то из внутренних районов Антарктиды.

— Ничего, товарищи, отрицательный результат есть тоже результат, — философски заметил кто-то из моих спутников. — Пусть нас постигла пока неудача, но ведь никто и не рассчитывал на то, что сразу удастся найти подходящее место для строительства базы. Зато уже закончен первый этап экспедиции: мы подошли к берегам шестого материка, а нам, счастливицам, первым довелось ступить на берег Антарктиды.

На корабле за нами следили и ждали. Надо было возвращаться.

Словно по команде, мы все оглянулись назад. Кажущаяся отсюда совсем маленькой, «Обь» стояла у припая. Из трубы ее с голубой каймой — свидетельство принадлежности к полярному флоту — поднимался дымок. Дав условленный сигнал ракетой, мы заспешили обратно, к нашему «дому», в теплые уютные каюты и салоны. Хотелось скорее рассказать товарищам о первых часах, проведенных на берегу таинственного материка.

Снег хрустел под лыжами, когда мы неслись вниз по склону на припай, обгоняя начинающуюся поземку.

МИРНЫЙ

Место для строительства базы было выбрано только после тщательной разведки побережья. Таким местом оказался участок, названный нами берегом Правды, расположенный напротив архипелага Хасуэл.

Материковый лед здесь прорезали выходы скал. Посаженный на них, как на шпильки, ледник, вероятно, либо двигался очень медленно, либо вообще был неподвижен. Это вполне устраивало нас, тем более, что на пологих склонах можно было соорудить площадку для аэродрома. Хотя многочисленные мелкие острова архипелага и подводные скалы опасны для подхода кораблей, но зато они же не пропускали на рейд Мирного многочисленных айсбергов, непрерывной вереницей движущихся с востока, — тоже важное обстоятельство, обеспечивающее относительно спокойную стоянку кораблей при разгрузках, которые здесь протекают в сложных условиях и требуют много времени.

Вначале мы разгружались на припай у борта корабля, затем на санях тракторами вывозили грузы к месту строительства поселка. Местами припай ломался под тяжестью тракторов. Не обошлось без жертв. Вместе с трактором провалился под лед и погиб в пучине холодных вод тракторист комсомолец Иван Хмара. Пренебрегая опасностью, он хотел спасти трактор. Его именем мы назвали скалистый мыс, возвышающийся недалеко от места гибели, и воздвигли на нем гранитный памятник.

Припай разрушался и под действием летнего тепла, а постоянные дующие с берега ветры уносили его в море. Одна за другой дороги с берега стали упираться в открытую воду, и приходилось строить новые, прорезать в отвесном барьере новые выходы на материк, пока наконец весь припай не оторвало от берега. Тогда осталось одно: несмотря на большую опасность, стать бортом к барьеру и вести разгрузку прямо на него.

К этому времени у места строительства находились уже три корабля: подошли вышедшие из Калининграда несколько позже, чем мы, дизель-электроход «Лена» и небольшой рефрижератор со скоропортящимися продуктами. Когда огромные океанские корабли стали к барьеру, с берега видны были только трубы и мачты. Сходни на барьер положили прямо с капитанского мостика.

В разгрузке участвовали все — моряки, строители, ученые. Тонны снега несло с материка на корабль во время метелей, рушились глыбы льда на его борт, но на этот раз здесь все обошлось благополучно, и к середине февраля около восьми тысяч тонн груза было доставлено к месту строительства поселка.

Не так благополучно закончилась разгрузка кораблей у барьера на следующий год, когда они пришли сменять первую группу, зимовавшую в Мирном. Сотни тонн отколовшегося льда рухнули на борт «Лены» и в воду, увлекая за собой людей. Двое погибли, а остальные семь человек получили тяжелые травмы.

Есть среди архипелага Хасуэл небольшой островок. Он, как обелиск, высоко поднимается над водой. Гранитные скалы его четко вырисовываются на фоне белых склонов материка. Там похоронили мы своих товарищей — Буромского и Зыкова. Приходящие в Мирный корабли приспускают флаги перед этим суровым памятником, созданным самой природой, где покоятся тела героев, отдавших жизнь за изучение Антарктиды.

Уже закончилась разгрузка кораблей, а строительство поселка было в самом разгаре. Наступала осень, короче становился день, все чаще и чаще бешеный ветер и пурга скрывали постройку в плотной снежной пелене. Работать чрезвычайно трудно, однако строительство нельзя прервать ни на один час. Падала температура, новый лед сковывал старые льдины, все это тревожило И. А. Манна и А. И. Ветрова — капитанов «Оби» и «Лены», стоявших на рейде: ведь они должны были доставить обратно строителей.

Корабли покидали Мирный, когда все здания уже высились на ледяных и скальных склонах. Первой ушла «Обь». Ей предстояло еще проделать большой путь по Индийскому океану для проведения океанографических исследований. «Лена» ушла семнадцатого марта. Был солнечный день, временами из рваных облаков, низко бродивших над океаном, сыпал не то град, не то снег. После очередного такого, как обычно называют, «заряда» вновь светило яркое солнце, но холодным, негреющим светом.

«Лена» уходила с поднятыми на мачтах флагами расцвечивания, с ее борта в небо летели ракеты. Протяжные гудки нарушили тишину полярного края — это возвращавшиеся домой друзья посылали нам свой последний привет.

Все остающиеся здесь — девяносто два человека — тесной толпой, в глубоком молчании, стояли на скалах и следили за уходящим кораблем, пока он не скрылся за айсбергами на горизонте. Над нами на высокой мачте тихо шелестело развевающееся от ветра красное полотнище флага, под которым мы будем жить и трудиться долгие месяцы до прихода новой смены. А под основанием мачты лежала земля города-героя — Сталинграда, присланная нам в подарок.

Было грустно, как всегда при расставании, никто не расходился. Но вот Вячеслав Дмитриевич Голубев, заместитель начальника экспедиции по политической части, громко объявил:

— Пожалуйте, все до единого, на товарищеский ужин в честь начала зимовки!

Затея была сейчас как нельзя кстати, и каждый по достоинству оценил ее. Именно в эти минуты коллектив обязан быть вместе, никто не должен чувствовать себя в одиночестве. Да и познакомиться ближе друг с другом настала пора.

Быстренько навели элементарный порядок в своем туалете, повалили в кают-компанию. Длинные столы, накрытые белыми скатертями, были уже уставлены всякими яствами — дело рук заместителя начальника экспедиции Константина Михайловича Якубова, старого полярника, знающего, как и когда надо поднять настроение людей, остающихся вдали от Родины на длительное и трудное время.

— Добро пожаловать, русские мужики, прибывшие изучать Антарктиду! — приветствовал он нас, широким жестом приглашая к столам. — Отведайте всякого добра из погребов Мирного.

А многие из этих погребов, выстроенных нами, находились совсем недалеко, в глубоких трещинах, дышащих вековым холодом ледяного панциря Антарктиды.

Растворенный до сих пор в массе людей многочисленной экспедиции, каждый из нас хоть и знал всех в лицо, но тесного контакта, дружной спайки, столь необходимой в условиях зимовки, еще не было. Теперь все в сборе, локоть к локтю. Да, народ подобрался что надо — крепкий, умелый, товарищеский!

Неподалеку от меня сидит начальник экспедиции, доктор географических наук Михаил Михайлович Сомов, душевный, внимательный к людям, мягкий по характеру и в то же время волевой человек, пользующийся большим авторитетом и любовью всех членов береговой партии. Вторым после Папанина он возглавлял станцию на дрейфующих льдах, получившую название «Северный полюс-2». За отличное выполнение задания правительства М. М. Сомову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Вячеслав Дмитриевич Голубев — настоящий комиссар, фурмановского склада. Умные глаза его так и проникают в душу каждого, желая узнать его настроение, чтобы в нужный момент прийти на помощь, ободрить, поддержать.

Великаньего роста, на редкость уравновешенный, обаятельный, Харитон Иванович Греку до отъезда сюда был начальником Калининградского порта. Теперь он первый командант первой советской научной базы в Антарктиде.

А вот Константин Михайлович Якубов. Без преувеличения могу сказать, что я не встречал еще лучшего хозяина полярных зимовок. Весь он поглощен одной заботой: как бы лучше одеть, обусть, накормить людей. И это ему всегда удавалось отличным образом — организатор превосходнейший. Забегая вперед, сообщу: за время пребывания в Мирном мы получили от первой в истории Антарктики свинофермы около тонны свежего мяса и примерно триста килограммов мяса молочных поросят. Начальник новой смены А. Ф. Трешников долго уговаривал Якубова остаться в Антарктиде. Печально глядел с борта уходящего корабля Константин Михайлович на исчезающий в дымке тумана Мирный. И я не уверен, что скоро в радиопередаче или в газете не прочитаю или не услышу его фамилии в числе новых зимовщиков Мирного, где он вновь разовьет свою кипучую деятельность. «Русские мужики» — было его обычным обращением к нам, и оно, немного грубоватое, но сердечное, очень нам нравилось. Глядя на него, всегда с удовольствием вспоминаю наше давнее знакомство, когда я еще в 1939 году приходил к нему с одной стороны острова Диксон на другую, где Якубов был начальником зимовки «Новый Диксон». Гостей на этой зимовке обычно ждала уха из свежих омулей, которых гостеприимный хозяин извлекал из водоема около дома.

Отряд научных работников был представлен специалистами самых различных отраслей геофизики и самых разных возрастов. Здесь были и молодые, недавно окончившие институты, и научные работники с большим стажем экспедиционного, лабораторного и теоретического труда — опытные климатологи и синоптики Г. М. Таубер, Н. П. Русин, Н. Г. Леонов, Молодой, но многообещающий геолог П. С. Воронов, энергичный, неутомимый географ Е. С. Короткевич, спокойный и серьезный геофизик П. К. Сенько, способный и, пожалуй, не в меру стремительный и немного рассеянный геоморфолог А. П. Капица, гляциолог-альпинист Ю. М. Модель и много других, под-

линых энтузиастов науки и техники, рассказать о которых в этих кратких заметках я, к сожалению, лишен возможности.

В тот памятный вечер было много произнесено тостов за Родину, за успех предстоящей зимовки, за дружбу. Каждый из нас почувствовал себя в дружной семье, и от этого стало не так тоскливо и одиноко вдали от родных и близких. А закончилось все импровизированным концертом художественной самодеятельности, участники которого от всего сердца старались доставить удовольствие товарищам своими талантами.

На следующий день в Мирном были проведены собрания партийной, комсомольской, профсоюзной организаций. И все стало на свои места, жизнь вошла в колею, столь обычную и необходимую для каждого советского человека, где бы он ни находился.

Южнополярная обсерватория и поселок Мирный теперь представляли собой научную базу, прекрасно оборудованную и обеспеченную всем необходимым.

Жилые дома, вытянувшиеся в строгую линию вдоль улицы Ленина, внутри были очень уютны. В трех комнатах домика, оклеенных веселыми, радующими глаз обоями, жили по три, максимум по четыре человека. Над конструкцией этого жилья много потрудились инженеры-строители еще задолго до выхода экспедиции в плавание. Стены со специальной теплоизоляцией и центральное водяное отопление давали возможность поддерживать в помещении нормальную температуру в самую холодную часть года. Электростанция поселка мощностью в 600 киловатт позволяла отапливать помещения с помощью электрических подогревателей. Это резко улучшило санитарные условия в наших домиках. Больше того, в каждом из них установили терморегулятор; чуткий прибор включал и выключал рубильник отопления, как только температура в помещении была выше или ниже заданной величины.

А вот водопровод устроить не удалось — в Мирном не было для этого источника. Воду мы получали довольно примитивным путем, подкладывая снег в бочки, стоящие в комнатах, где находились отопительные установки. Для более серьезных санитарных процедур соорудили при электростанции баню и прачечную со специальной котельной установкой и электрическими стиральными машинами.

Много внимания было уделено отделке кают-компании, где собирались зимовщики после работы и коротали долгие зимние вечера. Здесь было все по-домашнему удобно и уютно.

К кают-компании примыкала кухня, или, как называли мы ее на морском лексиконе, камбуз. Здесь все, вплоть до выпечки хлеба, производилось на специальных электрических установках. Нет необходимости говорить, насколько это облегчило труд немногочисленного состава работников камбуза.

В специальном помещении установили два узкоплечных проекционных аппарата. Так возник первый в Антарктиде кинотеатр. Мы дали ему название «Пингвин». В начале зимовки фильмы просматривались обычным порядком — с начала до конца. Но когда весь имеющийся запас был по несколько раз просмотрен, пришлось перейти на выполнение заявок зрителей. Иногда требования очень расходились, и тогда наши кинооператоры нашли остроумный выход: устраивали своеобразный «винегрет» из наиболее популярных частей различных фильмов. Демонстрация фильма проходила в не совсем обычной обстановке — по залу путешествовали две большие кастрюли с фруктами и конфетами. Любители пили чай, заваренный «на двенадцать баллов», то есть так, что ложку в стакане едва можно было различить.

Научные лаборатории в Мирном размещались частично при жилых домах, частично, когда этого требовала специальная аппаратура, отдельно, в стороне от основной улицы поселка. К таким лабораториям относились: аэрометеорологическая, находившаяся на открытом месте, для того чтобы здания поселка не искажали результатов наблюдений, магнитная и сейсмическая. Сейсмографы, фиксирующие колебание почвы, происходящее в результате далеких и близких землетрясений, мы установили в глубоком котловане, выбитом в монолитной скале; над этим котлованом построили здание лаборатории.

В круг научных работ обсерватории входил комплекс различных геофизических, аэрометеорологических и географических наблюдений. Надо было собрать материал

для разрешения многих крупных научных проблем Антарктиды, составить карту района исследований советской экспедиции, изучить законы движения атмосферы и материковых льдов, установить особенности магнитных явлений и, наконец, собрать сведения для получения представления о геологии восточной Антарктиды. Мы не знали, какая погода ждет нас зимой, не знали, как будут вести себя льды, на которых расположен поселок. Что под нами: материк, вода? Или лед лежит на дне ниже уровня моря? Это удалось выяснить позже.

Во время походов из Мирного в глубь материка с помощью взрыва, то есть сейсмическим методом, измерялась толщина ледяного покрова Антарктиды. Оказалось, что на расстоянии ста — двухсот километров к югу от Мирного толщина льда превышает один километр, а нижняя граница лежит ниже уровня моря на двести — триста метров. Где находится в этих областях земного шара собственно суша, пока было неизвестно. Вот почему до настоящего времени между учеными идут споры о том, существует ли единый большой южнополярный материк Антарктида или это огромный архипелаг крупных островов, покрытый единым оледенением.

В нашем распоряжении было шесть самолетов — двухмоторный «ИЛ-12», два двухмоторных «ЛИ-2», одномоторный «АН-2» и два вертолета. Как хранить эти большие и сложные машины в условиях зимних вьюг и штормов? Если даже и построить для них ангары, то они вскоре же будут занесены снегом. Поэтому, учитывая обтекаемую форму самолетов, мы рискнули оставить их открытыми, но надежно закрепленными за шасси к ледовым якорям прямо на аэродроме. Такой способ хранения оправдал себя. Правда, иногда, когда дули сильные ветры без снега, самолеты почти летали на привязанных тросах. Иногда их все же заносило снегом, и приходилось производить раскопки, но это было не часто, и снег в худших случаях лишь достигал плоскостей. С вертолетами из-за сложной формы их забот было значительно больше.

Наступила зима. Ревели бураны над поселком Мирный, затерявшимся в далекой Антарктиде. Домиков не видно — их совсем занесло снегом. Только высокие радиомачты да здание радиостанции, построенное на скалистом холме, проглядывали сквозь сплошную завесу несущегося снега. Мачты установили так, чтобы натянутые между ними антенны образовали ромб, своим острым углом направленный на Москву. Оказывается, что такие антенны улучшают связь при больших расстояниях.

Вспоминается один из дней. Буран был страшный, и все же то здесь, то там над снежными сугробами, под которыми скрыты домики, приподнимаются крышки люков и из них высовываются по пояс фигуры людей. Дело в том, что синоптики обещали улучшение погоды, а сегодня будет передаваться организованная для нас радиопередача. Из далекой Москвы полетят к нам слова приветов, мы услышим голоса своих близких друзей. Если погода не улучшится, все потонет в грохоте электрических разрядов или будет поглощено в слоях высокой, еще во многом загадочной ионосферы. Ну как же тут не волноваться, не тревожиться за погоду!

И вот в наших домиках зазвучал знакомый голос диктора... В кают-компании Мирного у репродуктора, затаив дыхание, слушают зимовщики эту передачу. И будто уже нет вокруг нас снегов, свирепого мороза, бешеных ураганов. Великое радио перенесло нас через моря и океаны в родные края.

Многим, очень многим были мы обязаны блестящей работе наших радистов. Во главе с Инокентием Михайловичем Магнициким они смонтировали радиоцентр Мирного, который оказался наиболее мощным и лучше оснащенным из всех, созданных в Антарктиде. Они передали в Москву множество сводок погоды, результатов других наблюдений и различных корреспонденций. А количество служебных и личных радиogramм, которыми обменивался радиоцентр Мирного с Москвой, было поистине огромным. В иные дни помещение приемной радиостанции буквально заваливалось горами лент, выходящих из аппарата автоматического приема. Все это надо расшифровать и отпечатать на бланках для раздачи адресатам. Работники радиоцентра ходили по комнате среди белых «сугробов» лент, достигающих высоты более метра. Устало улыбаясь, они говорили:

— У нас на радиостанции тоже заносы!

Радисты вообще очень чуткие люди, а на полярных зимовках — чуткие дважды. Сколько бессонных ночей провели они, когда на земле ревели штормы, а в эфире разыгрывались магнитные бури, чтобы выловить едва слышные сигналы радиопередачи из Москвы. Не было им покоя и в дни, когда связь была отличной, но кто-либо долго не получал весточки от родных. Затуманивались тогда грустью глаза нашего товарища, все мы от души сочувствовали ему, а радисты ходили, опустив глаза, точно они были повинны в отсутствии ожидаемой радиограммы. Но уж когда радиограмма наконец приходила, это можно было узнать и по лицам радистов и по лицу «пострадавшего». И ходил он тогда, высоко подняв голову, и Антарктида была ему нипочем.

Зимой поселок занесло совсем, но жизнь и работа в нем шли строго заведенным порядком. Бушевали метели над Мирным, скорость ветра нередко превышала пятьдесят метров в секунду, ночами над поселком полыхали холодные зеленые огни полярного сияния, но в домках было тепло, светло и уютно.

Другое испытывали те участники экспедиции, которым пришлось зимовать и провести более семи месяцев во внутренних районах материка, на высокогорном плато Антарктиды: климат этих мест оказался чрезвычайно суровым, а условия быта — крайне тяжелыми.

В ГЛУБЬ АНТАРКТИДЫ

Небольшая машина «АН-2» готова к полету. Самолет окрашен в красный цвет и резко выделяется на снегу аэродрома. Такая окраска очень хороша на случай, если с самолетом что-либо случится и его придется разыскивать в снежной пустыне. На борту самолета изображение: на небольшом айсберге сидит пингвин, а к нему приближается белый медведь. Это было сделано еще на заводе по просьбе экипажа, много летавшего в Арктике.

Бортмеханик М. И. Чагин делает последние приготовления к старту. Пилот А. А. Каш уже в машине, его спокойное лицо видно в застекленной кабине; бортрадист А. И. Челышев тоже в самолете и приготовился установить связь с Мирным, как только машина поднимется в воздух. Вместе с штурманом М. М. Кирилловым сажусь в машину и я, отправляясь в этот полет в качестве метеоролога.

Каждый из нас, научных работников экспедиции, участвуя в выполнении общих задач экспедиции, в то же время имел и свою тему исследований. Еще со студенческой скамьи меня привлекала Антарктика. Я избрал своей специальностью изучение движений воздуха, или, как говорят специалисты, циркуляций атмосферы, вызванных тепловым взаимодействием между морем, сушей и воздухом. Классическим примером такой циркуляции как раз и является движение воздуха, зарождающееся над ледяным куполом Антарктиды и окружающими его водными пространствами. Огромный контраст температуры поверхности льда и воды делает эту циркуляцию воздуха не только очень ярко выраженной, но и одной из мощнейших на земном шаре. Но чтобы изучить это явление, надо было узнать, что творится в центре, где зарождается эта циркуляция, то есть во внутренних районах Антарктиды. Мы располагали уже некоторыми сведениями о погоде в море и на побережье Антарктиды, многое для освещения этого вопроса должны были дать наблюдения, начавшиеся в Мирном и на станциях других стран, расположенных на берегу материка, но природа внутренних районов его пока оставалась загадкой.

Еще в 1933—1934 годах мне довелось работать в течение года на метеорологической станции на Эльбрусе, а до и после этого — в общей сложности более двадцати лет — иногда летом, иногда зимой участвовать в различных альпинистских восхождениях и походах. Поэтому в Антарктике на высокогорном плато мне очень важно было продолжить также свои наблюдения особенностей климата и погоды высокогорных районов и влияния их на организм человека.

Вот почему я с давних пор мечтал попасть в Антарктику и проникнуть в ее внутренние районы.

И вот мечта сбылась. Поднявшись с аэродрома Мирного, мы летим в глубь материка. В наше задание входит: удалиться от берега на 400 километров и совершить посадку на ледяном куполе на высоте около трех тысяч метров над уровнем моря,

Первые сведения о высотах в этих районах были получены во время двух беспосадочных полетов, которые были совершены на «ИЛ-12» в конце лета, когда Мирный еще строился. М. М. Сомов и флагштурман авиаотряда Д. Н. Морозов сообщали, что по трассе их полета от Мирного в глубь материка на 1 200 километров они обнаружили высоты до 3 500 метров, причем купол на всем пути поднимается непрерывно и очень полого. Но что творится на его поверхности — каковы там температура, ветер, возможны ли посадка и взлет, — оставалось неизвестным. Все это и предстояло нам выяснить.

Мирный будто уходил куда-то вниз и становился все меньше и меньше. На севере, заняв половину горизонта, раскинулись свинцового цвета воды Индийского океана, виднелись айсберги, а у берега — полосы разрушенного припая. Южную половину горизонта занимал ледяной купол материка. Местами он был покрыт кисеей прозрачных облаков, но, несмотря на это, нестерпимо блестел под лучами солнца, так что смотреть на него без защитных очков было невозможно. Вот туда, в эту ледяную пустыню, и направил свой курс наш самолет, когда стрелка высотомера показала две тысячи метров.

Я сижу на груди всякого снаряжения и через каждые пятнадцать минут отсчитываю по термометру, установленному на стойке между плоскостями самолета, температуру воздуха, по анероиду — давление, а визуально определяю и заношу в записную книжку другие характеристики погоды. В перерывах между отсчетами наблюдаю за своими спутниками.

Впереди, на высоком кресле, сидит пилот Каш, справа от него, на таком же кресле, — штурман Кириллов. Между ними примостился на каком-то подвесном сиденье бортмеханик Чагин. Они о чем-то оживленно беседуют, это видно по жестам и движениям голов. Конечно, при таком реве мотора они наполовину не слышат друг друга, но, много летая, видимо, научились понимать с полуслова, объясняться мимикой и жестами, как глухонемые. Бортрадист Чельшев не снимает наушников, склонился над своим аппаратом. Вот он протягивает мне клочок бумаги. Это радисты Мирного, держащие с нами непрерывную связь, шлют привет и желают счастливого пути.

Алексей Аркадьевич Каш еще молодой, но уже опытный полярный летчик. Собственно, он и летать-то начал в Арктике. Романтика освоения Севера овладела его неспокойной душой чуть ли не с малых лет. Он работал грузчиком, рабочим в экспедициях, мотористом на катерах, плававших по северным рекам, затем был на полярных аэродромах, наконец, стал авиационным механиком. Но его тянуло в воздух, за штурвал самолета. И вот он уже летает над снежными просторами Арктики. На его счету теперь более сотни первых посадок на дрейфующих льдах, тысячи километров полетов над открытым океаном.

Михаил Иванович Чагин — пионер полярной авиации. Где он только не летал в Арктике! Он пересек ее во всех направлениях, много раз побывал на Северном полюсе, летал механиком на всех машинах, начиная от легкого «АН-2» до тяжелых многомоторных машин, не раз падал и тонул. Летал он в Арктике и во время Великой Отечественной войны, когда обеспечение с воздуха работы Северного морского пути играло большую роль. Шрамы на его лице свидетельствуют о гяжелом и героическом пути. Человек уже солидного возраста, он сохранил бодрость духа, неугасимый оптимизм, а его энергии можно было только завидовать. Обо всех своих похождениях он рассказывал с присущим ему юмором и остроумием, отчего они приобретали особую прелесть.

Алексея Ивановича Чельшева я знал с давних пор. Прекрасный радист, широко образованный человек, он также один из тех, кто начинал освоение Арктики. Мы познакомились на острове Диксон в 1938 году. После долгого перерыва мы встретились с ним в штабе антарктической экспедиции в Москве, на улице Разина, и очень обрадовались, что вместе предстоит долгое время работать в Антарктике.

За плечами Героя Советского Союза Михаила Михайловича Кириллова — большой и трудный путь Великой Отечественной войны. До войны он много работал в геодезических и топографических экспедициях, объездил и исходил весь Север и Дальний Восток нашей страны. Спокойный и рассудительный человек, он имеет одно увлечение и, когда растает с своими звездами, компасами, картами и спускается с неба на

землю, то без конца строгают, пилит, клеит, выполняя тончайшую столярную работу. Возможно, в этом он находит себе отдых от нелегкой работы штурмана.

Ну как было не уважать этих замечательных людей, с которыми довелось мне особенно часто летать в Антарктике, как не верить в их мастерство! И действительно, в какие бы сложные условия мы ни попадали, всегда опыт, воля и бесстрашие каждого из них помогали найти верный выход из создавшегося положения.

Мы летели уже больше часа. Даже с высоты было видно, что поверхность, точно морщинами, покрыта полосами застругов — снежных образований, выточенных ветром из затвердевших сугробов. Как-то нам удастся сесть на такой «аэродром»?

Примерно на четырехсотом километре, кружась, Каш предельно снизил машину и прошелся над местом посадки бреющим полетом. Снизу, будто острые зубы, ошерились на нас крупные, причудливой формы заструги. Найдя место, где их было поменьше, Каш повел машину на посадку. Мы замерли в ожидании...

Самолет коснулся поверхности, и все загромыhalo так, словно мы покатались по железной крыше, — это металлические лыжи бились о жесткую поверхность застругов. Трясло нас немилосердно. Но вот машина остановилась, дикая скачка прекратилась. Как было условлено, наружу вышел только Чагин. Он быстро obeжал самолет и, убедившись, что лыжи целы, вернулся в кабину.

— Холодно, черт возьми! — сказал он, потирая оочевенные в одно мгновение руки. — Давай взлетать!

Хорошо сказать «взлетать», но удастся ли это сделать?

Самолет с трудом стронулся с места — лыжи плохо скользили, а мотор из-за пониженного давления воздуха не развивал полной мощности. Бежим, бежим навстречу низовой метели, поднятой довольно сильным ветром. Ветер должен обогреть взлет, но пока машина содрогается от жестоких ударов о твердую поверхность застругов. Долго ли так будет продолжаться? А вдруг на пути встретится заструг повыше остальных! Ведь от него уже не отсвернешь машину... Удары прекратились. В окно видно, как совсем рядом несутся мимо нас острые зубы застругов. Они так близки, что удивительно, как за них не задевают лыжи. Значит, взлетели!

Минуту самолет летел ровно, набирая скорость, а потом взмыл и быстро вышел за пределы несущейся над поверхностью пелены снега. Поглядев друг на друга, мы улыбнулись.

Пока все это происходило, Челышев держал связь с Мирным. Оттуда передали поздравление с первой победой.

Теперь надо было вновь приземляться, на этот раз более основательно, чтобы в течение нескольких дней проводить наблюдения. Мы летали минут пятнадцать, пока Каш выбирал себе по вкусу место и затем так же искусно посадил машину.

Мороз захватывал дыхание, ледяной ветер, как ножом, резал лицо, руки. Термометр у поверхности показывал 46 градусов ниже нуля, а в Мирном во время вылета было всего 6 градусов мороза. Вот она где, настоящая Антарктида! А ведь еще только март — самое начало антарктической осени, которая наступает здесь, в Южном полушарии, когда в Северном начинается весна.

Пока Каш и Чагин занимались машиной, остальные принялись устанавливать палатку. Это нехитрое в нормальных условиях дело здесь доставило нам немало хлопот. Мешали ветер, холод, но главная беда была еще не в этом. Мы довольно быстро перенеслись с уровня моря на высоту в три тысячи метров, и это сказывалось. Каждое движение вызывало одышку, приходилось часто отдыхать.

В палатке было тоже не сладко. Хотя она и двойная, и пол мы застелили в несколько слоев оленьими шкурами, а температура в ней... около 30 градусов мороза!

Вечером, когда наши товарищи уже забрались в спальные мешки, мы с Кирилловым отправились производить наблюдения.

Мороз еще более усилился, ветер немного утих, но все же дул достаточно свирепо. Ледяной туман опустился на поверхность, и в его сиреновой от лучей заходящего солнца пелене наш красный самолет и черная полусфера палатки едва были видны. Казалось, они тесно прижались друг к другу, чтобы спастись от лютого холода. Появились звезды, и по ним Михаил Михайлович стал определять наши координаты.

Первая ночь на высокогорном плато Антарктиды прошла беспокойно. Мы часто просыпались от удушья, сказывался недостаток кислорода.

А утром даже подумать было страшно, что надо вылезать из мешков. У небольших отверстий, оставленных для дыхания, образовались наросты инея, и нельзя было шевельнуться, чтобы он не падал на лицо.

Выручил всех Михаил Иванович. Надо было связаться по радио с Мирным, поэтому он поднялся первым и начал разогревать и запускать двигатель самолетной радиостанции. Вскоре мы услышали мощное шипение, а через некоторое время явился и сам Чагин. В руках он держал лампу для прогрева мотора самолетов. Минута — и в палатке стало жарко, как в бане. Мы быстро выскочили из своих мешков.

Выйдя из палатки, я измерил температуру — 51 градус мороза. А в снегу, на глубине полтора метров, куда я закопал вчера термометр, температура оказалась равной 52 градусам. Это наблюдение всех очень заинтересовало. Уже ради него, ради этой разницы в один градус, стоило лететь сюда и переносить все трудности. Сейчас нам, вероятно, удалось найти объяснение одной из особенностей климата внутренних районов Антарктиды. В отличие от всех материков здесь температура в течение года меняется незначительно. Очевидно, это происходит потому, что зимние температуры распространяются в толще льда медленно, с запозданием, и летом там сохраняется температура более низкая, чем температура воздуха на поверхности. Зимой наблюдается обратное. Это и приводит к сглаживанию хода температуры в течение всего года. Важным для дальнейших исследований был и обнаруженный нами на высоте 200—250 метров скачок — резкое потепление воздуха, достигающее почти 20 градусов и свидетельствующее о наличии двух потоков воздуха над материком — холодного, стекающего из внутренних районов, и теплого, движущегося в верхних слоях с моря.

Шел третий день нашего пребывания на ледяном куполе материка. Перед обедом мы сидели в палатке, каждый занимался своим делом, и все вместе сильно мерзли. Чагин готовил обед на газовой плитке; кастрюля уже исторгала аппетитный запах супа с бараниной. Челышев был расстроен: ему не удалось установить связь с Мирным. Ночь он провел без сна из-за сильных приступов удушья и сейчас лежал в мешке и что-то читал. Каш занялся сапожным ремеслом. Дело в том, что влажные унты быстро промерзали, и по утрам их невозможно было надеть, вот он и решил срезать с них верхний слой кожи и оставить один мех. Кириллов и я писали, поминутно согревая дыханием руки. Я записывал в книгу наблюдения, а Михаил Михайлович писал радиogramму своей самой маленькой, четвертой, дочке — Катюше. Он поздравлял ее с наступающей весной, вспоминал о суетливых ручейках, которые скоро потекут по оврагам, о первой веселой травке. «А у нас, — писал он, — по календарю март, а «на улице» — зима, сейчас стоит трескучий мороз, дует ледяной ветер, по земле текут холодные ручейки снежной поэмки».

Только 11 марта удалось установить связь, и к нам из Мирного вылетел самолет. Надо было проверить условия взлета более тяжелого самолета. Пилот Н. Н. Поляков и штурман Д. Н. Морозов долго искали наш крошечный лагерь, полузасыпанный снегом. Мы немного выровняли посадочную площадку, и самолет сел благополучно.

Из кабины один за другим выскочили прибывшие. Тут мы имели возможность наблюдать забавные сцены, участниками которых были сами за несколько дней до этого. Волчком повертевшись на месте, хватая себя за нос и уши, гости бросились искать спасения от мороза в палатке. Но скоро их резвый бег перешел на более тихий аллюр, к палатке они подошли уже шатаясь и тут же растянулись на мешках, едва переводя дыхание. Мы же чувствовали себя ветеранами высокогорья.

Моторы у «ЛИ-2» не глушили, и вскоре он улетел обратно в Мирный. С большим трудом удалось оторвать машину от поверхности, при этом серьезно была повреждена одна лыжа.

Наш экипаж решил улететь на следующий день. Самолет завалило снегом, и требовалось много времени для подготовки его к полету.

Наступило наше последнее здесь утро — 51 градус мороза, ветер 12 метров в секунду, метель и видимость не более 300 метров. Правда, в зените было ясно, и это нас несколько успокаивало.

Начали раскопки самолета. Снег от мороза и ветра затвердел, под сугробом скрылась даже часть одной нижней плоскости машины. А тут еще прежняя беда: копнешь лопатой несколько раз, и приходится отдыхать — не хватает дыхания, сердце готово выпрыгнуть из груди.

Наконец все готово. Ревет мотор и — ни с места. Пришлось нам всем вылезать из кабины, привязать к хвосту машины длинную веревку и дружно раскачивать самолет, а в это время Каш давал полный газ. После нескольких попыток самолет начал двигаться. Но пока мы садились на ходу, он опять остановился. Все начиналось сначала.

Кое-как удалось поставить самолет на большой сугроб сыпучего снега. Впереди него сравнительно ровная поверхность. Ну, «Аннушка», — так летчики нежно называли эту машину, — выручай! И на этот раз наш «АН-2» не подвел.

Оторвались, набираем высоту. Сразу потеплело. Термометр показывает «всего» 30 градусов мороза. Каш повернулся к нам. Улыбается. «Все в порядке», — говорят его глаза.

НА ТРАКТОРАХ

Надолго у участников санно-тракторного похода останется в памяти такая картина. Ночь, бушует ветер, снег несется сплошной стеной и космами взметается над застругами. Едва различимы неясные контуры трактора и тянущихся за ним тяжелых саней. Мутные пятна фар и натруженный гул мотора наползают из темноты, а впереди трактора в слабом свете видны две человеческие фигуры, связанные веревкой, с ледорубами в руках. Они круто нагнулись навстречу ветру и упорно шагают в неизвестность.

Нас было одиннадцать человек, когда мы вышли из Мирного 2 апреля 1956 года. Слева предполагалось, что санно-тракторный поезд углубится во внутренние районы материка на 400 километров и вернется в Мирный. Этот поход был очень нужен для изучения природы внутренних районов Антарктиды в осенний и зимний периоды, а также условий жизни и движения в зоне высокогорного плато. Все это надо было узнать для организации работ на внутриматериковых станциях, которые предполагалось создать в последующие годы работ экспедиции. Никто еще не ходил в такое время в глубь материка. Поход возглавил начальник экспедиции М. М. Сомов.

Шли мы только днем, а по вечерам останавливались, чтобы производить наблюдения, которые нельзя было сделать во время движения. На стоянках после утомительного похода ученые приступали к своим делам. Глациологи Б. И. Втюрин и Л. Д. Долгушин расставляли снегомерные рейки, рыли шурфы для изучения температурного режима и структуры льда на различных глубинах. Аэрологи А. Е. Щекин и В. К. Бабарыкин запускали в атмосферу радиозонды. Это был каторжный труд, так как при сильном морозе и ветре надо было добывать водород, наполнять им резиновую оболочку и потом более часа следить за ним в теодолит. Молодой научный работник А. П. Капица определял с помощью взрывов толщину ледяного покрова. У него было много забот: чуткие сейсмографы требовали при измерениях абсолютного покоя, им мешала даже работа тракторных моторов, которые мы на ночь не глушили, иначе запуск их в таких условиях был бы целым событием.

На очередной стоянке начальник транспорта М. С. Комаров и тракторист Коля Кудряшов, едва добравшись вечером до спального мешка, мгновенно заснули, и Капице пришлось самому отвести тракторы в сторону от поезда чуть ли не на километр. Каково же было удивление Николая, когда рано утром он обнаружил, что машины исчезли! Была метель, и он не смог увидеть их вдали. Николай вошел к нам сам не свой.

— А коней-то наших никак цыгане угнали, — растерянно заявил он под общий смех.

Потом Кудряшов уже заблаговременно устраивал тракторы на ночевку, причем каждый раз говорил с северным оканьем:

— Пойти, что ль, отогнать Рыжка и Черного в ночное.

Дело в том, что один трактор был окрашен в черный, другой в красный цвет, вот он и окрестил стальных коней такими именами. Видимо, вспоминались парню его родные вологодские края, МТС, где он работал трактористом. Нрав у Кудряшова

был веселый, с хитрецей. Помню, как в течение целой недели двое научных работников, использовав все свои педагогические таланты, не могли ему доказать, что Земля — шар. Коля пренебрежительно махал рукой и твердил, что все равно не поверит, что проплыл от Калининграда до Антарктиды, а этого не заметил. Как же были раздосадованы наши ученые, когда как-то в разговоре, мимоходом, Кудряшов показал, что он хорошо осведомлен об устройстве нашей планеты.

Первые пять дней нас иногда навещали из Мирного. Наш поезд так медленно продвигался вперед, что легкий вездеход без труда его догонял. Зная, как нам трудно в походе, заботливые друзья присылали горячие обеды в термосах. Приезжали разные люди, но всегда среди них был замполит Голубев.

Готовые обеды нас выручали. Хотя мы и имели свой камбуз с газовой плитой, но приготавливать в нем пищу на ходу было делом весьма хитрым. Приходилось постоянно быть наготове, чтобы успеть схватить при встряске кастрюлю с супом или еще какое-либо готовящееся блюдо. Однажды во время моего дежурства, перед самым обедом, мы заехали в район с огромными застругами. Сани начало качать, как при хорошем шторме. И вот на очередном ухабе в кастрюлю с супом полетели с полки ковриги хлеба, а в ячницу — бутылки с приправами, затем все это рухнуло на пол. Пришедшие обедать товарищи застали меня в плачевном состоянии. Они молча повернули обратно, захватив с собой по банке консервов, — надежды на обед не было. После этого мы готовили обед вечером на стоянке, а в течение дня закусывали чем придется.

В тот день от сильной «качки» досталось всем. В один из наиболее острых моментов сани с жилым домом рухнули носом вниз. Стоя у двери камбуза, я видел, как сзади поезда, описывая дугу, вылетела какая-то фигура в малице и упала в снег. Оказывается, это был глациолог Втюрин. Он в это время стоял на подножке, наблюдая за счетчиком пройденного пути, и был выброшен, как из катапульты.

Тряска мучила нас всю дорогу. Незакрепленные вещи летали во всех направлениях, а привязанные то и дело отрывались. Мы стучались всеми частями тела об острые углы — все время приходилось за что-либо держаться, — и мы не в шутку сожалели, что не имеем с собой танковых шлемов.

И еще — метели! Однажды замело так, что целых девять дней мы не могли стронуться с места. Попытались откапывать сани, вытаскивали их поодиночке, но, пока соединяли поезд, его опять безнадежно заносило снегом. Сугробы выросли до крыш зданий; и нам оставалось только ждать улучшения погоды.

Жизнь в пургу стала в наших походных жилищах еще хуже. Правда, кончилась изнуряющая тряска, но зато теперь мы приносили с собой в комнату массу снега, одежда была насквозь мокрой, а места для сушки у печки не хватало. К довершению всех бед, внешняя телефонная и осветительная проводка под действием несущегося сухого снега заряжалась, и люди, по неосторожности прикоснувшись к ее концам, получали крепкие электрические удары.

На камбуз теперь ходили все сразу, держась друг за друга, ощупью пробирались вдоль стен зданий; по пути приходилось в крошечной тьме преодолевать громадные завалы. Приходили мы туда и возвращались обратно, до отказа начиненные снегом. Поэтому решили, что лучше уж одному дежурному попеременно претерпевать эти мытарства и приносить пищу для всех в жилое помещение.

Как-то дежуривший по камбузу Капица, чтобы не ходить несколько раз, решил взять все необходимое сразу. По дороге в хижину ветром его сдуло с сугроба, и он съехал с кучи снега уже сидя. Когда он ввалился, весь заснеженный, в наше помещение, мы увидели на нем гирлянду бранных ремней, надетую на шею, как ожерелье, в одном нагрудном кармане торчали ложки, в другом — ножи и вилки; в правой руке Капица держал кастрюлю, в левой — чайник, из которого поднимались клубы пара. Как он не растерял все это при падении, какие чудеса эквилибристики демонстрировал среди снежных вихрей, осталось неизвестным и, к сожалению, не зафиксированным на киноплёнке. Но крышку чайника все же унесло ветром, она безвозвратно исчезла в снегах Антарктиды.

В другой раз дежуривший и спавший на камбузе Щекин позвонил по телефону и сообщил, что если мы хотим завтракать, то прежде должны откопать его, так как

за ночь камбуз совсем завалило снегом. Раскопки велись дружно. Совещались по всем вопросам со Щекиным через торчащую из-под снега печную трубу.

Кончилось «великое сидение», как мы называли этот период нашего похода, когда погода несколько улучшилась, то есть на девятые сутки. С трудом вырвали сани из снежного плена, соединили в поезд и тронулись дальше на юг.

Штурманом у нас был магнитолог П. К. Сенько. Он ловил каждый благоприятный момент, чтобы определить наше местоположение по звездам, так как поправки к магнитному компасу для этих мест весьма значительны и неточны. Ходовой компас находился в жилом помещении, на последних санях поезда. Когда направление движения отклонялось от нужного нам курса, дежурный сообщал на головной трактор, на сколько градусов надо повернуть поезд вправо или влево. Водитель выполнял это по вспомогательному компасу, установленному на тракторе.

Не прошло и двух дней, как нас опять замело, и мы остановились. Надо было решать, что делать дальше. Все это время горючее расходовалось круглосуточно — тракторы нельзя останавливать. Ясно, что дойти до четырехсотого километра, как это предполагалось, и вернуться в Мирный нам не удастся. В то же время жаль прекращать начатые исследования и упускать зиму, в течение которой представлялась возможность, хотя это и не входило в программу работ нашей экспедиции, получить первые сведения о погоде и климате внутренних районов Антарктиды. Соблазн, конечно, велик, поэтому было принято решение в Мирный вообще не возвращаться, а идти вперед на юг, насколько хватит горючего, и там, превратив поезд в постоянную станцию, зазимовать.

Вскоре к нам из Мирного прилетели два самолета, доставили литературу, продукты, кое-какое оборудование. Сердечно распрощавшись с нами, передав тысячу советов, предложений и указаний, обратно в Мирный улетел Михаил Михайлович Сомов, вместе с ним глациолог Долгушин. Обязанности начальника похода были возложены на меня. Теперь нас осталось девять человек.

К концу апреля — вероятно, потому, что мы были уже на большой высоте, — снегопады при метелях были менее интенсивны, и поезд больше не заносило. Но зато морозы достигали 56 градусов. От этого металл стал хрупким, и при рывках водила саней часто обрывались. Лопались, как нитки, и толстые стальные тросы, которыми мы пытались заменить поврежденные водила. Все это очень замедляло наше путешествие.

Трудно было и людям и машинам. Кислорода уже не хватало, тракторы не могли работать в полную мощность. Приходилось по возможности облегчать сани — сбрасывать накапливающийся снег, пустые бочки. Особенно трудно в это время было Комарову и Кудряшову. Все участвовали в обслуживании тракторов, но все же основная тяжесть всех забот, связанных с движением поезда, пала на их долю.

Прошло около месяца с момента выхода экспедиции из Мирного. Мы прошли уже более 350 километров. Далеко отсюда, на Родине, в разгаре была весна, там люди готовились к Первомайскому празднику.

Когда в Москве начался парад, и толпы демонстрантов заполнили улицы столицы, наш санно-тракторный поезд остановился. На мачте был поднят флаг Советского государства. После короткого митинга в небо полетели ракеты, и криком «ура» мы, девять советских людей, выполняющих задание Родины в необозримых снегах Антарктиды, присоединили свои голоса к общему ликованию всего нашего народа. Красное полотнище весь день реяло над поездом, упорно идущим в глубь ледяного континента.

Вечером организовали торжественный ужин. Тесно было в помещении, тесно и на столе. Среди вин — и «столичная», и коньяк, и шампанское. Различные консервы, семга, икра, миноги представляли собой закусочную часть программы. Основным блюдом являлись жареные куры и гуси; на десерт — свежие фрукты. Вероятно, ни одна экспедиция не была оснащена так, как наша. Так было и с питанием и со снаряжением, и это гарантировало успех ее работы. Мы не могли не вспомнить наших предшественников, пионеров исследований Антарктиды, которым порой приходилось съедать собак, грызть упряжь, собственную обувь. Мы помнили трагедии экспедиции Скотта, замерзшей в снегах Антарктиды, экспедиции Моусона, из которой он один, полуживой, вернулся на береговую базу. Все они шли в Антарктиду на свой личный страх и риск.

За нами же стояла могучая Советская страна, весь ее многомиллионный народ. От этого спокойно было на душе, а силы удесятерились.

Пока мы пиروвали за праздничным столом, бедный Герман — наш радист Герман Александрович Маликов — не мог оторваться от своего аппарата. Почти два дня не было радиосвязи, а вот сейчас, так вовремя, радиоволны прорвались к нам. Нашу маленькую хижину затопил поток приветствий, хлынувший в Антарктиду из всех уголков Советского Союза. Радист подавал нам радиограммы, едва закончив писать последнюю букву. Сердечная весточка пришла от коллектива Мирного. Ее читали вслух, после чего дружно выпили за товарищей.

Не забывали мы и нашего Германа. Его то и дело кто-нибудь подкармливал. Вскоре радист Мирного сжалился над ним, и оставшийся ворох радиограмм предложил передать на следующий день.

Кончалось горячее, морозы крепчали, пора подумать о стоянке. Приближалась зима, а надо было еще превратить поезд в постоянную станцию — доставить сюда материал, переоборудовать помещение, создать запас продуктов.

В первых числах мы получили приказ Сомова: найти место для посадки самолета и остановиться для строительства станции. Из Мирного вылетел самолет, он должен привезти плотника и строительный материал.

Самолет прилетел к нам в середине уже короткого в это время года дня. Пока переносили доставленные грузы, лицо плотника Фирсова, не привыкшее еще к таким морозам, покрылось белыми пятнами обморожения. Я увел его в дом, а когда вскоре вернулся туда, то был крайне удивлен, увидев Фирсова стоящим на голове кверху ногами. Батюшки, что это с ним? Неужели высота подействовала так на вновь прибывшего человека? Все оказалось значительно проще — Петр Павлович применял известный ему способ борьбы с обморожением. В таком положении кровь прилиwała к голове, и кровообращение в обмороженных тканях тела быстро восстанавливалось. У меня отлегло от сердца.

Самолет готов к отлету. Дружно, всем коллективом, сдвинули мы его с места, и он, набирая скорость, побежал в вихре поднятого им снега. И вдруг — сильный треск, неистово взревел мотор, затем все затихло... Захватив санитарные сумки, мы поспешили к месту происшествия. Самолет, накренившись на одно крыло, почему-то стоял мотором в нашу сторону, вокруг бегали люди. Оказалось, что, когда самолет уже должен был оторваться от земли, он наскочил на заструг, от удара выскочила стойка из лыжи и сломанным концом уперлась в снег. Поэтому машину и развернуло в обратную сторону. Лететь самолет не мог, требовался ремонт. Надо было ждать, когда из Мирного пришлют запасную стойку лыжи.

Тем временем мы начали переоборудовать наш санный поезд для зимовки.

День Победы, 9 мая, встречали в еще не совсем отепленном, но вчерне построенном здании будущей станции. В нем было четыре помещения, соединенных внутренним тамбуром: жилая часть, камбуз, два холодных склада.

Опять разгулялась непогода, и только 13 мая смог прилететь к нам «ЛИ-2» со стойкой для поврежденного самолета. Вел машину Н. Н. Поляков. Для ознакомления с поломкой на борту был И. И. Черевичный.

Спустя два дня мы провожали часть наших товарищей, возвращающихся в Мирный на отремонтированном «АН-2». Мороз был крепкий, и повторился прежний случай: самолет не мог стронуться с места. Как ни старались мы, ничего не получалось. Тогда из самолета вышел изобретательный Чагин и говорит: «Александр Михайлович, придется сделать так: вы становитесь на колени у лыжи, привяжите веревку простым узлом к стойке ее, а Коля за другой конец трактором стронет нас с места. Но если веревку вовремя не отвязать, авария неизбежна!»

Идея была замечательной, выполнение казалось простым. Но когда я встал на колени и привязал веревку, то подумал: «Как же это я на четвереньках буду поспевать за самолетом? Шансы явно не равные». Поэтому я решил сесть на лыжу, с тем чтобы, развязав веревку на ходу, свалиться вовремя на снег, когда мое нахождение на лыже окажется уже по крайней мере бесполезным. Так и сделал. Заревел мотор самолета,

лягнув гусеницами, натянул веревку трактор, и мы поехали... Скорость возрастает, я развизываю узел и соскальзываю с лыжи... Теперь только бы не зацепило меня как-нибудь хвостовой лыжей. Я попал в струю от винта и нагнул голову к поверхности, спасаясь от ледяного воздуха, насыщенного снежной пылью. Несколько секунд я лежал так. Казалось, что опасность уже миновала: я слышал шум удаляющегося самолета, а вихри снега, затихая, перестали беситься надо мной. Но тут я почувствовал, что меня потянуло вперед... «Зацепился», — подумал я. Но уже в следующее мгновение, подняв голову, я увидел, что одной рукой продолжаю крепко держаться за веревку, а Коля трактором тащит меня на животе по аэродрому. Ну и натерпелся же я в эти секунды страху!

Во второй половине мая решалась судьба новой станции и первой зимовки на ней. Оставить нас зимовать можно было только в том случае, если в самое ближайшее время удастся доставить из Мирного и сбросить на станцию необходимый запас продовольствия и топлива. Именно сбросить, так как рассчитывать на несколько посадок мы не могли. Для этого надо было в течение значительного времени укатывать и поддерживать в надлежащем состоянии посадочную площадку, тратя огромное количество горючего, и во всяком случае такое, какое не удалось бы восполнить, доставляя его самолетами «ЛИ-2». Тракторы пришлось заглушить, оставшийся небольшой запас горючего берегли на случай, если не удастся доставить необходимое для зимовки и нас придется вывозить последним самолетом. Расходовали горючее в минимальном количестве и только для отопления жилого помещения.

Наступала полярная ночь. Солнце лишь ненадолго и невысоко поднималось над горизонтом, да и то в облаках и метели его не было видно. 25 мая на нашей широте оно уже не должно было показаться нам вовсе. Непогода мешала самолетам прилететь на станцию. Но вот как-то в полдень, когда над бескрайними снегами господствовали серые унылые сумерки, а ветер нес волны облаков, в небе появились самолеты. Мы ждали их с нетерпением. Начался сброс грузов. Сверху, из туч, к нам посыпались как из рога изобилия всякие замечательные вещи — ящики с консервами, с колбасой, сахаром, железные банки какао, сгущенного молока, брикеты мяса различных сортов, битая птица и много-много других продуктов. В несколько заходов было сброшено сорок четыре ящика и брикетов. Все это мы соберем потом, а пока что залезли на крышу здания, считаем, сколько при каждом заходе вылетало из самолета предметов, набрасываем схему, где их разыскивать. Конечно, не все приходило в первоначальной упаковке. Иногда колбасу, банки и расфасованные отбивные котлеты приходилось искать в радиусе с добрый десяток метров, так как тара разлеталась вдребезги при ударе о твердую поверхность. Особенно доставалось курам, гусям, индейкам. Крепко замороженные, они подчас раскалывались на части. Позже мы подбирали их — где крыло, где ножку или туловище.

При одном из заходов от самолета отделился какой-то рулон и, разматываясь, стал падать. Оказалось, что заботливый Якубов прислал нам ковровую дорожку для обивки стен помещения.

Проблема с продуктами была успешно разрешена. Хуже обстояло дело с доставкой горючего. Отапливаться мы предполагали тракторным топливом. Пять бочек, сброшенных с самолета, разбились, и драгоценное для нас горючее рыжими гейзерами взлетело в воздух. Газ в баллонах удалось сбросить благополучно. Однако попытка отапливаться им показала, что из-за недостатка кислорода и в малом объеме печи газ сгорал не полностью, могли быть отравления. Пришлось от этого отказаться.

Несмотря на все эти осложнения, было решено, что зимовка должна состояться!

Двадцать седьмого мая, когда солнце уже не появлялось над горизонтом, первая в истории исследований Антарктиды постоянно действующая научная станция была открыта. Она получила название «Пионерская». Автору этих строк предстояло ее возглавить.

В два часа дня все мы — шесть человек — выстроились у мачты. Метель неистовствовала, снег кружился вихрями, и мы уже в нескольких шагах не могли различить друг друга. На вершине мачты трепетал от ветра, невидимый во тьме и пурге, флаг. В свете взлетевшей ракеты мы увидели его алое полотнище.

Мы гордились тем, что нам, советским исследователям, довелось создать первую внутриматериковую станцию в Антарктиде и поднять на ней флаг Советской страны.

Самолет со сменой прилетел только 6 июня — все мешала погода; то у нас было плохо, то в Мирный. Однако Черевичный не решился совершить посадку и вернулся в Мирный. Пришлось еще целые сутки укатывать посадочную полосу. На следующий день самолет сел благополучно. Он привез на Пионерскую двух новых сотрудников — радиста Е. Т. Ветрова и Л. Д. Долгушина, а также продукты и приборы, которые нельзя было сбрасывать. С собой в Мирный он взял пять человек. Из состава нашего санно-тракторного похода на зимовку оставался только я.

Второй самолет направлялся на станцию с новым трактористом и с двумя бочками солярки, но в темноте заблудился и, израсходовав до предела горючее, вынужден был вернуться в Мирный. Так и пришлось нам ограничиться всего лишь одной бочкой топлива. Немного горючего оставалось в тракторах; когда их окончательно заглушили, солярку бережно слили, всю, до последней капли.

Вынужден был зазимовать с нами и Коля Кудряшов.

ПИОНЕРСКАЯ

Жизнь на зимовке шла строго по намеченному расписанию. Работы было много, скучать не приходилось.

По утрам первым вставал метеоролог. Уже в семь часов ему нужно приступать к наблюдениям. Пожалуй, у него были самые хлопотливые обязанности. В строго определенный час, в любую погоду, частенько на ощупь, он должен четыре раза в сутки, включая и глубокую ночь, пробираться к метеорологической площадке, находящейся в полтораста метрах от станции. Туда тянулись провода к различным приборам, они и служили указателем пути во время пурги.

Затем поднимались радист и дежурный по камбузу. Здесь, в снегах Антарктиды, мы сохранили это морское название. Оно напоминало нам уют корабельной каюты, синие просторы океана. Радист в установленные сроки без усталости передавал в Мирный сводки погоды, научную информацию, корреспонденции в газеты, обменивался служебными и частными радиogramмами. И дежурному весь день хватало дела: надо приготовить завтрак, обед и ужин, натопить из снега воды, вымыть посуду, а вечером и для себя устроить «баню».

У каждого было свое излюбленное меню. Коля Кудряшов, например, всегда готовил щи из кислой капусты с мясом и с таким количеством того и другого, что для воды в кастрюле почти не оставалось места. Нерадивые дежурные старались отыгаться на курах. Преимущество в данном случае заключалось в том, что, будучи вытасненной за ноги из мешка и брошенной с некоторой добавкой соли в кастрюлю, эта в прошлом птица через некоторое время без посторонней помощи превращалась в прекрасное первое и второе блюда, и дежурному оставалось только разложить все это по тарелкам. Он лишь сожалел, что нельзя одновременно получить и третьего блюда и приходится варить компот. Праздник за столом у нас был всегда, когда дежурил Евгений Трофимович Ветров. Он всегда успевал и свою работу радиста выполнить и на славу потрудиться на камбузе. Чего-чего только он не приготавливал! Блиnnики, котлеты, жареную и маринованную рыбу и настоящие пельмени. На столе у нас всегда красовался графин водки, чтобы с устатку или с мороза можно было подкрепиться или выпить рюмку для обогрева. Но для этого требовалось разрешение.

Ветров был прекрасным товарищем на зимовке. Он имел большой опыт работы в Арктике, зимовал на острове Ушакова, почти полгода провел один зимой на острове Гейберга. Несмотря на молодость, ему пришлось и воевать. После гибели отца — капитана первого ранга — он добровольцем пошел в армию, служил в парашютных десантных частях, нередко бывал в тылу врага. Три ордена Славы и другие ордена — награда за его боевые подвиги.

Помещение станции если и не было особенно уютным, то все же оказалось неплохим. Днем, когда мы топили нашу печь, в жилом помещении на уровне лица и выше

температура достигала 12—16 градусов тепла, но на полу всегда был ноль градусов, а под кроватями и в дальних углах — лед. На ночь печь гасилась, поэтому утром температура в комнате опускалась до 7—10 градусов мороза. Спать в пуховых мешках было тепло, но вылезать из них утром — худо.

Вечерами мы часто наслаждались радио. Начинали с передач Хабаровска, так как были с ним почти на одной долготе, а затем слушали Москву. Московское время значительно, почти на четыре часа, отличалось от нашего. Нередко слышимость была превосходной. Голос диктора звучал так, будто мы находились в своих московских квартирах. Шумели машины на Красной площади, и торжественно разносился бой кремлевских курантов. Странно было в такие минуты, выйдя из хижины, увидеть застывшую в ледяном сне белую пустыню, освещенную мертвенным светом луны. Небо полно звезд, но все они были нам незнакомы. Только на севере в перевернутом виде, низко над горизонтом, стояло огромное созвездие Ориона, или Стожары, как его называют в народе. Это созвездие экваториальное, и его видно и в Северном и в Южном полушариях. Мы подолгу любовались им, оставшимся как бы на память о родных краях. У меня с этим созвездием были связаны и другие воспоминания. В горах Кавказа я встретился с девушкой, с которой теперь, вот уже скоро двадцать лет, шагаем рука об руку по жизненным тропам. В те дни созвездие Ориона ярко сияло по вечерам над снежными вершинами, и мы условились, что в разлуке будем смотреть на это созвездие...

Блестели звезды, сияла луна, зеленое пламя полярного сияния полыхало в зените, а в воздухе мерцали мириады огней. Это свет луны преломлялся в кристаллах ледяного облака, тонким прозрачным покрывалом опустившегося на сказочно красивый мир снега и льда.

Трудна была жизнь на зимовке. Вокруг тьма, только в середине дня чуть посереет на севере горизонта, а в пургу и в эти часы ничего не различишь вокруг себя. В такие дни на наблюдения идешь, как в атаку.

После наблюдений в будках делаешь отсчеты по почвенному термометру. Он лежит на поверхности, привязанный к столбику, почти всегда засыпан снегом, и пока, стоя на коленях, справишься с этим делом, несущаяся снежная пыль проникнет тебя насквозь, проникнет во все складки одежды и под нее, засыплет глаза, их начинает щипать так, словно туда попала мыльная вода, — это мельчайшие острые ледяные кристаллы колют и раздражают слизистую оболочку глаза.

Наконец наблюдения окончены и можно, оглядев небо и горизонт для определения видимости и облачности, возвращаться домой. При определении некоторых характеристик погоды принято говорить: «Видимость такая-то, в зените ясно». У нас эта формула была переинчена. Блуждая, нередко падая, пробираясь наблюдатель, как слепой, через пургу к домику и когда, весь заснеженный, вваливался в помещение, то на вопрос о том, какова погода, мрачно отвечал: «Погода ничего, но где зенит — не ясно».

Печь в помещении грела, но отчаянно коптила. Иногда ветер задувал так, что она гасла и вся накопившаяся от сгоревшей солярки копоть крупными хлопьями вылетала в комнату. Дверь, стены и потолок, некогда белые, теперь почернели. То же было и с одеждой. Мыться как следует нам не удавалось. Лишь один раз мне пришлось принять ванну. Случилось это так. Как-то я застудил спину, мой позвоночник, поврежденный еще во время войны при неудачной посадке с парашютом, разболелся, и его надо было прогреть. Я топил снег, грел воду и выливал ее в бочку, которая должна была заменить ванну. При этом невольно вспоминал, как в Москве в подобных случаях на мои оханья и аханья дочка обычно замечала: «Ты, папа, не заслуженный, а простуженный мастер спорта». Теперь, когда я погрузился в бочку, то, по рассказам свидетелей, от удовольствия рычал. После этой процедуры болезнь как рукой сняло.

В середине зимы удалось наладить связь с Мирным по микрофону. Это было радостным событием. Приятно слушать голоса друзей, заботливые расспросы Сомова и Голубева о нашем самочувствии. Говорили каждый понемногу, так как к микрофону стояла очередь «мирян», как начали называть к этому времени живущих в Мирном. Нас именовали пионерами, а меня — пионервожатым. Поглядели бы товарищи на наши отросшие усы и солидные бороды!

В июле средняя температура была близка к 50 градусам мороза и продолжала снижаться. Вскоре минимум достиг 62 градусов. Это уже рекорд! Никто еще до нас не отмечал такой температуры в Антарктиде. Несмотря на дикие морозы, ветры продолжали неистовствовать. Они несли мелкий снег по поверхности и точили, точили затвердевшие сугробы, превращая их в заструги самой причудливой, фантастической формы. Мы с тревогой следили за этой «работой» и думали о том, что посадка здесь самолетов становится все более невозможной.

Особенно лютой зима была в августе. В середине месяца ветер повернул и начал дуть с юга, из центра Антарктиды. Оттуда пахнуло космическим холодом. 19 августа столбик ртуты в термометре опустился ниже отметки 62. Коля по этому поводу говорил, что мы улучшили свой собственный рекорд. Потом — 64 градуса, а в ночь на двадцатое августа термометр показал минус 66,8 градуса. Ветер превышал 10 метров в секунду. Тут уж было не до шуток.

Когда в эти дни мы выходили производить наблюдения, то приходилось передвигаться очень медленно. Быстрые движения вызывали увеличение ритма дыхания, а при таком морозе это было небезопасно для легких. Пришлось установить контроль за выходящими из хижинны.

Всякой одежды — и шерстяной, и пуховой, и меховой — у нас было в избытке, но лицо защитить от мороза было трудно. Лучше всего оказалось делать из шарфа расгруб, тогда ветер не ударял прямо в лицо, так как там образовывалась «подушка» несколько более теплого воздуха.

Питались мы отлично, на отсутствие аппетита отнюдь не жаловались, а все же сильно теряли в весе. Впоследствии обнаружилось, что Ветров, Долгушин и Кудряшов «сбросили» от 12 до 16 килограммов. У меня вес остался без изменения, и это следует приписать опыту пребывания на большой высоте, который я приобрел во время годичной работы на высоте 4200 метров на Эльбрусе и почти ежегодных походов в горах в течение свыше двадцати лет.

С величайшим нетерпением мы ждали восхода солнца. Впервые после долгого перерыва оно должно было на секунду появиться на севере горизонта 25 августа. Задолго до местного полдня — момента восхода — мы собрались на крыше здания и наблюдали, как все ярче и ярче разгорается первая заря. Шла сильная низовая метель, и собственно горизонта не было видно. Трудно было рассчитывать увидеть и диск солнца. Но мы все-таки ждали. Неожиданно над тем местом, где должно было появиться солнце, вспыхнул яркий оранжевый факел. Как зачарованные, стояли мы в полном молчании. Кто-то воскликнул: «Солнце!» — и указал рукой на флаг, поднятый на высокую мачту в связи с этим знаменательным событием в нашей жизни. Вершина мачты была за пределами пелены несущегося снега, и флаг развевался, освещенный лучами поднявшегося светила. Заглушая вой ветра, мы кричали «ура» флагу и солнцу.

С солнцем дела наши на Пионерской пошли веселее, и главное — время, казалось, полетело быстрее, так как события стали более разнообразными.

Приближалась весна. Но это была, как сказал писатель Пришвин, лишь весна света. Температура держалась около 50 градусов мороза.

Первый весенний подарок нам доставил самолет из Мирного. Приземлиться он, конечно, не мог и только сбросил груз. У нас кончился бензин, на исходе было и топливо. И то и другое нам сбросили в газовых баллонах, ни один из них не пострадал при падении. Более delicate посылки сбросили на грузовом парашюте. За ним мы особенно тщательно следили — там были не только свежие продукты, медикаменты и другие ценные вещи, но и столь долгожданные письма.

Парашют спустился в двухстах метрах от нас, но не остановился. Его подхватило ветром, при этом оборвался якорь. Сперва мы шли вдогонку спокойно, потом перешли на резвую рысь, а вскоре уже неслись по застругам вскачь. Однако все было напрасно. Высота давала о себе знать: первыми из строя вышли сорокалетние, потом тридцатилетние, а потом мы увидели, как, махнув рукой, лег на снег, едва переводя дыхание, и двадцатитрехлетний Коля Кудряшов.

Купол парашюта, увлекая драгоценный тюк, скрылся в белесой пелене низовой метели. А мы сидели и рассуждали об особенностях высокогорья этих мест. Прошло

уже достаточно времени, но должной акклиматизации у нас не наступило. Я вспоминал зимовку на Эльбрусе. Ведь там на высоте 4 200 метров я, даже с учетом возраста, чувствовал себя значительно лучше. Между прочим, эта разница в действии высоты на организм человека в различных широтах известна была и раньше из опыта альпинистских экспедиций. Так, например, некоторые опытные альпинисты, поднимавшиеся на Памире до высот более 7 тысяч метров, на Кавказе не могли подняться выше седловины Эльбруса, находящейся всего на 5 300 метров над уровнем моря.

От этих размышлений нам легче не стало — парашют-то ведь все же улетел и, быть может, сейчас продолжал нестись обратно в Мирный. Чтобы понять наше огорчение, надо было знать, что в тюке лежал давно обещанный нам жареный поросенок, рожденный незадолго до этого в Мирном. Некоторое время мы шли по следам парашюта в надежде, что он зацепится стропами за какой-нибудь большой заструг. На снегу мы увидели какие-то рыжие пятна. При ближайшем рассмотрении и качественном анализе на язык это оказался сгустившийся и смешанный со снегом коньяк «пять звездочек». От этого открытия мы вернулись домой совсем расстроенные.

Забегая вперед, я должен сообщить, что через месяц парашют был найден примерно в семи километрах. Он все же зацепился стропами за заструг, и купол его погас. К нашей радости, разбилось в тюке далеко не все. Уцелел и поросенок: температура для сохранения его от порчи была вполне достаточной, и никаких зверей в этих местах не обитало.

Некоторое время спустя нам опять сбросили груз на парашюте. И на этот раз не обошлось без приключений. Сбрасывали его далеко от станции, в том направлении, откуда дул ветер, то есть с таким расчетом, чтобы парашют можно было легче перехватить, когда он начнет волочить тюк по поверхности. Но якорь зацепился за стропы, и парашют, раскрывшийся наполовину, упал километрах в пяти. Когда я с Николаем подошли к месту падения, нам представился своеобразный натюрморт: в центре лежал тюк, из него сочилась огуречный рассол и варенье, а вокруг в беспорядке валялись различных размеров мороженые судаки, семга и карпы. Во время сброса мешок с рыбой пристегнули для сохранности к тюку, вот он и лопнул, ударившись о поверхность.

Всего груза около двухсот килограммов! Как его доставить на станцию? Вспомнили о первом парашюте и решили использовать для этого ветер. Но едва был поднят в воздух шелковый купол, как тюк ринулся вперед, и я, успев только крикнуть Коле: «Садись!» — прыгнул на тюк верхом. И вот мы едем. «Держись!» — кричу я Коле, так как на застругах начинает сильно подбрасывать. Скорость все увеличивается. Я оглянулся и увидел, что Николай свалился, но успел схватиться за тянущийся на веревке якорь и теперь старается вонзить его в снег. Некоторое время так мы и мчались по Антарктиде: впереди наполненный ветром купол, за ним я на тюке и дальше Кудряшов, лежа на животе. Вскоре Коля вместе с якорем оторвался. Когда скорость стала сверхблагоразумной, я вынужден был полоснуть ножом по стропам, и бешеная скачка прекратилась.

Несколько умерить пыл нашего «коня» удалось, прорезав в куполе большие дыры. С двух сторон мы привязали к нему веревки и после этого, ведя парашют «под уздцы», благополучно доставили весь груз к нашей хижине.

Впоследствии, когда нам стали сбрасывать на парашютах бочки с горючим, а тракторы еще бездействовали, мы широко использовали ветер в качестве тягловой силы. Научились даже ходить с парашютами галсами под углом к ветру. Пробовали для развлечения кататься на санях за парашютом, но лыжи не выдерживали и ломались от ударов о жесткие заструги.

Сменять первый состав станции Пионерская намечалось в начале весны. Но в Мирном в это время были в самом разгаре научные исследования, и вся наша авиация была занята.

Работа велась вдоль побережья; географы, геологи и гляциологи изучали район протяженностью около тысячи километров к востоку от Мирного. Кроме этого, в оазисе, расположенном в трехстах шестидесяти километрах от поселка, создали еще одну

постоянную станцию. Все это были очень важные работы, и смену пришлось несколько отложить. Мы запаслись терпением и продолжали свои дела.

А из Мирного сообщали, что там тепло, много солнца, к берегам на старые гнездовья вернулись «веселые ребята» — так окрестили зимовщики шустрых аделийских пингвинов. У императорских пингвинов дети (они выводят их не весной, как обычно птицы, а в зимнюю стужу) стали уже большими; на островах архипелага Хасуэл появились обитающие здесь летом буревестники. Одним словом, жизнь возвращалась даже к суровым берегам Антарктиды.

А на Пионерской были все те же морозы, ни одного живого существа — и ветер, ветер, ветер. Поистине мертвая ледяная пустыня.

Но все же и эта пустыня весной стала лучше. Солнце подолгу оставалось теперь на небе, а скоро почти совсем не стало. Заря вечерняя сходилась с утренней, и в двенадцать часов ночи на юге, на облаках, горело яркое оранжевое пламя отражений от солнца. Приближался полярный день. Солнечные лучи, преломляясь в ледяных кристаллах облаков, почти все время витающих над нами, создавали в воздухе светящиеся столбы и круги около солнца, разноцветные радуги. По утрам небо у горизонта и снега окрашивались в нежные розовые и голубые тона пастели, а в вечерние часы лилового цвета поземка струилась между застругами самой необычной формы.

Корабли, ушедшие осенью от нас, успели совершить новые плавания. Сейчас до нас доходили «слухи», что они скоро встанут под погрузку, собираясь в дорогу к нам. Было уже известно, какие это будут корабли и кто придет сменять первую группу советских зимовщиков в Антарктиде. Разумеется, это действовало очень ободряюще, и мы работали с еще большей энергией.

Всю зиму мы вели непрерывные наблюдения и накопили богатейший материал о природе внутренних районов Антарктиды. Это были первые сведения, и значение их трудно переоценить. Мы знали теперь, каковы здесь климат и погода, как и где зарождается ветер, в чем заключаются особенности его распределения в толще атмосферы. Стало известно нам и как накапливается снег на ледяном куполе материка, как превращается он в лед по мере наложения одного слоя на другой. Таким образом, труды нашей экспедиции помогали в решении целого ряда важнейших проблем изучения Антарктиды.

Для того чтобы сменить нас, надо было прежде всего сбросить бочек десять — пятнадцать горючего для тракторов. После этого мы должны были привести тракторы в действие и подготовить площадку для приема самолета. Многое при этом зависело от погоды — и сброс, и подготовка площадки, и поддержание ее в должном состоянии к моменту прилета. Задержись надолго непогода — и мы сожжем все горючее, тогда начинай все сначала. Таким образом, задача была сложной. Приступить к выполнению ее удалось только в октябре.

В несколько приемов сбросили бочки. Мы на парашютах подтащили их к станции. Запустили первый незасыпанный снегом трактор, но он вскоре вышел из строя. Пришлось взяться за второй. Этот трактор был весь погребен под снегом, и только дощечка с надписью указывала его местоположение. У него еще осенью лопнула клапанная пружина. Это случилось у домика. Здесь трактор и остался на зиму. На открытом месте снег не задерживался, а у домика вследствие различных завихрений в ветровом потоке начал расти сугроб. Он не только засыпал весь трактор, но и постепенно подошел к выходной двери и замуровал ее. Таким образом, в конце зимы нам пришлось прорубить люк в потолке тамбура и вылезать из дома, уподобляясь некоторым персонажам «Вечеров на хуторе близ Диканьки», почти через трубу. Но мы не очень огорчились этим, так как новый способ выхода требовал известных физических упражнений, а они были полезны при нашем сидячем образе жизни. Правда, весной, после того как нам пришлось резво гоняться за парашютами и возиться с бочками, о таком образе жизни мы только вспоминали, и порой с сожалением.

Итак, мы приступили к раскопкам трактора. Копали двое суток. Твердый снег плохо поддавался ударам лопаты, тяжелые куски его приходилось поднимать более чем на двухметровую высоту, чтобы выбросить из ямы. Непрерывная в эти дни метель заносила яму, и ее кое-как пришлось укрыть брезентом. Там ремонтировали и заво-

дили трактор. Основная тяжесть этой работы пала на Кудряшова и Ветрова. Часами голыми руками при сорокапятиградусном морозе копались они в металлических деталях. Потом из ямы повалил дым — это приступили к подогреву двигателя трактора. Колю в шутку предупреждали, чтобы он не поджег Антарктиды, — так сильно поыхало пламя горящей солярки, налитой в корыто под трактором. Наконец в середине третьего дня в снежных недрах раздалось сперва фырканье, потом ровный стук мотора. Коля ворвался в хижину черный от копоти. Таким его мы и целовали. А затем общими усилиями срыли край ямы и по наклонной плоскости трактор вывели на поверхность. Коля был героем дня, его качали. Только теперь появилась возможность улететь в Мирный.

Но Кудряшов пострадал. От долгого пребывания на солнце без очков, — а пользоваться ими было нельзя, так как они немедленно леденели, — и от постоянных ударов ледяных кристаллов поземки в глаза у него началась снежная слепота. Лечили его, советуясь с врачами Мирного по радио. Зрение восстановилось только через несколько дней. Плохо со зрением было и у Ветрова. Как-то, возвращаясь на станцию, он долго шел против ветра, мороз достигал более 50 градусов, и он отморозил роговицу глаза.

Площадка приготовлена, в Мирном стоят готовые к вылету самолеты, а погода просто издевается над нами. Как ни старались мы и «миряне», к 7 ноября сменить нас так и не пришлось. Тридцать девятую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции мы встречали еще на Пионерской.

В Мирном не меньше нас горевали, что не удастся провести праздник вместе. Из поселка на Пионерскую послали делегацию. К сожалению, единственное, что могла сделать делегация, — это покружиться над нами в воздухе и сбросить подарки с самолета.

И вот наступило 7 ноября. Уже с трех часов утра мы давали ежечасные сводки о состоянии погоды. День ясный, но, как всегда, ветренный. Мороз около 45 градусов.

При подходе самолета Ветров стал давать ему радиопеленг и вскоре установил микрофонную радиосвязь. Волновались мы, волновались, видимо, и на самолете. Представители почти всех отрядов экспедиции входили в состав делегации. Возглавлял ее Якубов, вел машину Поляков.

Наконец на фоне серебристых облаков появился тоже серебристый красавец «ИЛ-12». Он делает круг. Черевичный приветствует нас и передает микрофон Якубову. Он должен был, вероятно, произнести официальную речь, но только прокричал:

— Дорогие мои мужики! Вижу вас, родные, и обнимаю. Ловите подарки!

Дальше что-либо понять стало трудно, микрофон переходил из рук в руки, все кричали нам горячие приветствия. А самолет, жужжа, кружился над нами, как огромная нарядная стрекоза. Потом в небе раскрылся белым цветком купол парашюта. Самолет снизился и промчался чуть ли не рядом с флагом на мачте, покачивая крыльями, прощаясь с нами. Вдогонку мы слали по радио наши благодарности и приветы.

Улететь в Мирный нам удалось лишь 17 ноября. К этому времени было светло уже в течение всех суток. К нам послали сразу два самолета — «ИЛ-12» и нашего старого друга «Аннушку».

«ИЛ-12», обладая большей скоростью и более совершенной навигационной аппаратурой, должен был найти нас в снежной пустыне и, кружась над станцией, указать с помощью радиопеленгов путь к нам самолету «АН-2». Этот же самолет, как менее требовательный к качествам посадочной площадки, должен был сесть у нас.

Когда «Аннушка» приземлилась на нашем импровизированном аэродроме, мы попали в джоние объятия прилетевших. Но разговаривать было некогда. Ветер начал усиливаться, по поверхности поползли волны облаков.

Проводив нового начальника станции Н. П. Русина и его товарищей к дому, я быстро сдал дела. Ветров «на ходу» передал ключ радиопередатчика своему приемнику. Мы низко поклонились станции, где провели столь памятные дни, и поспешили к самолету.

Алексей Аркадьевич Каш предложил нам вздремнуть часок в самолете, так как до Мирного было еще далеко, но это никак не получалось. В начале пути мы все

смотрели назад, на юг, где скрылась станция, а потом с нетерпением всматривались в горизонт впереди по курсу, где должно было скоро показаться море. Я поглядел на своих товарищей: они сидели задумчивые, устремив взор куда-то вдаль, обросшие, бородатые, похудевшие и, как мне показалось, немного постаревшие.

Мирный! Вот он под нами! Для нас в то время это было возвращение в родной дом.

На ледяном припае — толпа людей, колышутся прикрепленные на вездеходах знамена. Это «миряне» приготовились к встрече.

Мы вышли из самолета и не увидели лиц, по которым так соскучились, — на нас прицелились десятки объективов. Все хотели заснять этот момент. Не хватало только того, чтобы и мы взяли за фотоаппараты. Надо сказать, что фотолюбительство оборачивалось просто бедой в то время, когда в поселке происходило что-либо общественно-знаменательное, — фотографировать хотели все, но ведь при этих обстоятельствах получалось так, что и снимать было некого. Нашему начальству пришлось даже вводить в это дело регламент и определенный порядок.

Сомов и Голубев крепко обнимают нас, затем передают в объятия остальных товарищей. Якубов встречает хлебом и солью. Кроме этого, на огромном подносе свежие яблоки, которые он сохранил специально для нас, и бокалы доброго вина.

Митинг встречи окончен, нас везут в поселок. Он весь под снегом, а дровки красных флагов, вывешенных в честь нашего прибытия вдоль улицы Ленина, воткнуты прямо в сугробы возле люков для входа в дома.

Дней с десяток мы отдыхали. Навещали друзей, без конца фотографировали пингвинов, катались на лыжах с вмерзших в лед айсбергов, проводили часы на острове Хасуэл в гомоне слетевшихся сюда на гнездовья пернатых. Мы сидели на теплых от солнца скалах и смотрели на север, где за грядой айсбергов уже виднелась полоска освободившейся ото льда воды и где скоро должны были показаться корабли.

Нам предлагали отправиться в «дом отдыха» — на станцию в оазисе. Летом там было довольно тепло, а вид темных скал и голубых озер давал возможность отдохнуть глазам от вечной белизны снегов. Но мы так соскучились по большому коллективу, что отказались от «путевок» и остались в Мирном.

А затем вновь началась горячая работа. Ведь надо было сделать еще так много, чтобы максимально использовать для науки наше пребывание в Антарктиде.

Плавно покачивала наше судно зыбь тропических вод Атлантики. Мы приближались к экватору. Прошло уже более месяца, как «Кооперация», на которой мы возвращаемся на Родину, покинула берега Антарктиды. Наслаждаясь тропическим солнцем, мы вспоминаем о последних днях, проведенных в Мирном.

С кораблями пришла и наша смена. Много новых людей высадилось на шестой материк. Шумно и тесно стало в поселке, и мы поспешили перебраться в каюты дрейфующей у берега «Кооперации». Кончалось лето, ночи стали темнее, и с корабля вновь стали видны огни Мирного.

Пятнадцатого февраля, когда солнце еще только начало подниматься над горизонтом, «Кооперация» покинула берега Антарктиды и легла курсом на север. Мы стояли на борту и смотрели на поселок, построенный нашими руками, в котором прожили тринадцать долгих месяцев. Над ним в розовых красках восхода был виден грандиозный ледяной купол материка. Где-то там на его высотах, за облаками, затерялась станция Пионерская.

Вот и Балтика. «Кооперация» вошла в Рижский порт. Здесь встречали нас родные и друзья. А спустя несколько дней мы увидели огни столицы Советского Союза — поезд с участниками первой советской антарктической экспедиции прибыл в Москву.



Л. МИХАЙЛОВА

★

МОЛОДАЯ КУЛЬТУРА СТАРОГО ГОРОДА

ПОЕЗДКА В САРАТОВ

1

Задолго до поездки начинаешь думать о встрече с незнакомым городом, по отрывочным сведениям и специально для случая подбираемым фактам начинаешь рисовать себе его образ.

— А, вы едете в Саратов? Конечно, вы помните, что там родился и провел последние месяцы жизни Чернышевский, — назидательно сказал почтенный литературовед. Актер, только что побывавший на гастролях в Саратове, воскликнул с энтузиазмом: — Знаете, там симфонический концерт делает битковые сборы!

— Помню, помню саратовские дожди, — как-то загадочно улыбнулся старенький полковник в отставке, в прошлом преподаватель саратовского военного училища.

Листая недавно вышедший трехтомник «Русских очерков», среди работ Горького нахожу несколько страничек, посвященных приволжскому городу, правда, другому. Очерк напечатан в «Самарской газете» в 1896 году и назван с тем оттенком иронии, который сразу обнажает смысл разговора: «Самара во всех отношениях». Речь идет, как знает читатель, о нынешнем Куйбышеве. Каким он был сорок пять лет тому назад? Город со стотысячным населением при восьми тысячах грамотных, с городской думой, где «его степенство» «ворочает очень сильно, когда дело идет о его пользе», затхлая обитель, которая «более грязна, пыльна и пахуча, чем, например, Казань и Астрахань», «более неподвижна и более преисполнена косностью к умственным интересам», чем сонный и тихий Симбирск, более пьюща, чем «Нижний с Кунавиным и ярмаркой», с такими же дикими нравами, «как и в столице Башкирии — Уфе», — Самара во всех отношениях символизировала собой замшелую «расейскую» провинцию, прозябающую в атмосфере бескультурия и произвола властей.

Символично и то, как задумал Горький эту свою серию обличительных «писем одного странствующего рыцаря». Идеальный добряк Сервантеса в своих рыцарских доспехах вызывал недоумение у трезвых пошляков, тупость глумилась над проповедью человечности. Волжский «гидальго», странствовавший в конце прошлого века с записной книжкой по городам и весям России, вел свой поединок с целой государственной системой. И как рыцарю Ламанчскому не дано было поразить своим копьем реальных злодеев, так и фельетонисту либеральной газеты не дано было своим пером сколько-нибудь решительно повлиять на реальный ход вещей. Таков подтекст многозначительной подписи под очерком «Дон-Кихот».

Саратов некогда именовался «столицей Поволжья». Надо думать, бюджет этой резиденции мучных, маслособойных и сарпинковых королей находился в менее плачевном состоянии, чем бюджет Самары, и жизнь в губернском городе была более оживленной. Но сквозь строки исторической справки на вас нет-нет да и глянет то же опухшее с похмелья обличье «его степенства», восседающего «на своем сундуке с деньгами» и как две капли воды похожего на самарских «субъектов, одетых в звериные шкуры, покрытые темными сукнами».

Защищая свои миллионы и приуговоря своих детушек к житию на дедовский лад, губернские воротилы возглашают таковые слова с «опчественной», земской трибуны: купеческие и мещанские дети в университетском образовании нужды не имеют. «Мы страдаем от университетов по всей России, а тут будет еще один, и у нас в Саратове», — ужасался гласный Киндяков. Были отцы города и потоньше. «В Саратовском университете станут заниматься только наукой. Будьте покойны — у земства нет оснований просить открывать очаг революционной деятельности», — таков был смысл речей гласного Уварова на собрании земства в 1906 году, когда в губернии и в городе были еще сильны отголоски недавней революции. Архивы свидетельствуют, что на протяжении более чем полувекового сопротивления идее университета местные власти встречали неизменную поддержку в столице у царских чиновников уже потому, что эта идея была связана с именем и деятельностью Чернышевского, а это подвижническое имя, объявленное «нецензурным», то есть запретным для самого упоминания, сильно возбуждало умы русской интеллигентной молодежи...

Образ великого революционера-демократа, слава университета и мощной промышленности, возникшей на берегах знаменитой реки в годы пятилеток, место действия романов К. Федина, читанных не один раз, — все эти приметы ложатся пунктиром на карту будущих живых впечатлений. А в дорожную сумку упрятан номер журнала «Театр», где говорится о провинциальном духе, которым, по словам критика В. Кардина, все еще дышат саратовцы...

В Пензе в кабину самолета вошел молодой человек — налегке, без всякой поклажи, с непокрытой головой, в синем костюме спортивного образца, с фотоаппаратом через плечо. До Саратова, конечной остановки пути, лететь меньше часа. Интересно, зачем он туда отправляется между двумя рабочими днями, в воскресный день? К друзьям? На спортивное состязание? На сессию студентов-заочников?

В самолете ловлю обрывки давно начатых разговоров, из которых выясняется:

...Все спешат в Саратов...

...Каждый должен решить там некую весьма важную проблему...

...Все говорят о Саратове не без приязни...

Зеленый многотрубный город лежит под солнцем, в котловине, окруженный горами Соколовой, Лысой и Алтынной.

— Вон видите, желтая гора, это — Лысая, — сказал шофер. — Говорят, сюда Степан Разин подходил, набирал войско из саратовских жителей.

Справа от дороги — кстати говоря, довольно ухабистой — сложены какие-то огромные золотистые кубы. Сквозь соломенный покров видна в одном месте плотная белая масса. Шофер объясняет, что это волжский лед, законсервированный таким способом для пищевых предприятий.

— В командировку к нам? Ну, пока не приступили к работе — сегодня, тем более, воскресенье, — езжайте прямо на Волгу. Садитесь на пароход до Увека, за три часа обернетесь.

На первый случай судьба послала мне в лице шофера попутного вездехода, добровольного и вполне подготовленного гида. Он рассказывает, что Увек — старинное поселение, где когда-то велись археологические раскопки. Возникло предположение, что Увек — одна из столиц Золотой Орды. Ныне это один из промышленных пунктов области.

— Городок грязноватый, не знаю, как понравится, а путь... Сами знаете — Волга! Да еще на закате...

Соколовая гора вливается в ансамбль городских улиц белыми аккуратными коттеджами поселка нефтяников.

— А раньше здесь были просто землянки в человеческий рост, еще точнее — норы, — замечает шофер. — Не жили люди, а закопуривались, как зверье.

После двадцатиминутного пути машина спускается в город по Мясницкой. Это одна из немногих улиц, сохранивших в неприкосновенности свой стародавний облик. Она состоит из крошечных тесовых домиков, аспидно-серых от времени, большей частью в два оконца.

Читатель, может быть, помнит описание типичных городских строений, мешковских «флигерей» («как звала такие домики вся Волга»), в «Первых радостях» Федина.

В одном флигеле жили сами домохозяева, мечтательная гимназистка Лиза, ее безответная мать и деспот-отец, торговец «москателью» Меркурий Авдеевич Мешков. В другом, у Петра Рагозина, была подпольная большевистская типография. В третьем, у бывшего семинариста Мефодия, чревоугодничали друзья юности — петербургский литератор Пастухов и знаменитость Саратова актер Цветухин, записанные после этой роковой пирушки в разряд неблагонадежных...

Эта саратовская старина открывается пассажиру «Аэрофлота». Приезжающий по железной дороге сразу попадает с привокзальной площади на прямую, широкую и зеленую, словно парковая аллея, улицу Ленина.

В воскресный вечер центр города полон гуляющей публики. Гуляют семьями — родители с детьми, пожилые муж и жена под руку. У ограды бульвара по улице имени 20-летия ВЛКСМ прогуливаются суворовцы — пружинистый шаг, мускулистая грудь. Вот весело болтающая тройца — голубое и желтое платица и хрустящая белая рубашка с красными погонями — устремляется к подъезду оперного театра.

Мы пересекаем прямоугольную сетку просторных улиц, мелькают названия: «Радищева», «20-летия ВЛКСМ», «Вольская», «Ленина», «Горького» и, наконец, «Кирова» с искомой гостиницей «Волга», названнем выразительным, словно штандарт города.

2

Пока не завязались знакомства и деловые связи, жадно вбираешь то, что постигается и без посторонней помощи, «питаешься» мимолетным наблюдением, вывеской, афишей, старым и свежим номером местной газеты, всматриваешься и вслушиваешься во все, что попадает на пути, сопоставляешь увиденное с книжными представлениями.

Маленький бульвар на волжском берегу. Наверно, это и есть прежние «Собачьи Липки», где Кирилл и Лиза мечтали о будущем и «уже видели себя студентами, в маленьких комнатках, или, может быть, — неужели? — в одной комнате, где-то в Москве». Вот здание областного суда, вот еще серый «казенный» дом. Не здесь ли помещалось жандармское полицейское управление и решалась участь Извекова, совсем «еще мальчишка», или другого, реально существовавшего юноши, может быть, тоже сына русской учительницы, нашедшего в конце концов, как и Кирилл, ответ на свои «строгие вопросы»: «Чего я хочу? Кем я буду? Что главное в жизни?» Откуда приходила непреклонность к этим требовательным юношам? Сначала они с полудетской верой в идеалы избирали девизом своей первой любви «Свободу. Независимость», как было у Кирилла с Лизой, потом без колебаний принимали испытания на избранном пути — а он был всегда бесповоротен и труден — и первыми, впереди других, подымались на подвиг.

В Саратове, «на месте происшествия», обаяние эпопей К. Федина воздействовало с новой силой, ожившие образы неотступно следовали за мной. Вон в том коренастом юноше на скамейке бульвара вдруг чудится что-то знакомое, и в словах его, обращенных к товарищу: «Чтобы сдавать, нужно знать, а чтобы знать, нужно готовиться. Простая истина», — мне слышится чисто извековская ясность и определенность.

Вдоль запруженных воскресной толпой тротуаров снуют веселые голубые троллейбусы и разноцветные «Победы», а мне вспоминается унылая улица с раскаленной булыжной мостовой, с чахлыми, пыльными палисадниками. По ней шел на свидетельский допрос к жандармскому подполковнику Полотенцеву изрядно перетрусивший и все же барственно-высокомерный Пастухов. Все вокруг было жалким и отупелым. «Полынявшая вывеска на угловом доме — «Гильзы Катък и К°», под ней — отбивающиеся от мух клячи в соломенных островерхих шляпах, разморенные извозчики на подножках пролеток, куча свежего навоза и городской, засунувший два пальца за борт просаленного мундира». Одна картина сменяет другую, в сознании оживает пестрый мир дореволюционного волжского города — преуспевающие коммерсанты и брошенные на дно жизни босяки, крючники и боцманы, домовладельцы, приказчики, мастеровые, отставные генералы, подпольщики, фабриканты, чиновники, разбитные торговки пряниками и степенные барыни с райскими птицами на шляпах.

«Книжные представления»... С тех пор как существует литература, эта фраза означала разрыв между реальностью и художественным вымыслом и выражала снисходи-

тельное пренебрежение к человеку, согласующему свой жизненный опыт с опытом литературы.

Уже русские писатели-реалисты, прочно соединив книгу с жизнью, обозначали роль искусства как боевую действительную позицию. «...Едва ли есть у искусства, как и у науки, область, куда она не должна входить», — писал Короленко. И, конечно, великая заслуга советской литературы, «входящей» во все области жизни, состоит, между прочим, и в том, что она до конца скомпрометировала отношение к чтению как к необязательному элементу досуга или как к средству пресловутого «забвения», погружения в мир «грез», душевного тумана и слякоти.

Существует одно чрезвычайно важное обстоятельство для характеристики боевой позиции произведения. Пафос его мы ищем и находим в тех художественных образах, которые выражают передовые идеи нашего времени.

Как ни тонко выписаны в эпопее домостроевский быт купеческой фамилии Мешковых или убогая «жизнь» обнищавшего семейства Парабукных, как ни красочны фламандские возлияния актера, писателя и бывшего семинариста, не эти типы и не их окружение вызывают главный интерес автора и читателя. При всей филигранности изобразительных средств, при всем своеобразии и сочности этих картин, в них подчас мелькает что-то знакомое: то приходят на ум бесшабашные горьковские волгари, то беспокойно тревожит память униженный люд Достоевского. Но, по-своему свидетельствуя о жизни, писатель ушел от статичности старого купеческого города к новым явлениям и сказал свое новое слово, создав образ назревающего времени, времени действия в лице Кирилла Извекова.

На протяжении целой исторической эпохи, начиная с реформы 1861 года и персонажей Чернышевского, литература запечатлела тип интеллигента по происхождению и воспитанию, осознавшего необходимость революционной ломки в России и страдавшего за свои убеждения. В силу исторических условий в характеристике этого литературного типа, особенно на заре его существования, разговоры преобладали над активным действием. Бывало и так, что некоторые герои рассуждали о революции, как о прекрасной далекой мечте, другие — с истерическим надрывом, третьи — мещански упрощенно. В Извекове мы видим новый тип интеллигента — большевика, который не только предвещает приход революции, но и уверенно делает ее своими руками. Он весь в своем времени, времени подполья, ссылок, первых грозных лет революции. И вместе с тем он в нашем времени, близкий нам своей энергией мысли и действия, убежденным порывом к созданию нового в человеке и на земле. Обаянию цельной и чистой натуры сопутствует вера в величие и непреодолимость революционных идеалов, превыше всего дорогих сердцу вчерашнего и сегодняшнего советского читателя, и в этом кроется притягательность и жизнестойкость образа для того, кто открывает книгу и возвращается к событиям пятидесятилетней и сорокалетней давности.

Так устарела, казалось бы, крепко устоявшаяся формула о призрачности «книжных представлений». Предел ей положен активным вторжением литературы в жизнь.

Не за горами, очевидно, тот день, когда появится третья книга, продолжение «Первых радостей» и «Необыкновенного лета», широко известных романов, где описан предреволюционный и революционный Саратов и воскрешены времена, когда русские рабочие и крестьяне, возглавляемые большевиками, вынесли свой приговор старому строю и закладывали основы будущего для людей, которых Кирилл видел «совсем другими, новыми, легкими».

Возможно, на страницах этой третьей книги мы и встретим этих «совсем других» людей. Таких, как вон те двое молодых рабочих, вышедших из проходной большого завода. Или вот такого, уже пожилого человека, с классической внешностью ученого, в чесучовом костюме, в пенсне и соломенной шляпе, с суковатой палкой и связкой тяжелых книг в руках, идущего к дверям университетской библиотеки. Или вот таких, как эта пара студентов — возбужденная девушка и понурый парень («Ах, ты не сдай? И не будешь сдавать?! Ах, нечему у него учиться?.. Ну, ничего, жизнь тебя научит!»). Потому что многолюдный Саратов сегодня — это город рабочих, ученых и студентов.

Пора экзаменационной горячки, всюду разговоры о сроках, оценках, консультациях,

Под тенистыми липами между корпусами университетских зданий, у дверей аудиторий, за столами читален, на скамейках садов и бульваров — всюду студенты, студенты, студенты.

Из дверей медицинского института, что неподалеку от Театра оперы и балета, выходит, чуть прихрамывая, юноша с худощавым лицом, в очках, с гладко зачесанными темными волосами. Навстречу ему поднимаются со скамейки две девушки.

— Ну?

Красноречивым жестом выбрасывается вперед растопыренная пятерня, и веселая мальчишеская улыбка преобразует аскетически серьезное лицо. Ясно, что трудный экзамен позади, и все трое беззаботно устремляются к ближайшей продавщице мороженого.

На улице имени 20-летия ВЛКСМ, по соседству с бульваром, разместилось поряд несколько институтов. Показалась новая стайка студентов, и сердитый девичий голос произнес:

— Поставил десять двоек — и не икнул ни разу!

Двое молодых людей на скамейке рядом фыркают вслед девушкам и возвращаются к чтению вслух:

— «По удаленности предметов ребенок учится определять расстояние...»

В городском саду, вокруг большой клумбы, которую усердно обихаживают, стараясь закончить работу дотемна, четыре неразговорчивые старухи, расположились на скамейках отдыхающие горожане. Вечер. На фоне розовеющего закатного облака возник четкий силуэт промчавшейся пгицы, словно след мгновенного взмаха тонкой кисти, пропитанной тушью. Гремит неумолчное радио, и воробьи гомонят так сильно, точно хотят заглушить этот надоедливый шум. Вдыхая свежий запах только что политой зелени, мои соседи справа, двое солидных мужчин, отдыхая, толкуют о служебных и бытовых заботах.

— Слушай-ка, — благодушно обращается тот, что потолще, к собеседнику, у которого заметны на лице следы озабоченности. — Я от приятеля слышал, требуется начальник большой, и делать нечего. Заведующий по распространению политических и научных знаний в Ленинский район, только лекторами командовать...

— Так ведь высшее образование нужно.

— Ну, зачем тебе? Ведь не сам лекции читать будешь.

— Как это я буду командовать, если дела не знаю?

— Ну и чудак, тебе же добра желаю...

В Саратове, как и повсюду, в те дни происходило сокращение управленческого аппарата. По-видимому, тот, кого подбивали «лекторами командовать», оторвался от насиженного места, как дубовый листок от ветки родимой. Наверно, не один год он аккуратно перелистывал «отчетность». Теперь приходилось искать новую работу, но, кажется, дельной профессии в руках не было...

И вот опять, как главная музыкальная тема в оркестровой партитуре, обрывок разговора двух проходящих девушек:

— ...Завтра на филфаке консультация по западной для заочников. Ты пойдешь, Женья?

Подслушанные разговоры, подсмотренные сценки — прием не новый. Читатель улыбается: всегда журналисты видят и слышат именно то, что им нужно для очерка... Что ж удивительного — жизнь щедрая...

Саратовский университет, самый молодой из старых университетов, был открыт в составе одного медицинского факультета с несколькими преподавателями и сотней студентов в здании фельдшерской школы в 1909 году. Женщин не принимали, историко-филологического, естественнонаучного — опасно «модных» факультетов, способствовавших распространению материалистических, революционных идей, — не было.

Когда вам скажут, что теперь в городе до тридцати вузов и техникумов, около ста средних школ, несколько десятков школ рабочей молодежи, ряд научно-исследовательских учреждений, вы в общем представите себе, что размах учебной и научной работы в Саратове достаточно велик. Но еще нагляднее станет это представление, если вы прислушаетесь к разговорам встречных и, проходя из улицы в улицу — по Чернышевской, Провиантской, Радищева, Вольской, Горького, Мичурина, Рабочей, Астраханской, —

чуть не на каждом шагу увидите вывеску учебного заведения или студенческого общежития. Институты — сельскохозяйственный, медицинский, экономический, зооветеринарный, педагогический, автомобильно-дорожный, юридический, механизации сельского хозяйства, техникумы — геолого-разведочный, индустриальный, нефтяной, строительный, консерватория, музыкальное, педагогическое и художественное училища... Только в вузах города учится до двадцати тысяч человек. А если прибавить к этой внушительной цифре многие тысячи юношей, девушек и взрослых людей, охваченных другими формами образования, то тогда перед вами возникнет образ целой армии учащихся, из года в год пополняющей ряды советской научно-технической интеллигенции и фронт работников культуры.

Само собой, в этом океане знания постепенно утопает провинциализм, если рассматривать это явление в его главных качествах — отсталости, узости и ограниченности человеческого мышления. В конечном счете стиль, ритм, материальный уровень жизни периферийного города определяются наличием или отсутствием крупных промышленных предприятий, высокой или незначительной прослойкой рабочего класса и технической интеллигенции. Промышленность требует подготовленных кадров, возникает разветвленная сеть учебных заведений и культурных учреждений, как, например, в Саратове, значительным делается число образованных людей среди населения. В этом смысле будущее целинного совхозного поселка с его притоком разнородных специалистов и все более возрастающим влиянием традиций крупного машинного производства и в экономике и в психологии, может быть, намного отраднее, чем ближайшее будущее какого-нибудь районного городка.

Итак, Саратов — город учащихся, это первое доминирующее впечатление. Второе — здесь много разного рода зрелищ: драматических, оперных, балетных спектаклей, симфонических, фортепьянных, вокальных концертов (за год здесь «прочитывается» до ста лекций-концертов!), множество самостоятельных ансамблей, выступающих на сценах домов культуры, на бесчисленных клубных сценах и заводских площадках. В центре и на окраинных улицах, у входа в сад имени Горького и на пассажирской пристани пестреют афишные щиты, извещающие публику о концертах болгарского певца и венгерского дирижера, о заключительном спектакле сезона в драматическом театре, о гастролях Куйбышевского театра драмы, о новой постановке в Театре юного зрителя, о приезде венгерской эстрады, о первой работе межвузовского студенческого театра, о показе старых и новых фильмов (в городе около полусотни киноэкранов).

«Нет, театральная афиша — не первое, что бросается в глаза приехавшему в Саратов», — такой элегической фразой начал свои записи в «саратовском блокноте» корреспондент журнала «Театр» В. Кардин. Наблюдение не совсем или, вернее, совсем не объективное. Достаточно подойти к афишному стенду даже на отдаленной от центра точке, в самом конце улицы Чернышевского в районе грузового порта, чтобы вам тотчас бросились в глаза широковещательные объявления о театральных и прочих зрелищных новостях — от гастролей финской певицы в оперном театре, премьеры нового кинофильма до рысистых испытаний на ипподроме, где в «шестнадцать заездов будут показаны лучшие питомцы колхозов, совхозов и конных заводов области».

Со снисходительным сожалением («провинциальность!») корреспондент замечает, что светящаяся реклама противопожарных мер выглядит более броской в сравнении со «скромной театральной рекламой». Однако для этой броскости есть свои основания. Для Саратова с его суховеями, наличием деревянных домов и домов с печным отоплением пожары всегда были серьезной угрозой. Много архитектурных памятников, кстати сказать, погибло здесь в прошлом именно из-за пожаров. Так что в конечном итоге противопожарная световая реклама «работает» не против, а в защиту культуры, и, конечно, не этим «убийственным» сопоставлением реклам можно всерьез охарактеризовать облик города.

Смысл сказанного вовсе не в том, чтобы еще раз взять под обстрел статью критика Кардина «О провинциальности и чувстве современности» во втором номере журнала «Театр». Она уже получила оценку в нашей печати. Речь идет о другом — о подходе к жизни советского периферийного города, когда о многом нередко судят по поверхности явлений. Стоит столкнуться с простой нераспорядительностью (такси не появилось к сроку) или заметить безвкусо украшенную витрину (хотя это встречается

и в Москве), и уже на уста приезжего просится знакомое пренебрежительное слово — «провинция», хотя город всем содержанием и уровнем жизни взрывает и опровергает это устоявшееся представление о старомодности и отсталости.

3

По традиции в Саратове каждую весну устраиваются совпадающие с экзаменами отчетные концерты музыкальных учебных заведений. «Сегодня в 3 часа дня состоится отчетный концерт учащихся детской музыкальной школы № 2 при заводе им. Кирова» — гласит объявление у входа в Большой зал консерватории.

Вечером следующего дня в этом же зале состоялся открытый концерт дипломников консерватории по программе государственных экзаменов. Вид собравшейся публики красноречивее статистики говорил о пристрастии очень разных людей к хорошей музыке. Бледный аккуратно подстриженный мальчик ведет под руку свою красивую маму к подъезду консерватории. Широкобровый скуластый парень в расшитой рубаше в одиночку прохаживается от окна к окну по большому вестибюлю. Мужчина с густой проседью в темной шевелюре и молодая женщина в очках с толстыми стеклами говорят о последней премьере Театра имени Чернышевского. Это балет «Платочек», в котором, по словам собеседников, точно передан национальный дух и колорит Венгрии. Из дальнейшего разговора выясняется, что ведущие солисты венгерского национального театра Жужа Кун и Виктор Фюлеп помогли коллективу театра ставить незнакомую вещь, и в Саратове считают, что постановка удалась.

В консерватории, как и повсюду, подготовка к экзаменам в разгаре. Из какого-то дальнего угла доносятся звуки кларнета. В другом конце коридора рыдает скрипка. Кто-то выводит рулады на флейте. Кто-то на минутку оставил в скрытом футляре английский рожок и развернутый нотный лист, на пюпитре белеют куски сахара (надо полагать, происходила усиленная подкормка нервных клеток).

Звенит колокольчик, и слушатели занимают места. Седая дама с внешностью постаревшей оперной дивы, в широкополой шляпе, с буклями, произнесла густым контральто, обращаясь к своим молодым спутникам: «Петь она будет дурно, это ясно» — и проплыла в первый ряд, вероятно, по праву почетной гостьи.

Курносая веснушчатая девочка-подросток в наглаженном ситцевом платьице, с аккуратными косами, скромно уложенными на затылке, вежливо обратилась к полной женщине средних лет:

— Скажите, пожалуйста, это место не занято?

— Не работает это кресло, доченька...

Среди присутствующих, очевидно, много друзей и родственников консерваторских выпускников. То на одном, то на другом лице ловишь тень тревожного внимания, когда называют имя исполнителя, и выражение радостной гордости, если выступление было удачным. Когда объявили «Мелодию» Чайковского, четверо техничек в синих халатах пересели из задних рядов поближе к сцене и подняли лица к исполнителю.

Судили дипломников строго. Мой сосед справа, тот самый скуластый парень, что прогуливался в вестибюле, сказал, прослушав арию Баттерфляй в исполнении одной из дипломанток:

— Эх, жестом испортила!

И в самом деле, подчеркнуто театральная жестикуляция портит пение, да и весь облик молодой певицы — мишурный туалет, томная улыбка «звезды», манерная походка — неприятно отличался от простой и скромной внешности остальных выпускников.

— А вы сами поете?

— Нет, сам я баянист, аккомпанирую нашим заводским ребятам.

Программа была длинной. Но я ни одной минуты не видела моего соседа рассеянным. Заметно было, что он не только наслаждался музыкой, но извлекал из всего какой-то свой, специальный урок.

Весна и лето были особенно насыщены музыкой в этом музыкальном городе. Мелодии лились над Волгой, звенели в садах и парках, звучали на сценах театральных залов и домов культуры. На празднике песни тысячи листовок с текстами песен, словно тысячи голубей, опускались на руки поющих. Молодежь проводила свой областной

фестиваль. Потом съехались на кустовой смотр талантливые исполнители из смежных областей — сталинградцы, куйбышевцы, пензенцы, астраханцы.

Вечером на широкой площади Революции в свете факела дружбы забурлила разноцветная русская пляска, зазвенели девичьи голоса в звонких волжских припевках, заговорили знаменитые саратовские гармоники с колокольцами. У сквера, примыкающего к Музею имени Радищева, парни и девушки переплели руки друг у друга на плечах, образовали круг и танцуют под звуки знакомой песни, льющейся из репродукторов:

Не забудь и ты эти летние
подмосковные вечера...

Нина Феклина, работница одного из куйбышевских заводов, маленькая, легкая, с лукавыми искорками в узких черных глазах, задорно распевает частушки, придуманные ею самой:

Говорят, она красива,
Ты не верь, мой Ванечка!
Красота ее в аптеке
Рубль двадцать баночка.

У миленочка мово
Восемнадцатая я...
Набирай, милый, бригаду!
Бригадиркой буду я!

После нее на открытой эстраде появляется в русском сарафане статная девушка с густым и низким голосом.

Только мы не встретимся,
Знаю я заранее.
Ты сказал, нахмурившись,—
Нынче заседание...

— заунывно тянет она свою комическую жалобу.

Старый дородный швейцар гостиницы, слушавший фестивальную передачу по радио, вздохнул недоуменно:

— Такого припева и не было никогда...

4

В эти дни многие молодые колхозники — трактористы, доярки, телятницы, свиарки — впервые увидели улицы, театры, музеи и заводы большого города.

— Слово даю, вон тот паренек вчера первый раз из родного села выехал. Я деревенских ребят сразу узнаю, только в лицо посмотрю. Видите, какие у них взгляды смиренные, ходят потихоньку, озираются,— сказал мне Анатолий Ерохин, секретарь Екатеринбургского райкома ВЛКСМ.

Мы познакомились с ним у книжного киоска в клубе военного училища, где происходил кустовой смотр. Он купил том речей Кирова, я — только что полученную повесть Сергея Антонова «Дело было в Пенькове». Сощуриив близорукие глаза, Ерохин присматривался к зеленой обложке в моих руках.

— Читали?

— Нет... Название интересное, что-нибудь про деревню?

Я бегло пересказала ему сюжет.

— Да-а... Жаль, что мы про эту книгу раньше не слышали. У нас парень такой есть, похожий вот на этого Матвея.

И он рассказал про Виктора Быкова. Будучи еще в девятом классе, Быков затесался в плохую компанию, попал в тюрьму, а когда вернулся домой, оказался между двух огней: на работу его брать не хотели, и прежние дружки мешали взяться за ум.

— Сейчас он здесь, с нашим районным хором. Они вчера пели, слышали?

— Слышала. По-моему, хороший хор.

— Да. Я вот сколько раз их слышал, а вчера, как спели «Амурские волны», даже в горле перехватило. Смотрю на своих ребят и не узнаю — как один, впились в руководителя, лица строгие, а у Быкова глаза квадратные; ну, думаю, я тебя сроду таким старательным не видел.

Во время змотра перед глазами приглашенных и участников (их было несколько сотен) прошло множество состязаний — танцевальных, хоровых, оркестровых. И часто среди присутствующих звучало слово «коллектив». «Это слаженный коллектив», — говорили по поводу какого-нибудь оркестра; «здесь не чувствуется коллектива», — по адресу какой-нибудь делегации.

Как известно, сама по себе та или иная форма организации людей еще не создает коллектива, и осознание цели — хорошо, лучше других выполнить свою задачу — тоже не гарантирует полного успеха. Нужно, чтобы внутри коллектива, объединенного общей идеей, действовал еще и моральный фактор: участие или равнодушие, расположение или неприязнь, одобрение, поддержка или осуждение тех, кто рядом. Тогда и создается та тесная группа родственного духом людей, о которых говорят: «это настоящий коллектив», как говорили о молодежи Екатериновского района, делегированной в свой областной центр.

Быкова исключили из комсомола. Казалось бы, с «организационными рамками» покончено. Сам себе казак — и баста. Но чуткий и наблюдательный Ерохин увидел, что свобода, дарованная таким жестоким способом, оказалась для беспутного Быкова тяжким бременем. Секретарь райкома был первым человеком, который стал терпеливо внедрять в сознание «паршивой овцы» (так называли Быкова комсомольцы) мысль о внутренней зависимости одного от других в каждой клеточке коллективного общества, будь то кружок самодеятельности, комсомольская ячейка или хозяйство целой деревни.

В облике Ерохина нет ничего властного. У него неторопливые жесты, негромкий голос, весь он какой-то хрупкий и, наверно, не так уж солиден годами по сравнению со своим подопечным. Однако забрал он непокорного парня за живое.

— Стал он за мной, как за нянькой, ходить, — рассказывает Ерохин. — Незаметно для Виктора наладил я контакт с его родителями. Раз он напился со Степановым (есть у нас такой зловредный тип), нагрубил дома. Эх ты, неблагодарный, говорю ему, а он и не подозревал, что я знаю, расстроился, в землю глазами уставился, молчит... Парень он грамотный, постепенно мы его загрузили, назначили редактором стеной газеты в Доме культуры. В хор втянули. Хулиганье бесилось. Холуй комсомольский — так они Быкова прозвали. А один раз дали ему и ножа попробовать.

— А помнишь, как ему Степанов на суде сказал? Своих, говорит, продал, — вмешался в нашу беседу низкорослый быстроглазый человек, вышедший из зала покурить.

Ерохин нас познакомил. Это был заведующий отделом пропаганды Екатериновского райкома партии, Виктор Иванников.

Я объяснила, с чего начался разговор, рассказала, как критиковали повесть Антонова, находя, что организация людей вокруг клуба — мелкий повод для разговора о деревне.

— Не знаю, как с точки зрения литературы, — сказал Иванников, — а в жизни деревни самодеятельность — большая сила. Самый организованный народ. В деревне и раньше любили и пели песни. Но не было общественной формы, которая в наше, советское время связала это старинное и любимое занятие с идеей переустройства всей жизни, с повседневной практической работой колхозников. Организация клуба, появление самодеятельных кружков где-нибудь в глухой деревне многое меняет в сознании людей. Разве это не ясно?

Помолчав, Иванников добавил:

— Подготовка к фестивалю — это была настоящая встряска для всех неповоротливых руководителей. Пришлось им оборудовать клубы, дать деньги на библиотеки, на устройство спортивных городков. Мы в деревне у многих переломили мнение, что физкультура — это пустая забава, что велосипед или музыкальный инструмент — ненужное баловство.

На глазах происходила реабилитация конфликта, признанного нетипичным. Совсем неплохо для критика получать такие поправки тепленькими из рук осведомленных людей. Это приучает сдерживать свою просвещенную безапелляционность при оценке явлений литературы, в которых отражены процессы действительности, далеко не всегда знакомые в полном объеме человеку, пишущему о книгах. Не вызывает спора тот очевидный факт, что Николаева, Овечкин и Антонов — очень различные творческие индивидуальности. Они по-своему и по-разному пишут о победе передового над отсталым

в психике людей деревни. И тем не менее при анализе того или иного произведения накладываются одинаковые мерки и выдвигаются однотипные задачи для совсем не похожих писателей.

Толкуя о своеобразии писательского творчества, мы иногда преграждаем путь этому своеобразию умозрительным определением «существенного» и «несущественного». Так случилось и с повестью «Дело было в Пенькове», когда на совещаниях и в статьях варьировалась мысль о мелкотравчатости жизненного материала, послужившего Антонову сюжетом, тогда как в действительности и самодеятельность в советской деревне по-своему способствует сплочению и перевоспитанию людей.

Молодой человек, подобный Матвею, герою повести Антонова, существует в действительности в лице Виктора Быкова. Превращение непутевого парня в члена райкома ВЛКСМ, в студента-заочника, в инспектора районного отдела культуры — это факт. по видимости, незаурядный, но он типичен благодаря тому пути, каким шло исправление.

Второе «чудо» этого живого сюжета — сам Ерохин, этот терпеливый строитель человеческой души, государственный работник, вышедший из новой деревни, и прирожденный политик в смысле широкого охвата явлений. Отдельный факт, отдельное лицо и общее дело, большая задача всегда видятся ему в неразрывном единстве. Отсюда, очевидно, это напряженное внимание к внутреннему психологическому состоянию другого человека. Очень характерны его реплики по ходу действия: «Хорошо танцуют, молодцы, видно поработали с ними руководители». И потом: «Если бы кто знал, как они стараются, смотрите, вон тот, в желтой рубашке, даже губу закусил». По поводу выступления сталинградцев: «И оформление хорошее, и идея большая. Чувствуете — коллектив!» «А сколько еще таких парней уже не спляшут... Война у каждого в семье выкосила. Я тогда двенадцатилетним был, на корове хлеб возил, на травокосилке работал, а четверо дядьев моих погибло. Этого не забудешь!» По поводу фортепьянной музыки: «Вот в этом не разбираюсь, чувствую, что большое дело, но до сути не дошел. Если бы кто научил понимать; вижу ведь, что и самого исполнителя и других очень трогает...»

После того как секретарь Астраханского обкома ВЛКСМ Михаил Абросимов прекрасно прочел «Стихи о советском паспорте», Ерохин сказал с восторгом:

— Молодец, сто раз молодец! Мы с молодежью работаем, нечего нам надуваться. А вот наш секретарь сидит. Куда какой важный...

Он и не подозревал, что сам-то он в эту минуту вызывал чувство горячей симпатии своим умным и оживленным лицом, своей душевной реакцией на окружающее.

Два с половиной года Ерохин был в армии («это университет жизни; когда сам научишься дисциплине, сам научишься подчиняться, знаешь, что и как с других требовать»), потом закончил прерванную учебу в техникуме, был направлен главным зоотехником в крупную МТС, потом избран секретарем райкома. И вот это оказалось его призванием.

— Я без газеты дня не проживу. А без людей — ни часу... Счетоводом вы меня не сделаете, хоть убейте.

По тому, как тянулась к своему секретарю екатериновская молодежь, было видно, что и сам Ерохин нужен людям. Нужен своими твердыми принципами и чутким сердцем, своим чувством ответственности за людей, своим умением давать и брать знания, всеми теми свойствами, какие необходимы талантливому вожаку молодежи.

Молодые люди с книгой под мышкой (именно молодые, возраст многих нынешних секретарей городских и областных комитетов двадцать пять — двадцать семь лет) — таким возникает в памяти образ комсомольских руководителей, которых довелось наблюдать во время кустового смотра в Саратове.

Отрадно, что у многих волжских комсомольских работников с первого взгляда видна культура поведения. Она заметна в подтянутом облике, в манере общения с людьми. Но еще важнее, что это впечатление не только внешнее, что они обладают широким политическим и культурным кругозором.

Игоря Константинова, секретаря Сталинградского обкома по пропаганде, я увидела в перерыве между утренним и вечерним концертами, в большом книжном магазине на углу Вольской улицы и Кировского проспекта. Интерес к книгам у Константи-

нова, окончившего филологический факультет МГУ, естественно, самый разносторонний. На этот раз он искал сборник, посвященный балерине Анне Павловой, недавно изданный в Москве.

— Комсомольские работники с высшим образованием не такая уж редкость в обкомах и горкомах,— сказал мне Константин.— Возьмите саратовских комсомольских руководителей, среди них немало людей с университетским образованием.

У коренастого энергичного Владимира Самошина, секретаря Саратовского горкома комсомола, образование историка и навыки крупного организатора. Когда слушаешь его рассказ о том, как комсомол превратил подготовку к фестивалю в школу политического и эстетического воспитания молодежи, вникаешь в то интересное и полезное, что придумали комсомольцы города для своего производства,— приходишь к заключению, что разнохарактерная деятельность руководителя многотысячной организации, пожалуй, больше по плечу и темпераменту Самошину, чем педагогическая или исследовательская работа ученого или учителя.

Комсомольцы с жаром взялись за строительство новых домов. Одни только студенты обязались выстроить в ближайшем году не менее двухсот тысяч квадратных метров жилой площади.

Одно из крупных начинаний молодых саратовцев в последнее время — строительство спортивного комбината. Комсомольцы-строители, студенты, молодые рабочие и служащие предприятий и учреждений строят свой стадион красивым и удобным. Неподалеку от Волги воздвигается четырехзальный корпус для борцов, штангистов, боксеров и гимнастов, сооружается большой спортивный манеж, шестнадцать игровых площадок и водный плавательный бассейн. Под трибунами размещаются пошивочные мастерские, души, раздевалки.

5

Интересы и деятельность вузовской и заводской молодежи тесно переплетены в этом учебно-промышленном городе, где до революции большим предприятием считался завод Беринга с четырьмя десятками станков и двумя-тремя сотнями рабочих и чья промышленность сейчас снабжает машинами, станками, агрегатами, приборами с маркой «Саратов» различные республики, края и области нашей Родины от Львова до Магадана и от Ашхабада до Мурманска. Хорошо известна саратовская продукция в Китае, Румынии, Венгрии, Албании, Польше, ГДР, в Индии и Вьетнаме.

— Вы знаете,— говорил Самошин, строго глядя на меня своими выпуклыми карими глазами,— что точное машино- и приборостроение нуждается не только в квалифицированном инженерно-техническом руководстве, но и в подготовленной массе рабочих. Вот почему мы стараемся как можно шире использовать все формы образования и самообразования молодежи.

Почти половина работающей молодежи, по словам секретаря горкома, учится в вечерних школах, институтах, а при девяти вузах созданы трехмесячные подготовительные курсы. Причем этими формами образования охвачены не вчерашние школьники, мечтающие «куда-нибудь устроиться», а люди, уже определившие свое профессиональное призвание. На смену несколько расплывчатым формам связи вузов и предприятий пришло более органическое содружество. Комсомольцы завода тяжелого машиностроения обучают студентов пединститута производственным профессиям (для педагога политехнической школы, как наша, советская, это имеет большое значение), а студенты делятся с шефами своим багажом общеобразовательных знаний. По почину студентов филологического факультета университетская молодежь работала на стройке одного из крупных заводов. Жили студенты лагерем, читали для рабочих лекции, устраивали концерты, проводили спортивные соревнования (в университете много городских рекордсменов по разным видам спорта). Помимо большой культурной работы, повлиявшей на стиль жизни всего коллектива, участие студентов в строительстве приблизило сроки пуска завода. Практика студентов обычно также не проходит бесследно для производства. Студенты-автодорожники, например, внесли в некоторые технические процессы существенную рационализацию.

— Интеллигенция играет большую роль в жизни города — верно,— сказал Самошин.— Но учтите и то, что близость к производству в свою очередь обогащает

учащуюся молодежь. Наши студенты не придут на завод или в деревню белоручками и маменькиными сынками. Вот вам еще достоинство периферийного вуза или техникума: кадры учащихся складываются из вчерашней заводской и деревенской молодежи, и их не страшит возврат туда, откуда они пришли сами. В этом отношении они закаленнее и сознательнее многих столичных выпускников,— не без яда заключил Самошин.

Слушая Самошина, я вспомнила разговор с Ноной Сыроваткиной, студенткой Астраханского пединститута. На смотре обнаружилось ее незаурядное драматическое дарование. У нее редкостный «серебряный» голос и приятная внешность. Но когда ей сказали, что жюри конкурса во главе с Максаковой рекомендует ее на учебу в театральный вуз Москвы, она, улыбаясь, возразила:

— Ну что вы! Актрисой нужно родиться, а у меня, видите, талия? Не такая уж тоненькая. Нет,— добавила она серьезно, — я хочу с ребятами работать. Я люблю театр, поэзию, музыку. Но ведь и дети это любят. Почему же непременно в актрисы? Учителю это тоже нужно. Разве это правильно, что из наших педагогических учебных заведений порой «синие чулки» выходят, ни ноты показать, ни стихи прочитать не умеют. Считается, что для воспитателя это необязательно. А по-моему, педагог — это организатор и руководитель людей, и чем больше у него точек соприкосновения с ними, тем лучше.

Подумать только, так близки были столичные огни, а двадцатидвухлетняя Нона, хорошенькая и, бесспорно, талантливая, решила «похоронить» себя в районной школе-интернате! Поймут ли ее столичные сверстницы, полирующие московские тротуары и выстукивающие своими высокими каблучками безнадежные трели под окнами Дома кино и ЦДРИ...

Дверь кабинета приоткрылась.

— Заходи,— кивнул Самошин Костелову, заместителю заведующего отделом пропаганды горкома ВЛКСМ.— Вы, кажется, знакомы.

Сосредоточенный, вдумчивый Костелов — тоже питомец Саратовского университета. Рассказывая, он как бы примеривается к собеседнику: а стоит ли тут растрачивать время и слова?

— Знаете,— начал он в своей неторопливой манере,— очень много наших ребят могли бы сказать о себе словами светловского героя из пьесы «Двадцать лет спустя», которую вы вчера у нас смотрели: «Наверно, я тоже талантливый. Ну не в стихах, так в чем-нибудь другом...» В создании этого спектакля, помимо драмкружковцев, участвовал малый симфонический оркестр студентов консерватории, музыку писал студент-консерваторец, оформление придумал студент-художник. А помимо этого межвузовского коллектива, есть десятки других кружков и сотни одаренных людей, и, конечно, не только среди вузовской, а и среди заводской молодежи. Есть у нас самостоятельный кружок кинокорреспондентов, была изостудия. Да, вот именно — была, она распалась, так как не нашлось постоянного помещения для работы. Есть у творческой молодежи потребность общаться, придумывать, спорить. Нашли мы и форму организации — творческий клуб молодежи. Нет только денег и крыши над головой...

Накануне этого разговора в небольшом зале ТЮЗа собрались на первый спектакль межвузовского театра комсомольцы, представители горкома и ЦК ВЛКСМ. Костелов сидел через одного человека в одном ряду со мной.

Поневоле оправдывая скудость реквизита в сценах, происходивших в бывшем барском особняке, он сказал:

— Ничего, можно и так. Шекспира и в сукнах показывали. У Брехта оформление сцены самое минимальное...

Мы заговорили о своеобразии творческих принципов Брехта, потом я спросила у Костелова, откуда такая осведомленность в проблемах и в истории театра.

— Я это люблю,— ответил он просто.

У Костелова славное лицо, простое и в то же время интеллигентное благодаря вдумчивому, изучающему выражению его синих, совсем синих из-за голубой рубашки, глаз. На таких лицах ясно отпечатываются следы душевных движений. И даже если бы мне не пришлось слышать суждений Костелова об искусстве, было ясно, что эта премьера для него нечто большее, чем просто «мероприятие», к которому причастен

горком. Он был захвачен жизнью на сцене, которая была в чем-то близка его собственной жизни.

Можно было с большим блеском оформить и поставить спектакль, но трудно искреннее передать обаяние героев, которые по-юношески необузданно мечтают, по-юношески целомудренно любят и с юношеской беззаветностью умирают за идеи революции.

Вот старая истина, еще раз подтвердившаяся на этом самодеятельном спектакле: на сцене молодые должны играть молодых. И особенно в таких пьесах, как эта светловская драматическая поэма, где с такой непосредственностью запечатлены характеры «семнадцатилетних людей».

При внешней несложности действия каждый персонаж несет в себе громадный внутренний заряд поэтичности. Когда в одном углу появилась бледная девушка в гимназическом платье, а в другом, у двери ревкома, негромко запел свою песню юный часовой, сцена, казалось, засветилась мечтой, юмором, озарилась жарким пламенем подвига. В зал пахнуло неповторимой, бесшабашной и трезвой романтикой той поры, такой отличной от томно-изысканной, длинноволосой романтики декадентов.

Глядя в одну невидимую точку, как в ясные глаза любимой, комсомолец поэт Костя (студент университета Горшенин) поет вполголоса, будто ведет задушевный разговор с подругой:

Ты мне вслед так печально глядела,
Ты ждала,— может, я обернусь...
В чем же дело, товарищ, в чем дело?
Я к тебе непременно вернусь!

Но потухают в молодых глазах «звезды девятнадцатого года». Где-нибудь на сырой земле умирает украинский парень, «презирающий удобства». И Костя доканчивает свою песню, обращаясь к залу с простой деловитостью рабоче-крестьянского героя:

В чем же дело, товарищ, в чем дело? —
Ты пойдешь отомсти за меня!..

Образ юноши, борющегося, строящего и мечтающего, неизменно одушевляет творчество Светлова и в тридцатых и в пятидесятых годах. Герой поэта отважен (он обращается к родине: «выдай оружие смелым, и в первую очередь — мне!»), оптимистичен («контрреволюция слаба, чтобы сделать меня грустным»), чист и наивен («на все свои слабости, честное слово, я наложил арест»), он в ответе перед миром за судьбы родной культуры и истинной поэзии, неотделимой от юности:

Комсомольцу кажется сквозь сон,
Что стоит у Черной речки он.

Он бежал сквозь зимнее ненастье...
Разве можно было не спешить,
Чтоб непоправимое несчастье
Как угодно, но предотвратить!

Поздно, поздно!.. Раненый поэт
Уронил тяжелый пистолет...

На саратовской, а может быть, не только на саратовской, сцене драматической поэме Светлова повезло. Исполнители и их талантливый режиссер, студент университета Геллер, чутко вникли в творение верного своей теме поэта, чьи «комсомольские годы еще остаются в строю» и кому наша литература обязана прославлением романтической, самоотверженной и веселой души комсомола. Своим спектаклем они дали ощутить молодость пьесы и органический пафос светловского героя, его стремление «жить и поступать так, как будто на тебя смотрит следующее поколение».

Мечтая, чтобы «когда-нибудь увидели со сцены, какие мы все были», герои Светлова, комсомольцы гражданской войны, поют в своей песне:

Мы будем жить легендой молодою
И через год и двадцать лет спустя...

Смысл и дух спектакля саратовских студентов в том, что они воплотили в своей постановке эту идейную и эмоциональную слитность поколений советской молодежи.

На спектаклях первой «Волжской театральной весны» с участием двадцати девяти театров Саратовской, Горьковской, Куйбышевской, Сталинградской областей и Башкирской АССР, показавших сто драматических, музыкальных, детских и кукольных постановок, лучшими были признаны работы саратовских театров. Как всегда, заслуженным успехом пользовались спектакли саратовского ТЮЗа, а на межобластной итоговой театральной конференции много говорилось об опыте его главного режиссера Юрия Петровича Киселева, проявляющего большую заботу об идейно-творческом воспитании актерского коллектива.

О главном режиссере ТЮЗа писала московская театральная критика, его имя часто встречается на страницах газеты «Коммунист» и в других областных изданиях.

— Прекрасно, приходите на репетицию,— сказал Юрий Петрович в ответ на мою просьбу по телефону.— В эти дни я очень занят и другого времени для встречи выбрать не смогу.

К закрытию сезона ТЮЗ готовил новую работу, пьесу, инсценированную по повести Короленко «В дурном обществе».

Сюжет, как помнит читатель, основан на острой драматической коллизии. Главный герой Вася, от лица которого идет повествование, говорит о себе: «С шести лет я испытывал уже ужас одиночества». В захолустном городке, где богатым нет дела до бедных и бедным до богатых, и дома, где все, кроме маленькой сестры, зовут его негодным мальчишкой, Вася существует, как «дикое деревцо»; никто не стесняет его свободы, но никто и не заботится о нем. Об отце говорят, что он «самый лучший человек в городе». Но сын постоянно видит его отчужденным и строгим. Когда была жива мать, отец слишком любил ее и не замечал сына из-за своего счастья. «Теперь меня закрывало от него тяжелое горе».

Ушедший в свое страдание человек служит причиной еще больших страданий для тех, с кем его связывает судьба. Такой эгоизм Короленко уравнивает с бесчеловечностью. И в «Слепом музыканте» и в этой повести затронута тема эгоизма как пассивного, а по сути, разрушительного состояния человеческой души. «...Ты окружен любовью... Многие отдали бы свет очей за то, чем ты пренебрегаешь, как безумец... Но ты слишком эгоистично носишься со своим горем»,— так выражает свою мысль писатель в «Слепом музыканте».

Правильно уловив мысль писателя, режиссер решил показать на сцене в противовес ожесточенности и замкнутому слабоволию отца формирование доброго и волевого характера у маленьких героев. Такого истолкования роли он и требовал от подвижной актрисы, видимо, хорошо усвоившей то, что старшие в доме говорят про Васю: «У этого малого руки и ноги налиты ртутью»,— но увидевшей в жизни мальчика лишь то горькое, что угнетало его.

Обратившись к сюжету из прошлого, театр намеревался говорить о том, что происходит рядом, сказать слова, нужные зрителю сегодня.

Когда я позднее рассказывала одному молодому московскому драматургу об этой репетиции, он сказал:

— Позвольте, что ж тут особенного? Где здесь гениальный режиссерский порыв, вдохновенное озарение?

Да, это верно. Феерических взлетов тут не было. Покоряло другое: обдуманная, целеустремленная война режиссера с ремесленным навыком, с эффектными актерскими ужимками, с поверхностным скольжением по глади текста. Здесь шло идеологическое вооружение коллектива, репетировавшего пьесу, и наглядное воспитание хорошего вкуса в актере. И была глубоко продуманная последовательность в раскрытии простого, гуманистического идеала пьесы, созданной по повести автора, далекого от всякой затейливости.

Требую от актеров умственной и душевной активности, Киселев добивался разработки образа во всех противоречиях, свойственных натуре взрослого или ребенка.

Он стремился дать очерк жизни, которой живет персонаж, за рамками эпизода и даже пьесы, во всех предполагаемых связях, обусловленных средой и временем. В маленьком зале ТЮЗа царила атмосфера высокой духовной культуры, происходило профессиональное и интеллектуальное обогащение актеров, когда искра творческого огня перебегала от режиссера к исполнителям. Это по-настоящему волновало и ту и другую сторону.

Один из журналистов, недавно работающий в Саратове, сказал мне, что, по его мнению, Киселев «закисает» в своем театре. (Возможно, что и в этом замечании скрывалась претензия к простоте режиссерского почерка Киселева.) Репетиция рождала другое впечатление. Она была окном в большой мир и в большое искусство и велась на таком уровне, что меньше всего в голову могло прийти такое понятие, как «провинциальный», или, как мы часто говорим, «периферийный», или «областной» режиссер.

6

Жарко в Саратове. Пройдет немного времени, и лесозащитная полоса Саратов—Астрахань шириной в сто метров протянется на сорок километров и прикроет город от палящих суховеев. А пока, кажется, сама многоводная Волга изнемогла, посерев под напором густого степного зноя, и листва городских садов вот-вот начнет тускнеть под жестоким солнечным жаром.

Еще не все улицы вдали от центра заасфальтированы, и ветер то и дело закручивает посреди мостовой воронки и навешивает над домами и прохожими дымчатую пыльную сетку.

Издавна жители притерпелись к этому и беззлобно подшучивают:

— Ну, зарядил саратовский дождик...

Летом Саратов напоминает южные города: то же изобилие зелени, такая же веселая окраска домов и медицинские весы на улицах.

Неподалеку от консерватории женщина с большой хозяйственной сумкой в руках ставит на весы девочку лет двенадцати, и милиционер, понаторевший в этом деле в часы дежурства, авторитетно замечает: «Килограммов тридцать будет». Мать огорчается: «Совсем от жары похудела».

По-южному наряден город вечерами, когда с пристани видны огни плывущих кораблей, и кудрявые кроны деревьев делаются прозрачными от молочного света уличных фонарей.

Жаль только, что эти красивые, с утра чисто прибранные улицы к полудню приобретают неряшливый вид.

Лавчонок в Саратове не видно. Огромный пассаж у крытого рынка с его просторными сквозными помещениями и обилием товаров мог бы соперничать с крупными универмагами столицы. Много удобных специализированных магазинов, но не всюду чисто.

Сегодня в магазине на улице Горького продают воблу, и весь прилегающий тротуар усеян рыбой чешуей, как преждевременным серо-желтым снегом. Нетерпеливые любители «воблки» потрошат ее тут же, на улице. Двое мальчишек расправляются с жестким лакомством прямо в троллейбусе, и остатки пиршества оставляют на сиденье.

Вот к киоску на Вольской улице, покачиваясь, приближается некто в рубашке без воротничка, в мятой соломенной шляпе набекрень, требует пару пива, опрокидывает одну за другой две вместительные кружки и, очистив на закуску яйцо, бросает шелуху прямо под ноги. Пьяный не скандалит, не хулиганит, но одно появление такой осоловелой «фигуры», выписывающей безобразные крендели, делает облик улицы крайне непривлекательным.

Может быть, саратовцам примелькались подобные картины, резко диссонирующие с общей атмосферой большого культурного города, но приезжему они сразу бросаются в глаза.

— Меня поразило обилие пьяных и неопрятность на саратовских улицах,— сказал мне секретарь Астраханского обкома ВЛКСМ Абросимов, уроженец и большой пат-

риот своей Астрахани («У нас кремль, у нас жил Чернышевский, возвращаясь из ссылки. Киров у нас работал...»).

Забавные куплеты, где роль персонажа, впервые попадающего в Саратов, принадлежит неискушенным зайцам, что «из рощицы лесной рвуся в город областной», исполняются в программе молодежной эстрадной бригады при филармонии:

Вот бежит с портфелем к урне
Дядя в шляпе, как культурный.
Быстро к урне подошел,
Плюнул мимо и пошел..
Зайцы удивляются:
Странная картина.
Дяденька шатается,
Как тонкая рябина.
И притом отважно
Орет семиэтажно —
Раз-два-три-четыре-пять,
И в пятью-пять двадцать пять.
И в шестью-восемь сорок восемь,
Неприлично повторять...

Выносил ли Саратовский горсовет, по примеру Москвы, постановления о борьбе с нарушениями общественного порядка, не знаю. Но если такие решения и были, то совершенно очевидно, что они не являются еще обязательными для известной категории саратовских жителей...;

Если с Вольской, по улице Ленина, пройти на Радищевскую, мы придем к музею, который по богатству коллекций считают крупнейшим после Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского и Пушкинского музеев.

Музей основан в 1885 году в родных краях А. Н. Радищева его внуком, морским офицером, путешественником и художником, А. П. Боголюбовым. Создавая этот первый в России провинциальный общедоступный музей, с правом свободного входа для всех желающих, Боголюбов стремился «восстановить в памяти потомства имя своего великого деда, втоптанное в грязь». Почти сто лет оставалось под запретом знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» и имя его автора. Наименование музея Радищевским означало, что запрет снимается, и в 1888 году появились первые сто типографских экземпляров книги (как известно, первый тираж, отпечатанный в собственной типографии Радищева, был почти весь уничтожен по приказу Екатерины).

Для музея было выстроено специальное здание, где помещались также рисовальное училище и библиотека, самое парадное и торжественное в тогдашнем Саратове. Основой собрания послужили богатые коллекции Боголюбова, приобретенные в путешествиях, его собственные пейзажи (их около ста в музее) и картины, полученные хлопотами основателя из фондов Эрмитажа и Академии художеств. Классическая западная живопись особенно полно представлена школой барбизонцев. В русском отделе есть подлинные работы Крамского, Репина, Левитана, Поленова, этюды и эскизы Сурикова, Федора Васильева, Макавского, Константина Коровина, Кустодиева, авторские копии тропининского автопортрета и его «Кружевницы», авторские повторения работ Кипренского. Есть в Радищевском музее оригинальные произведения группы «Мир искусства» — Врубеля, Бенуа, Сомова, Рериха, саратовца Борисова-Мусатова.

Долгое время в музее хранилась гипсовая маска Белинского, подаренная писателем Гончаровым известному русскому литератору, саратовцу А. Н. Пыпину. Теперь драгоценная реликвия передана в дар Государственному музею В. Г. Белинского.

Фонды музея все время пополняются, и, кроме того, периодически устраиваются привозные выставки, позволяющие посетителям знакомиться с жанрами и именами, слабо представленными в музее. В прошлом году здесь была обширная выставка гравюры из фондов Музея имени Пушкина и передвижная выставка художников Российской Федерации. Много зрителей привлекла выставка работ московских художников, живших или учившихся в Саратове, — Н. Жукова, В. Климашина и других.

Широко показывается творчество местных художников, графиков, живописцев, театральных декораторов. Устраиваются их коллективные и индивидуальные выставки.

Имена и работы некоторых художников, ныне живущих в Саратове, известны в Советском Союзе и за его пределами. Волжские офорты А. Скворцова есть в Третьяковской галерее, в Музее имени Пушкина, они покупались заграничными музеями. Популярны статуэтки скульптора-анималиста Е. Морозовой — «Козлята», «Ослик», «Теленок», «Индюк», воспроизведенные в фарфоре гжельским и ленинградским заводами. Успешно работает в жанре пейзажа воспитанник Саратовского художественного училища В. Фомичев. Одна из картин молодого живописца была репродуцирована в «Огоньке» наряду с полотнами признанных мастеров.

...Совсем потускневшее, пожухлое полотно. Темный, почти черный фон, ржавые цвета некогда яркой одежды, серо-желтый оттенок лица и рук, и вдруг на этой тусклой поверхности — небольшой треугольник необычайной сочности, словно луч ослепительно-го света, упавший в мутную стоячую воду и пронзивший ее до самой глубины. Это краски полотна, какими они были и стали за свою многовековую жизнь. Под целительными прикосновениями мастера ясный кусочек растет, растет, подлинные тона и очертания выступают все резче, и, наконец, чудо обновления свершается.

Много таких чудес сотворено осторожной и точной рукой Николая Михайловича Гущина, реставратора Саратовского музея. В музее устроена выставка работ реставрационной мастерской. Гущин вернул к жизни десятки старых полотен, установил авторство ряда картин в отделе западного искусства и недавно открыл неизвестное полотно, по всей видимости, кисти Рубенса, долго лежавшее в подвале районного музея в Вольске.

Николай Михайлович не только эрудированный виртуоз-реставратор, он также незаурядный живописец и рисовальщик. Правда, он с трудом отвоевывает для своей музы место под солнцем. Судьба художника складывалась нелегко. Еще молодым человеком Гущин попал за границу, в Китай, Италию, потом в Париж, где встречался с Маяковским, с которым вместе учился в Академии художеств. Когда Гущин оказался в Париже, там было пятьдесят тысяч художников, и ему пришлось для начала сменить свою палитру на кисть маляра. Но вскоре он уже выставялся вместе с Пикассо и Матиссо и получил место реставратора в Луврском музее. Работы русского художника репродуцировались в европейских журналах и на открытках, приобретались музеями и коллекционерами Рима, Парижа, Амстердама.

На родину Николай Михайлович привез ценные экземпляры: подлинного Гойю, ван Остаде, Брейгеля, Сезанна, работы С. Малютина и Борисова-Мусатова, редкостные бронзовые и деревянные статуэтки, вывезенные из Франции и Италии.

Люди, знающие Гущина на протяжении тех десяти лет, что он живет в Саратове, говорят о нем как о непрактичном, удивительно бескорыстном и непритязательном человеке. За границей он лишился многих своих работ, его обманывали клиенты, многое он потерял, многое уже теперь раздарил друзьям.

Яркое дарование и многотрудный путь художника воплощены в сюите автопортретов. Их три, и это три этапа жизни. Одухотворенная голова, освещенная голубыми тенями и выражением пытливости и надежды в темных, молодо сверкающих глазах. Драматическое лицо, будто мечущееся в красной огненной буре, как в жестокой сумятице жизни, с тем же вопрошающим, но уже пронзительно-гневым выражением глаз. И удлинённый худощавый овал в пепельно-коричневой дымке кудрей, темные, словно гаснущие тени, и печальный, но все еще ожидающий взгляд.

Это — выражение, но не итог жизни. В свои семьдесят с лишним лет Гущин продолжает работать с энергией и продуктивностью молодого человека. И если темы его картин говорят о молодости и надежде (таковы его замечательные графические портреты из серии «Долой войну!»), если с ним дружит молодежь, значит и сам он остается молодым. Сухощавый, в простой холщовой рубашке, с обветренным лицом и крепкими рабочими руками, гонит он свою лодку по родной реке, нанося на холст удивительно музыкальные, мажорные, неповторимые по технике и колориту, словно не написанные, а вылепленные волжские пейзажи.

Хочется думать, что не только друзья и почитатели, но и широкие круги любителей живописи смогут познакомиться с творчеством большого мастера, одинаково сильного и в жанре психологического рисунка и в области колористических решений. К сожалению

нию, местное отделение Союза художников до сих пор мало интересовалось его опытом и творчеством.

В Саратове солидный отряд художников и писателей, среди них много способных, одаренных людей. Но условия их работы очень нелегкие. Многим художникам негде работать, лишь несколько человек получили мастерские в более или менее подходящем помещении. Особенно плохо приходится выпускникам художественного училища и молодым художникам, не имеющим постоянного заработка. Иные опускают руки, переживают творческий застой. Другие, наоборот, стремятся найти опору в тесном творческом и дружеском общении. Так возникла в селе Пристанном, на берегу Волги, студия художников. Студийцы приезжают сюда с палатками или живут на дачах, ведут общее хозяйство, обсуждают только что написанные картины.

Художники и писатели мечтают о своем городском клубе, но до сих пор им не давали ни денег, ни помещения. В Саратове воочию пришлось столкнуться с той неустроенностью, какую испытывали творческие кадры во многих наших культурных центрах и которая послужила основанием для известных слов товарища Хрущева: «Надо позаботиться о том, чтобы были созданы необходимые условия для постоянной творческой работы писателей в автономных республиках, краях и областях...» Теперь, когда деятельность Союзов художников и писателей Российской Федерации разворачивается, многое решится по-новому для творческой интеллигенции Саратова и вместе с тем возникнут новые большие задачи. Борьба с рутинной и кустарничеством станет на прочную материальную, организационную и творческую основу.

7

— Нет, Екатерина Михайловна, это не стихи. Я бы не стал печатать.

— Ну вот, всегда вы так, Михаил Поликарпович. А если лучших на эту тему нет?

— Ну, если нечего печатать, лучше задержать выпуск. Я так смотрю.

Редактор литературного сборника для детей Е. Рязанова и секретарь Саратовского отделения ССП М. Котов и на этот раз не договорились.

Это старый спор литераторов — имеют ли право на существование сырые или серые произведения, если они посвящены нужной теме или важной дате. Спор, за которым стоит проблема воспитания читательского вкуса, фактическая амнистия литературного брака, развращающая писателей и поощряющая графоманов, немаловажная для хозяйства областной писательской организации проблема напрасного расходования гононарных сумм, бумаги и т. п.

У Рязановой — качества хорошего редактора: оперативность, инициатива, энергия. Но случается, что вкус — свойство, присущее ей как пишущему человеку, — отстывает в ее редакторской практике перед железной необходимостью «дать отклик», и тогда она закрывает глаза на слабости произведений авторов, которые оказываются «под рукой».

Взыскательность при планировании местных изданий, к сожалению, непопулярна у некоторых саратовских литераторов.

— Ну, ясно, критик... Попробуй угоди на него, — пожимают они плечами по адресу секретаря отделения союза.

Не только в столице создается сегодня литература. Она рождается на всем пространстве нашей страны. И живущие в нынешнем Саратове писатели тоже, бесспорно, могут рассказать о своем городе и о своих согражданах в значительных, идейно и художественно весомых вещах. Они и сейчас вносят свой вклад в идейную борьбу на литературном фронте, способствуя утверждению коммунистической идеологии.

Хорошо известен советскому читателю писатель Г. Боровиков, автор многочисленных рассказов, тонко передающих колорит Приволжья.

Сильные страницы, заставляющие вспомнить о горьковской манере лепить страстные и глубокие характеры, есть в повести Г. Коновалова «Вчера», посвященной дореволюционной деревне. Повесть эта напечатана в альманахе «Новая Волга».

Молодая писательница Г. Ширяева, участник второго всесоюзного совещания, заявила о себе интересным сборником рассказов «Новенькая». Г. Ширяева смело подхо-

дит к острым жизненным конфликтам, не боится драматических положений и раскрывает характеры своих героев в напряженных сюжетных коллизиях.

Темпераментно и разносторонне работает Е. Рязанова. Тесно связанная с заводами, новостройками, школами города и области, она выступает с хорошими публицистическими материалами, каков, например, очерк «В Жигулях», опубликованный в альманахе и характеризующий размах и значение строительства грандиозной электростанции на средней Волге, в окрестностях знаменитых Жигулей. Рязанова написала книжку рассказов «Хотеть и уметь» и повесть «На пороге юности» — о школьном и домашнем воспитании подростков. К сожалению, психологическая повесть о детях старшего возраста удалась писательнице меньше, чем маленькие рассказы из книжки «Хотеть и уметь», в которых автор не назойливо, без очевидной наставительности, в хорошо продуманной сюжетной форме говорит с малышами о честности, трудолюбии, настойчивости, вежливости и дисциплине.

Часто печатаются в альманахе прозаики Б. Неводов (опубликовавший главы из романа «Неуживчивый человек», обещающего быть интересным), В. Бабушкин, Г. Соловьев, поэты Б. Озерный, В. Ликашин, Н. Палькин, начинающий поэт токарь В. Савельев.

Однако уровень ряда произведений прозы и поэзии в «Новой Волге», порой пусть и более высокий, чем в иных областных сборниках, все же не может удовлетворить читателя. В литературной жизни Саратова больше ощущается отпечаток местничества, чем в его театральной или музыкальной жизни. Театр, филармония не связаны обязательством питаться только «своими», саратовскими произведениями, а литературный альманах всегда строится на местном материале. Редактор то и дело сталкивается с необходимостью делать скидку при отборе материалов, при этом упорно желая забыть, что уже давно не существует читателя с областным уровнем, а читатель неизбежно напоминает об этом, не желая покупать неинтересный номер альманаха.

Теперь необходимо вернуться к спору, о котором говорилось выше. Вернуться для того, чтобы принять точку зрения М. Котова, которому и опыт критика, и опыт редактора, и убыточная сторона дела (альманах приносит до пятидесяти тысяч убытка в год) подсказывают путь решительного отказа от существующей практики издания литературы в областях. Думается, что мысль о создании крупного издательства и журнала для нескольких областей, высказанная Котовым, вполне справедлива. Существует зональный институт земледелия, обслуживающий весь юго-восток, но зато параллельно есть три издательства, которые с тройным расходом средств издают одну и ту же брошюру о картошке мизерными тиражами. Хорошо известно, что некоторые книги, выпущенные местными издательствами «по разнарядке из центра», не находят сбыта в пределах области, а обмен залежавшейся продукции между областями также не приводит к цели, и в конце концов тираж попадает в макулатуру, оседая на складах мертвым грузом. Но зато ни в одном из многочисленных книжных киосков Саратова молодые люди не могли летом, в разгар подготовки к экзаменам, достать программы для поступления в вузы.

Саратовцы заслуженно гордятся разделом искусства и литературоведения в «Новой Волге». Но что плохого будет, если талантливый искусствовед Н. Огарева, напечатавшая в областном альманахе отличную статью «В. А. Тропинин в Саратове», или заведующий отделом литературы и искусства областной газеты «Коммунист» Я. Явчуновский, интересно пишущий о театральной жизни Саратова, или литературовед Л. Баранникова, выступавшая с разбором особенностей речевой характеристики персонажей в пьесе Горького «Дачники», или В. Архангельская, автор серьезной статьи «Традиции народного творчества в повести Ф. В. Гладкова «Вольница», будут печатать свои новые работы в большом журнале, созданном по типу «Дона», в соседстве с отборной прозой и поэзией саратовских, сталинградских, куйбышевских и астраханских авторов? Более высокие критерии в отношении творчества местных авторов, широкие творческие взаимосвязи литераторов Российской Федерации приведут к реальной отмене наименования «областной писатель», о несообразности которого справедливо говорил Леонид Соболев.

8

Не случайно статьи по литературоведению составляют наиболее сильный раздел в «Новой Волге». Кафедра русской и советской литературы Саратовского университета обладает кадрами талантливых ученых. В «Научный ежегодник» объемом в 60 печатных листов, з десяток томов «Ученых записок», выпускаемых ежегодно, филологи Саратова вносят ощутимый вклад. В центральных изданиях часто появляются имена саратовских авторов. Доктор филологических наук М. Боброва, руководитель кафедры Саратовского университета, написала предисловия к гослитиздатовским изданиям книг М. Твена и Т. Драйзера. В Москве печатаются труды саратовских ученых по математике, механике, радиофизике, ботанике, истории, философии.

Саратовский университет служит не только высшей школой обучения молодежи, он играет заметную роль в развитии советской научной мысли. Здесь складывались и разрабатывались важные направления в сфере аэродинамики и радиотехники, математики и механики. Кафедра почвоведения занималась подготовкой к приему большой воды на полях Приволжья.

Тесная связь ученых с живой практикой зародилась в университете в первые же годы революции и с тех пор стала традицией. Еще в 1919 году, когда при совнархозе была организована сланцевая комиссия, лаборатория органической химии консультировала опыты по сжиганию сланца на заводах края. Ученые разработали схемы технического использования газа и месторождений нефти.

В бурно развивающемся промышленном, научном и культурном центре дыхание университета ощущается во всем — и в стиле решения промышленно-экономической задачи, и в ассортименте книг, поступающих на полки магазинов и библиотек, где очень значительный процент составляет серьезная литература по разным областям знания.

Серые величественные здания университета, занимающие целый квартал в квадрате улиц: Ленинской, Астраханской, имени 20-летия ВЛКСМ, Университетской, меньше всего ассоциируются в сознании саратовцев с представлением о торжественной замкнутости «храма науки». Отсюда тянутся нити к станку рабочего, в кабинет хозяйственного руководителя, к клавишам типографского лино типа. Работники университета — это свои люди в заводских цехах, в областном и низовом партийном комитете, в издательстве или в отделении ССП.

Вот почему никому не кажется случайностью появление в областном альманахе статьи профессора А. Ф. Ефремова, посвященной письменному и разговорному стилям языка, или работы доктора филологических наук Е. И. Покусаева о Щедрине.

— Наши руководители с первых шагов учат нас сочетать работу в архивах с живой творческой практикой, — сказала аспирантка Таня Усакина, изучающая русскую литературу XIX века.

Она избрала для своей диссертации тему «Герцен и споры в журналистике 1859—1862 гг.». Таню даже в Ленинград командировали для изучения материалов по Герцену. Ее жадный интерес к литературным документам прошлого хорошо известен сотрудникам научной библиотеки Саратовского университета (кстати сказать, образцовой и по книжному фонду — здесь полтора миллиона томов, среди которых много редкостных изданий, — и в смысле высокой профессиональной культуры персонала). Бывали дни, когда по требованию аспирантки из хранилища извлекалось до ста книг. И все это было нужно для очень живого, насущного дела: Таня комментирует один из томов нового тридцатитомного издания сочинений Герцена, редактируемый профессором Ю. Г. Оксманом.

Молодые филологи производят впечатление людей, знающих свой предмет, самостоятельно думающих, способных осмыслить и истолковать большие явления литературы.

Заметной всхвой в исследовании жанра, по мнению саратовских и многих московских литературоведов, явилась работа кандидата наук Е. П. Никитиной «Советская эпическая поэма». Статья Г. В. Макаровской, опубликованная в университетских «Ученых записках», — «А. Толстой в работе над историческим романом» — вызвала живой отклик в среде ленинградских ученых.

С Никитиной мне не удалось познакомиться, она была на конференции в Ленинграде (у саратовцев многолетние связи с Ленинградским университетом и Пушкинским домом).

— Как жаль, — сказала Таня. — Евгения Павловна умница и такая обаятельная. К ней придешь, посидишь, и сразу легко на душе делается... А какие у нее две девочки! Они никогда не хотят спать, а всегда хотят со всеми разговаривать. Я и мои подружки считаем Евгению Павловну идеалом. Не улыбайтесь... Настоящая женщина и ученый с большим будущим.

Гера Владимировна Макаровская, худоская, строгая на вид, со своими огромными сине-серыми глазами кажется очень собранной и целеустремленной. Она сразу создает впечатление глубокой серьезности. Слушая ее, начинаешь понимать, почему она уже в течение трех лет (сразу после университетской скамьи и аспирантуры) с успехом читает в университете курс советской литературы и почему именно ей поручен курс теории литературы для студентов пятого курса.

Гера Владимировна рассказала о методологии своего подхода к историческим романам Алексея Толстого.

Как известно, Толстой пришел к эпическому сюжету «Хождения по мукам», к теме России и революции, преодолев на своем большом литературном пути и стилизаторские опыты и увлечение декадансом. Осознанное, зрелое понимание закономерностей исторического процесса, выраженное в трилогии, подготовило такое же глубокое отношение к эпохе Петра и Петру, резко отличное от пафоса более ранних вещей — «День Петра» и «На дыбе», где деятельность Петра рисовалась как гигантское, но бесплодное усилие гения. Макаровская проследила, как реализовалась в «Хождении по мукам» и в «Петре Первом» авторская концепция исторического романа: обращение к прошлому — осмысление настоящего — видение перспективы. Обратившись к критико-биографическому жанру и исследуя внутренние закономерности в творчестве автора, она в то же время поставила это творчество в связь с общим движением историко-литературного процесса, с исторической романистикой двадцатых и тридцатых годов, с темой гражданской войны. Она сопоставила творчество Толстого и Чапыгина, Толстого и Шишкова, Толстого и Новикова-Прибоя, Толстого и Сергеева-Ценского, всякий раз улавливая в конкретной, неповторимой форме отражение общих, непреложных законов истории и прослеживая на этих произведениях пути становления советского исторического романа.

В таком же историческом, а не иллюстративном плане читает Макаровская свой курс советской литературы. Взяв тему революции в литературе двадцатых годов, изучив по периодике литературную борьбу того времени, она стремится на конкретных произведениях проследить, как развивался метод социалистического реализма. Подробно исследует молодой ученый то ценное и примечательное, что внесли в формирование этого метода такие разные писатели, как Фадеев, Фурманов, Серафимович.

— В литературе двадцатых годов еще многое не разработано, — говорит Гера Владимировна. — Расчищены только площадочки...

На экзаменах Макаровскую удовлетворил широкий взгляд многих студентов на отдельные факты литературного процесса, способность давать не тематический, а идейно-художественный анализ произведения и творчества в целом. Студентки Горшенина и Коновалова рассматривали поэмы Маяковского «Хорошо!» и «Ленин» в связи с развитием жанра лиро-эпической поэмы, а его зарубежный цикл — с развитием исторического метода советской поэзии. Говоря о ленинском понимании принципа свободы творчества и о ленинском тезисе партийности литературы, студентка Казакова доказывала на материале ленинских статей органическое единство этих принципов в марксистской теории искусства. Студентка Гамаюнова говорила о том, что нередко делаются попытки дать представление о методе социалистического реализма на основе отдельных высказываний Горького. Такая догматическая канонизация отдельных мыслей великого писателя внеисторична, она мешает установить их связь со всей эстетической и философской системой взглядов Горького. Несостоятельность суждений некоторых польских критиков кроется, между прочим, и в неумении исторически проследить и истолковать возникновение метода советской литературы, в отрицании его преемственной связи с критическим реализмом. О самостоятельности оценок говорит дипломная работа Абрамовой

«Творческая история романа Новикова-Прибоя «Цусима». Абрамова будет преподавать в Заволжье, в самом отдаленном — Перелюбском районе, но, как надеется Гера Владимировна, не потеряет связи с кафедрой, будет писать для «Ученых записок».

В том, что рассказывала Макаровская о своей работе и работе своих студентов, чувствовалась определенная школа. И Гера Владимировна сама ответила на вопрос, который я не успела задать:

— Свое понимание предмета не представляю себе без того влияния, которое оказал на меня Александр Павлович Скафтымов.

В среде саратовских ученых и студентов авторитет заслуженного деятеля науки А. П. Скафтымова очень велик. Вся кафедра русской литературы, все ученики стремятся следовать манере Скафтымова брать явления крупно, в исторической взаимосвязи, его углубленному проникновению в идейно-художественный замысел писателя, его точным характеристикам творчества в целом, многоплановому анализу взаимодействующих с темой средств выражения, тонкому исследованию стиля, обусловленному изучением индивидуальности писателя. Такой отпечаток заметен в работах Никитиной, Макаровской, Архангельской, Чуприной, Покусаева, сменившего своего учителя на посту заведующего кафедрой русской литературы.

— Вы услышите восторженные отзывы молодежи об Александре Павловиче, — сказала Раиса Азарьевна Резник, доцент кафедры западной литературы. — Это не удивительно. Здесь воздействует не только яркий талант ученого и тонкого литератора. Он из тех педагогов, которые покоряют уже своей личностью, глубокой, многогранной.

— Александр Павлович стал пенсионером, — рассказывала аспирантка Галина Антонова, — но он по-прежнему в курсе всех дел кафедры, и мы, его ученики, счастливы, что это общение существует. Это необычайно чуткий педагог. Когда сама, еще на ощупь, идешь к какой-то интересной мысли, у него сразу глаза зажгутся, и он одной фразой поможет увидеть гораздо дальше. Беседа с ним — всегда толчок вперед. Его работы о Чехове, Чернышевском, Достоевском всегда нарахват, но они не переиздаются. Неужели только потому, что наш сдержанный и скромный Александр Павлович живет в Саратове, а не в Москве? Мы убеждены, что науку двигают вперед не только в центре.

Рассказывая о своих руководителях Скафтымове и Оксмани, подруги Татьяна Усакина и Галина Антонова рисуют крупные и привлекательные личности. И в чем-то девушки сами повторяют своих учителей и также дополняют друг друга. Таня наследует неистовую страсть Юлиана Григорьевича Оксмана к текстологии, к истории литературы. Галю привлекает живая стихия художественности, скрытые законы писательского творчества. У нее самой художественное мышление, образная речь. Манеры у нее спокойные, сдержанные. Таня же излучает прямо какую-то взрывчатую энергию. Стоит послушать ее оценку книги, которую она считает шарлатанской:

— Мы пришли в книжный магазин, увидели — лежит бежевое с золотом... Чуть не умерли со смеху. Это же хлам!

Глядя на нее, думаешь: литературоведение — кабинетная наука? Ну, нет...

Сколько я ни расспрашивала Таню о ее работе, она отмахивалась:

— Ну, что вы, ерунда... Вот послушайте лучше, какие интересные вещи нашла у Огарева студентка Дмитрук. Она обратилась к его эстетическим и историко-литературным суждениям, нашла интереснейшие высказывания о Пушкине и Грибоедове и убедительно доказала, что Огарев, а не Герцен первым высказал мысль о том, что идеал Грибоедова — это идеал декабристов. Часть этой работы принята в «Научный ежегодник».

Я опять пробовала навести Усакину на ее разыскания неизвестной статьи Щедрина.

— Ну да. Это будет опубликовано в «Литературном наследстве»... Только ведь это все Юлиан Григорьевич. Это его правило — привлекать своих учеников (на правах сотрудников, а не в качестве безыменных помощников) к подготовке новых изданий, к которым он причастен как редактор. Наши аспиранты готовили материалы для сборника воспоминаний о Чернышевском и для сборника о декабристах. В московских изданиях публиковалась статья Рязанова о десятой главе «Евгения Онегина» и статья Косовича о Майкове. Юлиан Григорьевич щедрый и умеет зажечь. Часто из одного его комментария вырастает статья. У него всегда есть время и мысли для студента или аспиранта.

Позвонишь поздно вечером: «Можно прийти?» — «Если нужно, приходите». Что поделаешь, мне нужно, я иду. Ему шестьдесят два года, ему сто сорок телеграмм в юбилей прислали, но он не стал с юбилеем старше. Он моложе нас всех, и мы ходим за ним неотступно. Никогда бы мы так не знали декабристов, Пушкина, Герцена, Гоголя, Белинского, если бы не Юлиан Григорьевич.

Большой эрудицией и подкупающим обаянием обладает и Евграф Иванович Покусаев. По отзывам студентов, у него очень хорошие лекции о Чехове, Гоголе, Короленко. Недавно Е. И. Покусаев защитил в Ленинграде, в Пушкинском доме, диссертацию «Идейно-творческий путь Щедрина».

— Евграф Иванович очень простой, он всегда поможет, с ним всегда легко, — говорят студенты.

Быть может, студенты идеализируют своих педагогов? Возможно и это. Но да здравствует учитель, который способен вызвать в молодом человеке чувство признательности и восхищения...

Письмо начиналось так:

«Дорогой Евграф Иванович! Очень, очень была рада вашему письму. От всей души огромное спасибо». Это было написано круглым женским почерком. Потом шли твердые мужские строки: «Многоуважаемый Евграф Иванович, Люся в своем предыдущем письме предательски забыла присовокупить к своим и мои самые искренние и глубокие поздравления в связи с Вашей защитой. По девичьей скромности, она не сказала о том, что уже год (слава Гименею!) является моей дражайшей половиной и по старой привычке часто пишет Волох, а не Перетрухина. Так здравствуйте же, Евграф Иванович!»

Несколько лет назад на филологическом факультете учились двое молодых людей — Людмила Волох, не сразу поверившая в свое педагогическое призвание, и Валентин Перетрухин, в котором, как он сам признается сегодня: «сколько было мальчишества, того дурного и бездумного, за что я и поныне клянусь себя». Один получил назначение в Сибирь, другая учительствовала в Подольске, в средней школе. Они отыскивали друг друга и нашли себя в том деле, к которому их готовили учителя.

«Что касается меня, Евграф Иванович, то я «нашел» себя в лингвистике, хотя до чертиков люблю поэзию (и лирику и сатиру), которую и пытаюсь уловить и постигнуть в дебрях философии и истории языка. Ныне, после пяти лет работы в Ишимском пединституте, нахожусь в годичной командировке при аспирантуре Московского педагогического института им. Ленина, где тружусь в поте лица над диссертацией «Синтаксис словосочетания в языке русской бытовой повести конца XVII века». Мою статью, объемом в два листа, «Словосочетание как специфическая синтаксическая единица в составе предложения» приняли в очередной сборник «Ученых записок» МГПИ».

Людмила теперь преподает в одной из вечерних московских школ. Рассказывая о литературе, она увлекается сама, «часто чрезмерно», интерес у учащихся к предмету большой, дисциплина на уроках отличная, и «относят меня к разряду строгих учителей. Вам, наверно, трудно представить меня в такой роли, Евграф Иванович?» В практике молодого педагога уже определилась черта, показательная для саратовского университетского быта, — личный контакт между учителями и учащимися. «Мне сейчас пишет (я переписываюсь со многими бывшими учениками) прошлогодний выпускник, частый «герой» разных собраний (а сколько он мне попортил крови!), о том, что справедливость всего того, что с него требовали и о чем ему говорили, он понял только сейчас, находясь в армии, а не тогда, на классных собраниях».

Вернувшись в Москву, я отправилась на розыски авторов письма. Они снимали комнату где-то далеко, в Тимирязевском районе, на неведомой улице. Узенькая тропинка вела через овраг, ручей, пригорок к маленькому огороду и цветнику на пустыре. Когда я постучалась в дверь одноэтажного домика, молодая женщина весело объяснила:

— А Валентин Николаевич поехал в родильный дом за женой и сыном...

Потом мы увиделись с Перетрухиным. Худой, в очках, очень серьезный и корректный, кажется от рождения предназначенный на поприще ученого, — неужели он был иным в годы студенчества? В своем Ишиме, где нет театра, он руководит драмкружком и председательствует в клубном художественном совете, он член правления Дома учителя, член месткома, редактор стенной газеты и пропагандист горкома партии,

— Хочется ли переселиться в Москву? Не уверен. Я полюбил свой коллектив, нашу атмосферу жарких дебатов, когда после лекций вовсе не торопишься нащупать ручку портфеля и мчаться восвояси, привык к работе «с огоньком». Там у меня больше самостоятельности — следовательно, больше инициативы, следовательно, упорнее желание увидеть плоды своих начинаний. Но в Саратов я бы вернулся... И Люся мечтает об этом.

Прощаясь, Перетрухин сказал:

— Я рад, что вы увлеклись нашим университетом. Лично я всем ему обязан. Какие широкие горизонты культуры открыл он мне, сельскому мальчишке. Буду до гроба любить свою альма матер...

В Саратовском музее молодой учитель и знаток живописи Белов, написавший пособие для школьных экскурсий по музею, сказал, указывая на группу старшеклассниц:

— Вот пришли мои дети.

— Ну, и как же вы учите ваших детей?

— Маяковского они любят...

Когда мы проходили мимо Дома пионеров, Белов сказал:

— Сколько раз на сцене этого Дома я играл Арбенина! Семь девушек в разное время играли Нину, но Арбенин был всегда тот же. Все думали, что я актер, а они не актрисы. Но вот одна из них, Лиля Толмачева, играла с Мордвиновым, а я пошел на литфак и стал писать стихи. Это оказалось сильнее.

Завидев какого-то человека, он проговорил:

— А вон идет Павел Иванович. Милый, старый Павел Иванович. Вначале я учился у него рисованию, а теперь мы с ним работаем в одной школе, и теперь уже я — классный руководитель...

В городе Марксе, близ Саратова, четыре года учительствует Людмила Борисовна Магон. Товарищи говорят о ней: «Делает честь университету и филфаку, отлично преподает, пишет для «Ученых записок». Стараниями молодого педагога школа превратилась в клуб городской интеллигенции. Здесь устраиваются вечера поэзии и серьезной музыки. Людмила Борисовна одалживает пластинки у замечательного саратовского коллекционера Н. А. Тюмякова, и на ее бетховенский, моцартовский, есенинский вечера собрался весь город».

Так же увлеченно работает в Большом Мелике Балашовской области Валентина Бондаренко, сама уроженка деревни. «Моей культурной колыбелью было студенческое общежитие», — говорит она. В бытность студенткой она с подругой Митюговой так интересно поставила «Светит, да не греет» Островского, что в университете об этом вспоминают и сейчас. А Митюгова, которую называли университетской Савиной, неожиданно для всех окончила аспирантуру — по эстетике.

* * *

Саратов дает Родине не только отличные машины. Все больше молодых людей прошедших выучку в саратовской высшей школе, работает в Хакасии, Туркмении, Узбекистане, на Севере, Дальнем Востоке, в степных районах Поволжья, в Сталинграде, Сарапале, Чебоксарах.

Их места на студенческих скамьях занимают другие юноши и девушки из окрестных волжских городов и деревень, чтобы потом, подобно Перетрухину или Бондаренко, впитавшим вместе с университетским курсом ширь городской культуры, где-нибудь в глухом углу увлечь молодежь своими знаниями и своим примером.

Так что же такое культура «во всех отношениях» в сегодняшнем Саратове? Заводы, театры, учебные заведения, больницы, концертные залы, книжные магазины, музеи, лекционные аудитории, широкоэкранные кино, телевизионный центр? Да, разумеется. Но самое главное — это новый облик человека, высоко несущего марку саратовца, в которой олицетворена благородная творческая традиция русского рабочего и университетского города на старой и обновленной Волге.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА ИЗ ФРГ

ФРГ

«Боннер рундшау»
(«Боннское обозрение»)
Бонн. Издатель Ганс Герман Штильгер.

Лотар фон Баллусек.
«Поэты в услужении. Социалистический реализм в немецкой литературе».
Лимесферлаг. Висбаден.
1956. Стр. 160.

★

В Германской Демократической Республике существует литература! Такое сенсационное открытие сделал не так давно рецензент западногерманской газеты «Боннер рундшау». Что ж, ему нельзя отказать в известной наблюдательности. Во всяком случае, по сравнению с категорическими утверждениями некоторых других западногерманских газет о том, что «литература по ту сторону железного занавеса прекратила свое существование», запоздалое признание «Боннер рундшау» не лишено здравого смысла. Удивительным нам показалось лишь то, что рецензент пришел к столь смелому выводу на основании книги западногерманского литературоведа Лотара фон Баллусека, название которой «Поэты в услужении. Социалистический реализм в немецкой литературе» вряд ли свидетельствовало о добропорядочности намерений автора.

Чтобы рассеять свои сомнения, мы постарались получить эту книгу и внимательно с нею ознакомиться. (Именно этим и объясняется наш несколько запоздалый отклик на выступление «Боннер рундшау».) К сожалению, приходится признать, что пером господина Баллусека двигало не желание объективно и без предвзятости осветить вопрос о социалистическом реализме в немецкой литературе, а нечто совсем другое. И все же... Впрочем, не будем забегать вперед.

На первый взгляд книга Лотара фон Баллусека производит впечатление солидного литературоведческого труда. Автор собрал довольно обширный материал, не поленился перелистать старые комплекты газет и журналов, снабдил свою книгу биографическими и библиографическими справками о писателях Германской Демократической Республики и даже поместил их портреты. Но — увы! — ни научнообразный стиль, ни обилие цитат и литературных имен не могут скрыть неприязни автора к правдивому слову передовых немецких писателей и беспомощности его теоретических построений. Выступая в роли ниспровергателя социалистического реализма, господин фон Баллусек не считает необходимым обращаться к фактам и приводить сколько-нибудь убедительные доказательства в защиту своих тезисов. Он твердо убежден в том, что стоит ему несколько раз назвать белое черным, а черное — белым, как читатель если и не совсем этому поверит, то уж во всяком случае усомнится: а может, и вправду белое вовсе не белое, а черное?

Тезисы, выдвигаемые Лотаром фон Баллусеком, не новы. Существует, утверждает он, «европейское искусство», которое «стоит в стороне от разума и науки... не служит больше «целям», общественным интересам и общественным учреждениям». Все, что не относится к этому «европейскому искусству», является, по мнению автора, неполноценным, несостоятельным и вообще не имеет права на существование. Такова, так сказать, исходная позиция Лотара фон Баллусека. Остается только неясным, что же подразумевает он под «европейским искусством». Если автор имеет в виду творчество таких европейцев, как его современники и соотечественники Э. Э. Двингер или Э. Юнгер, то мы можем вполне с ним согласиться, что произведения их ничего общего не

имеют ни с разумом, ни с наукой. Но едва ли и сам автор возьмет на себя смелость заявить, что книги, подобные недавнему роману Э. Э. Двингера «Потерянные сыновья», открыто восхваляющему войну и фашизм, не служат определенным целям, не выражают вполне определенные интересы милитаристских и реакционных кругов. Стало быть, речь идет о каком-то другом «европейском искусстве», но тогда о каком же? Если продолжать брать примеры из области немецкой литературы, то разве можно забыть, какой огромный вклад в европейское искусство внесли такие крупнейшие писатели, как Томас Манн и Бертольт Брехт. Но кто сможет отрицать, что их творчество служило и служит торжеству разума, интересам гуманизма и прогресса? Так повисает в воздухе тезис фон Баллусека о «европейском искусстве» и присущих якобы ему особенностях.

Реалистическое направление в литературе представляется автору весьма серьезной опасностью, от которой он всячески предостерегает немецких писателей. Стать, по выражению фон Баллусека, «истинным поэтом» может лишь тот, кто, отрешившись от жизни, погрузится в «глубину, темноту, реальность нереального, области, лежащие вне сознания».

Автор вступает в решительную полемику с реализмом девятнадцатого столетия, который кажется ему безнадежно устаревшим, и подвергает гневной критике теорию реализма. Особенно он недоволен высказываниями русских революционных демократов. Ему, например, очень не нравится, что Чернышевский видел «новое значение произведений искусства» в том, что всякий поэт или художник, хочет он того или нет, не может «отказаться от произнесения своего приговора над изображаемыми явлениями». «Это новое значение,— сокрушается фон Баллусек,— действительно не оставляет места... для буржуазного эстетизма и для творчества как такового». На этом знакомство автора с эстетическими взглядами русских революционных демократов, видимо, заканчивается. О степени его научной осведомленности можно судить по тому, что Белинского он считает учеником и «преемником» Чернышевского. И все это лишь затем, чтобы, совершив ошибку, за которую на экзамене поставили бы двойку школьнику, походя обругать «глубоко изученного» им Белинского за приверженность к тенденциозному искусству.

Разделавшись таким образом с реализмом XIX века, фон Баллусек приступает к ниспровержению реализма социалистического. Получается это у него необыкновенно легко и просто. Без всякой затраты умственных усилий он механически повторяет все вздорные измышления, которые можно встретить в любой статье о социалистическом реализме, опубликованной в реакционной печати.

Социалистический реализм, вещает фон Баллусек, есть не что иное, как «стремление к нивелировке». Сколько раз приходилось уже нам слышать такие утверждения! Сколько раз наши недруги, стремясь отпугнуть художников Запада от передового творческого метода нашей эпохи, пытались выдать за социалистический реализм то, что вопиюще противоречит самой его сущности. История современной немецкой литературы убедительно свидетельствует о том, что борьба за овладение методом социалистического реализма способствовала расцвету художественных стилей и творческих направлений писателей, тематическому многообразию их произведений. Ничего этого не желает видеть Лотар фон Баллусек. Он уныло брюзжит о том, что «политизация» литературы сгладила творческие почерки писателей Германской Демократической Республики, что «значительных романов в ГДР не появилось» и что вообще там в литературе нет ничего такого, что могло бы привлечь к ней внимание западного читателя.

Понимая, видимо, шаткость своей позиции голословного отрицания известных каждому непредубежденному человеку фактов, Лотар фон Баллусек пытается подвести под свои утверждения «теоретическую» базу. Прослышав, что социалистический реализм как метод требует изображения типических характеров и явлений, автор внушает читателю, что такое требование неминуемо приведет литературу к гибели потому, что... «типическое значит идеализированное».

«Бригадир, активист, — продолжает фон Баллусек, — не могут быть изображены как отрицательные персонажи в произведении, претендующем на отражение типического». В Германской Демократической Республике, утверждает он, писатели «в соот-

ветствии с законами партийности» должны наделять своих героев, если они занимают сколько-нибудь заметное общественное положение, только «хорошими качествами». Мало того, добавляет автор, эти «хорошие качества» должны быть обязательно «преувеличены». Почему «не могут» и почему «обязательно должны», фон Баллусек не объясняет. Да и нужно ли ему это? Ведь западногерманские читатели все равно лишены возможности проверить его утверждения по той простой причине, что произведения писателей ГДР, за редкими исключениями, в Западной Германии не издаются и распространение их там наистрожайше запрещено. Учитывая эти благоприятные для себя обстоятельства, фон Баллусек смело городит самую несусветную чепуху, хотя, как можно судить по его книге, ему знакомы многие произведения демократической немецкой литературы, о которых не имеют ни малейшего представления широкие круги западногерманских читателей. Ему известны, например, пьеса Фридриха Вольфа «Бургомистр Анна» и роман Эдуарда Клаудиуса «О тех, кто с нами», в которых выведены остро сатирические образы чиновников и бюрократов, занимающих высокие посты, но глубоко чуждых интересам народа. Об этом Лотар фон Баллусек предпочитает умалчать. Правда, в одной из глав он признает, что в Германской Демократической Республике выходят в свет произведения, в которых «самокритично вскрываются недостатки народно-демократического строя», но как могут такие произведения издаваться в ГДР, где писатели «живут под гнетом» и занимаются идеализацией жизни, остается для читателя загадкой.

В книге Лотара фон Баллусека приводятся многочисленные выдержки из рассказов, стихотворений, романов и пьес писателей Германской Демократической Республики. И хотя автор всячески пытается заверить читателей, что он далек «от злого намерения показать слабые места» этих произведений, он с педантичной старательностью выскисывает самые неудачные строчки стихов и страницы романов, выдавая эти изъяны за образцы социалистического реализма.

Есть, разумеется, в литературе Германской Демократической Республики произведения слабые, неудачные, есть книги, поверхностно и неверно отражающие жизнь, книги, в которых проступает тенденция к сглаживанию острых углов, к затушевыванию сложных конфликтов, имеющих в реальной действительности. Только напрасно Лотар фон Баллусек встает в позу первооткрывателя такого рода недостатков немецкой демократической литературы. Писатели ГДР со всей прямоотой и убедительностью давно уже выступают с критикой недостатков своей литературы. Недостатки эти — болезни роста молодой литературы, способствующей пробуждению и развитию в сознании немецкого народа великих идей мира и социализма. «Не исключено пока, — говорил выдающийся немецкий поэт Иоганнес Р. Бехер, — что в произведениях наших писателей содержание часто предстает в сыром, художественно необработанном виде. Но при всей нашей скромности следует подчеркнуть, что это содержание, этот сырой материал, является золотоносным, в противоположность так называемому художественно воссозданному материалу, который поставляет буржуазная литература».

Все, решительно все, не нравится Лотару фон Баллусеку в литературе Германской Демократической Республики. На каждой странице своей книги настойчиво проводит он мысль о том, что литература эта давно уже изжила самое себя и вообще не существует. Чего же ради понадобилось автору выступать с такими яростными нападками на «несуществующую» литературу и писать о ней целую книгу? Ответ на этот вопрос можно найти без особых затруднений. Страх, отчаянный страх перед социалистическими идеями, которые несет передовая немецкая литература, — вот что побудило Лотара фон Баллусека взяться за перо и примкнуть к хору прожженных злопыхателей. Впрочем, он этого и не скрывает. С гневом обрушивается он на писателей Германской Демократической Республики за то, что они уделяют слишком большое внимание современной тематике. Произведения о новой немецкой действительности, по мнению фон Баллусека, «безусловно хуже» произведений, содержание которых относится к давно прошедшим временам. «Хуже» потому, что в них, как сумел заметить фон Баллусек, «показана ликвидация капиталистической эксплуатации», показан мирный созидательный труд немецкого народа.

Мы не сомневаемся в искренности оскорбленных чувств автора и в его горячем желании наложить запрет на такие крамольные темы. В самом деле, зачем понадоби-

лось писателям Германской Демократической Республики беречь душевные раны бежавших на Запад заводчиков, собственность которых стала народным достоянием? Зачем надо было, например, Бертольту Брехту писать сатирическое стихотворение «Геррнбургский репортаж» о бесчинствах западногерманской полиции, если оно так не понравилось фон Баллусеку своей «острой актуальностью»?

И все же попытки фон Баллусека оболгать литературу ГДР не увенчались успехом. Напрасно автор извел так много черной краски. Книга его, как показала рецензия в газете «Боннер рундшау», вызвала совсем не те отклики, которых ожидал фон Баллусек. Выдержки из произведений немецких демократических писателей, пусть даже столь тенденциозно подобранные, отдельные крупницы правдивой информации, встречающиеся в его книге, оказались сильнее и полновеснее всех досужих измышлений незадачливого автора.

В. СТЕЖЕНСКИЙ.

ЧТО ЖЕ ОТСТАИВАЕТ СТАМБУЛЬСКИЙ „ЕНИЛИК“?

Турция

«Енилик» («Новь»), ежемесячный журнал искусства и мысли. №№ 49, 50, 53, 58. 1956—1957. Стамбул. Издатель и главный редактор Наим Тирали.

★

В последнее время среди турецкой художественной интеллигенции с новой силой разгорелись споры о дальнейших путях развития национальной культуры. В этих спорах активное участие принимают и авторы стамбульского журнала «Енилик» («Новь»), само название которого свидетельствует о желании сказать новое слово в искусстве.

«Какое творчество?» — так озаглавлена передовая статья в последнем полученном нами номере журнала. «Одни полагают, что наше искусство вступает в период творческой зрелости, — пишет автор статьи. — Иные, напротив, утверждают, что мы еще не сделали и шага по этому пути, что нужно еще много работать и, не смущаясь, подражать искусству Запада». Иными словами, вопрос поставлен так: должен ли турецкий художник по-прежнему ловить каждый чих американской или западноевропейской моды или искать свои пути, опираясь на опыт национальной искусства?

Автор передовой статьи в журнале «Енилик» отвечает на этот вопрос недвусмысленно. «Если бы единственной дверью в творчество было лишь подражание, то мы давно уже вступили бы в период зрелости и выпестовали бы художников-гигантов, которые заставили бы услышать наш голос во всем мире... Настала пора вернуться к самим себе. Для того чтобы не засушить едва пробившиеся побеги нашего искусства, нужны знания и культура... нужно освободить его от чужеземных сорняков».

Эти слова представляются бесспорной истиной для каждого, кто следит за развитием турецкого искусства и литературы, кто видит, как за последние десятилетия «чужеземные сорняки» глушат поле национальной культуры, возделанное лучшими турецкими мастерами, выросшими в период национально-освободительной борьбы 1919—1922 годов и в последующий период. Посмотрим, однако, какова творческая практика самого журнала «Енилик».

За последние полтора года турецкая литература понесла тяжелые утраты. Вслед за Джахидом Сытки Таранджи, поэтом своеобразного дарования, который умер совсем молодым в одной из клиник Женевы, в Лондоне скончался один из лучших современных турецких романтиков и драматургов — Решад Нури Гюнтекин. Затем Стамбул похоронил сатирика и романиста Эрджуменда Экрема Талу и Зию Османа Саба, видного поэта и литературного деятеля. «Последние месяцы 1956 года, — писал журнал «Енилик» в передовой статье, — были для нашей литературы временем печального листопада. Дарования, которые мы потеряли одно за другим и которые мужали долгие годы, оставили после себя пустоту, которую, без сомнения, не скоро можно будет заполнить в такой стране, как наша, где культурная и художественная жизнь бесплодна и неподвижна».

«Енилик» рассчитан главным образом на молодое поколение турецкой интеллигенции — студентов, учащихся лицеев, молодых преподавателей. И поэтому журнал

подчеркивает, что Решад Нури Гюнтекин и Эрджуменд Экрем Талу были не только художниками, которые своими произведениями приобщили к искусству широкие слои народа, но и отличными преподавателями, учителями молодежи. Решад Нури Гюнтекин долгое время преподавал турецкий язык и литературу в городе Бурса, в различных лицеях Стамбула, затем объехал всю страну в качестве инспектора министерства просвещения. Эрджуменд Экрем Талу читал курс турецкой литературы в Стамбульском университете и в знаменитом лицее Галатасарай, где перед первой мировой войной преподавал великий турецкий поэт-демократ Тевфик Фикрет и откуда вышло не одно поколение турецких литераторов.

Читая грустную передовицу в журнале «Енилик», я невольно вспомнил своего учителя, рано умершего лингвиста и филолога С. С. Майзеля, который был великолепным знатоком турецкого и арабского языков. И мне пришло на память, как однажды он вошел в аудиторию со своим туго набитым восточными книгами портфелем, извлек из него турецкий роман и стал читать и комментировать его. Перед слушателями постепенно раскрывалось не только обаяние живой народной речи, но и душа народа соседней с нами страны, его своеобразный подкупающий юмор, его нелегкая трудовая жизнь. За внешне объективным, бесстрастным и несколько ироническим рассказом о судьбе мальчика, выросшего на улицах Стамбула, ощущались шемшая грусть писателя, его мечты о лучшем будущем для детей своего народа. Это был роман Эрджуменда Экрема Талу «Большак».

Черпая свои темы в самой гуще народной жизни, такие писатели, как Талу и Гюнтекин, простым человеческим языком говорили о людях своей страны, их любви и ненависти, быте и мечтах, рассказывали об их борьбе за кусок хлеба, за национальную независимость отечества, высмеивали их врагов. Их книги полюбили турецкому читателю. Написанные десятки лет назад, они продолжают по-прежнему волновать, будить ум и совесть людей. Теперь это вынуждены признать даже многочисленные в Турции приверженцы наимоднейших течений модернизма. «В салонах и на литературных вечерах, — писал в газете «Ени Сабах» литератор Сиявушгиль, — прочесть хоть строчку из Решада Нури считалось «ретроградством». Но оказывается, что этот писатель гораздо более современен и молод, чем многие из нас».

Опираясь на опыт лучших турецких писателей, на опыт мирового искусства, передовая турецкая критика приходит ныне к заслуживающим внимания выводам. Так, Фетхи Наджи в своей книге «Человек неисчерпаем», которая вышла в 1956 году, утверждает, что настоящий писатель должен иметь определенное мировоззрение, что это мировоззрение должно соответствовать реальной исторической правде. Что такой писатель всегда живет интересами общества и стремится нести в народ свет, прививать ему уверенность в лучшем будущем, помогать найти выход из бед и трудностей, которые он переживает.

Казалось бы, журнал «Енилик», призывающий турецких художников «вернуться к самим себе», мог бы присоединиться к этим выводам, однако журнал этого не делает. Наоборот, выступающий на его страницах критик Хюсейн Джентюрк в статье, посвященной книге Фетхи Наджи, возмущается тем, что тот называет своих идейных противников «индивидуалистами, боящимися жизненной правды». Но разве не о справедливости такого суждения Наджи свидетельствует хотя бы напечатанное в журнале стихотворение Айхана Чаглара «Праздник умалишенных»?

Пока я купался под липой в ручье,
родные мои панталоны
вместе с глазами обоими
сперли дьявола дети.

Пока я искал их в лесу,
они продолжали красть
мои волосы и мои губы.
Не стало ног у меня,
и я не могу говорить.

Ах, карусель, карусель...

Мы в образе встретимся, может, ином,
но мне это очень обидно.

Я помню, каким я был молодцом,
сидя в левом углу на празднике умалишенных.

Трудно догадаться, что означает сей ребус, предложенный журналом своим читателям. Можно предположить, что, по идее автора, этот бессвязный бред должен передать мысль о том, что весь мир — лишь праздник умалишенных. Но мысль эта, по правде говоря, столь же не отличается новизной, сколь и национальной самобытностью.

Безысходным пессимизмом веет и от рассказа Фируза Эрделана «Расчлененная земля». У героя рассказа нет ни сил, ни цели. Он одинок, забыт «людьми и богом», хотя живет в центре Стамбула. Он — «зонтик на вешалке», и единственное его утешение — пьянство. Расчлененная, расползающаяся форма повествования, очевидно, должна выражать моральный и душевный распад героя, от имени которого ведется рассказ.

Журнал «Енилик» пытается совместить несовместимое — взгляд на искусство как на одну из форм познания жизни со взглядами, рассматривающими искусство как вещь в себе и для себя. Требование реализма, проверки литературы жизнью кажется ему обременительным, в нем ему чудится угроза свободе литератора и его доброй воле. Однако материалы самого журнала и многочисленные факты литературной жизни Турции говорят о том, что угроза доброй воле турецких литераторов исходит вовсе не от критиков, призывающих писать правду, а от тех, кто упорно пытается насаждать в стране «чужеземные сорняки».

В одном из номеров журнала, посвященном годовщине провозглашения Турецкой Республики, были помещены слова первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемала Ататюрка, говорившего, статья о «всячески поддерживает установление дружеских отношений с каждым из народов, составляющих человечество». В статье, которая называлась «Мустафа Кемаль перед лицом мира», журнал призывал молодую интеллигенцию всех стран задуматься над этими заслуживающими внимания словами. И журнал не ограничивается одними призывами. Он часто помещает переводы произведений иностранных авторов и уделяет немало места культурной жизни за рубежом. Там были напечатаны подборки стихов современных американских поэтов, обзор западногерманских кинофильмов, статья о французском театре. Но до сих пор ни одной своей страницы не отвел журнал произведениям современных авторов таких соседних с Турцией стран, как Болгария, Венгрия, Румыния, Советский Союз, таких стран Азии, как Индонезия, Бирма, Китай, Египет. Не уделяет он, как правило, внимания и культурной жизни этих народов. А жаль! Читателям журнала было бы, наверное, интересно узнать, что имя его редактора — рассказчика и новеллиста Наима Тирали — фигурирует в сборнике «Рассказы турецких писателей», который вышел на русском языке в Москве тиражом в девяносто тысяч экземпляров.

Едва ли не единственной «информацией» журнала о культурной жизни восточноевропейских стран была опубликованная однажды сенсационная заметка о том, что «Ив Монтан не поехал в Москву», что «этот популярнейший певец Франции, чье влияние на широкие массы коммунисты использовали в качестве козыря в своей пропаганде, отказался давать концерты не только в Москве, но и в Киеве, Ленинграде, Праге, Варшаве и Будапеште».

Кто в Турции не знает истории, которая произошла с легендарным ходячей Насреддином, когда сосед как-то раз попросил у него на время осла. «Нет у меня осла!» — отрезал Насреддин. В это время в хлеву послышался ослиный рев. «Как это нет? — возмутился сосед. — Слышишь?» Насреддин не растерялся. «Какому-то осла ты веришь, а моей седой бороде не веришь!» — отпарировал он.

Мы не дали себе труда проследить за тем, как ответил в данном случае своим читателям журнал «Енилик». Ведь рано или поздно они узнают правду. Но во всяком случае на недостаточную осведомленность он пожаловаться не может. У журнала имеются корреспонденты во многих странах мира, в том числе и во Франции. Их имена и адреса помещались даже на обложке журнала. Очевидно, все дело в том, что журнал вынужден делать вид, будто верит больше седым бородам пропагандистов «холодной войны», чем собственным глазам и ушам. Недаром другой стамбульский журнал, «Варлык» («Бытие»), отвечая на пожелания своих читателей помещать произведения современных русских авторов, однажды с горечью писал: «Даже когда мы издаем русских классиков, не говоря уже о писателях современных, и то находятся люди, в которых это вызывает злобу».

Несомненно, эти люди обладают пока еще в Турции реальной силой, раз даже такой известный и авторитетный журнал, как «Варлык», вынужден считаться с ними больше, чем с голосом своих читателей.

Не потому ли на страницах журнала «Енилик» призывы расширять обмен культурными ценностями, который способствует взаимопониманию между народами, уживаются рядом с «красным железным занавесом», «кознями коммунистов» и прочими ужасами, которыми сеятеля злости и лжи пугают обывателей? Не потому ли на его страницах так часто появляются произведения вроде уже упоминавшегося в этой статье «Праздника умалишенных»? О произведениях такого толка Халлдор Лакснесс остроумно заметил, что они «кажутся написанными не для простых парней — каменщиков, сапожников, конторщиков и красивых девушек, не для людей вообще, а для тех фантастических существ, которые, путешествуя на летающих блюдцах, якобы прибывают иногда на землю из мирового пространства».

Было бы несправедливо утверждать, что все авторы журнала «Енилик» заняты столь странным делом. Например, в рассказе Джевдета Кудрета «Ухо» воплощены весьма реальные противоречия и конфликты современной действительности. Выразительно нарисовав портрет начальника политического отдела охраны, который увлекается сыском еще со времен султана Абдула Хамида II, автор повествует о том, как один молодой адвокат навлек на себя подозрение полиции лишь потому, что он имел неосторожность указать в анкете, что его мать была не турчанкой, а итальянкой. После многих влуключений этот адвокат, затравленный слежкой, доведенный до иступления, попадает в тюрьму.

Рядом со статьей Хюссейна Джентюрка, в которой явственно сквозит страх перед реальной действительностью, помещена в журнале рецензия на новую книгу известного и советским читателям поэта Мелиха Джевдета Андая «Бок о бок». «Стихи этого поэта, — пишет автор рецензии, — убеждают в несправедливости мнения, будто современную поэзию могут понять только сами поэты. Каждому слою читателей его строки придадут немного воображения, немного надежды, смелости, мужества, верности. Форма в них так внутренне связана с содержанием, что смысл их ясен даже самым непонятливым. В этих стихах дело тех, кто борется за человеческую жизнь для людей, нашло свой язык».

Примечательна и статья Ахмеда Кёксала, в которой звучат небезосновательные предостережения в адрес талантливого поэта Октая Рифата, много сделавшего для развития современной турецкой поэзии.

В своей последней книге стихов «Чубатая улица» поэт пытается «встать над реальностью», так как, по его собственным словам, «интерес к ней потерян вследствие того, что к реальности мы привыкли». При всех добрых намерениях автора эта книга явно представляет собой шаг назад по пути к откровенному формализму, с которым сам Октай Рифат выдержал когда-то немало боев в одном ряду с Орханом Вели и другими передовыми поэтами Турции.

Анализируя новые стихи Октая Рифата, критик выражает сомнение в том, что такая «надреальная» поэзия выдержит испытание временем, ибо она вряд ли будет интересна даже «тому узкому кругу людей, которые имеют возможность заниматься поэзией и искусством и которых принято называть счастливым меньшинством».

Литературная жизнь в современной Турции сложна и противоречива. Журнал «Енилик» по-своему отражает эту сложность и противоречивость. Как мы видим, на его страницах часто соседствуют прямо противоположные мысли, полярные по своим принципам произведения. Это, может быть, было бы не так уж страшно, если бы правдивые, простые человеческие слова не терялись в потоке изломанной фальши, а нередко и лжи.

Накануне прошедшего литературного года журнал поместил стихотворение Энгина Сандера.

Жизнь еще раз полюбить.
К правде еще сделать шаг.
Все еще раз понять
Снова...—

призывал поэт.

Хочется верить, что этот призыв отражает не только «широту и сложность взглядов» редактора журнала, сложность, о которой М. Горький говорил, что она «печальный и уродливый результат крайней раздробленности» души «бытовыми условиями мешанского общества, непрерывной, мелочной борьбой за выгодное и спокойное место в жизни». Хочется думать, что эти слова выражают и искреннее стремление журнала сделать шаг к правде, к жизни. Тогда, пожалуй, журнал не попадет больше в столь комическое положение, в которое его поставил случай с Ивом Монтаном, и, может быть, ему удастся ответить, какое же творчество он в действительности отстаивает.

Р. ФИШ.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

3. КЕДРИНА

★

ДОРОГАМИ ЖИЗНИ

ИСТОЧНИК ВОДХНОВЕНИЯ

Самое отрадное явление нашего литературного сегодня—это решительный и реальный поворот писателей к жизни как к источнику вдохновения и основе художественного образа.

О необходимости изучения жизни мало писалось и говорилось и до сей поры. Однако одностороннее внимание в творчестве ряда писателей в течение последних двух лет к одним лишь тeneвым сторонам действительности говорит о том, что понятие «близость к жизни» рассматривалось иными литераторами ущербно, поверхностно и не шло дальше эмпирического исследования единичного факта или даже одной из многих его сторон.

Поскольку образ в понимании художника социалистического реализма не мыслится без «правды сущей», вопрос о том, как извлечь эту правду — правду обобщения — из пестрого оперения фактов, является для нас первоочередным.

Ведь истинная, большая правда жизни отнюдь не идентична правде отдельного факта или явления, и для того чтобы познать ее, а познав, превратить в правду художественного образа, недостаточно увидеть и даже досконально изучить один колхоз, один завод или одного, пусть даже самого яркого, человека.

Для правдивого художественного образа такого чисто эмпирического знания жизни мало, хотя у нас уже выработалась на сей счет специальная терминология, соответствующая поверхностному знанию действительности и — волей или неволей — маскирующая эту поверхность.

— Он хорошо знает этот (или свой) участок, ему и книги в руки, — говорим мы с уважением, заранее предполагая, что

если писатель провел три месяца на целине или на стройке, то он уже вполне готов для того, чтобы «отобразить» этот свой «участок» в литературе. А так ли это?

В свое время иные из товарищей, защищавшие роман В. Дудинцева «Не хлебом единым», охотно оперировали тем соображением, что автор получил свой материал «из первых рук», от группы изобретателей, долго и трудно прокладывавших путь для своего изобретения. При этом не учитывалось, что поле зрения автора было ограничено одной группой и ее конкретной, индивидуальной тропой. И это обстоятельство было немаловажным в ряду тех причин, которые повели к смещению реальных жизненных связей и общественных отношений, характеризующих этот неправильный в своей основной идейной линии роман с его предвзято надерганными и тенденциозно освещенными фактами. -

А ведь случай этот не единичен. Среди писателей нашлись и такие, которые, сбившись с правильного пути и неверно трактуя задачи литературы, пытались, как сказал Н. С. Хрущев, «представить дело так, что будто бы литература и искусство призваны выискивать только недостатки, говорить преимущественно об отрицательном в жизни, о фактах неустроенности и замалчивать все положительное». И ни людей этих, ни читателей наша критика не сумела сразу верно ориентировать, показать корни и обстоятельства возникновения подобных литературных просчетов, ошибок и недостатков.

Партия, как это и всегда бывало в трудные моменты на протяжении всей истории развития нашей литературы, и на этот раз пришла нам на помощь. Партийный документ — сокращенное изложение выступле-

ний Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа» — с широких общественно-исторических позиций определил наши главные ошибки и просчеты и указал тот верный путь, который ведет к новым творческим успехам.

«Сложность и своеобразие идейной борьбы в области литературы и искусства в настоящее время состоят, между прочим, в том, что нам приходится защищать литературу и искусство не только от нападков извне, но и от попыток отдельных творческих работников толкнуть литературу и искусство на неправильный путь, увести в сторону от главной линии развития.

А главная линия развития состоит в том, чтобы литература и искусство были всегда неразрывно связаны с жизнью народа, правдиво отображали богатство и многообразие нашей социалистической действительности, ярко и убедительно показывали великую преобразовательную деятельность советского народа, благородство его стремлений и целей, высокие моральные качества. Высшее общественное назначение литературы и искусства — поднимать народ на борьбу за новые успехи в строительстве коммунизма», — сказал Н. С. Хрущев.

Естественно, что первым и самым непосредственным движением мысли и чувства, которое возникает у литератора, осознавшего высокое назначение своего труда, является стремление незамедлительно и реально окунуться в конкретную действительность, непосредственно включиться в самый процесс ее формирования: отправиться на великие стройки, на производственные предприятия, в совхозы и колхозы, поближе узнать практику совнархозов на первых этапах их деятельности.

Такое стремление — увидеть и изучить конкретные процессы формирования нового в нашей жизни — естественно и плодотворно. Только так художник, активно участвующий в борьбе народа за построение коммунизма, может исполнить свой высокий долг, действительно способствуя рождению, росту и развитию тех явлений и черт, которые движут вперед наше общество. И писатели отправляются в путь. Это движение, исподволь начинавшееся еще в первые дни освоения целинных земель, как часть единого патриотического устремления советского народа, горячо и широко откликнувшегося на призыв ЦК КПСС, ныне, после опубликования выступления Н. С. Хрущева, приобретает уже настоя-

щий размах. Писатели едут в самые различные уголки нашей великой страны. Все организации Союза советских писателей и все его печатные органы горячо обсуждают проблемы, вытекающие из выступлений Н. С. Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с жизнью народа». Редакции и Союз писателей выделяют средства, командировывают людей на места. Размышляя о дальнейших путях развития и подъема литературы в связи с выходом ее на передний край жизни, многие из товарищей наших говорят о том, что один из путей этих лежит через очерк, через оперативное журналистское вмешательство в жизнь. И это в значительной мере верно: ничто так не помогает видеть и наблюдать, как непосредственное участие в происходящем, и ничто так не вредит наблюдению, как позиция наблюдателя. Чтобы изучать жизнь, надо самому в ней участвовать, чтобы изучать стройку, надо самому строить — топором ли, подъемным краном или авторучкой, — это уже вопрос индивидуальный, зависящий от умения и обстоятельств.

Путь от конкретного участия художника в общенародной стройке к обобщению жизни народа в образах искусства, путь, идущий через поездки по стране и журналистскую работу над очерком, — для нашей литературы отнюдь не совершенная новость. Многие читатели и писатели помнят, сколько литераторов разъехалось по новостройкам страны в годы первых пятилеток. Мы помним, как обилие жизненных наблюдений, зафиксированных в очерках, буквально захлестывало нашу печать, даже породило специальные издания (например, горьковский журнал «Наши достижения») и немало способствовало в конечном итоге тому значительному подъему советской литературы, который совершился в тридцатых годах и о котором свидетельствуют такие произведения советской классики, как «Соть» и «Дорога на океан» Л. Леонова, проза П. Павленко, «Люди из захолустья» А. Малышкина, «Энергия» Ф. Гладкова, «Гидроцентральный» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева и многие другие.

Эти написанные по горячим следам жизни произведения оказались вместе с тем и наиболее долговечными во времени, сохраняющими свою острую актуальность в течение последующих десятилетий. Вряд ли мы можем сегодня назвать более актуальные в воспитательном смысле романы о

колхозной деревне, чем «Поднятая целина» Михаила Шолохова или «Бруски» Федора Панферова.

Иные произведения очеркового плана, написанные в те времена и как будто бы не рассчитанные на бессмертие, здравствуют, тем не менее, и поныне, также неизменно оставаясь в числе лучших произведений своих авторов и всей советской литературы. Таков, например, «Кара-Бугаз» К. Паустовского, таковы среднеазиатские очерки Н. Тихонова. А стихотворный репортаж, писавшийся в свое время поэтом Владимиром Луговским из среднеазиатских пограничных кишлаков; собранный в четырех книжках «Большвикам пустыни и весны», превратился с течением времени в монументальное образное обобщение социалистического возрождения советского Востока.

Были ли в эту славную пору первых пятилеток трудности, неполадки и недостатки в строительстве? Безусловно, и еще какие! И авторы лучших произведений тех лет их отнюдь не замалчивали. Напротив, они показывали их крупно, во весь рост. Вспомним немую сотинскую глухомань, встретившую строителей-большевиков скитским лесным наваждением, таившим в себе зачатки кулацкого бунта и ярость недобитой белогвардейщины. За социалистическое преобразование этой глухомани приходилось платить кровью, нечеловеческим трудом беспредельно преданных коммунистическому долгу героев-большевиков.

Были ли они, эти герои, выведены абстрактно «идеальными» фигурами? Отнюдь нет. Они показаны людьми, пришедшими к социалистической стройке с немалым грузом пережитков старого мира, но они вместе с тем явились воистину положительными героями, потому что не пережитки и слабости характеризовали основную линию развития этих образов, а самоотверженный, сознательный подвиг во имя грядущего счастья всех людей земного шара. Значит ли это, что без изображения пережитков прошлого нет полноценного и полнокровного живого образа в искусстве? Отнюдь нет! Павел Корчагин не несет в себе ни отрицательных, ни пережиточных черт. Однако вряд ли у кого-нибудь возникнет сомнение в его жизненной полноте и правдивости. Не в дозировке тех или иных качеств заключается секрет реалистической правды в искусстве, а в той идейно-художественной позиции, с которой автор произносит свой «приговор» над явлениями действитель-

ности, то есть в самом характере обобщения.

Тридцатые годы были временем острой идейной, а следовательно, и идейно-художественной борьбы. Были и в те времена произведения, рассматривающие жизнь и с враждебных и с обывательских позиций, произведения авторов, которые за деревьями не видели, а иной раз не хотели видеть, леса или видели его искаженным, в ущербном свете, скрадывающем истинные формы и краски.

Только наличие у лучших наших писателей совершенно отчетливой жизненной позиции, позиции непосредственного участника и строителя социализма, обусловило победу реалистического метода в советской литературе, обусловило ее формирование и рост как литературы социалистического реализма, не только и не просто объясняющей жизнь, а помогающей ее преобразованию.

Нам сейчас очень важно как можно полнее и глубже использовать славный опыт нашей литературы, неизменно обогащавшейся в первом общении с действительностью и в свою очередь помогавшей решению ее главных задач.

Сейчас наша страна находится на новом подъеме — об этом наглядно свидетельствуют замечательные успехи советской науки и техники, победившей в мировом соревновании по первым космическим полетам, по реактивной авиации, победившей, невзирая на злые пророчества врагов и пугливую оглядку «своих» паникеров.

В свете этих успехов еще очевиднее становится вся ущербность идейно-художественной позиции литераторов, создававших произведения ревизионистского толка. Если бы судьба нового, передового человека в нашей стране действительно сводилась к судьбе Лопаткина, если бы вся система наших общественных взаимоотношений вела к тому, чтобы темный коридор коммунальной квартиры стал тем самым местом, где решаются судьбы великих изобретений, то откуда бы взялись искусственные спутники Земли, поднявшиеся с нашей советской территории, и баллистические ракеты, за считанные минуты преодолевающие пространства между материками?

«Весь вопрос в том, с каких позиций и во имя чего ведется критика, — сказал Н. С. Хрущев. — Мы вскрываем и критикуем недостатки и ошибки для того, чтобы устранить их как помеху на нашем пути, чтобы

еще более укрепить наш советский строй, позиции Коммунистической партии, обеспечить новые успехи и более быстрое движение вперед. А что происходит с некоторыми литераторами, когда они берутся критиковать недостатки? Не зная жизни, не обладая необходимым политическим опытом, умением видеть главное и определяющее в жизни, они цепляются за недостатки и ошибки тех или иных работников, сваливают без разбора и осмысливания все в одну кучу, запугивают себя и пытаются пугать других».

Совершенно очевидно, что именно ошибочностью избранной позиции был определен ущербный характер образного обобщения в романе «Не хлебом единым». Один и тот же предмет можно рассматривать прямо и вкось, с фасада и с черного двора, упершись в него взором вплотную или отойдя на такое расстояние, чтобы увидеть его в целом, ночью и утром, в ярком солнечном свете или в сыром тумане дождливого дня, и в каждом случае не только образное впечатление, но и осмысление увиденного будут различны: величественное светлое здание, радующее глаз целесообразностью и стройностью своих форм, или грязное пятно на стене — все это можно увидеть в одном и том же объекте.

Мы не можем генерализировать одну, раз навсегда заданную точку, с которой следует рассматривать явления нашей действительности. Выбор точки зрения не может быть регламентирован заранее, он диктуется прежде всего той идейно-художественной задачей, которую ставит перед собой автор: имеет ли он своей целью оперативное вмешательство в жизнь на каком-либо локальном ее участке посредством делового газетного очерка или стремится к созданию эпопеи, широко обобщающей целый исторический этап народного бытия.

Разумеется, даже и при изображении частных художник не может терять ощущения всей перспективы явления в целом, хотя выбор точки зрения на предмет и связан в значительной мере с целью и жанром, в котором писатель собирается выступать.

Та точка наблюдений и тот объем материала, которые могут быть достаточны для газетного очерка на злобу дня, совершенно недостаточны для повести или романа. Живая жизнь народа богата и многообразна, и претендует на ее эпическое отображение,

художник не может ограничиться хотя бы и детальным знанием одного ее участка, на котором действуют его герои. Он должен находиться в самой гуще ее, видеть ее процесс в целом и в деталях, уметь определить ее существо, выделить главные тенденции из груды многообразных и пестрых фактов, второстепенных или случайных подробностей.

А для этого мало одного эмпирического исследования, прощупывания своими руками отдельных явлений, событий, случаев или простого нанизывания свежих впечатлений, полученных в поездках по стране.

Эмпирически полученный писателем из личных наблюдений материал действительности — это только сырье для идейно-художественного обобщения, с которого и начинается самое главное в создании образа: общественно-исторический анализ процессов действительности. А для такого анализа художнику необходимы всестороннее знание и ощущение широкой перспективы развития общества.

Мы много говорили о необходимом писателю «чувстве нового». Оно, бесспорно, необходимо. Но сегодня наряду с таким чувством мы вправе требовать от художника еще и знания нового, понимания закономерностей нашей жизни в ее неразрывных связях с прошедшим и будущим. А это может быть обеспечено лишь глубоким и многосторонним изучением жизни, сочетающим в себе теорию с практикой. Давно уже сказано, что если теория мертва без практических дел, то и практика слепа без теории.

ПУТЬ ЧЕРЕЗ ОЧЕРК

Но бывает и так, что художнику надо приобщиться к практике, к конкретному делу не потому, что у него есть своя определенная цель или замысел, а именно потому, что у него, в какой-то период ослабившего свои связи с действительностью, определенной цели, замысла нет, и он ищет в окружающей его жизни благодетельной подсказки, своего рода «социального заказа».

И жизнь дает такой заказ и писателю, и поэту, и журналисту. Мы знаем, что общенародное патриотическое движение советских людей на целинные земли вовлекло в свой поток и самых различных писателей, старых и молодых, поэтов, прозаиков, драматургов. Одни из них, как, например, Илья

Сельвинский, совершили хотя и продолжительную, но как бы эпизодическую поездку, во время которой автор главное свое внимание сосредоточил на оперативном вмешательстве в жизнь. Поставив своей целью устранение конкретных недостатков, мешающих людям, приехавшим на целину, работать и укореняться на новом месте, поэт написал ряд боевых очерков, направленных против случайных элементов в среде новоселов — хулиганов, нарушителей советских порядков.

Очерки И. Сельвинского с целины были напечатаны в «Литературной газете», вызвали поток читательских писем и подсказали на местах ряд конкретных мероприятий, направленных на устранение различных огрехов. Стихи же И. Сельвинского о целине явились отдельными более или менее удачными поэтическими зарисовками, не имеющими, однако, особого самостоятельного значения ни для творчества их автора, ни для раскрытия этой темы в нашей литературе.

Другой поэт, В. Солоухин, кроме стихов, также создал очерки о целине, ставшие как бы летописью великого похода и широко известные читателю. Но есть и такие писатели, которые, подобно Ивану Шухову, посвятили целине ряд лет своей творческой жизни. У Ивана Шухова, например, в итоге возникла книжка очерков «Золотое дно». Собранные в ней очерки — это как бы эскизы к большому полотну, подступы к большой теме. Это зарисовки дел и дней целинников, зарисовки, которыми автор как бы стремится «взять в кольцо» свою тему. Вот «Золотое дно» — общий очерк истории освоения немеренных пространств казахстанских степей, который писатель начинает с пейзажной зарисовки, с общей характеристики зернового хозяйства Казахстана, затем переходит к историческим заметкам и справкам, а завершает проблемами освоения целины в наши дни. А там «Осенние будни» коренных колхозников и первых новоселов, готовящихся провести первую целинную борозду, портреты людей, наброски событий и фактов. Автор включает в свой сборник и более ранний очерк о казахском колхозе, разительно преобразовавшем жизнь степи и степняка, колхозе, ставшем родиной многих молодых советских интеллигентов-казахов, — тоже своего рода «золотом дне» человеческой целины, сулящем небывалый урожай счастья. Очерки у Ивана Шухова весьма неровные: рядом

с превосходной зарисовкой пейзажа или выпуклой характеристикой конкретного человека — сухой, с казенными оборотами диалог или наивно обграванная в виде «задушевной беседы» деловая справка. Но во многих его описательных зарисовках как бы угадываются подступы к будущему роману, который потребует еще более широких и глубоких обобщений. В сборнике «Золотое дно» — большое количество действующих лиц, многие из которых лишь названы либо приведены просто для иллюстрации, но среди них выделяются персонажи, выписанные с любовной тщательностью и теплотой. Таковы, например, герои «Зимней повести», изображающей историю семьи сибирских казаков Жигаловых, целым родом прибывших на целину. Когда-то Шухов написал книгу «Горькая линия». Вся новая работа писателя, остающегося верным теме своей юности — теме земли, ставшей достоянием народа, — видится нам как подготовка почвы для будущего эпического произведения о новой, светлой линии жизни его любимых героев, их детей и внуков. Автор, как нам представляется, идет через очерк к своей истинной цели — обобщению жизни в форме романа.

Но есть писатели иного плана. Для них очерк не является путем к глубокому обобщению действительности, эскизом для широкой картины. Он для них является конечной целью, самым обобщением, самой картиной.

Такие писатели дают зрелый вывод и глубокое обобщение в самом увиденном факте, концентрируя в нем мысли и образы, вызванные множеством пережитых и наблюдаемых фактов действительности.

Разумеется, деление на жанры условно, между ними нет непроходимых границ, но есть такие произведения и такие художники, для которых характерно взаимопроникновение беллетристики и публицистики. К такого типа художникам относится, например, Ефим Дорош. Очерк становится для него душевным долгом и потребностью, а его реально существующие герои и место их действия делаются не только близкими писателю, — больше того, их судьба входит в его собственную биографию, как вошла в его биографию, скажем, судьба озера Неро. Такой очерк, обретая лирическую основу, порой поставит в тупик любителя точных жанровых определений: очерк ли это, рассказ ли? Его образы, оставаясь тесно связанными со своей конкретной жизненной

осенской, приобретают и более широкое значение. Так, написанный всеми красками живописной палитры пейзаж озера Неро становится у Дороша образом заброшенного богатства, требующего заботливых рук и равнодушных глаз, чтобы снова стать изобильным и прекрасным. И разве не приложим этот образ к душе человека, так же, как и это некогда красивое и плодородное озеро, требующей иногда внимания и помощи для того, чтобы вновь обрести свою жизненную полноту?

При этом и рассказы Ефима Дороша откровенно обнажают свою очерковую природу, которая у этого художника не только не мешает силе и выразительности образа, а даже как бы подкрепляет его своей подчеркнутой достоверностью. «Помнится, ранней весной, когда еще только таял снег, приехал я в колхоз...» — пишет Е. Дорош в рассказе «Малявочка». И дальше рассказывается, как он сидел на завалинке возле правления, наблюдая, как «на рыжей от навоза земле, вздыбив перья, дрались белые, со сбитыми гребешками петухи», как ходил читать газеты в правление колхоза, как посещал «сборную команду» райисполкома, где встречал людей «молодых, пожилых и старых, точнее состарившихся на моих глазах...», и как по-разному раскрывались эти люди перед писателем, не просто приехавшим в этот районный центр в краткосрочную творческую командировку, а сделавшим жизнь этого района частью собственной, личной жизни. И это свидетельство достоверности и важности всего того, о чем повествует писатель, служит как бы надежным фундаментом для противопоставления двух характеров, написанных скупыми и емкими средствами новеллы.

Валентин Иванович Малявочка, один из исполнительнейших работников исполкома, свято верящий в абсолютное значение бумажки, охарактеризован несколькими меткими чертами, обличающими в нем ограниченного и бездушного в наивном ощущении своей абсолютной правоты человека: это плотный, круглолицый и розовощекий мужчина, одетый с тщательной предусмотрительностью, свидетельствующей о том, что он «личность положительная, склонная ко всему основательному, солидному». Малявочка именуется женщиной «женским персоналом», клевету — «версией», сон — «отдыхом». Он с гордостью показывает посетившему его автору фотографию женщины в

венке из бумажных цветов с надписью: «Если встретиться нам не придется, значит наша такая судьба. Пусть навеки с тобой остается неподвижная личность моя», — и любящий во всем точность Малявочка заботится о том, чтобы писатель не спутал вышеозначенных «стихов», переписывая их в свой блокнот.

Этому «агроному» с его аккуратным письменным столом, идеально организованным для сугубо канцелярской работы, противопоставлен другой, старый агроном из батраков, председатель колхоза Тарас Егорыч Сиволап, в свое время научившийся грамоте в ликбезе, спокойный, распорядительный, хозяйственный, упрямый, с хитринкой человек, целиком преданный своему делу, «коренастый, загорелый до черноты, с жестким седым чубом», чем-то напоминающий «кустистое и цепкое степное растение».

Для того чтобы идея этого рассказа-очерка стала совершенно очевидной, оказалось достаточным заставить двух этих людей вместе прогуляться по пашне, куда Тарас Егорыч не без ехидного умысла повел приехавшего за «отчетом» «законодателя полей». Читателю стали ясны два характера сельских работников и два характера руководства колхозным строительством.

Агроном Малявочка вежливо и терпеливо проделал в своих никак не приспособленных для этого дела полуботинках тяжелый многокилометровый путь по пашне и невозмутимо, с чувством своего превосходства, выслушал прозрачные намеки и прямые грубости агронома Сиволапа, чье доброе лицо к концу этой прогулки «приобрело сухое, язвительное выражение». Гневное чувство охватывает Тараса Егорыча, тщетно пытавшегося доказать бюрократу, что «наша с вами отчетность — в степи», и чувство это передается читателю. Весь рассказ-очерк занимает десять страничек. Герои его расстаются, как говорится, «без всяких последствий». Малявочка так ничего и не понял из встречи с Сиволапом, показавшим ему реальные нужды земли, и вынес из этого лишь одну немудреную мыслишку, что напрасно потерял время и хорошо бы завтра заставить колхозного бухгалтера, который без всяких прогулок и рассуждений даст ему цифры для сводки. Но читатель-то понял все и вооружился сильным зарядом гнева против бумажных душ всех и всяких «ма-

лявочек», где бы они ни встретились на его пути.

Емкость и выразительность деталей рассказов-очерков Е. Дороша свидетельствует об обилии взятого из жизни материала, сконцентрированного в каждом из них. Сделав «свой», постоянно посещаемый им район частью своей личной жизни, писатель, таким образом, оказался подготовленным к широким принципиальным обобщениям путей развития колхозной деревни, которым посвящена вся его работа новеллиста, очеркиста и критика. Его «Катериновские девочки» написаны с добрым заглядом вперед. В образах этих скромных, но ясных в своей безоговорочной преданности коммунистическому строительству девушек есть пафос революционной романтики, реально присущей жизни и труду социалистического общества. Но в них нет и следа «лакировки», нарочитого приукрашивания, подмены темного розовым, не только не свойственной истинной поэзии нашего дня, но находящейся с ней в непримиримом противоречии.

Есть у очерка и иной, самостоятельный путь, на котором он действует, не нуждаясь в подкреплении чисто художественными средствами и отнюдь не теряя при этом ни жизненной правдивости, ни актуальности.

Таков, например, публицистический очерк Ивана Винниченко «Время не ждет», напечатанный в № 11 журнала «Октябрь» за 1957 год и открывающий собой дискуссию по одной из жизненно важных проблем — проблеме координации работы колхозов и МТС. Здесь все идет от жизни, властно натолкнувшей журналиста на эту проблему реальным зрелищем недостатков и трудностей в работе даже прославленных и во многом успевающих наших хозяйств.

Иван Винниченко стремится как можно прямее, доходчивее и убедительнее раскрыть и сформулировать проблему народно-хозяйственного значения. Прием подачи материала в его очерке предельно обнажен. При этом оказывается, что путь, который ведет автора этого делового публицистического очерка от жизненного впечатления к практическим предложениям и выводам, неизбежен и для писателя, идущего от жизненного материала к художественному образу.

Вот как строится этот очерк. Сначала тревожное впечатление от того самого места, с которого «все началось», от первой нашей — Шевченковской — машинно-тракторной станции. Затем возникает вопрос о не-

удовлетворительной на данном этапе развития социалистического сельского хозяйства системе взаимоотношений между МТС и колхозами, тормозящей дальнейшее движение вперед тех и других. Затем идет проверка этого впечатления в иных колхозах, МТС, областях. Казалось бы, можно уже писать, сигнализировать, бить тревогу, предлагать свои меры и панацеи от всех зол. Но нет! Дальше следуют раздумье, поиски и осмысление причин, породивших трудности и неувязки, замеченные автором на многих объектах. И. Винниченко встречается и неоднократно беседует с экономистами Саниной и Венжером. Беседы с ними ведутся автором на материале «целого вороха фактов и наблюдений», в числе которых опыт Терентия Мальцева и Макара Посмитного, добившихся, чтобы тракторные бригады МТС, обслуживающие их колхозы, были целиком переданы в их распоряжение, и заявление выездной сессии Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина о том, что «существующие организационные формы взаимоотношений в таких колхозах и МТС (Ставропольского края.—З. К.) нуждаются в улучшении» и что в условиях укрупнения колхозов и увеличения количества и технической вооруженности МТС «диктуется необходимость организации единого руководства производством МТС и колхоза». В итоге попыток теоретически осмыслить поставленный вопрос, перерастающий в широкую экономическую проблему соотношения между государственной и колхозно-кооперативной собственностью, у автора возникает необходимость проверки на местах намечившихся у него выводов. Он снова едет в деревню, снова посещает Одесщину, ряд колхозов, в том числе и колхоз, которым руководит Посмитный, собирает мнения председателей колхозов и работников МТС и приходит к выводу, что объединять колхозы и МТС под единым руководством надо. Но вот как? Надо искать! И он ищет путей к такому объединению на специальной сессии Академии сельскохозяйственных наук, откуда выносит принципиальный вывод: объединение руководства не должно производиться везде по одному шаблону. Тут же журналист узнает и о ряде новых, конкретных форм такого объединения и опять обращается к жизни, чтобы разглядеть принципы новых взаимосвязей между государственной и колхозно-кооперативной собственностью, которые представляются ему необходимыми, назрев-

шими. Кратко раскрыв перед читателем различные увиденные им формы объединенного управления колхозами и МТС, автор, таким образом, включается в широкое обсуждение важного вопроса, поставленного нашей жизнью. Выдвигая в своем очерке ряд аргументов и группируя цепь конкретных и характерных фактов, очеркист еще не знает конечного решения проблемы: такое решение под силу лишь самому обществу.

ВЫВОД ХУДОЖНИКА

Путь, проделанный в данном случае журналистом И. Винниченко, заслуживает пристального внимания писателя. Вот так же — последовательно, настойчиво, сочетая жизненную практику с теорией, проверяя науку действительностью, а факты действительности наукой, сопоставляя, группируя эмпирически наблюденный материал для обобщения, — поступает истинный художник. Так же, как публицист, художник обращается к опыту прошлого, чтобы осмыслить настоящее, и стремится к научно обоснованному прогнозу будущего, ибо без этой «связи времен» нельзя определить свой путь в настоящем. Но публицист стремится к обобщению научному — ему важна логика прямых доказательств; художник же обобщает в образе, создавая слепок жизни, а потому он не имеет права остановиться там, где остановился публицист. Публицист, как это сделал Иван Винниченко, имеет право, поставив актуальную проблему, обобщение предоставить читателю. Художник же не может этого сделать, так как его образ, характер человека, который он создает, и является обобщением, в которое он вкладывает свое знание действительности, свое совершенно недвусмысленное отношение к совершающимся в ней процессам.

Мне скажут: а как же великие писатели-революционеры прошлого самым заглавием своих произведений задавали читателю вопрос — «Что делать?», «Кто виноват?»

Но прежде, чем задать этот вопрос, Чернышевский и Герцен решали его для себя совершенно ясно. Чернышевский был свято уверен в том, что делать надо так и то, как и что призывали делать Кирсанов, Лопухов, Вера Павловна. Герцен умом и сердцем знал, что в горестной судьбе Любоньки виноваты господа Негровы. Великие писатели и революционеры лишь желали, чтобы читатель глубже вдумался в поставленный пе-

ред ним вопрос, чтобы он прошел вместе с автором весь путь от частного впечатления через раздумье к обобщению, чтобы конкретный образ одного революционера или одного угнетателя стал в его глазах всеобщим, воплощающим в себе социальный строй, целую систему общественных отношений.

Философский смысл и образная система в произведениях Леонида Леонова, например, чрезвычайно сложны, характеры его героев остро диалектичны, но конечный вывод для него предельно ясен. И за лесным дивом, мохнатым зверенышем Бурьгой («Бурьга»), и за могучим образом лесного Облога, и за нежной и сильной юной фигуркой Поленьки Вихровой («Русский лес»), или Маши Воробья («Половчанские сады») стоит одна, предельно ясная для автора, страстная мысль: живая, творческая жизнь народа — самое важное на земле, и надо грудью, кровью, ценою самой жизни отстаивать ее от «волков»-эксплуататоров, кто бы они ни были — германские фашисты или отечественные кнышеры и грацианские, сколь ни казались бы они убогими и жалкими, как Пыляев или тетушка Констанция.

Таким образом, границы обобщения художественного произведения, а тем более произведения эпического — повести или романа — необычайно широки. Они требуют от художника определенного знания будущего, страстного убеждения в единственно возможном выводе.

Иначе образы писателя будут лишены убедительности, а картины представленной им жизни — реалистической правдивости.

Весьма показательной в смысле наглядной демонстрации путей, какими идет целый отряд советской литературы к овладению одной из актуальнейших тем нашей действительности, является работа казахстанских писателей над темой целины.

В первый же период великого похода на целину писатели, живущие в Казахстане, включились в этот поход. Мы уже говорили об опыте Ивана Шухова. На целинные земли поехали и Мухтар Ауэзов, и Сабит Муканов, и многие другие писатели и поэты, пишущие на русском и казахском языках.

Подъем целинных и залежных земель на неоглядных просторах Казахстана, заселение этих донныне пустовавших просторов — эти проблемы чрезвычайно глубоки и значительны не только в плане народнохозяйственном, но и в общественно-историческом

плане. Поэтому следует с похвалой отметить, что журнал «Советский Казахстан» в прошлом году уделял этой теме большое внимание в разделе «Очерки наших дней».

Этот раздел журнала дает многостороннее представление о том, как живет и строится сегодняшний Казахстан: как осваивается целина, как развивается жилищное строительство, исследуются богатства недр, растут и крепнут огромные по масштабам промышленные предприятия.

Правда, очеркисты «Советского Казахстана» не всегда достаточно внимательны к человеку, хотя и здесь имеются такие любопытные зарисовки человеческих характеров, как очерк К. Андреева «Строгий выговор» (№ 7), изображающий историю внутреннего отхода от колхоза человека, захлестнутого стихией частной собственности. Этот очерк интересен исследованием не только психологических, но и экономических условий, формирующих характер, что придает достоверность и глубину авторским выводам и горячему его призыву — не ограничиваться справедливой мерой взыскания, а заглянуть в корень зла, которое подкосило бывшего фронтовика, бывшего колхозного активиста, а сегодня внутренне чуждого своим товарищам человека — Катрича.

И в очерке Николая Корсунова «Испытание» (№ 4), рассказывающем о трудовой доблести членов казахской рыболовецкой бригады, люди также очерчены живо и убедительно. Юрий Ильяшенко в очерке «Семь дней в гостях у героя» (№ 8) дал портретную зарисовку Героя Социалистического Труда Нурмолды Алдабергенова, рассказал о том, что было и что стало в руководимом им колхозе; автор сумел быть весьма конкретным в изображении нового, однако ему не хватило внимания к самому процессу перестройки жизни колхозников от плохого к хорошему. А ведь в этом, в руководстве процессом, и сказывается существо характера героя. Может быть, главный недостаток очерков «Советского Казахстана» в том и заключается, что человеческая их проблематика зачастую оказывается оторванной от деловой: человек и его дело как бы изъяты из общей картины развития жизни республики и могли бы быть перенесены в любой иной край нашей обширной земли.

Здесь редко, как, например, в очерке Юнуса Раджибаева, судьба конкретного де-

ла (освоение Голодной степи) приводится в закономерную связь с судьбами людей. Слишком редко обращаются авторы очерков к национальной специфике Советского Казахстана.

Этот эта-то слабая связь между конкретной, «деловой» и, так сказать, общечеловеческой проблематикой в немалой мере снижает силу обобщения в работе очеркистов республиканского журнала за прошлый год.

Среди опубликованных журналом очерков хочется отметить записки директора МТС В. Попова «В МТС целинного края» (№№ 11, 12 за 1956 год и 2, 3, 5 за 1957 год). Однако В. Попов, предложив читателю многое множество зарисовок, часто метких и актуальных, характеризующих картину в целом (первые трудности, производственный рост людей, пахота, уборка, возведение своими силами целинного поселка в степи, организация техучебы, внедрение метода Терентия Мальцева), свежо и образно рассказав и о том, как пахнет зерно пирогами, и как полыхает рассвет на степном небе, и как сушат зерно в крытом току, и как завязывается дружба между парнем и девушкой, не пришел к глубокому обобщению. Поэтому удельный вес фактов не всегда ему ясен, и порой, останавливаясь подробно на второстепенных частностях, он говорит о решающих исторических событиях отнюдь не столь подробно и конкретно, как они того заслуживают.

В частности, записки В. Попова, при всем своем довольно обширном объеме, не касаются такого кардинального вопроса, как общественно-историческое значение для казахского народа всенародной государственной помощи, которая оказана республике всем Советским Союзом в целом.

Этому вопросу посвящены ранее опубликованные в казахстанской прессе очерки казахских писателей Сабита Муканова «На вершине Таскабака» и Мухтара Ауэзова «Так рождался «Туркестан».

Здесь авторы, говоря о преобразовании края, пошли каждый своим путем: Сабит Муканов — через прямое сопоставление картин, а также цифр и фактов прошлого и настоящего, а Мухтар Ауэзов — через подробное изображение строительства новоселами целинного совхоза в тесном контакте со старожилами, с людьми местного казахского колхоза. Оба очерка проникнуты идеей крепкой дружбы советских народов,

общими силами преодолевающих трудности на пути к коммунизму.

Главная цель и смысл очерка М. Ауэзова, также богатого конкретным материалом из жизни, работы и быта первых организаторов новорожденного целинного совхоза, сводятся к разъяснению исторического значения общенародного освоения целины для дальнейшего развития жизни казахского народа. Действенная помощь казахских колхозников, дающих новоселам кров в своих тесных зимовках, добрый хозяйственный совет старожиллов, хорошо знающих природу своего края, компенсируются теми техническими и культурными возможностями, которые новоселы ставят на службу возрождения края и переустройства жизни его населения на новых, более высоких основах. Эпизод спасения захваченной вьюгой «матери колхоза» старой Сакыш директором целинного совхоза коммунистом Строговым и трактористом Новиковым, с трудом пробивающимся на тракторе сквозь буран к месту будущего совхоза, становится символичным.

Раскрытию той же темы посвящен и роман Сабита Муканова «Степные волны», ставший как бы творческим итогом неоднократных поездок писателя на целину. Нужно сразу оговориться, что в том виде, в каком роман этот опубликован в русском переводе Дм. Снегина в журнале «Советский Казахстан», произведение Сабита Муканова еще сыро и требует серьезной работы автора. Но при всех своих ошибках и просчетах роман этот интересен, так как широко и смело поднимает вопросы сегодняшней нашей жизни. Он заслуживает пристального внимания и взыскательной, помогающей автору критики. Сабит Муканов ставит проблему освоения целины не только как народнохозяйственный вопрос, но и как вопрос социально-исторический, касающийся места и судьбы казахского народа в семье братских народов Советского Союза.

Автором схвачена главная проблема — историческая необходимость освоения целины для дальнейшего подъема жизни казахского народа, а также сопутствующий ей вопрос о новом этапе интернационального воспитания людей в связи с изменением состава населения республики, где бок о бок живут и работают теперь люди многих национальностей, приносящие с собой свои нравы, традиции, опыт. О них, этих людях — русских, армянах, украинцах, литовцах, киргизах, — автор говорит с теплотой и лю-

бовью. Но говорит, а не обобщает в образах. Главный недостаток нового романа Сабита Муканова в том, что, затронув важные жизненные проблемы, обозначив в своем романе судьбы множества людей, он не разработал поставленных им вопросов на должной глубине, не выписал образов с необходимой выразительностью. Удачи художника существуют здесь на общем фоне торопливого очеркового повествования, временами переходящего на язык газетной заметки. Но беда не в одной только манере изложения, беда в том, что автор, заставляя своих героев вступить в сложные личные и общественные взаимоотношения, в то же время не сумел убедительно раскрыть их внутренний мир.

Думается, что, дорабатывая свой роман, писатель должен шире и смелее привлекать к нему опыт всей своей жизни, свое долготное знание действительности, того, чем и как живет казахский трудовой народ.

ВЫСОКИМ ЯЗЫКОМ ПОЭЗИИ

Масштабы обобщения в очерке зачастую зависят и от количества характерных фактов, которыми он оперирует. Так, Иван Винниченко убеждает читателя в необходимости объединить руководство МТС и колхозами демонстрацией ряда многообразных фактов, свидетельствующих в пользу его положения. В очерке цифры, таблицы, диаграммы иной раз играют важнейшую роль при обобщении.

У художника конечным его выводом, обобщением является не просто мысль или положение, а образ человека, воплощающий эту мысль. В нем, в этом образе человека, и обобщает художник факты действительности, характерные черты времени. И чем значительнее эти факты, чем характернее черты, тем глубже обобщение, тем значительнее образ.

Можно написать многотомный роман, насыщенный массой фактов и событий, населенный сотнями персонажей, а впечатление от него будет дробным, обобщение мелким, люди, названные колхозниками, врачами или рабочими, абстрактными и малозначительными, а все в целом — схемой, никак не выражающей характер своей эпохи, потому что не в количестве фактов дело.

Сумма всего жизненного опыта, последовательное и вдумчивое изучение многогранных процессов действительности, определяющих собой жизнь страны и народа в ее

развитии, — такова единственная основа, на которой может возникнуть правдивое художественное обобщение даже и в том случае, если писатель обращается к какой-либо одной биографии или к ограниченному числу конкретных фактов.

И именно на такой основе только и можно в судьбе одного человека отразить характер и судьбу целого народа, как это сделал Михаил Шолохов в небольшом рассказе.

Герой «Судьбы человека» — пожилой шофер, солдат Отечественной войны, человек, по собственным его словам, «покалеченный» жизнью, с глазами, «словно присыпанными пеплом, наполненными такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть». Но в трагическом образе этого простого, как у нас повелось называть, человека, который не столько внутренне прост, сколько велик, заключена огромная сила истинного оптимизма. Если, пройдя все жестокие испытания войны — разлуку с близкими, бои, тяжкие раны, плен, адские круги фашистских концлагерей, гибель всей семьи, — человек этот не погнулся, остался до последнего часа войны бойцом, а с первых дней мира — человеком, пригревшим другого, маленького человечка — будущее народа, то нет силы, которая сломила бы этот народ, в котором и «малая песчинка», рядовой человек, так высок и крепок духом.

Прослушав бесхитростную повесть об обыкновенной судьбе этого обыкновенного человека, с грустью смотрит ему вслед лирический герой рассказа, смотрит, как ведет он за ручку другого осиротевшего человечка, но грусть эта сочетается с твердой верой в то, «что этот русский человек, человек несгибаемой воли, выдюжит и сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина». И мы вместе с героем и автором верим, что, унаследовав душевные качества своего приемного отца — силу и тонкость чувства, самоотверженность героизма, терпеливое мужество и естественный, как дыхание, патриотизм, — этот маленький мальчик вырастет большим человеком.

Так в образах скромных, рядовых людей раскрывает советский писатель высокую тему народного бессмертия.

Условное «я», от лица которого в «Судьбе человека» ведется повествование, которое зачастую является в рассказах просто приемом, обрамлением, здесь у Шолохова перерастает в волнующий образ лирического ге-

роя, по праву становящегося рядом с основным. И главная характерная черта этого образа — его глубокая человечность. Об этом свидетельствует та деликатность чувства, с какой он выдает себя за шофера, чтобы не стеснить ничем своего случайного собеседника, та сердечная наблюдательность, с какой он подмечает черты горя и заброшенности в этом случайном для него прохожем, та открытость для ребенка, то истинное волнение, с каким он принимает в глубину своей души чужую судьбу, и те чистые скупые слезы, которые лирический герой скрывает от мальчика, семенящего вслед за отцом. «Тут самое главное — не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая, мужская слеза...»

Вот этот широкий, всеобъемлющий гуманизм, который ведет солдата в смертный бой с античеловеческой природой фашизма во имя жизни и счастья человечества, эта глубокая простота правды делает рядового героя М. Шолохова высокопоэтическим образом великого народа в величайшей из войн, какие знала история.

И, быть может, «Судьба человека», показывающая душу советского солдата, более актуальна для народа, поднявшегося на мирный подвиг шестой пятилетки, чем иные многословные произведения в стихах и прозе, фиксирующие разрозненные факты сегодняшнего дня, зачастую в интерпретации пишущих точь-в-точь похожие один на другой.

Решающая удача М. Шолохова обусловлена не только и не просто его талантом, но и той страстной силой и щедрой полнотой, с какой художник воплощает в образе богатый и многообразный опыт своей жизни, осознанной в неразрывной связи с жизнью народа.

Мы справедливо сетуем на то, что наша литература все еще отстает от жизни страны, что она до сей поры не сказала своего полновесного слова о подвиге народа на целине, на освоении сибирских таежных просторств, на обуздании своевольных великих наших рек. А ведь написано об этом многое множество очерков, рассказов, повестей, драм, стихов и поэм, есть даже и романы. Но при том, что написано немало страниц и строк, в них трудно найти образ человека, внутренний мир которого стоит вровень с высоким пафосом времени, такого, каким предстает перед нами лирический

герой поэмы Александра Твардовского «За далью — даль».

Общенародное движение шестой пятилетки обобщено здесь в образе героя, по зову сердца отправившегося в путь, чтобы, обзрев, за далью даль, неоглядные просторы Родины, увидеть и постичь самое существо народной жизни, чтобы стать свидетелем и участником народных дел, помочь их свершению душевным поэтическим словом, которое иной раз нужнее хлеба и сильнее дальнобойного орудия.

То, что поэтическое движение лирического героя началось в канун великих дел новой пятилетки, когда идея похода на целину и в недра тайги еще зрела в сердце народа, еще только задумывалась нашей партией, говорит о настоящем знании жизни, которое у поэта переходит в непреодолимое всеохватывающее чувство. Можно назвать его художественным предвидением, но вернее определить, как истинную народность, которая неотделима от партийности.

Поэтическое путешествие Александра Твардовского по родной земле потому столь плодотворно, потому за каждой далью открывается ему новая даль — Волга, Сибирь, Ангара, новый простор для души и сердца человека, что Родина для поэта не просто географическое понятие, Сибирь не просто огромное зеленоватое пятно на карте, а сама жизнь его, часть личной биографии, неотъемлемая, как детство, первая любовь и первый лепет ребенка.

Влекомый вперед велением сердца, поэт вместе с народом радуется успехам Родины в строительстве коммунизма и находит яркие краски для выражения этих успехов в своей поэзии.

«Глазами души» поэт видит, что:

...и в столетях не померкнет
Тот вещей отблеск наших дней.
Он жизнь. А жизнь сильнее смерти:
Ей больше нужно от людей.

Потому-то из многих товарищей по вагону поэт выделяет тех, кому долг совести велит отдать народу всю свою жизнь — молодоженов-москвичей, которые благодаря своему обыденному подвигу стали как бы самым выражением, как бы цветом сегодняшней нашей жизни. И не отделить уже голос поэта от голоса его героев, самой молодости страны, они сливаются в лирическом монологе о праве нести в себе сердце Родины — Москву — в самые дальние дали родной земли.

В леса и степи до предела
Идти со связью от нее.
То не твое ли нынче дело,
Друг верный, молодость?
— Мое!
Мое по праву и по нраву,
Мое по счету голосов.
Несет мне честь, сулит мне славу
Земли родимой этот зов.
Не для того меня растили
И сберегали, как могли,
Чтоб я в поре своей и силе
Чуралась матери-земли,
Земли нетоптанной, нерытой,
Таящей зря свои дары,
Необжитой, недомотанной
И небом крытой до поры.
Мне по душе тех далей ветер.
Я знаю: очередь моя —
Самой в особом быть ответе
За все передние края.
За всю громоздкую природу,
Что в дело мне отведена,
За хлеб и свет, тепло и воду,
За все, чем в мире жизнь красна ..

Не относятся ли эти слова поэта и к нему самому и, более того, ко всей нашей литературе, молодой, свежей и сильной, перед которой распахнуты неоглядные просторы нашей советской жизни. Ее законное место в коллективном труде народа, в постоянном общении с повседневной практикой социалистического созидания: на переднем крае коммунистического строительства, которое под испытанным водительством своей партии ведет наш великий народ.



Д. ДАНИН

★

ИСПЫТАНИЕ ОПТИМИЗМА

(О романе Декстера Мастерса „Несчастный случай“)

1

Стоит прочесть что-нибудь умное, талантливое, живое — и каждого встречного хочется сделать соучастником своей радости. Нет ничего обычного. Но вот книга, бесспорно талантливая, блестящая умом, написанная с живой любовью к человеку и с тревогой за человечество, книга, необычайная по теме и единственная по материалу, словом — книга, которую, право же, нельзя не прочесть, и однако...

И однако, с жадностью дочитав ее до конца, ловишь себя на внезапном ощущении: «Ах, черт возьми, может, лучше было вовсе не читать ее, может, довольно было только полюбопытствовать, полистать страницы, не вчитываясь в них, не покаясь безнадежному течению этой тягостной истории?!»

Но теперь уже поздно — книга прочитана. И надо что-то делать с грузом трагических впечатлений, оставленных ею.

...Эта белая язвочка на языке — там, где прикасался он к золотому зубу, ставшему радиоактивным! Она не выходит из головы, эта маленькая боль, о которой он, обреченный, почему-то долго ничего не говорил врачам... Эта красная полоса на животе, а потом багрянец, заливающий все тело — от высокого лба до кончиков пальцев на ногах, уже отшагавших свое... Эти беспомощные, а некогда тонкие и умные руки, погруженные в лотки со льдом («Эрнест, у меня нос чешется. Может, вы почешете мне нос»)... Эта зашторенная палата и медленное приближение смерти, которую никто не в силах остановить («эта болезнь не похожа ни на какую другую»)... И отец умирающего, этот тихий старик в вечернем сумраке лаборатории на дне каньона, где слу-

чалось несчастье, и неотвязный безответный вопрос в его глазах («скажите мне, это действительно было неизбежно?»)... Этот предсмертный бред его сына, и последняя ясность пронзительной мысли о пройденных дорогах жизни («теперь эти дороги заглохли и одичали!»)... И сама эта смерть на исходе майской ночи, когда солнце еще не успело осветить ни вечной вершины одинокого пика Тручас в горной гряде Сангре де-Кристо, ни пяти столовых гор атомного города Лос-Аламоса, напоминающих «пять чуть раздвинутых пальцев, просеивающих песок времени», или, если угодно, похожих «на простертую руку гигантского идола, требующего очередной жертвы»...

Трагические впечатления теснятся в голове. И с ними надо что-то поделать — сознание настойчиво хочет освободиться от них. В отличие от того, что с древних времен называется очистительным катариссом трагедии, эти трагические впечатления не просветляют далее жизни. Отяготив нашу душу, они не оставляют ей никакой надежды. Измучив нашу мысль, они напоследок еще связывают ей крылья.

Отчего же это так? Может быть, оттого, что перед нами проходит картина умирания человека, достойного еще жить и жить? Или вообще от острого ощущения неоправданный несправедливости смерти? Но ведь все трагедии на всех языках мира кончались гибелью достойных, и все они рассказывали нам об этой неоправданной несправедливости: оттого они и трагедии! Так, может быть, все дело в том, что на сей раз перед нами разворачивается зрелище смерти атомной — таинственной и зловещей, «непохожей ни на какую другую»?

Да, пожалуй... Хотя в этом не может заключаться все дело. любая смерть есть

смерть, и в трагедии нас потрясает не просто ее приход, а окончание жизни, которую мы успели понять и сделать достоянием нашей души, высокий смысл которой мы успели оценить и сделать навсегда своим приобретением.

Так в чем же тут дело?

2

Своему роману «Несчастный случай» американский писатель Декстер Мастерс предпослал короткое посвящение: «Памяти Луиса Слотина и более сотни тысяч других».

Более сотни тысяч других! Казалось бы, достаточно только этой второй половины горестной формулы, чтобы воздать должное и памяти отдельного человека? Да, конечно. Но Мастерс выделил имя Слотина и этим одновременно подчеркнул и особенность его смерти и ее роковое сходство с гибелью безыменных легионов жертв Хиросимы и Нагасаки.

История Луиса Слотина имеет уже более чем десятилетнюю давность. Наши физики-атомники знали о ней и до романа Декстера Мастерса. Официальная версия этой истории была коротко изложена в примечании к одной из страниц книги Р. Мэррея по ядерной физике. Вот что можно было там прочесть:

«Доктор Луис Слотин погиб в 1946 году в Лос-Аламосе в результате переоблучения при несчастном случае. Активная масса, имевшая отношение к атомному оружию, неожиданно стала надкритичной на мгновенных нейтронах. Спасая остальных членов группы, Слотин без колебания растащил реактор, хотя знал, что получает при этом смертельную дозу облучения. Он действовал в согласии с инструкциями, которые раньше давал своим ученикам. До своей кончины, которая последовала через несколько дней, Слотин продолжал обсуждать планы дальнейших экспериментов и помогать медицинскому исследованию результатов воздействия излучения на свой организм».

К этому немногословному сообщению Мэррей не прибавил никаких пояснений. А вопросов оно возбуждало множество. «Несчастный случай»? Значит, произошло нечто, никем не предвиденное? Но что же именно? И кто был повинен в происшедшем? Сам Слотин или кто-то другой? Была ли тут научная ошибка или стечение не-

контролируемых обстоятельств? «Активная масса неожиданно стала надкритичной!» Но это значит, что цепная реакция деления разбушевалась в ней мгновенно, с той же непредставимой скоростью, с какой в замкнутой оболочке атомной бомбы происходит взрыв. Что же тут можно предпринять? Могло ли в сознании Слотина успеть сформироваться решение сделать то, что он сделал? А разве инструкции могут предписать человеку действовать импульсивно? Что же все это значит?.. Вот небольшая толика разнообразных вопросов — физических и психологических, которые это краткое сообщение ставляло без ответа.

Но как бы то ни было, за его внешней информационной сухостью ощущались и глубокое сочувствие к Слотину и удивление перед мужеством ученого, совершающего подвиг самопожертвования. И, естественно, это сообщение возбуждало желание хоть что-нибудь узнать о самом Луисе Слотине — человеке, по-видимому, замечательном. Однако ученым трудам обычно чужд интерес к поэзии и драматизму научного исследования. И потому книга Мэррея умалчивала о Слотине-человеке, так же как и о подробностях того несчастного случая, жертвой и героем которого он стал.

...Наука героична, как самая справедливейшая из войн: вся она — непрерывный многовековый подвиг добровольцев, идущих навстречу неизведанному или изведанному не до конца с единственной корыстью — подчинить природу и историю доброй воле человека.

Не будем вспоминать здесь имена путешественников-натуралистов, которых погребли пустыни и джунгли, горные обвалы и арктические снега. Не будем вспоминать пионеров воздухоплавания и современных стратонавтов, зачинателей бактериологии и нынешних вирусологов, мореходов прошлого и сегодняшних героев Контики, пустившихся на плоту через океан ради экспериментальной проверки одной научной теории.

Но можно ли не вспомнить здесь друга Ломоносова — физика Георга Рихмана, изучавшего атмосферное электричество и погибшего от удара молнии? Ломоносов называл его смерть прекрасной, потому что увидел в этом несчастном случае смерть ученого на посту!

С той поры физика стала совсем другой — человек воссоздает молнии уже в лаборатории. Но героизм физической науки

не иссякает и никогда не иссякнет именно потому, что никогда не будет существовать в природе ничего изведенного до конца.

Историк нашего атомного века вспомнит о черных перчатках Марии Кюри — они закрывали изъязвленные руки; об ожоге на груди Беккереля; о медленной смерти Вильяма Рамзая; о предостережении Пьера Кюри, сказавшего однажды, что, как бы он ни был смел, он не рискнул бы войти в комнату, где лежит кусок радия величиной с кулак.

И вот — Луис Слотин. Каковы бы ни были обстоятельства его поступка, но он вынужден был, говоря словами Пьера Кюри, войти в склад, где лежала гора чистого радия. Гора, а не кулак! Он знал, что ураган цепной реакции захлестнет его и уничтожит. Но он «вошел» — не колеблясь, протянул руки и растащил активную массу урана или плутония. И не только «вошел», сознательно или импульсивно, но он своим ^{тестом} заслонил учеников от гибельного потока вырвавшегося излучения! И не только это он сделал, — уже умирающий, он остался верен себе: в ту пору, когда лучевая болезнь была еще так мало изучена, он помогал врачам и ученым распознавать пути, по которым шла к нему неизбежная смерть...

Героизм Луиса Слотина так очевиден, его поступок так прост, его самопожертвование так впечатляюще, и вся эта история так человечна и величественна, что, не случись ее в действительности, какой-нибудь писатель, пишущий об атомном веке, должен был бы — право, должен был бы — ее выдумать!

Должен был бы, потому что в этой истории сполна отражен героизм атомного века. И вместе с тем — его трагизм: вспомним маленькую деталь — научный опыт Слотина имел отношение к атомному оружию.

При первом знакомстве с примечанием в книге Мэррея тут возникал новый вихрь вопросов: был ли Слотин, подобно европейским изгнанникам-антифашистам, энтузиастом этого оружия, когда шла война с Германией и существовала опасность, что Гитлер первым сделает А-бомбу? И стал ли Слотин врагом этого оружия, когда кончилась война? Что заставляло его и через год после победы работать в Лос-Аламосе? Не обесценивает ли это весь героизм его поступка?

Как и-о поэзии науки, ученые труды молчат о политике. И в книге Мэррея тщетно было бы искать ответы и на эти вопросы.

И вот — роман Декстера-Мастерса.



Уже нет надобности излагать сюжетную основу этого романа. Но вслушайтесь в его название — «Несчастный случай»... За ним слышатся горечь и ирония. И недоверие к прямому смыслу этих слов. «Несчастный случай? Ах, вот как? Вам угодно называть происшедшее просто несчастным случаем?»

Луис Слотин стал в романе Луисом Сакслем. Это изменение фамилии и сохранение имени героя равно многозначительны: Мастерс не хотел оставаться в плену официальной версии подвига Слотина, но и не хотел расставаться с образом этого удивительного человека; он не желал связывать свободу своего воображения, но вместе с тем не желал и порывать с реальностью исторического факта. Фамилия звучит официальнее — он ее изменил. Имя звучит интимнее — он сохранил его.

В один из первых дней умирания Луиса Саксла, когда медицинская сестра читает ему вслух, врач входит в палату. Вздыхая только что услышанным философским размышлением о смысле и течении жизни, Луис спрашивает сестру: «Кто к нам вошел, Бетси? Случай, свобода воли или необходимость?» Луис непрестанно думает о своей жизни, примеряется к своему прошлому, ищет в нем истоков того, что произошло. Впрочем, он думает и обо всей истории атомного века. Вместе с ним думает об этом Мастерс. И с каждой страницы романа раздается неутоленный вопрос: «Как произошло это, люди? Кто повинен в гибели Луиса — случай, свобода воли или необходимость?»

Все герои романа решают этот вопрос, потому что все они знают и любят Саксла. Казалось бы, все так просто и ясно! Но ответы не сходятся. И только серьезность раздумий объединяет всех, потому что на самом деле их одолевают раздумья и о собственных судьбах. «Если это могло случиться с Сакслем, значит может случиться с любым из нас». И еще шире — их беспокоят думы о судьбах человечества: «Помните ту слепую девушку в Альбукерке? Она увидела зарево у себя в комна-

те, когда взорвалась бомба в Аламогордо, больше чем за сто миль. «Что это было?» — спросила она... Так что же это было? Но теперь зарево видно в каждом доме...»

Они, герои атомного романа, отлично знают что это было! И, думая о жребии умирающего Саксла, они ищут ответа на угнетающий их души вопрос — неужели теперь, когда человек развязал могущественные силы атома, над жизнью людей будет властвовать слепой случай? Или свобода чьей-то недоброй воли? Или просто роковая беспощадная необходимость?

Отношение к истории атомной гибели Саксла стало испытанием их оптимизма. Стоит сразу сказать, что ни один из них этого испытания не выдерживает. Но оттого-то, что так гигантски разрастается в романе проблема несчастного случая, героем и жертвой которого стал Слотин — Саксл, надо прислушаться к разноголосице мнений вокруг этого события.

4

...Шестьдесят три раза Луис благополучно проделывал свой опыт. Сегодня кажется невероятным, чтобы физик-экспериментатор вручную складывал на лабораторном столе кучу делящегося материала, а не управлял этим процессом на расстоянии! Но в Америке 1946 года, уже после войны, Слотин — Саксл принужден был работать именно так. И не в какой-нибудь третьесортной лаборатории, а в знаменитом Лос-Аламосе, где были созданы первые атомные бомбы! Помните «Плату за страх»? То, что делал Луис, сродни этой тряске в машине с жидким нитроглицерином... И в шестьдесят четвертый раз, «в ту секунду, когда он опустил последнюю маленькую плашку расщепляемого материала в реактор», он «тогда же увидел слабую голубоватую вспышку... и стукнул кулаком по котлу прежде, чем мозг успел зарегистрировать, что означает эта вспышка».

Она означала смерть для Луиса. И она означала бы смерть для всех окружающих, если бы он не погасил этой вспышки теми же руками, которые ее вызвали. Итак, руки действовали дважды: сначала они совершили ошибку, потом они ее исправили — жертвенно, героически.

Героически? Да, именно это собирается утверждать в официальном сообщении для газет полковник Хаф, начальник военного объекта в Лос-Аламосе. Но именно

эта версия отвратительна близкому другу Луиса — физику Дэвиду Тилу. И не ему одному.

Сначала кажется странным, почему с такой горечью и злостью отвергает Дэвид Тил мысль о героизме Луиса Саксла.

«— Нилл, перестаньте молоть чепуху, — говорит Дэвид полковнику Хафу, — все произошло так быстро, что он ничего не успел сообразить. Что вы сделаете, если вам сунут в руки раскаленный кирпич? Вы бросите его. Разве это героизм?»

«— Беда в том, что полковник неспособен представить себе миллионную долю секунды...» — по-иному повторяет этот же аргумент другой атомник.

Но не менее веское возражение вкладывает Мастерс в уста полковника: «Быть может, это был инстинктивный порыв, но такие порывы бывают лишь у людей мужественных». И, ссылаясь на поведение солдат в бою, Хаф добавляет неотразимо: «Иногда опасность возникает так молниеносно, что они не успевают опомниться. И что же — один бросается вперед, другой назад... Оба действуют инстинктивно, но у одного есть мужество, а у другого нет».

Полковник искренен в своем убеждении. Конечно, для него, службиста, история с Саксом, кроме всего прочего, крайне неприятна по своим возможным последствиям: любопытство прессы, предание гласности нежелательных подробностей работы в Лос-Аламосе, расследование и прочее... Версия героизма для него наиболее удобна. Однако он не из тех воинственных идиотов, которые размахивают атомной бомбой. И не из тех, кто одобряет человеконенавистническую подозрительность шпиономанов-маккартистов. Ему претит наглая бесчеловечность езжего конгрессмена, который сначала хочет допрашивать умирающего Саксла о давно прошедших днях пребывания Луиса в революционной Испании, а потом ставит часовых у больницы из маниакального опасения, как бы Луис в бреду не выдал военных тайн... Мастерс рисует Хафа вполне человеком. Даже добросердечным человеком. Даже думающим! И для Хафа Луис Саксл — герой не просто потому, что так нужно и выгодно. «Бедняга Луис, — подумал он. — Черт побери, мой милый, я отдаю тебе честь». Он произнес это про себя и мысленно вытянулся и взял под козырек».

А Дэвид Тил, умный и тонкий человек, влюбленный в душевную чистоту своего друга Луиса Саксла, все-таки твердит, упрямо и раздраженно до ненависти: какой героизм? Разве это героизм? И полковник, продиктовав жене сообщение для газет, погружается в размышления, на которые ему не найти ответа:

«Смерть срывает столько покровов. Что же такое знает Дэйв Тил, чего не знаю я?»

Ему не найти ответа, сколько бы он ни шагал по дорожке возле своего благополучного дома в темноте благополучной ночи, надежно охраняемой часовыми. Ему не понять даже того, что уже понял солдат в каньоне, что в Лос-Аламос «опасность пришла совсем не с той стороны, где стоит охрана, нелепая охрана». Беда не в том, что полковник Хаф не способен представить себе одну миллионную секунды, а в том, что он не способен понять трагизм и надежды своего века. Он еще даже не занес ноги, чтобы переступить границы того классического американского самодовольства, которое приказывает ему верить в правоту всего, что происходит под благополучным небом Америки, и полагает за благо даже А-бомбу, так как на ней стоит клеймо Соединенных Штатов... Ну, а если происходит нечто непредвиденное и страшное? Объяснение всегда готово: «бывают же просто несчастные случаи!»

Тут кончается пронизательность Хафа. Но здесь начинается пронизательность Дэвида Тила.

Ах, вот как — вы хотите версией героизма Луиса прикрыть трагические причины ошибки, которую совершили его искусные, прежде такие безупречные руки! Да, он был способен на подвиг! Но вам-то нужен ореол героя вокруг его головы, чтобы никто не увидел на ней тусклого и тяжелого венца жертвы! Вы любуетесь мужеством, с каким ринулся он вперед, чтобы исправить свою ошибку. Но почему он ее совершил? Это в тысячу раз важнее! И разве ру к Луиса повинны в неудаче шестьдесят четвертого опыта?

«...Руки тут ни при чем. Разум или сердце, но не руки», — бросает Дэвид Тил полковнику Хафу.

«— Разум?» — недоумевает Хаф.

Вот тут проходит крутой водораздел между ними. И нам нужно ясно представить себе, что же такое знает Дэйв Тил, чего не ведает американское ограниченное самодовольство силы?

5

Это — невеселое знание. И обладает им не один Тил, но многие из друзей и близких Саксла. Это знание уже ожесточило и превратило в алкоголика пронзительно умного доктора Бийла. Оно сделало мрачно пронизательным механика Домбровского. Оно склоняет к мистическим выкладкам физика Уланова. Оно начинает томить и мучить даже медсестру Бетси Пилчер. И оно лихорадит душу Терезы Сэвидж — невесты Луиса, с которой его долгие годы разлучала война и секретная работа, но которая побывала у него в Лос-Аламосе накануне несчастного дня.

И, наконец, сполна обладает этим знанием Луис Саксл. И сам Декстер Мастерс. Именно поэтому он написал об истории Слотина не сенсационную беллетристическую книжицу, а серьезный роман, ставший явлением настоящей литературы высокого ранга.

«В моем бронированном Лос-Аламосе уже не живет дух самоотречения — во всяком случае сознательного... вы охвачены не возбуждением, а нервозностью... какие-то скрытые сомнения волнуют души людей. И я хочу, чтобы ты уехал оттуда. Я хочу, чтобы ты не закрывал глаз ни на что. Слышишь?» — это пишет Тереза в последнем письме к Луису. И еще: «...вы вспоминали прошлое. Но разве не странно, что ни один из вас не говорил о будущем, если не считать того, что все высказывали желание уехать... А во всем, что было сказано о настоящем, чувствовалось какое-то смущение, виноватость и тревога».

Тереза пишет свои безрадостно точные слова с дороги, еще не зная, что ее Луис уже стал жертвой этих скрытых сомнений, этой виноватости и этой тревоги.

Дэйв Тил присоединился бы к каждой строчке замечательного письма Терезы. Он узнал бы в нем свои гневные и взрывчатые мысли, потому что он из тех, кто не закрывает глаз ни на что.

Но если уже не живет в бронированном Лос-Аламосе дух сознательного самоотречения, значит прежде когда-то он жил в нем? О, еще бы! Они все с гордостью вспоминали при Терезе о прошлом, потому что то было действительно героическое, хоть и тяжкое время. Они работали над атомной бомбой, как «монахи, готовые на самоотречение во имя господ бога». Их богом была тогда грядущая победа над

Гитлером. Они верили в нее, молились ей и вместе с русскими, англичанами и французами, чехами и поляками, вместе со всей Европой приближали приход победы. Они больше всего боялись, что физики фюрера первыми сделают А-бомбу. Европейские изгнанники, антифашисты и жертвы расизма, великолепнейшие ученые во главе с великанами — Эйнштейном, Бором, Ферми — работали вместе с ними, коренными американцами. Люди выдающихся способностей, эти изгнанники были еще наделены фанатизмом ненависти. И это был могучий двигатель дела. В ту пору молодой Дэвид Тил говорил молодому Луису:

«Видите ли, природа всегда на одни и те же вопросы дает одинаковые ответы. Но, может быть, человек, бежавший из концентрационного лагеря, иные вопросы задает более настойчиво, или лучше формулирует их, или просто внимательней выслушивает ответы».

Недаром кто-то сказал, что атомную бомбу дали Америке европейские жертвы гитлеризма. Они сделали все, чтобы опередить немцев. Это был настоящий разговор физиков против фашизма! Они даже добровольно засекретили свои работы, когда еще ни одно правительство не знало, не ведало об их идеях! И они опередили Гитлера. Это было их торжество. Но они опоздали к победе. Без атомного оружия была завершена в Европе величайшая и справедливейшая из войн. И тогда они, эмигранты и американцы, честные ученые, подняли голос протеста против взрывов атомных бомб над Хиросимой и Нагасаки, потому что поражение Японии был уже решенный вопрос.

Они стали врагами своего собственного детища. Но, вышедшее из их лабораторных пеленок, оно уже не принадлежало им! Луис был из тех, кто подписал петицию протеста — благородную, но бесполезную бумажку. Война кончилась, а бомба осталась. Осталась, чтобы сделаться американским пугалом для человечества и проклятьем для них, создавших ее из самых человечнейших побуждений!

Героизм и трагизм атомного века шли рука об руку. Вот что знает Дэвид Тил и о чем не догадывается полковник Хаф.

«Страх — всегда страх? Тогда было страшно за человечество, потому что немцы могли сделать бомбу, а теперь страшно за человечество, потому что бомбу сдела-

ли мы», — мысленно обращается Луис к физико-эмигранту Висле. А в ушах его еще звучат испытующие слова из только что прочитанного письма Терезы:

«Луис, любимый мой, во имя чего ты обрек себя на затворничество в этом Лос-Аламосе?.. Зачем существует Лос-Аламос теперь, через девять месяцев после войны?»

Впрочем, это — только эхо того, что слышала Тереза от самих обитателей атомного города, от лучших и человечнейших из них. Все они уже хотели бы бежать отсюда. И Луис должен был бы бежать первым, потому что он был по убеждению Уланова — чистейшим, по убеждению Тила — человечнейшим, по убеждению Бийла — незауряднейшим, по убеждению Бетси — лучшим среди всех. Но он не успел выполнить свое уже принятое решение.

Разум или сердце совершили непоправимую ошибку. Друзья Луиса называют десятки вероятных причин этой ошибки, но они только звучат по-разному, а на самом деле означают одно и то же: взвинченные нервы, страх, чувство виноватости, сомнения, предчувствие возмездия, внутренний протест... Дальше всех заходит старый механик Домбровский. «Уж наверное, он спрашивал себя — чего ради я делаю подневольное дело, когда больше ничто на меня не давит?.. И потом, есть у меня такое подозрение, — он знал, что когда-нибудь да ошибется... А может... ему стало на все наплевать...» Так тяжело и невыносимо это бесчеловечное подневольное дело, что Домбровский готов допустить даже самую страшную версию самоубийства Слотина — Саксла!

Но это крайность, недоказуемая и ненужная. Самое верное сказано в словах «внутренний протест».

— Внутренний протест? Это из-за него дрогнули руки? — переспросил бы полковник Хаф, зайдя разговор об этом в его присутствии, и, конечно, добавил бы: — Так не надо протестовать!

— Не надо делать бомб, чтобы грозить ими миру и людям! — отвечает Декстер Мастерс.

6

До того, как он написал роман «Несчастный случай», обнаружив если не высочайшее мастерство, то по крайней мере высокую талантливость художника-реалиста,

Декстер Мастерс работал в области научной публицистики. Кажется, ни одна из его работ этого рода не переведена на русский язык. Но можно представить себе, что то были, вероятно, содержательные и с блеском написанные работы прогрессивного публициста: в романе «Несчастный случай» столько же душевных сил, искренности и вдохновения отдано психологическому исследованию, сколько и исследованию обобщающе-публицистическому.

Бывают горные породы сложного образования, снизу доверху прошитые многоцветными извилистыми жилами разнообразных и нередко очень ценных вкраплений. Роман Мастерса напоминает глыбу такой породы; не всегда с одинаковым искусством обработана она резцом художника, но во всех ракурсах обнажает свою внутреннюю содержательность. Этот роман весь пронизан тонкими нитями исторических размышлений, философических раздумий, публицистических сентенций... Нет, пожалуй, вялое и отдающее старческим равнодушием к злобе дня, кисловатое слово сентенции тут не очень годится.

«Вам платят за то, чтобы вы нас защищали, и это определяет ваш кругозор, но вам платят не за то, чтобы вы создавали необходимость защиты... Военщина вносит свой вклад в дело мира испытанием новых бомб в Бикини» — вот язык, каким разговаривает неподкупный Дэвид Тил с полковником Хафом.

Спор между ними, начинающийся на первых страницах романа, не прерывается до конца повествования. «Вот сейчас опять начинают бояться русских. В тот вечер в каньоне я думал, что Луис — последняя жертва первой атомной войны, нашей войны. Но если стать на голову, может показаться, что он — первая жертва второй атомной войны, войны с русскими. Впрочем, не все становится яснее, когда стоишь на голове; иной раз начинается головкружение, и тогда видишь то, чего на самом деле нет», — так продолжает Дэвид Тил на одной из последних страниц книги свой непрерывающийся беспощадный монолог против преступного идиотизма политики силы.

Никому из действующих лиц романа Декстер Мастерс не передоверяет своих мыслей с такой готовностью, как этому Дэйву, человеку честного сердца и гневных

прозрений. Всегда и во всем согласен он и с Луисом Саксло. А Луис, в одиночестве и темноте своей палаты, однажды думает вслух:

«Война — величайшее безумие, безумие при всех условиях, верх безумия, на него способны только те, что боятся и ненавидят всех себе подобных, всех жителей единственной обитаемой планеты, а завтра возненавидят и самих себя... Покойной ночи тебе, девушка из Альбукерка! То зарево в твоей комнате было лишь мимолетной вспышкой... Но вот нынешнее зарево — это нечто иное, и тут мы так же слепы, как и ты».

Едва ли не каждую строку своей книги Мастерс наполнил напряженной мыслью о судьбах современной науки и современного мира. И уж в самом деле каждую строку наполнил он напряженным чувством тревоги за эти судьбы, ощущением нависшей беды, горечью черных предвидений.

И еще — ненавистью!

То приглушаемая внешне спокойным течением подробных описаний, то затихающая в задумчивых воспоминаниях о давнем и недавнем прошлом, то прячущаяся за злой и шутливой иронией в словесных поединках героев, то уходящая в глубокий подтекст, то вырывающаяся наружу — словом, ведущая то явное, то скрытое существование, бушует в романе ненависть. Это ненависть ко всему, что стало явной или скрытой причиной гибели Луиса Саксла.

Это — ненависть к военной атомной истории, к расистскому психозу, к бесчеловечью бизнеса, к подавлению доброй воли честных людей... Это — ненависть, которой не могут не разделять обыкновенные люди — простые смертные, живущие на любом берегу любого океана. Декстер Мастерс — не коммунист. Нет коммунистов и среди его героев. Но для того, чтобы лелеять и растить в душе эту ненависть, и не обязательно быть коммунистом — довольно быть просто человеком среди людей!

Таков Мастерс. Таков его Слотин — Саксл.

В майское воскресенье сорок шестого года — через год после победы над гитлеризмом, — в последнее воскресенье Саксла, когда смерть подошла к нему уже совсем вплотную, окружающие слышат, как «за дверь, в палате вдруг раздается громкий,

резкий голос Луиса:— Ненависть! Ненависть!» (Кажется, это единственное во всей книге слово, написанное в разрядку!)

Ненависть к кому и к чему? Объяснения не следует. Луис уже не может этого объяснить: он умирает в забытьи. А Декстер Мастерс уже не должен этого объяснять: роман дописан, и все сказано — весь он воплощенный ответ на этот вопрос.

7

Тут можно бы и поставить точку: психологическая и публицистическая квинтэссенция из романа в основных чертах извлечена. Но есть в нем еще нечто такое (хочется щелкнуть пальцами в поисках верного определения!) — есть нечто такое, что трудно поддается извлечению и что еще труднее выразить в простых и ясных словах. Но это нечто как раз и есть то, что мучит наше сознание и томит душу, помимо судьбы Слотина—Саксла.

Я не знаю подлинника, но думаю, что перевод Н. Галь и Н. Трениной совершенен, по крайней мере в той степени, в какой вообще может быть совершенен перевод художественной прозы с одного языка на другой. В этом более всего убеждает именно то обстоятельство, что перевод доносит до нас не только прямой смысл происходящего, но и оттенки музонастроения автора — все, что пульсирует под видимой поверхностью обнаженного текста и только изредка прорывается наружу.

Да, оно — это нечто — все-таки прорывается наружу. И по этим-то редким прорывам можно, как по вехам, проследить темные боковые тропы, на которые завлекает нас автор, быть может сам того не желая.

Вот первая такая вежа. В самом начале романа появляется молодой врач Чарли Педерсон — симпатичная посредственность, не более («послушный сын состоятельных родителей»). Однако в момент нашего знакомства с ним в его сознании происходит что-то необычное. Девять дней назад он совершил восхождение на одинокий пик Тручас в гряде Сангре де-Кристо и с тех пор потерял свой привычный покой. «О, смятенный дух!.. Когда стоишь над всем миром, один среди беспредельного неба, и ветер бьется где-то у твоих ног,— никто не подготовил его к этому...» Пик Тручас и сейчас виден ему из окон ординаторской. И он вспоминает, как впервые необычным

взглядом посмотрел он оттуда, сверху, на плато и каньоны Лос-Аламоса, как ему захотелось крикнуть обитателям мирных равнин, что там, под горой, «люди держат пальцы на кнопках управления вечностью».

Это патетическое открытие возвысило его и — раздавило: каким маленьким оказался он, обыкновенный человек, перед этой неумолимой громадой мысли о вечности. А рядом у окна стоит медсестра Бетси. Никогда ее не тянуло в горы, на высоту. Но сегодня Тручас словно заколдовал и ее, или, «быть может, Чарли Педерсон оставил у окна демонов тревоги?..»

Бетси почему-то хочет, чтобы скорее прошел нынешний вторник, 21-е число. Дело в том, что девять месяцев назад 21-е число тоже пришлось на вторник, а в тот день случилось несчастье с физиком Ноланом. Педерсон обрушивается на Бетси за ее нелепое суеверие, но он уже и сам не может отделаться от предчувствий и думает уже только о Нолане, который однажды слишком сильно нажал одну из тех таинственных и опасных кнопок.

И предчувствия, конечно, сбываются: именно в эти минуты в каньоне, вдали от больницы, набрасывается на Луиса Саксла атомная смерть.

Пик Тручас — одинокий, холодно строгий, словно не от мира сего — господствует над Лос-Аламосом и над романом: так же, как кнопки управления вечностью, так же, как заколдованность 21-го числа, так же, как вообще непрекаемость суевенных предчувствий, этот пик не раз многозначительно появляется на страницах романа. С него спускается тропа мистического фатализма, на которую нередко толкает нас Мастерс.

Вот еще одна вежа на этой тропе. Повествуя о детстве Луиса, Мастерс рассказывает, как одиннадцатилетний мальчик стал свидетелем медленного умирания своего дедушки; как дедушка «научился выращивать в себе те сухие, но питательные плоды, которые растут только на крутых откосах смерти»; как пятнадцатилетний товарищ Луиса сразу выделил его из среды других ребят, потому что только он, Луис, «видел, как умирают»... Точно ранее предзнаменование того, что со временем суждено будет Луису, звучит в книге этот рассказ. В нем слышится голос предопределения и обреченности.

Этот же голос звучит в иронических словах могучего гиганта, физика Вислы: «все мы рано или поздно попадаем в руки врачей, не так ли?»

Опознавательные вехи узкой тропы мистицизма и фатализма то здесь, то там появляются в романе. Удивительное дело! Сколько написано книг о науке и ее служителях, о подвигах ученых в поисках истины, об их бедах и радостях, об их житейском неустройстве, об их борьбе с социальным злом, о непонимании и восторгах, какие выпадали на их долю! Эти книги обладали разными достоинствами и разными недостатками, но трудно припомнить, чтобы в какой-нибудь из них мистическим туманом обволакивалось самое дело, которому герои отдавали свои силы. И это легко понять: ведь делом героев всякий раз бывала наука! Наука — познание природы и истории, то есть нечто прямо противоположное мистической аффектации! И вот, кажется, только атомной физике не повезло.

Предмет ее изучения незрим и неслышим. Методы ее проникновения в микромир недоступны простому объяснению. Ее лабораторные инструменты несообразно громадны в сравнении с ничтожностью самого объекта исследования. Первое техническое воплощение ее идей с самого начала было окружено плотной стеной сверхсекретности. И от этого сами ученые-атомники стали казаться жрецами чего-то непостижимо таинственного. Вокруг гибельной мощи атомных взрывов стали распространяться легендарные домыслы. Какие-то апокалиптические представления стали связываться с атомной бомбой и с атомной энергией вообще. Появилась пугающая убежденность, что, расщепив атом, ученые и в самом деле дотянулись до воображаемых кнопок, управляющих вечностью!

В первой же «атомной книге», книге Г. Д. Смита, написанной, как сухой информационный отчет, уже можно было прочесть овечьные мистическим трепетом заметки генерала Фарелла об испытании А-бомбы в Аламогордо. Наводящий ужас реж напомнил генералу о Судном дне и заставил его подумать, что люди «совершили святотатство, осмелившись узурпировать управление силами, которые до сего времени были во власти только Всемогущего».

Заметьте, он говорил не о разрушительной силе военной бомбы — это было бы в его устах оскорблением господ бога. Он говорил о самом освобождении атомной энергии. Кажется, никогда ни об одном научном открытии ничего подобного не писалось!

Вот этому мистицизму, этой оборотной стороне атомной истерии и военного психоза, господствующих на его родине, Декстер Мастерс отдал свою дань. Эта дань невелика. Но соблазн велик! А рядом с мистицизмом шагает фатализм.

8

Помните — выше шла речь о том, что ни один из героев романа «Несчастный случай» не выдерживает испытания оптимизма: в представлении каждого из них будущее безнадежно темно, все они живут с удручающим ощущением, что над человечеством занесен дамоклов меч расщепленного атома и что однажды он упадет, — неизбежно, неотвратимо. Ну, разумеется, Нийл Хаф не в счет: для него просто не существует исторических дилемм. Но испытания оптимизма не выдерживает и сам Декстер Мастерс. «О, смятенный дух!» — он мог бы сказать это и о себе.

Конечно, можно радоваться тому, что за океаном рядом с агрессивным самодовольством силы растет пессимизм, подтачивающий это самодовольство. Но если взглянуть на вещи чуть глубже и трезвее, станет ясно, что радоваться тут нечему: мы уже видели, как совершается в душах Саксла и Тила действительно плодотворный процесс — как зреют в их сознании гроздь гнева и ненависти, но гнев и ненависть становятся исторической силой только при историческом оптимизме! А пессимизм делает ненависть бессильной и гнев безвольным. Пессимизм превращает героя в жертву. Не поэтому ли Мастерс — вместе с Тилом — так настойчиво превращает Саксла только в жертву — в жертву, принесенную непобедимому гигантскому идолу?

Невесело читать последнюю фразу романа. Дэвид Тил проводил останки Луиса и снова возвращается в Лос-Аламос, и Мастерс пишет, что он «снова почувствовал... что какая-то тяжесть наваливается на него... и уже никуда не вырваться, не податься в сторону тому, кто ступил на эту дорогу на древней земле».

Вы думаете, речь идет о невозможности вырваться из Лос-Аламоса, бросить все к черту и уйти? Нет, не об этом тут сказано, потому что это сравнительно легко осуществимо. Ведь уже уехали отсюда многие, и сам Луис уехал бы через месяц, не случись того, что случилось. Нет, речь идет об «атомной дороге» нашего века, с которой уже никуда не свернуть и которая, оказывается, не может привести ни к чему светлому и прекрасному.

Еще яснее выражает этот «атомный пессимизм» шофер, забавляющийся тем, что он доводит до бешенства своих пассажиров карканьем по поводу открытия атомной энергии: «Может, некоторые вещи вообще и не полагаются открывать».

Так появляется рядом с мистикой пессимизм, а рядом с пессимизмом — неверие в науку как в добрую силу истории. Ведь не случайно соотечественник этого шофера и коллега Мастерса — известный писатель-фантаст Рэй Брэдбери — сказал однажды, не колеблясь: «Я не одобряю того, во что наука превращает наш мир. Мне кажется, что самое лучшее вообще избавиться от науки!»

Вряд ли Декстер Мастерс разделяет эту геростратовскую идею. Но он, нашедший такие великолепные слова ненависти к атомному оружию, не нашел ни одного слова в защиту атомной науки. Она существует для него только как бескорыстное вечное путешествие избранных по «безбрежному океану неведомого». Но о великом благе ее служения людям он молчит или — вместе с доктором Бийлом — с сожалением улыбается по поводу энтузиазма увлеченных юнцов.

Снова можно было бы сказать: что тут ломать копыта — ведь все это происходит в Америке, за океаном! Нет, это не американский вопрос. Это вопрос всечелове-

ский. Подозрительное недоверие к современной науке — болезнь, распространенная на всех континентах. Проклятие войны с легкостью превращается в проклятие атома. Вместе с ростом очевидного могущества науки растет в иных головах убеждение в ее аморальности и враждебности человеку.

Мы великими делами разрушаем этот скепсис и этот пессимизм. Атомная станция, атомный ледокол, полеты в космическое пространство.. Прекрасное будущее человечества начинается сегодня.

Но в нашей литературе мы до сих пор не сделали ничего для того, чтобы людям всего мира в эпоху военно-атомного психоза было легче с успехом выдерживать историческое испытание их оптимизма. Мы часто повторяем, что атомное оружие должно быть запрещено, что поджигатели войны — преступники, что атом должен быть мирным.. И повторять это, разумеется, надо — постоянно и неустанно! Но мы забываем о человеческих душах, в которые щедрой рукой забрасываются семена мистической «атомной безнадежности» и вражды к великолепной, блистательной, победоносной науке наших дней, — семена, из которых вырастают не грозды гнева против социального зла, а вялая полынь безвольного примирения с мнимой неизбежностью грядущих «атомных бед» человечества. Конечно, все это сказано не в обвинение Мастерсу, но на эти мысли наводит и его книга. И ее появление заставляет подумать о том, что у нас нет еще ни одного романа, ни одной повести, ни одного фильма о великой радости непоколебимой веры в добрый атом, о простом, непрерывном и обыденном героизме мирной атомной науки.

Искусство, которое расскажет об этом, должно родиться у нас. Мы ведь сегодня в ответе за все человечество.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ефим Дорош. Люди, которыми гордится Россия.— **И. Мотышов.** Кладовая творчества.— **Ф. Вигдорова.** Братство честных и храбрых.— **В. Филатов.** Русские народные песни.— **Н. Игнатьева.** Творчество молодых.— **С. Гиацинтова.** Назначение человека.

ПОЛИТИКА И НАУКА

М. Щедрин. В борьбе за мир.— **И. Крамов.** У истоков.— Доктор географических наук **Э. Мурзаев.** Страна меняет облик.— **А. Вольский, М. Цунц.** Речь советских адвокатов.— **Ю. Овсянников.** Слава русского фарфора.— **Н. Атаров.** Воспоминания гроссмейстера.

Литература и искусство

Люди, которыми гордится Россия

В романе Вадима Кожевникова «Заре навстречу», почти в самом начале его, где речь идет о событиях, относящихся к первым неделям после свержения самодержавия, профессиональная революционерка, большевичка Варвара Сапожкова, собираясь на вокзал сибирского городка, в котором она живет с мужем после ссылки, несколько торжественно говорит своему сыну Тиме: «Ты увидишь тех, кем гордится Россия!»

Эти ее слова относятся к видным деятелям партии, бывшим политкаторжанам и ссыльным, которые отбывали наказание в самых глухих и далеких северных районах, а теперь возвращаются в революционный Петроград.

Проводив поезд, молодая женщина спрашивает мужа:

«Тебе не кажется, Петр, что рядом с этими людьми чувствуешь себя такими заурядными...» И Петр Сапожков, печально улынувшись, говорит жене: «Сейчас особенно остро чувствуешь, в какой мы глуши застряли».

К этому хочется добавить, что Варвара Николаевна и ее подруга Софья Александровна, тоже профессиональная революцио-

нерка, собираясь на вокзал, долго топтались возле маленького зеркальца, опускали клочки ваты в треугольную коробку с белыми лебедями на каждой стороне, пудрили нос, щеки, подбородок, — коротко сказать, вели себя, как положено женщинам их возраста, когда им предстоит выйти из дому, побывать на людях.

Встреча с теми, кем гордится Россия, при всей исключительности своей, таким образом, становится в ряд событий повседневной жизни.

Эта особенность романа, когда выдающееся, даже героическое выглядит обыкновенным, характерна и для первой его части, которой в свое время была посвящена опубликованная в журнале «Новый мир» рецензия Е. Кннпович, и для второй, появление которой заставляет возобновить в памяти знакомство с семьей Сапожковых. Роман о великом подвиге народа, совершившего социалистическую революцию и начавшего строить первое в мире рабоче-крестьянское государство, открывается заурядной сценой домашнего быта.

Тима нечаянно разбил абажур, отец собирает осколки и добродушно рассуждает о том, что скажет мама. Тима в отчаянии вызывается просидеть всю ночь в темноте на кухне, пока мама не простит, и тогда Петр Григорьевич без улыбки, серьезно говорит:

В. Кожевников. Заре навстречу. Роман. Вторая книга. «Знамя», №№ 8, 9, 10, 1957.

сыну: «Только слабодушные люди могут просить о наказании, не чувствуя за собой вины».

Еще может показаться, что здесь изображен довольно распространенный в то время тип книжного человека, интеллигента-резонера, с которым мы уже встречались в произведениях могучих наших реалистов.

Но вот Тима, чтобы доказать отцу, что он не трус, с нередкой в этом возрасте отчаянной решимостью разбивает кринку с молоком, и Петр Григорьевич, сощурившись, смотрит на сына: «Ты, знаешь, на кого сейчас похож? На погромщика!» Потом, наказанный матерью, Тима сидит в углу темной кухни, слышит, как у помойного ведра скребется мышь, а в кладовке грохочет пустой посудой хомяк, и размышляет: «Как в тюрьме... только в тюрьме больше животных, папа говорил, самое противное там — клопы и блохи, а мыши даже ничего, с ними весело...»

И вот мы уже понимаем, еще не зная подробностей биографии Сапожковых — недочувшившегося студента-медика и гимназистки, — что вошли в дом рядовых русских революционеров, если только можно употребить слово «рядовой» применительно к революционеру. Одновременно с этим мы как бы входим в поток обыденной революционной жизни — опять же, если позволительно сочетать эти столь разные понятия. Отношение к слову «погромщик» со стороны мальчика из бедной интеллигентной семьи, его размышления о тюрьме, где сидел отец, — конечно же, не за уголовное преступление был он посажен, — эти и другие художественные детали воссоздают не только время и среду, но и ту, я бы сказал, нравственную атмосферу, в какой жила поколения русских революционеров.

А потом мы знакомимся с деятельностью и бытом рядовых бойцов большевистской партии: пропагандистов, агитаторов, так называемых техников. И к тому времени, когда Варвара Николаевна показывает сыну тех, кем гордится Россия, мы уже глубоко убеждены, что слова эти следует распространить и на нее, молодой девушкой ушедшую в сибирскую ссылку, отказавшись от блестящей будущности оперной певицы, и на ее мужа, ради революционной борьбы оставившего университет, и на всех друзей и единомышленников этой обаятельной семьи; интеллигентов, рабочих...

Первостепенной удачей писателя представляется мне портретная галерея скром-

ных партийных работников, изображенных им в разные периоды их жизни: и в глухую пору царского самовластия, и в пору живых буржуазно-демократических свобод, и в трудное, но светлое время первых дней рабоче-крестьянской власти.

Вадим Кожевников принадлежит к тому поколению, детство которого озарено было пламенем революции. Кажется, еще совсем недавно это поколение завидовало старшим братьям и отцам, свергавшим царя, а потом и буржуазию, дравшимся на фронтах гражданской войны. С чувством высокой зависти, с ощущением себя людьми без биографии, вошло это поколение в коллективизацию и первые пятилетки, приняв на свои плечи тяжесть огромной работы; зрелыми мужами встретило Отечественную войну. Те из представителей этого поколения, что остались в живых, сейчас уже, собственно, пожилые люди, в большинстве своем обладают богатейшим жизненным опытом, накопленным за три десятилетия борьбы и строительства.

Однако, помимо этого опыта, кроме профессионального мастерства и понимания жизни, люди названного мною поколения, если сравнить их с более молодыми людьми, располагают еще и тем преимуществом, что в памяти их запечатлен старый мир в часы агонии и гибели, — запечатлен со всей свежестью и непосредственностью детского восприятия.

Мне кажется, что поэтичность и точность, с какими изображены Вадимом Кожевниковым люди, которыми гордится Россия, вызваны именно этими обстоятельствами — памятью детства и опытом зрелости.

И еще есть причина художественной удачи писателя — это та самая обыкновенность, о которой я уже говорил, какая-то «домашность» его героев, хотя все они натуры деятельные, решительные, готовые к подвигу. Суть здесь в том, что писатель рисует этих людей не со стороны, без той, пускай и искренней, но все же официальной почтительности, которая создает некоторую отчужденность между читателем и героем, — нет, он изображает их свободно, запросто, словно постоянно живет среди них.

Герои романа прежде всего человечны.

Дело вовсе не в том, чтобы в добром искать злое, а в злом — доброе, как полагают иные ревнители художественной правды. Дело в том, я думаю, чтобы искать человеческое, чтобы в любых случаях и обстоя-

тельствах жизни литературный персонаж поступал сообразно с тем, как надлежит поступать созданному из плоти и крови человеку определенного характера, возраста, привычек, взглядов, профессии... Впрочем, что до этого последнего, до профессии, общественного положения, то как часто — увы! — мы встречаемся в современной нашей литературе с персонажами, в которых должное заменяет собой сущее, потому что авторами руководит умозрительное представление о том, каким должен быть человек того или иного рода занятий, чина и звания...

Радость узнавания, быть может, самая значительная из радостей, которую испытываешь при чтении хорошей книги, мне думается, владеет читателем, покамест он идет рядом с героями романа «Заре навстречу».

Писатель не искал для своих героев идеальных схем.

Он изобразил очень разных людей, делая еще в партийное дело.

Люди эти одинаковы лишь в том, что самозабвенно участвуют в революции, в строительстве Советского государства. В остальном же, например, фельдшер из студентов Сапожков, несколько чудаковатый, резонерствующий, чуть наивный и какой-то совестливый, резко отличается от решительного, с суровинкой, немногословного и, однако же, по-народному скорого на острое словцо рабочего Рыжикова. Точно так же, будучи единомышленниками, людьми одного дела, в то же время отличны друг от друга и остальные большевики, изображенные в романе. Достаточно сравнить Софью Александровну Савич с Федором, — отважную, но с этакой бытовой ленцой и развальцем интеллигентную красавицу, прямую, грубоватую, и простодушного парня, робкого в изъяснении чувств, упорного, обладающего железной волей, которая позволяет ему одолеть в ссылке премудрость школьного образования, а потом, в армии, — военное дело. А этакая спансивная пропагандистка Эсфирь, жена Федора, великолепно эрудированная в вопросах философии, в экономических науках, равнодушная к своей внешности, непримиримая в своих теоретических спорах с мужем, — и женственная, изящная Варвара Николаевна, мать Тимы, изобретательная по части своих скромных туалетов и самоотверженная в своем служении партии, народу.

Как не похожи эти люди на «кожаные

куртки», какими изображала их зачастую наша литература двадцатых годов, и это наводит на мысль о том, насколько ушли мы вперед по пути реалистического изображения жизни.

Вот небольшая, взятая наугад сценка, рисующая руководителя местных большевиков Рыжикова, в свое время приговоренного царским судом к смертной казни, которую ему заменили каторгой. К Рыжикову после Февральской революции, стосковавшись по матери, дни и ночи работавшей в комитете, как-то приходит Тима, и Рыжиков, увидев на мальчике зимой мамины старые боты, восхищенно говорит, что обувки у него, как у Пичугина — одного из городских богачей, — и неожиданно предлагает: «Давай-ка сменяемся!»

«Быстро сев на табуретку, он бросил свои валенки Тиме, заметив:

— Ноги у меня — детский размер, после того как пальцы с них обстригли. (Надо знать, что пальцы Рыжикову «обстригли» еще в ссылке, после того, как он отморозил их. — Е. Д.) Везет тебе, Тимофей!

Но Тима не решился взять валенки. Тогда Рыжиков произнес обиженно:

— Ты что, думаешь, я тебя надуваю? На тебе в придачу еще ножик.

И протянул Тиме отлично сделанный из плотна слесарной пилы перочинный нож. Тима сказал благородно, хотя нож ему очень понравился:

— Ладно, я и без ножа согласный.

— Вот и спасибо, — поблагодарил Рыжиков и крикнул:

— Максимыч, там у меня сапожки на весну хранятся, а ну, кинь-ка их сюда.

Набивая в стоптанные сапоги бумагу и уже забыв о Тиме, он сердито и наставительно говорил Эсфире:

— Ты теоретически человек подготовленный. Агитаторов у нас хватает. А пропагандистов раз, два — и обчелся. Почему в Общественном собрании не выступила, там меньшевики и кадеты митинг проводили?..»

Читая эту сценку, сперва просто радуешься достоверности, всамделишности, той поэтичности, которая всегда возникает, когда художник несколькими точными, умело выбранными деталями воссоздает картину подлинной жизни.

А потом начинаешь понимать, откуда эта поэзия естественности.

Рыжиков говорит «обувки», а не «обувь», «сменяемся», а не «обменяемся», и это выдает в нем человека из народа, привыкше-

го с детства к свободной разговорной речи, к удобному в произношении слову. Впрочем, он отлично владеет и тем обезличенным языком, каким разговаривает обычно средней интеллигентности горожанин, которым и пользуется в деловых разговорах с товарищами — скажем, с той же Эсфирью. Ему известен и язык книжный, мало того, подобно каждому образованному человеку, он умеет с помощью двух-трех торжественных или архаичных слов придать разговору шуточный характер — Тиму, например, он всегда приветствует следующей фразой: «Что, гражданин новой России, надоело дома в узилище сидеть, соскучился?» Вообще ему свойственно шутить, точнее, таким тоном говорить о самых обыкновенных вещах, что между разговаривающими возникает атмосфера непринужденности и приязни. Но ведь это свидетельствует о многолетнем опыте или природном таланте массовика, организатора! Следует сказать еще и то, что речь Рыжикова ритмически энергична, и за напором этих быстрых, точных слов легко различить натуру деятельную, волевою, стремительную.

Перочинный нож, который Рыжиков предлагает Тиме, сделан из полотна слесарной пилы — скорее всего, самим Рыжиковым, — и по одной этой подробности он представляется мне человеком мастеровым, рабочим. Интеллигент, тот же Петр Григорьевич Сапожков, в нормальных условиях городской жизни едва ли стал бы пользоваться самодельным ножом.

Можно еще сказать, что Рыжиков неприхотлив, — его устраивают и стоптанные сапоги. Но в то же время он практичен, как и положено рабочему человеку, — сапоги-то он набил бумагой, чего опять же Петр Григорьевич или какой-нибудь другой интеллигент не сообразил бы сделать.

Наконец, хотя Тима где-то и говорит, что Рыжиков не похож на начальника, все же в этой сценке мы узнаем в нем человека хотя и простого, однако занимающего некое руководящее положение. Мы догадываемся об этом хотя бы из его разговора с Эсфирью.

Такого рода житейские подробности придают, я бы сказал, скульптурность образу — в данном случае образу рабочего-большевика, партийного работника тех далеких лет. Этими же средствами изображены и другие большевики, с которыми встречаешься сперва в уездном сибирском городке, а

потом на руднике, куда переезжают Тима с отцом.

Мы видим, как Варвара Николаевна, догадавшись, что Тима нашкодил, быстро и ловко отшлепала его. Видим ее и в ревкоме, где она, печатая листовки, «набила себе на машинке кончики пальцев до волдырей», и Рыжиков, купив резиновых сосок, посоветовал ей натянуть их на пальцы. Варвара Николаевна способна любоваться новым воротничком, который украсит ее старенькое платье, и она же, раненная в голову бандитами, не покидает продовольственного отряда, которым руководит, и, вся в запекшейся крови, почти без сознания ведет в город обоз с хлебом.

С Софьей Александровной мы встречаемся, когда она открывает дверь приходшему к ней Тиме, — заспанная, в одной рубашке, волосы на одно плечо свесились. И ее же мы наблюдаем на вокзале, где представитель союзников американец Девисон демонстрирует передвижную дезинфекционную камеру, — несовершенная эта машина обварила одного из санитаров, и Софья Александровна гневно спрашивает Девисона: «Зачем вам понадобилась эта клоунада с вашей омерзительной вошебойкой?» Она говорит американцу, что солдаты в эшелонах, узнав про столь эффектный подарок от союзников, могут прийти сюда, чтобы набить кому-нибудь морду. Варвара Николаевна «сумела увести Софью Александровну, а то бы, наверное, она ударила Девисона по щеке перчаткой».

А Кудров, веселый, легкий человек, механик, изобретатель, разве не потому он для нас живой, подлинный, что в обрисовке его характера существуют такие, например, подробности: «То вдруг его посылали выступить в казарме, где размещалась казачья сотня. И он приходил оттуда основательно избитый, хотя утверждал, что речугу все-таки доорал до конца». Вся суть именно в этом неопределенном «утверждал», в слове «речуга» и в том, как он говорит о ней — «доорал до конца».

Разумеется, не назвать всех реалистических подробностей — да и героев я назвал далеко не всех, — которые сообщают образам большевиков, изображенных в романе, как бы объемность, создают вокруг них ту обстановку естественности, без которой не бывает настоящей правды.

Благодаря этой естественности, достоверности, когда деятели большевистской организации захолустного сибирского городка

встают перед нами обыкновенными, хотя и героическими людьми,—благодаря этому исключительно остро чувствуешь, насколько они связаны с народом. Именно чувствуешь, то есть воспринимаешь не разумом, а чувством.

О том, какими крепкими были организационные связи большевиков с трудящимися, какой живой отклик в умах широчайших масс находили большевистские идеи,—обо всем этом мы знаем из истории Октябрьской революции. Но здесь, в романе, в особенности во второй его части, где щедро изображена жизнь множества людей, мы ощущаем большевиков — председателя трибунала Яна Витола, того же Рыжикова или Эсфирь, ставшую продкомиссаром,—точно так же вросшими в здешнюю землю, как вросли в нее многодетный лоскутник Полосухин, могучая душой Капитолина Редькина, жена изуродованного на войне токаря по дереву, справедливый слесарь Коноплев или рассудительный конюх Белужин. Писатель изобразил представителей народа и партии людьми, дышащими одним воздухом, живущими среди одних и тех же вполне материальных вещей, как это и есть в жизни. Он не стал делить их на всезнающих наставников и почтительно слушающих учеников, что встречается еще иной раз в литературе. И поэтому, думается мне, такие понятия, как «пролетарская революция», «строительство нового государства», воспринимаются нами не отвлеченно, но существующими в самой жизни, рядом с неустроенным бытом Сапожковых, с лоскутьями Полосухиных, с заботами комиссара конной конторы.

Кожевников отлично знает не только обстоятельства жизни и работы профессиональных революционеров, но и то, как живет и работает народ. Почти за каждой строчкой его романа угадываешь увиденный и понятый материал действительности. Трудно не привести хотя бы несколько примеров, которые, по-моему, выдают литератора, воспитанного в том уважении к труду человека, которое пришло к нам с пятилетками.

Вот подробности, относящиеся к работе людей разных профессий. Тима узнает от своих приятелей, что «на новую стамеску надо всегда набивать ручку со старой, и это не только примета, а делу лучше, потому что в руке память на старую ручку осталась». Молодой формовщик рассказывает: «Слабо землю сомнешь, разорет стенки, и получится не литье, а невесть

что». Ветеринар Синеоков — учит рабочих кирпичного завода, которые взялись после работы ходить за лошадьми конного двора, так как для снабжения города необходим надежный транспорт: «Для того, чтобы сжевать фунт овса или сена, лошадь тратит четыре фунта слюны, поэтому ее обязательно перед едой надо поить».

Покамест Кожевников изображает жизнь уездного городка, где почти нет пролетариата, возможности его рассказать о работающем человеке все же ограничены. Но вот Тима с отцом переехали в рудничный поселок, куда Петра Григорьевича партия послала комиссаром по здравоохранению, и писатель широко, щедро раскрывает поэзию рабочей жизни тех далеких лет. Он как бы свидетельствует о сотворении мира, при котором присутствовал, — в те давние годы, когда наш народ создавал свой социалистический мир, где все впервые: работа на себя, а не на хозяина, первая советская больница, первые комсомольцы...

Работа, труд составляют одну из важнейших сторон народной жизни.

И когда рядом с подробностями, рисующими работу народа, стоят подробности жизни профессиональных революционеров, после Октября возглавивших хозяйственную деятельность народа, чувствуешь, как тесно связаны между собой партия и народ. Для семьи Сапожковых сидеть по царским тюрьмам было так же естественно, как для семьи Полосухиных сортировать тряпье и кроить из него шапки и жилеты.

Варвара Николаевна упрекает своего мужа: «Сидя в тюрьме, Петр, ты приучился к казенному обслуживанию и стал эгоистом». Для нее это так же просто, как для иной женщины упрекнуть мужа в том, что он опаздывает к обеду.

Таким образом, и революционная деятельность естественно входит в народную жизнь, потому что Сапожковы, и Эсфирь, и Витол, и Федор, и Рыжиков — все они тот же народ. Слитность народа с его гордостью — Коммунистической партией, мне кажется, очень точно сформулирована в сцене, где работники конной конторы едут ловить бандитов, угнавших лошадей. Молодой паренек Светличный говорит пожилому рабочему Белужину: «Видать, ты стал партии сочувственный, раз поехал бандитов ловить». «Не я ей, а она мне сочувствует», — с достоинством поправил Белужин.

Надо ли говорить, что оба они правы!

Ефим ДОРОШ.

Кладовая творчества

В 1926 году Горький писал Пришвину из Сорренто: «Все у Вас сливается во единый поток «живого», все осмыслено умным Вашим сердцем, исполнено волнующей, трогательной дружбы с человеком, с Вами, поэтом и мудрецом».

Эти слова невольно приходят на память, когда читаешь посмертно изданную книгу дневников М. Пришвина «Глаза земли». Вот где является нам писатель в полный рост, во всем обилии своих «больших и необыкновенных мыслей», во всем обаянии «чудеснейших тонкостей» (Горький). Не будет преувеличением сказать, что «Глаза земли» — это своеобразная кладовая громадного авторского и жизненного опыта Михаила Пришвина, его творческая лаборатория, содержащая такие эстетические и научные ценности, значение которых трудно переоценить.

Художник систематизировал свои записи по трем разделам: «Дорога к другу», «Раздумья» и «Зеркало человека». Однако деление это весьма условно. О чем бы ни писал Пришвин — о славе или об опадающих осенних листьях, о повадках своей охотничьей собаки Жульки или о молчаливой борьбе двух деревьев за свет солнца, — он пишет по существу об одном: о человеке. Человек, творец и труженик, — вот главный и единственный герой писателя. «Записывая мои наблюдения в природе, я записываю о жизни самого человека», — говорит Пришвин.

И нет у него записей «просто так», по принципу: увидел и зарисовал. Конечно, пришвинские картины природы и тонкий анализ поведения животных имеют самостоятельную ценность. Но в каждой такой записи Пришвин не простой наблюдатель-фенолог, а прежде всего писатель, «инженер человеческих душ». «Реализм», которым занимаюсь я, — пишет М. Пришвин, — есть видение души человека в образах природы». И он советует понимать свои зарисовки, «как понимают басни Крылова», то есть, не ограничиваясь одним прямым значением текста, улавливать их обобщающий смысл, образ, проводить ассоциацию с человеком. Такие миниатюры из «Зеркала человека», как «Богатая

ворона», «Лиса и кот», «Суховерхая сосна», «Бабочка» и другие, и по названиям похожи на басни и на деле являются своеобразными баснями в прозе, содержащими мораль, прямо отнесенную к человеку.

В дневниках Пришвина немало чеканных, остроумных афоризмов: «Правда это значит победа совести в человеке», «Лицезерие — мерить поступки не перед своей совестью, а перед лицом других».

Но далеко не всегда мы найдем в его записях такие четкие, ясно сформулированные выводы. Чаще они угадываются, «прорастают» из поэтически осмысленного пейзажа, портрета человека, бытовой сценки.

Лирически тонкое описание мягкого и прохладного росистого утра в записи, озаглавленной «Двойная радуга», создает настроение радостной умиротворенности, согласия с самим собой, полного наслаждения жизнью. И как высший момент этого наслаждения является автору редкое видение двойной радуги. Двойная радуга здесь не просто явление природы. Она символ остановившегося прекрасного мгновения — награды за удачное самоопределение в жизни. Прекрасного мгновения (другими словами, счастья) могло и не быть, если бы человек не нашел своего единственно верного пути, «такой точки применения сил, чтобы жизнь для себя сама собой выходила жизнью для ближних, для дальних, для всех».

Мысль об удачном самоопределении как пути к гармонии общественного и личного начал писатель развивает и в ряде других высказываний. «Ничего тебе не сделать, — пишет он, например, в записи, озаглавленной «В океане», — ты пропадешь, если только не поставишь свою лодочку на волну великого движения и твое личное «хочется» не определится в океане необходимости всего человека».

Читая дневники, мы вовлекаемся в неустанную работу творческой мысли Пришвина над уяснением вопросов, многие из которых иным нелюбопытным людям покажутся давно решенными. Смысл жизни, место в ней человека, назначение искусства — все это и многое-многое другое находит отклик в душе писателя. Интересы Пришвина очень разнообразны: здесь и желание осмыслить заново свой собственный путь и размышле-

Михаил Пришвин. Глаза земли. Редактор Н. Замощин. 465 стр. «Советский писатель». М. 1957.

ния о творчестве других мастеров слова — Пушкина и Льва Толстого, Гёте и Чехова, Маяковского и Анатоля Франса... Здесь планы, сюжеты будущих произведений, портреты намечаемых персонажей, беглые, но яркие зарисовки жизненных фактов с ясно выраженным стремлением осознать каждый факт, включить его, понятый, в систему своего мировоззрения. За сотнями высказываний, афоризмов, полных тонкого, покоряющего лиризма миниатюр виден сам автор — художник и философ, умеющий не только зорко подмечать и талантливо описывать увиденное, но и стремящийся верно, с позиции народа, понимать его.

Еще Горький говорил в свое время о статье Пришвина «Мой очерк» как о «совершенно исключительной и почти удачной попытке самопознания и счастливого случае почти верной самооценки». Причем разъяснял употребление слова «почти» в том смысле, что Пришвин «недооценивает значения своей работы». Поздние дневники М. Пришвина в еще большей степени, нежели «Мой очерк», являют собой пример удачной попытки самопознания и самооценки писателя.

Своеобразным ключом к пониманию творчества Пришвина является его оригинальная, неоднократно высказываемая им и прежде мысль об искусстве как поведении. «Моя поэзия есть акт моей дружбы с человеком, — говорит писатель, — и отсюда все мое поведение: пишу — значит люблю».

Поведение Пришвина понимает не просто как внешне выраженную жизнедеятельность человека. Оно обязательно должно быть «гармоническим сочетанием сознания и жизненного действия». Оно проявляется в отношении художника к обществу, к современникам. И это отношение художника к человеку и к миру есть то, что у него «за душой», его, по меткому выражению Пришвина, «приданое». Для поэта мало одной искренности, прежде всего он должен любить людей, любить родину.

Определяя искусство как «победное усилие человека на пути к бессмертию», Пришвин требует, чтобы оно было источником сил и радости, помогало в жизненной борьбе. Поэтому, по мысли писателя, настоящий художник-реалист тот, «кто сам видит одинаково и темное и светлое, но дело свое ведет в светлую сторону...» Писатель — это «человек восхищенный», постоянный открыватель прекрасных сторон души чело-

века и красоты природы, как зеркала человека.

Конечно, и Пришвину не чужды (об этом тоже свидетельствуют его дневники) боль обиды и горечь сомнения, и ему сопутствуют неудачи, и он бывает в состоянии грусти, уныния. Но он с гордостью говорит о себе, что обращает «в слово только победу над унынием».

Порою писатель прямо противопоставляет свое «кредо» взгляду критического реализма: «...вспомнил я «Портрет» Гоголя: художник сгустил зло, и оно стало жить. Но ведь так художник может сгустить и добро!»

И годом спустя: «...хочу о хорошем писать, о душах живых, а не мертвых».

Как полезно прислушаться к этим мудрым словам всяким любителям «сгущать зло» и охотникам до «мертвых душ» в нашей современной литературе, людям, которые, как сказал Н. С. Хрущев в своем выступлении перед писателями, «пытаются представить дело так, что будто бы литература и искусство призваны выискивать только недостатки, говорить преимущественно об отрицательном в жизни, о фактах неустроенности и замалчивать все положительное», в то время как «именно это положительное, новое и прогрессивное в жизни и составляет главное в бурно развивающейся действительности социалистического общества».

Немало думал Пришвин в последние годы о специфике художественного творчества. В его дневниках находим мы ряд интереснейших соображений о подлинной и мнимой современности, о типах и характерах, о сюжете, о диалоге и о многом другом. Интересны мысли писателя о причинах долговечности художественных произведений. Так, совершенно прав он (это доказывается всем ходом развития мировой литературы), когда говорит, что прочные вещи писателю удаются «только при условии цельности своей личности», когда утверждает, что «художник должен чувствовать вечность и в то же время быть современным», ибо «без чувства вечности невозможны прочные вещи, без чувства современности художник остается непризнанным». Однако думается, что в этом последнем высказывании неясно выражена диалектическая связь «вечного» и «современного». Одно только «чувство вечности» не сделает художника великим: ведь подлинное чувство вечности может возникнуть у человека лишь

на основе глубокого ощущения современности. Вечное, общечеловеческое не существует само по себе — оно заключено в скорлупу временного, социально-определенного, классового.

Есть в дневниках Пришвина рассуждения, допускающие различные толкования сущности искусства («Чужие следы»), есть противоречивые. И когда мы читаем: «на этом надо и остановиться: писать для себя, а если что выйдет подходящее, то печатать», — мы не можем не отметить, что творчество Пришвина, от начала до конца обращенное к читателю-другу, никогда творчеством «для себя» не являлось. Встречаются в дневниках мысли, представляющиеся нам неверными с философской точки зрения, возникшие как результат чересчур поспешных обобщений, вроде: «есть на свете существо, в красоте своей независимое даже от правды» или «в конце концов в опыте своем мы не жизнь, а себя познаем».

Однако при всем этом остаешься благодарным Пришвину за проникающее всю книгу бинение живой, пытливей, ищущей мысли.

Неустанное движение, развитие, совершенствование Пришвина, удивительно продолжавшиеся всю его долгую жизнь, хорошо заметны в его последних дневниках. Эти дневники свидетельствуют об усиливающем с каждым годом интересе писателя к новым, современным темам, о стремлении к новым формам для их выражения. Они отражают идейный рост писателя вместе с ростом всего советского народа.

Названием своей последней книги писатель взял выражение, услышанное им на берегу Плещеева озера, возле старинного русского города Переславля-Залесского. Так в народе называют озера. Сколько поэзии и смысла в этом названии! И как удачно оно для последней книги писателя. Будто глубокая вода озер, чиста и прозрачна поэтическая проза его дневников. Подобно тому, как отражают спокойные зеркала озер города, стоящие над ними, и леса, и облачное небо, и солнце, и звезды, так и в дневниках писателя отразилось лицо земли нашей, день нашей жизни.

И. МОТЯШОВ.

★

Братство честных и храбрых

Очень трудно пересказать сюжет книги Нины Ивантер «Жил-был мальчик». Иной раз кажется, что его и нет, сюжета, а просто перед тобой изо дня в день разворачивается жизнь — обычная, будничная, небогатая событиями. Почему же мы читаем об этой жизни радостно и благодарно? Почему нас волнует каждая малость в судьбе героев, всякое их слово и всякая мысль?

О каждом человеке можно написать повесть. Нет такой человеческой судьбы, которая была бы недостойна книги. Потому что, как сказал Гейне, каждый человек есть вселенная, которая с ним родилась и с ним умирает. И если пишущий книгу умеет видеть неповторимость каждой человеческой судьбы и каждого характера, как бы похожи они ни были на другие судьбы и характеры, значит он обладает тем драгоценным зрением, без которого нет писателя.

Н. Ивантер. Жил-был мальчик. Редакторы Л. Чуковская и К. Чаевская. 536 стр. «Молодая гвардия». М. 1957.

Вот этот дар видеть неповторимость каждого сердца и каждой жизни освещает книгу Нины Ивантер. Наверное, в других книгах были мальчики, чем-то похожие на Славу, Федю или Вадима. Но мы не хотим этого знать, мы забываем об этом. Нас удивляет и трогает каждое движение их души, оно нам внове; узнавая их, мы начинаем лучше понимать себя и тех, кто нас окружает. С каждой страницей книга уходит вглубь. Под спудом, под текстом течет ее основной сюжет — рост души, рост сознания, глубина и богатство отношений, которые существуют между советскими людьми.

«...Федя нагнулся к ручью, чтобы напиться, и сплонул:

— Голый бензин... На вид вон какая светлая, а так — бензин и бензин.

Славка зачерпнул воду рукой и понюхал.
— Видно, кто посудину мыл из-под кerosина или, может, так пролил, — сказал Федя, продолжая отплеиваться.

— Постой, — перебил его Славка. — Постой, совсем не то... — Он еще раз понюхал свою руку, потом поднялся. — Слушай, — ска-

зал он почему-то испуганно,— слушай, мы открыли нефть!

Да, это было для него совершенно ясно— здесь, у них под ногами, таилась нефть. Тяжелая маслянистая жидкость наполняла скважины земли. Прозрачный ручеек, пробиваясь наружу, тронул ее своим светлым боком и сам стал пахнуть, как она... Как жалко, что вместо никому не нужной лопаты они не взяли с собой бутылки или ведра, чего-нибудь такого, что можно наполнить этой драгоценной жидкостью. Но кто может знать, где подстерегает человека открытие, которое ему суждено совершить!»

Таков Славка. Он всегда, постоянно накануне великого открытия. Мир для него полон чудес, и никакое волшебство не может удивить Славку, его фантазия безудержна, его готовность верить в необычное не знает границ. Мир мальчика причудлив и поэтичен, и когда учительница велит написать сочинение на тему «Что бы я сделал, если бы вдруг стал невидимкой», это не застает Славку врасплох: сколько раз в своих мечтах он летал на Луну, открывал неведомые земли, был и волшебником и невидимкой, каких только не совершал подвигов!

А Федя видит вещи такими, каковы они есть. И, наверно, достанься ему сочинение про невидимок, он написал бы: «Невидимок на свете не бывает». Это рассудительный немногословный паренек, привыкший иметь дело с реальными вещами.

Они очень разные — Славка и Федя, но в их дружбу веришь непреложно. И читая о ней, видишь, что для этой неразрывной дружеской связи различие душевного склада и характера нужно так же, как и сходство. Они дополняют один другого, эти мальчики, их дружба деятельна и никогда не обратится в привычку, потому что они постоянно находят друг в друге новое.

Славка — яркий, одаренный, он обращает на себя внимание, Федя рядом с ним привык быть в тени. Но Федя не умеет завидовать. Он душевно широк и щедр, он чувствует сильно и глубоко. И сдержанность его не от бедности, а от застенчивости, от боязни показаться смешным. Он отзывчив в самом прямом смысле этого слова, он отзывается на все, что видит и слышит вокруг. Он один заметил, как во время завтрака Маруся Костандаки дедила еду всем поровну, а себе положила самое маленькое яблоко, какое-то косое, с

черными пятнышками. И он сам нашел себе взрослого друга — инженера Михайленко. Все были на костре, все слушали рассказ Сергея Николаевича, но только Федя пошел его провожать и шел неотступно до самого конца, не в силах расстаться, хоть и надо было ему идти совсем в другую сторону. Он почувствовал и доброту Михайленко и его высокую простоту и подарил ему свое сердце сразу, без оглядки. Ему ничего не трудно для Сергея Николаевича, он пойдет для него на край света, поделится последним, а если надо — и жизнь отдаст, и все это просто, без раздумья. Страницы, посвященные дружбе Михайленко и Феде, взрослого и ребенка, одни из лучших в книге.

У Пришвина есть запись: «Так вот сколько бывает случаев возникновения... неприязни к человеку только из-за того, что не хочешь глаз поднять и посмотреть на него».

Вот эта мысль проходит через всю книгу, звучит в ней, не переставая, то глуше, то слышнее. В Косую Балку на лето приезжает дальний родственник и Славкин сверстник Вадим. Он учится в хоровом училище. Славке Вадим не очень понравился — и костюм какой-то чудной, и сам он странный, чересчур городской, не похожий на других ребят из Косой Балки. Может быть, присмотревшись, они нашли бы друг друга, но Славка попросил Вадима выступить на школьном празднике, а Вадим отказался: у него переходный возраст, и учителя запретили ему петь, может пропасть голос. И дружба, которая могла возникнуть между ними, умерла, не родившись. И вот, живя под одной крышей, они находятся за тысячи верст друг от друга. Славка глубоко презирает Вадима — тут и строгая мысль о личном, которое Вадим поставил выше общественного. Да и вообще, что это за мальчишка, если он кутает горло, боится простуды. И Вадим не в силах разрушить эту стену, которую Славка возвел между ними, не в силах объяснить ему, что значит для него, Вадима, потерять голос. А Славка так по душе ему — всем своим обликом, каждым своим поступком, движением. Ему так хочется стать участником его веселой содержательной жизни, но Славка неприступен, и все, что хочет сказать ему Вадим, он может говорить только мысленно, в своем воображении или во сне, а наяву Славка и слушать ничего не захочет, он ведет себя так, будто Вадима и нет

на свете. Славка испытывает только чувство презрения и глухой вражды. Вадим — готовность к дружбе, любви, преданности; и все это проникнуто глубокой горечью, тоской, одиночеством. Поначалу даже война ничего не меняет в этих мучительных отношениях. Добрый и мягкий Славка тут словно бы окаменел, он не видит, как одинок Вадим, как ему худо в чужой стороне, без матери. И навсегда были бы разлучены эти мальчишки, если бы не случай, заставивший Славку поднять глаза на Вадима, поднять глаза и увидеть, что перед ним настоящий человек, мужественный и добрый.

Как иной раз поверхностны наши представления о людях, даже о самых близких, словно бы говорит писательница, как часто мы не хотим поднять глаза и увидеть, чего стоит человек, чем он может стать нам близок и дорог. Эта мысль ярче всего выразилась в истории Вадима и Славки, но она пронизывает всю книгу. Едва не прошел мимо Ольги Нестеровны Михайленко. И Федя не заметил бы Марусю Костандаки, не умеи он видеть хорошее в человеке, даже если сам человек не подозревает об этом хорошем. А что знал о своей жене доктор Толь? Война заставила его заново переоценить все ценности и вспомнить, что рядом с ним жила женщина, жена, что ей бывало худо, одиноко рядом с ним, а он никогда не находил времени подумать над тем, что ее гложет. А ведь так немного надо было, чтобы сделать ее счастливой, и он все-таки не сделал этого немногого: «Какой-то проклятый дух противоречия мешал ему сделать ее счастливой... И почему он стал понимать это только сейчас, когда нет никакой возможности исправить! Как, впрочем, многое другое в его жизни...»

И совсем иначе зазвучала эта мелодия, коснувшись жизни журналиста Осипа Ивановича Табачникова. Михайленко очень любил его, но не мог простить своему другу мягкости, которая подчас делала его слабым и беспомощным. Всякий, кому не лень, мог в редакции помыкать Табачниковым — и редактор, и ответственный секретарь, и любой сотрудник. Табачников все принимал, как должное, — робкий, застенчивый, он не умел ни возразить, ни настоять на своем.

Всю войну Михайленко, оставшись в подполье, не видел его и был уверен, что немелый, близорукий Табачников давно эвакуировался с семьей в тыл, куда-нибудь

за тридевять земель, в Сибирь или на Урал. Но когда вернулись наши, он узнает, что Табачников тоже оставался на подпольной работе и, полуслепой, ходил по городу, налаживая связь партизан с населением. Это ему принадлежали пламенные слова листовок, поднимавших людей на борьбу. Враг за ним охотился, он знал, как для него страшен этот тихий человек, и перед самым приходом советских войск фашисты убили его. «Что вы о нем знаете! Что вы можете о нем знать! — говорят Сергею Николаевичу. — Ах, Осип Иванович, Осип Иванович, никто его не знал. Говорили: добряк, покладист, мягок. Да разве это! Он был железный человек, железного мужества, неслыханной железной стойкости. И все это при необыкновенной доброте и нежности...»

В этой книге, где нет никаких неожиданных поворотов, есть только одно «вдруг», одно «внезапно» — это 22 июня 1941 года. И по тому, как рассказывает писательница об этой новой полосе в жизни своих героев, видишь, что нет на свете исчерпанных тем. В сотнях и тысячах повестей описан первый день войны, но об этом не помнишь, когда читаешь о том, как встретили войну в Косой Балке. В прославленной книге описаны катакомбы военного времени, но об этом забываешь, читая, как ушли под землю жители приморского города, как повисло над ними каменное небо вместо живого, южного, синего. Во многих прекрасных книгах читали мы о том, каким испытанием была война для человека, но в повести Нины Ивантер мы узнаем об этом заново. Нужда, страх, тюрьма, пытки — все довелось перенести героям книги, и мы верим каждому слову писательницы; нигде логика характеров не изменяет себе. Многое перевернула война в сознании людей, большой стойкости — душевной и физической — потребовала она от каждого, и люди, с которыми мы познакомились в мирное время, ни в чем не обманули нас, и мы верим в их мужество, храбрость и ненависть к врагу так же, как прежде верили в их доброту и нежность.

Трудно писать об этой книге. Трудно потому, что она сложная и богатая. Хочется писать и о том, как великолепно видит автор природу, какой у него верный и точный глаз. И о том, как он умеет писать о горьком в нашей жизни, о потерях, которые непоправимы. Один из самых ярких

характеров книги — Федина мать Христина, а мы ничего не успели о ней сказать. Образы молодых партизан, и в первую очередь Алеши, написаны превосходно и заслуживают подробного разбора. Надо бы сказать и о недостатках. К примеру, раздумья доктора Толя иногда превращаются в разглагольствования. Иногда добрый глаз писательницы становится очень уж «голубым», и она восторженно говорит о том, что восторга совсем не вызывает... Надо бы. Но сейчас, по горячим следам, только закрыв прочитанную книгу, хочется говорить и думать о другом. Это книга о людях. Она

о мужестве, о живых душах наших детей, о нежности к другу, к человеку, о ненависти ко всему подлому и грязному, ко всему, что мешает жизни — чистой и высокой.

Первая книга — и такая богатая, зрелая. Писательницей накоплен большой душевный опыт, ей присуще большое и глубокое раздумье о жизни, о людях, ей есть что сказать — и поэтому нет в повести неинтересных характеров, вялых событий. Все в ней горячо, все в ней подлинное, настоящее. И от души хочется пожелать Нине Ивантер еще много таких книг — страстных и человеческих.

Ф. ВИГДОРОВА.



Русские народные песни

Когда берешь в руки книгу, недавно вышедшую, на обложке которой стоит «Русские народные песни», первое, что хочется сделать, это от всего сердца поблагодарить собирателей этих песен, составителя сборника и всех тех, кто так или иначе трудился над его созданием.

Конечно, такая книга не могла вместить в себя все песенные сокровища, которые веками складывались и оседали в нашем народе. Объем сборника позволил включить в него около семисот песен, и надо сказать, что выбор их отмечен хорошим вкусом и позволяет представить себе всю многогранность народного песенного творчества.

Существенным, на мой взгляд, недостатком сборника является не вполне удачная систематизация песен. Составитель, основываясь на историко-хронологическом принципе, весь песенный материал разбивает на пять разделов. В первый входят песни, происхождение которых относится к эпохе феодализма, в последний раздел включены советские песни. Одновременно составитель прибегает и к другому принципу — тематическому, то есть песни располагает и по группам, связанным содержанием. Такое расположение материала не вызвало бы возражений, если бы оно соблюдалось строго и последовательно. К сожалению, такая последовательность часто отсутствует. Например, ямщицкие песни, занимающие большое место в народном творчестве, сво-

дятся в специальной рубрике всего к четырем названиям. Между тем на самом деле в сборнике ямщицких песен гораздо больше, но они разбросаны по другим разделам. Это дает читателю неправильное представление о содержании сборника и затрудняет пользование им.

Надо полагать, что читатель хотел бы найти в примечаниях сведения о времени и условиях появления каждой песни, начиная с самых старинных, а не только песен, относящихся к более позднему периоду (как это сделано в сборнике).

Непонятно, почему совсем отсутствует в книге раздел свадебных песен. Возникнув в далекие времена, некоторые из этих песен и по сей день поются в народе.

Говоря об этом сборнике и вспоминая ранее изданные более полные своды, следует сказать о том, что много еще есть у русского народа прекрасных, но никем не записанных песен. Задача всех, кто любит и знает народные песни, — помочь собирателям этого бесценного материала, не дать ему затеряться.

Одним из основных хранителей и пропагандистов русских народных песен является деревенский хоровод. Хороводы существуют на Руси с незапамятных времен, они переходят из поколения в поколение. Каждый хоровод поет не только современные ему песни, но и сохраняет лучшие старинные. В селах и деревнях любят хороводы. И тот, кто родился и провел свою молодость в деревне, где бы он ни был теперь, навсегда сохранит самые лучшие воспоминания о них.

В юности я был непосредственным участником деревенского хоровода на своей родине — в селе Никольском, Пензенской области. Село это было глухое, в десятках километров от железной дороги. А между тем, как разнообразен был наш песенный репертуар! Мы пели и современные и старинные песни.

Помню я, например, часто исполняемую песню «Гриб боровик, всем грибам полковник», которая напечатана в сборнике. Но мне помнится еще один куплет, которого нет в книге:

Гриб боровик,
Всем грибам полковник,
Он, под дубом сидючи,
На все грибы глядяючи,
Повелел-приказал,
Чтоб волжанки шли на войну.
Говорят ему волжанки:
«Мы господские служанки,
Не повинны мы тому:
Не пойдем на войну».

В нашем хороводе было много хороших голосов. Душой хоровода был Михаил Савостин, талантливый певец-самородок. У него был сильный и красивый тенор. Пел он задумчиво и самозабвенно, подобно Яшке Турку из тургеневского рассказа «Певцы». Недаром его называли «наш никольский Собинов». Савостина старались привлечь в церковный хор, но он отказался. Он говорил: «Душа не принимает церковного пения. Там нет душе простора». И действительно, ему требовался простор. Когда он пел, он творил, и его песня лилась от сердца к сердцам всех, кто его слушал.

Песни проникали в деревню и через печатать. Существовали песенники, песенные лубочные картинки сытинского издания. Помню картинки на слова русских песен: «Хуторок» («За рекой на горе») А. Кольцова, «Эх ты, доля, эх ты, доля, доля бедняка» И. Сурикова, «Под вечер, осенью ненастной» — раннего романа А. Пушкина и другие. Очень жаль, что теперь так мало издается песенников и совсем не издаются песни-картинки.

Революционные и рабочие песни проникали в наше село главным образом через отходников-каменщиков, которых у нас было очень много. Отходники обычно возвращались из города домой поздней осенью и привозили новые песни. Особенно интенсивно стали проникать в село эти песни с 1905 года. Тайно распевали такие песни, как

«Дубинушка», «Марсельеза», «Не слышно шуму городского» и другие.

Вспоминаю, как я разуучивал «От павших твердынь Порт-Артура» и подбирал ее мотив на балалайке. Было это в 1908 году. Мне тогда шел девятый год. Не помню, где услышал я эту песню, — очевидно, кто-то из отходников-каменщиков привез ее из города. Мне эта песня очень понравилась — конечно, я многого не понимал тогда. Я не понимал, например, что значит «От павших твердынь Порт-Артура». Мне казалось, что «От павших твердынь» — это одно слово и что это слово какое-то хорошее, красивое, имеющее огромный внутренний, таинственный смысл. И вся песня казалась мне таинственной, имеющей могущественную силу, думалось, что стоит ее только разуучить, как сам станешь сильным, могучим, подобно Стеньке Разину, Илье Муромцу, разбойнику Чуркину — всем моим любимым героям, о которых рассказывал и пел дедушка.

Вспоминается мне: изба, зимний вечер, тусклый свет пятилинейной лампы. Я сижу с балалайкой у русской печки на вязанке нарубленного и припасенного к утру хвороста. У стола бабушка Марфа прядет шерсть. Я подбираю на балалайке мотив и пою влух. Бабушку Марфу глубоко трогала эта песня, в особенности слова:

«Где мать?» — «Помолитесь к Казанской
Старушка твоя побрела,
Избита казацкой нагайкой —
До ночи едва дожила».

Когда я пел эти слова, она плакала и сквозь слезы произносила: «Ах, ироды проклятые, помолитесь и то не дадут старушке».

Нужно заметить, что я эту песню запомнил понаслышке. Мои слова не совсем совпадали с текстом автора, но они передавали его смысл, содержание и ту правду, которая заложена в этой песне. А правда эта глубоко западала в душу простого человека. То, что автором этой песни является Татьяна Львовна Щепкина-Куперник, я узнал тогда, когда этой замечательной женщины уже не было в живых.

Все, о чем я рассказал, относится к дооктябрьскому периоду. Октябрьская социалистическая революция открыла широчайший простор для бурного и всестороннего развития всех областей нашей жизни и, в частности, искусства. Она создала са-

мые благоприятные условия для расцвета народного творчества. За сорок лет существования в нашей стране Советской власти у нас есть огромные достижения и в области творчества народных песен. Советские песни звучат во всех концах нашей Родины и за рубежом. Они сыграли большую роль не только в мирном созидательном труде, но и в борьбе с фашистскими захватчиками. Помню, как в 1941 году на фронте вдохновляли нас, ополченцев города Москвы, песни: «Орленок», «Каховка», «По долинам и по взгорьям» и другие. Составитель сбор-

ника правильно поступил, уделив серьезное внимание песням гражданской и Великой Отечественной войн. Эти разделы в сборнике представлены достаточно полно. Разделы же, посвященные песням о социалистическом труде, нуждаются в пополнении.

Хочется пожелать нашим фольклористам более тщательно и широко собирать по селам и городам сокровища современного народного песенного творчества.

В. ФИЛАТОВ,
пенсионер.

★

Творчество молодых

Э то не совсем обычная книга. То, что опубликовано в ней, не претендует на литературную завершенность, на глубину научного исследования. Это всего лишь учебные работы студентов Всесоюзного государственного института кинематографии — молодых литераторов, изучающих теорию и практику кинодраматургии, будущих режиссеров, операторов, художников, киноведов... Учащиеся одного только факультета — актерского — не продемонстрировали здесь своего искусства: страницы альманаха не смогли заменить им экраны или хотя бы сценической площадки.

Но если это только «проба пера», если, как признается сама редколлегия альманаха, опубликованные в нем работы «еще во многом несовершенны, не выдерживают сравнения с обычными литературными произведениями», то стоило ли выносить их на широкую общественную аудиторию? Нужно ли было знакомить с ними массового читателя?

Вопрос этот возникает лишь до знакомства с содержанием сборника. После того как прочитана книга, вам совершенно ясно, что она найдет своих читателей не только в кинематографической среде, но и в кругу людей иных профессий. И дело тут не только в том, что для человека, которому неизвестны «тайны» кинематографа, особенности той или иной кинематографической профессии, будет интересно почувство-

вать специфику этой области искусства; в лице авторов альманаха читатель познакомится с талантливой молодежью, ищущей своих путей в творчестве, одержимой настоящей любовью к своему делу, непосредственно и остро воспринимающей жизнь.

Живое и вместе с тем сосредоточенно-глубокое восприятие жизни — вот качество, характерное для большинства работ, напечатанных в сборнике, будь то сценарий, очерк, скромная зарисовка или рассказ. Вы чувствуете, что авторы стараются как можно пристальнее взглянуть в окружающее, не ограничиться поверхностными наблюдениями, первыми и порой случайными впечатлениями, стремятся найти — и находят — в действительности, в людях их главные, определяющие черты. Это углубленное, заинтересованное, больше того — жадное, любовное отношение к жизни делает интересными и значительными многие работы альманаха, несмотря на их литературные погрешности и просчеты, связанные с недостатком профессионального мастерства.

«Дорогие мои новоселы» — так называется очерк режиссеров А. Вехотко и В. Фокина. Люди, с которыми они встретились во время своей поездки на целину, действительно дорогие для них люди. Замечательный народ живет и трудится на целинных землях — вот что прежде всего хотят сказать нам авторы, и их очерк приобретает необычайно теплые и взволнованные интонации, идущие от искреннего восхищения молодыми тружениками земли.

Но взволнованность не переходит в умирление, повествование не теряет тональности

Творчество молодых. Альманах Всесоюзного государственного института кинематографии. Редактор И. Вайсфельд. 281 стр «Искусство». М. 1957.

простого, мужественного рассказа. Очень легко было, передавая историю Никиты Рогова, впасть в дешевую сентиментальность, выжать, что называется, «слезу» у читателя — настолько действительно трагична и трогательна эта история. Молодой парень прожил трудную юность: в послевоенные годы большой колхозной семье, где было много детей и мало работников, приходилось туго. После окончания шести классов Никите пришлось пойти работать — сначала разнорабочим, а потом выучился на тракториста. Никита полюбил свой колхоз, свою МТС и, когда загорелся гараж, где находились только что отремонтированные машины, рискуя жизнью, бросился спасать их. «Балки сыпаться стали, а я последний был... Ну и трахнуло меня горящим бревном по лицу... Валялся два месяца. Врачи обещали не лицо — картину сделать... Не вышла у них картина...»

И вот вместо «открытого лица с широко поставленными глазами, сросшимися на переносье темными бровями — лица из таких, что запоминаются сразу и надолго», — сплошная малиновая маска. Когда вернулся из больницы, соседи шарахались в сторону. Любимая девушка не выдержала испытания — даже не повидавшись с Никитой, трусливо сбежала из деревни... Конечно, очень трудно было Никите Рогову, и немало мучительных, отчаянных минут пришлось ему пережить. Но он не замкнулся в своей трагедии, не отъединился от людей, — он поехал туда, где, знал, будет совсем нелегко, будет, быть может, еще труднее... «Только ты не думай, что я из-за этого... ну из-за уродства, на целину поехал. Я бы и так все равно там был — заявление еще до пожара подал». В этих словах — весь человек, сильный, благородный, красивый. Он ни разу не пожаловался на свою судьбу, не попытался расстрогать собеседника. Это не в его характере. И так же не свойственно ему стремление подчеркнуть свое геройство, он только скромно, как бы невзначай скажет: «трактора зато почти все спасли».

Конец рассказа о Никите Рогове глубоко оптимистичен. Мы твердо знаем, что Никита нашел свое место в жизни, что он не только будет хорошо работать, но и станет учиться в вечерней школе, что он действительно счастлив в хороших алтайских местах, среди людей, которые для него «замечательные ребята».

В живом, свободно написанном очерке А. Вехотко и В. Фокина есть качество, чрезвычайно важное для будущей работы молодых режиссеров. У них острый глаз, они многое видят и замечают, умеют выделить интересные жизненные детали, подчеркнуть ту или иную характерную особенность. При всем этом они передают течение жизни во всей ее многогранности, в переплетении разных явлений, не избегая трудных ее сторон, но всегда имея в виду определяющие черты действительности. Путешествуя по целинным землям, авторы видят — и не умалчивают об этом в очерке — и дороги, на которых болтает, «как дьявола в бочке», и столовую «Чайка», где главный ассортимент — рыбные консервы и истлевшие папиросы «Люкс», и то, как еще плохо был устроен быт новоселов: люди мерзли в палатках, почта не доходила, а единственным развлечением была уцелевшая старая пластинка «Хороши весной в саду цветочки...»

Трудно работать на новых, еще не обжитых местах, в новых, еще не до конца сложившихся коллективах. Но люди, поселившиеся здесь, устремлены вперед, в будущее — вот что подчеркивают А. Вехотко и В. Фокин, они охвачены настоящим, неподдельным энтузиазмом, какой-то особой трепетной ответственностью за то, что возложено на их плечи.

Та же мысль об ответственности и о силе патриотического чувства, поднимающего, возвышающего человека, лежит в основе интересного сценария студента сценарного факультета Виктора Лоренца «Родина, прости!»

Материал, взятый В. Лоренцом, подказывал разные решения: можно было ограничиться довольно обычным детективом (кстати сказать, начало сценария настраивает именно на этот лад), а можно было пойти более сложным, углубленным путем, пытаясь приблизиться к психологической драме, сосредоточивая внимание не столько на внешнем движении событий, сколько на внутреннем развитии характера. В. Лоренц избрал второе. Взявшись рассказать о судьбе человека, который во время оккупации Латвии служил в фашистской армии, воевал против СССР, а затем, после разгрома гитлеровцев, пройдя проверку в лагере, вернулся в советскую Ригу, чтобы честным трудом загладить перед Родиной свою вину, автор стремится прежде всего

показать путь Яниса Калниньша к героическому поступку, раскрыть как и почему к нему пришел Янис к осознанию своей ошибки, к необходимости искупить ее любой ценой.

В работе молодого сценариста привлекает самостоятельность в трактовке темы, достоверность в рассказе о сложных моментах в жизненной судьбе героя. Но не только психологическая достоверность характера занимает молодого драматурга, он ищет и яркой кинематографичности образа, старается, чтобы наиболее броско, остро была выражена та или иная мысль.

В сценарии немало выразительно, «крупно» написанных сцен. Вот одна из них.

Фронт. Друг детства Яниса, Зигис, отрядный командир, не желая выполнять приказ немецкого генерала о расстреле товарищей, не желая больше прикрывать своей грудью отступающих гитлеровцев, решает перейти на сторону советских войск. В том месте и в тот час, когда Янис находится на посту, Зигис переходит линию фронта, но случайная пуля решившего «немного пострелять» пулеметчика настигает его. И тут Янис Калниньш совершает предательство по отношению к уже мертвому другу. Струсив за свою шкуру («каждый знает, что мы были друзьями, это случилось во время моей вахты. Значит...»), он выпускает в воздух все патроны и выдает себя за убийцу перебежчика. Генерал сначала взбешен — могло быть недоразумение, так можно перестрелять всю армию! — и приказывает Янису... присесть.

«Янис медленно приседает, держа в вытянутой руке винтовку, и отчетливо декламирует:

Я солдат
И очень рад.
О, какое счастье,
Что я солдат.

Он приседает раз, второй, третий. Каждое движение требует страшного напряжения; и в такт механически произносятся слова:

О, какое счастье,
Что я солдат.

А рядом лежит мертвый Зигис. Дрожит в руке Яниса винтовка».

В задачу рецензии не входит дать исчерпывающий разбор сценария. Он, на мой взгляд, заслуживает специальной статьи. Здесь же хотелось отметить лишь основные качества молодого и способного сценариста, своей первой крупной работой доказавшего, что он стоит на правильном пути.

Радостно видеть, что не отвлеченные умозрительные проблемы занимают молодую смену кинематографистов, что их творчество питает сама жизнь — богатая своим содержанием.

Об этом можно судить не только по упомянутым вещам, но и по опубликованным в альманахе литературным зарисовкам сценаристов Н. Гонцова, И. Пономарева, написанным в результате поездки на целинные земли Западного Казахстана, и по рассказу Ву Тхы Хиена «Буря», и по наполненной глубоким лиризмом киноновелле Алексея Габриловича «Вторая любовь», и по помещенным в сборнике репродукциям картин студента художественного факультета Ю. Богатыренко.

Самые разные произведения представлены в альманахе. Рядом со сказочными и научно-популярными сценариями — отчеты о творческой практике, воспоминания о работе под руководством замечательного художника Александра Петровича Довженко. Вслед за путевыми очерками — краткие критические рецензии на фильмы. Наконец, книга проиллюстрирована репродукциями этюдов, эскизов и других учебных работ молодых художников и операторов.

Но значение этого альманаха определяет не жанровое разнообразие. Другое, более важное качество сборника говорит о том, насколько полезно это издание. Мы всерьез почувствовали, что растет интересная, талантливая смена кинематографистов, ибо даже в несовершенных учебных работах есть задатки смелого и настоящего искусства. Будем же ждать обильного урожая.

Н. ИГНАТЬЕВА.

Назначение человека

Передо мной лежат две пьесы. Обе они принадлежат перу зарубежных драматургов, обе ставят важные моральные проблемы сегодняшнего дня, обе отличаются качествами, привлекательными для постановщика и артиста. Пьесу «Гордыня и туча» написал французский публицист и прогрессивный деятель, автор многих стихов, пьес и статей, всегда овеянных живым дыханием современности, — Жорж Сориа. Автор второй — «Юпитер смеется» — один из лучших писателей Запада, англичанин, хорошо известный советскому читателю, Арчибалд Джозеф Кронин.

При всем различии этих произведений с точки зрения сюжета, авторских приемов, времени и места их действия пьесы объединены, как мне кажется, важнейшим этическим началом. Речь в них идет о назначении человека, о том, во имя и ради чего он живет на земле, как выбирает свой путь в буржуазном обществе, раздираемом социальными и духовными противоречиями.

Пьеса Сориа посвящена событиям — частным и общественным, — связанным с испытаниями атомной и водородной бомб в Америке. Жалка и отвратительна судьба человека, посвятившего свою жизнь, свой разум и талант служению идее разрушения. И если этот человек к тому же наделен объективно привлекательными чертами, то тем хуже для него, для его близких и для нас, которые и рады бы его полюбить, да не могут: воспитанный на идеях гуманизма, советский гражданин непримирим к тем, кто невольно, а тем паче вольно, помогает врагам мира и прогресса.

Я говорю о герое пьесы Сориа — физике Френке Гардинге. Одаренный исследователь, профессор в тридцать пять лет, он убежденно, сознательно предан идее мирового господства США; он уверен, что выполняет свой прямой и святой долг перед родиной. Ничто — ни бесспорные доказательства его учителя, старого университетского профессора, ни собственное

понимание Гардингом степени опасности своего дела — не может отвлечь его от пагубных работ по созданию смертоносных бомб, от работ, в которых он видит свое призвание и назначение. И только страшная катастрофа, происшедшая с его горячо любимой женой, оказавшейся в зоне излучения взрыва испытываемой бомбы, заставляет героя задуматься об избранном им пути и в конце концов отказаться от него. Отчаяние и, быть может, запоздалое прозрение заставляют Френка произнести в финале знаменательные слова: «Мои мечты, моя слава? Ах! Если бы я мог прменять их на безвестное существование человека с чистой совестью...»

Так приходит решение о выборе новой дороги жизни, так ставится под сомнение прежний путь человека, наконец уяснившего свое истинное назначение. Но ответ на вопрос «Как жить?» приходит к герою слишком поздно — обречена его жена, и, что еще страшнее, он понимает худшее: ступив на путь преступлений против человечества и человечности, он оказался в полном моральном одиночестве.

Гардинг одинок потому и, пожалуй, особенно потому, что за ним — огромная разрушительная сила американской женщины, ее живое воплощение — адмирал Гаусс. Он одинок, невзирая на то, что окружен комфортом и, казалось бы, «все условия» созданы для его счастья.

Не может быть счастлив тот, кто отдает себя бесчестному делу. Ему не поможет ни прекрасная музыка, которую так тонко понимает и ценит Гардинг, ни излюбленный спорт, ни нежная и внимательная жена... Джени Гардинг — биолог, посвятивший себя науке о жизни. Однажды и навсегда полюбив, истосковавшись в постоянной разлуке с мужем, она не уступает ему ни пяди своих убеждений, страстно выраженных в короткой реплике: «Нет, нет и нет, Френк! Наша судьба связана не с наукой разрушения, а с наукой творчества, созидания...»

Приведенные слова, как многие монологи и диалоги пьесы Сориа, несколько декларативны. В сочетании с тем, что основные события драмы неизбежно происходят вне сцены (испытание бомбы, оседание пыли губительной тучи, образовавшейся после взрыва, смертельная болезнь Джени), а на подмостках очень мало дей-

Жорж Сориа. Гордыня и туча. Пьеса. Перевод с французского Н. Каринцева и Е. Тяпкиной. Редактор А. Ивушкина. 87 стр. «Искусство». М. 1957.

А. Кронин. Юпитер смеется. Пьеса. Перевод с английского М. Левиной и А. Гольдмана. Редактор С. Серпинский. 124 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1957.

ствия и очень много разговоров,— «Гордыня и туча» представляет известные трудности для воплощения на театре.

Но мастерство Сориа в том и состоит, что он умеет сделать носителей какой-либо идеи живыми людьми. И потому они симпатичны нам, потому их приятно сыграть актеру, потому они, вероятно, запомнятся зрителю.

Актриса, я не могу умолчать о своей претензии к автору: он обеднил героиню. А если принять во внимание, что Дженни Гардинг — единственный женский образ пьесы Сориа, то тем более законно сожаление о том, что героиня слишком прямолинейна и не наделена чертами конкретного характера. А ведь это необходимо для успешной работы любого артиста над любой ролью.

Но вот в пьесе Кронина есть такие яркие, пленительные своей острой характерностью персонажи, и одно это делает «Юпитер смеется» драгоценной находкой для режиссера, актера и актрисы. Исполнителя, вероятно, сразу привлечет образ старого доктора Ричарда Друэтта. В нем очень много разных свойств. Он сумрачен, немногословен, скептичен, нелюдим. Он нежен и отзывчив, у него доброе, честное сердце, а глубокое личное горе и разочарование, перенесенное им некогда, не озлобили и не восстановили его против людей; привязанность к герою-ассистенту той же клиники доктору Веннеру располагает к Друэтту еще больше.

Если в пьесе Сориа центральный персонаж с самого начала в плену ложной общественной морали, трагически неправильно понятого долга перед родиной, то Друэтт — антипод Гардинга. Друэтт, как Веннер, как Мэри, — носитель понятия добра, тогда как герой Сориа в сущности глубоко враждебен добру как свойству нравственной природы человека.

В пьесе «Юпитер смеется» именно добро как этическое понятие — центр и главная пружина действия. Но все дело в том, что у каждого человека здесь свое отношение к добру, свое понимание его смысла. Для старшей сестры клиники (эта остро характерная роль необыкновенно благодарна) «добро» в том, чтобы ее ближним было худо. Фанни Лиминг — старая дева, в которой, кажется, умерли все хорошие человеческие чувства, уступив место злобе, зависти, раздраженности.

В ней бушуют страсти, сильные тем более, что они все время сдерживаются и почти никогда не прорываются наружу. Ее словно оскорбляет молодость, красота, любовь.

А для дельца от медицины, процветающего и ограниченного доктора Брэгга, стоящего во главе клиники, вообще не существует вопроса о природе хорошего и дурного, добра и зла. Хорошо, когда его бизнес удастся и приносит барыш. Для его жены все «добро» земли, весь свет клином сошелся на весьма упрощенно понятой любви. Она преследует своим вожделением главного героя пьесы — Поля Веннера, человека, увлеченного идеей создания нового препарата для борьбы с тяжелыми нервными расстройствами и весьма равнодушного к притязаниям жены глубоко несимпатичного ему патрона.

С появлением юной героини — доктора Мэри Мэррей — мы с особой, все возрастающей заинтересованностью следим за развитием острого конфликта, столкновением идей — вернее, по-разному понятой героями пьесы одной идеи. Нас увлекает столкновение понятий и характеров, происходящее на сцене.

Конфликт идей и характеров... Как часто мы принимаем и ставим пьесу только потому, что в ней есть столкновение идей, и уже не обращаем внимания на то, есть или нет в ней противостоящих друг другу живых людских характеров! Как приятно познакомиться с пьесой, где есть и то и другое; с пьесой, действующие лица которой вызывают на спор не только своих противников на подмостках, но и тех, кто сидит в зрительном зале.

Пьеса Кронина не может оставить спокойным человека, пришедшего в театр. Думающий зритель обязательно заинтересуется жизненной концепцией Мэри с ее фанатической тягой к добру, правде и любви к людям. Все эти «три кита» ее символа веры сходятся в идее бога. Она считает себя предназначенной служить ближним во имя бога и потому хочет уехать сама и зовет за собой полюбившего ее Веннера в далекую колониальную страну, где так много обездоленных и несчастных.

Веннер тоже считает, что его призвание — нести людям добро, но добро, так сказать, материализованное в реальном препарате от многих недугов. Да, он тоже

страстно хочет служить и помогать людям. Но его взгляды совершенно лишены религиозной экзальтации Мэри, они развились и укрепились в нем в борьбе с окружающим злом, косностью, корыстью. Кредо героя исполнено энергии, несокрушимой целеустремленности, готовности к бою здесь, в Англии, здесь, на земле, во имя больших идеалов, которые он предпочитает не излагать вслух. И то, что, лишившись Мэри, погибшей при катастрофе в его лаборатории, он все-таки решает отказаться от всех благ, ждущих его как признанного наконец изобретателя, и уезжает в страну, куда тщетно звала его невеста, не означает, что он принял ее веру и ее идеалы: Веннер всегда останется земным, для земного блага, для блага всех людей.

Место действия пьесы Кронина — Англия тридцатых годов. А страна, куда так стре-

мится дочь миссионера и невеста доктора Веннера Мэри Мэррей,— Китай. Здесь одна из причин того, что многие элементы пьесы кажутся нам наивными, ибо мы уже давно не можем представить себе могучий и независимый Китай, как страну, расположенную где-то «на аванпостах Британской империи...»

Тем не менее главные этические проблемы, поднятые Кронином и Сориа, — вопросы о назначении человека и о путях служения человечеству, о честности жизненных взаимоотношений, о нравственном кодексе разных людей, — делают пьесы «Юпитер смеется» и «Гордыня и туча» чрезвычайно привлекательными для современного театра.

С. ГИАЦИНТОВА,
народная артистка СССР.

★

Политика и наука

В борьбе за мир

Книга Я. Темкина охватывает сравнительно небольшой период — с 1914 по 1918 год. Но это были знаменательные годы, решавшие судьбы человечества. Поистине титаническую деятельность развернула в это бурное время большевистская партия. Перед нами проходят события первой мировой войны, Февральской революции, Октябрьского вооруженного восстания, начального периода существования Советского государства. На основе разнообразного и богатого документального материала, частично впервые публикуемого, автор показывает, как последовательно и решительно, в разнообразных исторических условиях отстаивала большевистская партия дело мира.

Подробно и ярко представлена борьба ленинцев за сплочение международного пролетариата против кровопролитной бойни, в которой были заинтересованы только эксплуататорские классы. В книге прослеживается как легальная, так и подпольная деятельность большевистских организаций в годы войны, тактика активного бойкота военно-промышленных комитетов, антивоен-

ное движение русского крестьянства, революционное брожение в армии и флоте.

Очень интересны страницы, рисующие крах попыток Временного правительства продолжать братоубийственную борьбу. Мы воочию видим, как глубоко проникли в сознание рабочих и крестьян, одетых в солдатские шинели, ленинские идеи мира. Когда эсеры и меньшевики — делегаты Всероссийского съезда Советов — прибыли на фронт и выступили на митинге в 703-м Сурамском полку, призывая к наступлению, возмущению солдат не было предела. Один из солдат обратился к собравшимся: «Так как выступавшие здесь ораторы поедут по всему фронту и будут распространять свои вредные мысли, то можем ли мы их отпустить?» — «Нет, не можем, их надо арестовать», — ответили солдаты. Пропагандисты «войны до победного конца» были тут же арестованы.

Во имя мира большевики вели огромную работу в массах, заботой о мире проникнута деятельность победившей народной власти. Первый ее декрет — Декрет о мире — не просто объявил о решимости Советской власти добиться для всех народов справедливого демократического мира, но и дал предельно точное определение самого понятия «демократический мир», то есть мир без аннексий и контрибуций. «Верная

Я. Темкин. *Большевики в борьбе за демократический мир (1914—1918 гг.)*. Редактор Н. Барсунов. 436 стр. Госполитиздат. М. 1957.

своему миролюбию, — подчеркивает автор, — большевистская партия и руководимое ею правительство с первых же шагов своей внешнеполитической деятельности провозгласили принцип мирного урегулирования всех международных проблем».

Из провозглашенной в Декрете о мире готовности Советского правительства поддерживать и развивать добрососедские отношения с другими государствами независимо от их социального устройства вытекал и позднее получил свое полное развитие ленинский принцип мирного сосуществования государств с различными социально-политическими системами.

Документальный материал, приведенный в книге Я. Темкина, подтверждает ту истину, что принципы мирного сосуществования с первого же этапа становления Советского социалистического государства стали основой его внешней политики. Эти документы не оставляют камня на камне от утверждений некоторых нынешних буржуазных политиков, будто принцип сосуществования является лишь «маневром Советов» и имеет «чисто конъюнктурный характер». Автор убедительно показывает, что Коммунистическая партия является не только партией революционной перестройки общества и социального прогресса, но и партией мира.

Книга Я. Темкина содержит обильный фактический материал, характеризующий деятельность партии и ее борьбу за демократический мир на одном из самых значительных и важных этапов истории.

Есть в книге некоторые неточности. Го-

воря о мятеже генерала Корнилова в августе 1917 года, автор пишет: «По предложению С. М. Кирова навстречу «дикой дивизии» выехала делегация мусульман. Агитация мусульманской делегации привела к тому, что солдаты «дикой дивизии» отказались наступать». Мне, участнику событий, хочется уточнить этот эпизод. Как известно, генерал Корнилов снял с фронта 3-й конный корпус Крымова, в который входили казачьи полки и «дикая дивизия», и двинул их на Петроград. Следовательно, «дикая дивизия» являлась лишь частью сил, брошенных для подавления революции. По указанию большевистской партии наши агитаторы действовали не только в «дикой дивизии», но и во всех полках корпуса. Кроме мусульманской делегации, эффективной агитационной работой занимались многие революционные солдаты. Именно деятельность большевиков привела к тому, что не только «дикая дивизия», но и весь корпус отказался наступать.

Жаль, что объемистая книга Я. Темкина не имеет предисловия. Оно необходимо для «цементирования» обильного материала и ввода читателя в курс описываемых событий.

Будучи исторической по своему содержанию, книга «Большевики в борьбе за демократический мир» является в то же время весьма актуальной. Она показывает начало благородной борьбы нашей партии и нашего социалистического государства за мир и дружбу между народами.

М. ЩЕДРИН.

★

У истоков

Среди мемуаров, изданных в последнее время, обращает на себя внимание книга «В борьбе за социализм». В своих воспоминаниях А. Шаповалов рисует широкую панораму жизни русского революционера. Из сырых казематов Петропавловки мы следуем за автором на бескрайние сибирские просторы, в глухие проинципальные захолустья, волнующийся перед взрывом 1905 года Киев, бушующую в дни прихода «Потемкина» Одессу, покрытый баррикадами Харьков.

А. С. Шаповалов. В борьбе за социализм. Редактор М. Гильгулин. 311 стр. Госполитиздат. М. 1957.

Девяностые годы прошлого века — время «хмурых людей», разочарования и усталости известной части общества, отшатнувшейся от идеалов и надежд шестидесятых годов. Но это же десятилетие было временем накопления свежих сил. Под верхним слоем жизни шли глубинные процессы брожения. Складывался в жестоких схватках с самодержавием, в острой идеологической борьбе новый тип революционера. В предгрозе девяностых годов распахивалась почва для всходов, росту которых не смогла помешать победоносцевская реакция.

До большинства в тот период доходила лишь отголоски не затихавшей в революционном подполье борьбы. Но то, что было скрыто от взглядов современников, извест-

но сейчас нам. Ярким светом освещают ту эпоху неопределимые документы величайшего революционного мужества, стойкости духа, бросающего вызов насилию. Это — воспоминания непосредственных участников знаменательных событий, тех, кто стоял у самого истока могучего движения пробуждающихся масс.

А. Шаповалов начинает свою общественную деятельность на самом «стыке» революционных эпох. В эти годы «подпольная Россия» народовольцев уступает арену борьбы таким людям, как Бабушкин, Шелгунов, появление которых знаменует процессы, происходящие в народной толще. В 1894 году Шаповалов входит в «рабочую группу» народовольцев и принимает участие в организации знаменитой Лахтинской типографии. Но вскоре под влиянием новых для него марксистских идей он порывает с народовольцами и вступает в петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Обычный для тех лет «университет» революционера — тюрьма и ссылка — довершает его формирование.

Читая книгу Шаповалова, вспоминаешь слова Ленина о людях, идущих под огнем врага «тесной кучкой по обрывистому и трудном пути, крепко взявшись за руки». Неизбежные лишения, преследования охранки, переезды из города в город для выполнения партийных заданий, вооруженные схватки на баррикадах составляют основное содержание жизни, целиком отданной революционной борьбе. Шаповалов был рядовым функционером партии. Петербургский пролетарий, с детских лет узнавший нужду и труд, он проходит классическую школу революционного воспитания. Он принадлежит к числу людей, о которых мы говорим слова, исполненные глубокого смысла и особого значения, — ленинская гвардия. Воспоминания Шаповалова особенно интересны тем, что дают возможность глубоко заглянуть в духовный мир поколения революционеров, закладывавших основы партии.

Из множества рассеянных по книге деталей постепенно вырисовывается фигура человека, непоколебимого в своей ненависти к рабству, ставящего идеал свободы, социальной справедливости и раскрепощенного духа превыше всего.

Мужество, бескорыстие, интернационализм, вера в будущее характерны для ленинцев, принявших на свои плечи труд

строительства партии. Шаповалов знакомит нас со многими из этих людей.

Поколению рабочих-революционеров, к которому принадлежал Шаповалов, приходилось вырабатывать свое отношение не только к политике, философии, религии, но и к обширному кругу этических проблем. Это была постоянная, огромной интенсивности работа духа, подлинный подвиг человека, преодолевающего все препятствия в своем стремлении знать и понимать.

«Только сознание, что «Капитал» К. Маркса имеет для нас, рабочих, большую ценность, чем евангелие для христиан или коран для магометан, — только это сознание заставляло меня преодолевать встречающиеся в нем трудности».

Мы находим в книге Шаповалова мысли о науке, о религии и особенно часто о нравственном кодексе революционера. Мы становимся как бы свидетелями того, как постепенно, в обстановке жесточайших преследований, складывается и крепнет самосознание человека, желающего быть достойным великого дела, которому он посвятил себя.

Шаповалов рассказывает о своем поединке со следователем — жандармским полковником Шмаковым, поединке, в котором победили стойкость и благородство рабочего.

Для таких людей, как Шаповалов, легче было вынести преследование шмаковых, чем разувериться в единомышленниках и друзьях. Среди многих волнующих страниц книги есть одна, подкупающая особой искренностью, глубоким чувством. Заподозрив в предательстве своего недавнего духовного наставника и руководителя, Шаповалов испытывает муки сомнений в людях, в своем призвании, возможности победить в борьбе. Он сидит в одиночке Петропавловской крепости. Самодержавие представляется ему отсюда таким же несокрушимым, как окружающие стены. «Оставь! Брось! Покорись!» — нашептывает внутренний голос. Эта минутная слабость не оказывает никакого влияния на поступки Шаповалова. Он мог бы и не рассказывать о ней. Но тем и ценны его воспоминания, что мы находим в них не только характерные приметы времени, портреты людей, не только описания городов и сел, неожиданных встреч или грустных разлук, но и признания, раздумья, сомнения — искреннюю исповедь мужественной и чистой души.

Обладая несомненным литературным даром, Шаповалов живо передает обстановку минусинской ссылки, где жили в то время Ленин, Крупская, Курнатовский, Ленгник, Кржижановский и другие товарищи по подполью. Эти страницы содержат множество живых деталей, воссоздающих облик Владимира Ильича и его друзей.

Вот одна из сцен, в которой видишь и слышишь живого Ленина. В Минусинске, куда политические ссыльные съехались, чтобы организовать товарищескую кассу взаимопомощи, Шаповалов знакомится с Владимиром Ильичем. Узнав о том, что его новый знакомый был связан с Лахтинской типографией, Владимир Ильич тут же начинает деятельно обсуждать с ним конструкцию подпольного типографского станка. Хорошо переданы в этом эпизоде заботы и мысли Ленина о будущем. Мы чувствуем характерное ленинское внимание к частностям, к деталям дела, которое он обдумывает со всех сторон.

Вот еще один характерный штрих. «Еще в селе Шушенском, — рассказывает Шаповалов о Владимире Ильиче, — получая га-

зеты кипами два раза в неделю, он не набрасывался на них, как Кржижановский, Старков и Невзорова; и не пожирал их все сразу в один день, а откладывал по одной на каждый день, прочитывая лишь тот номер, который приходился ему в этот день на очередь. Эта черта его характера в соединении с громадной силой воли, настойчивостью, с огромными природными способностями дала ему возможность преодолеть ту титаническую работу, которую он совершил и свидетелями которой мы были. Еще в Сибири Владимир Ильич давал всем нам пример работоспособности».

Книгу Шаповалова, рассказывающую о знаменательных событиях, о героических судьбах, с благодарностью прочтет читатель. Она обращает нас к одному из интереснейших периодов русской жизни. Она еще раз напоминает нам о людях, о которых мы подчас еще обидно мало знаем, чей неустанный, упорный труд, чьи героические усилия и горение закладывали основы победы в 1917 году.

И. КРАМОВ.



Страна меняет облик

Эту книгу следовало бы назвать «Экономическая география нового Китая». Мне не раз приходилось бывать за последние годы в Китайской Народной Республике, и я с восхищением наблюдал, как быстро перестраивается экономика молодой республики, как создаются новые промышленные центры, преобразуется природа обширных районов, рождаются новые отрасли производства. Город Ланьчжоу в долине Хуанхэ еще несколько лет назад был настоящим захолустьем. Сейчас Ланьчжоу — крупный промышленный город с семисоттысячным населением.

Буквально на глазах меняется экономическая структура Китая, имеющего колоссальные людские и природные ресурсы. Проведенная впервые в истории страны в 1953 году точная перепись населения показала, что его численность составляет 590,2 миллиона человек — четвертая часть совре-

менного человечества. А как щедро наделила природа земли Китая ископаемыми богатствами — углем и нефтью, железной рудой и алюминием, медью и свинцом, цинком и вольфрамом, оловом и ртутью! Только теперь, сбросив ярмо колониального и феодального капиталистического гнета, китайский народ узнал, как велики природные ресурсы его родины.

Для старого Китая было характерно неравномерное размещение промышленности и населения. В то время как в нескольких приморских городах производили более семидесяти процентов всей валовой фабричной продукции, в глубинных районах, особенно западных, почти не было промышленности, да и сельское хозяйство было развито слабо.

И вот китайские ученые рассказывают о сдвигах в экономике народного Китая, опирающихся на пять принципов перестройки хозяйства: приближение промышленных предприятий к источникам сырья и районам потребления; укрепление обороноспособности страны; наиболее полное использова-

Экономическая география Китая. Перевод с китайского. Предисловие и редакция П. И. Глушакова и Г. А. Ганшина. 264 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1957.

ние природных ресурсов; развитие отсталых районов; преобразование природы.

Авторы — научные сотрудники географического факультета Пекинского университета — показывают, как осуществляются эти принципы. В первой части книги дается экономико-географический обзор Китая, его промышленности, сельского хозяйства, транспорта, а вторая часть посвящена подробно описанию отдельных экономических районов.

Китай переживает полосу невиданного индустриального подъема. В соответствии с планом первой пятилетки, начавшейся в 1953 году, сооружается и реконструируется более восьмисот промышленных предприятий. На многочисленных примерах в книге показано, как осуществляется принцип приближения промышленности к источникам сырья и центрам потребления, как в ранее отсталых, сельскохозяйственных районах рождаются индустриальные очаги.

Китай — одно из древнейших аграрных государств, но подлинный расцвет сельского хозяйства наступил именно сейчас. Республика занимает первое место в мире по сбору риса, соевых бобов, гаоляна, вики, гороха и рами, а также по производству шелка-сырца и тунгового масла; второе место — по сбору арахиса, кукурузы, рапса и ячменя; третье — по сбору хлопка и пшеницы. Важную роль играет Китай в мировом производстве чая и сахарного тростника.

Знаменательные перемены происходят и в географии транспорта. В старом Китае (не считая Тайваня) протяженность железнодорожных линий составляла только двадцать одну тысячу километров. Все магистрали были проложены в Северо-Восточном Китае (Маньчжурия) и приморских провинциях и начинались в портах, через которые осуществлялись внешнеторговые связи с главными империалистическими державами.

За годы народной власти в Китае построено и строится много новых железнодорожных магистралей, в том числе в горных и пустынных районах Запада. Следует упомянуть строительство железных дорог: Ланьчжоу — Урумчи — Актогай, Ланьчжоу — Баотоу, Чунцин — Чэнду — Баоцзи, Цзинин — Эрлян и другие.

Улучшению транспортных связей содействует также сооружение железнодорожных мостов через крупные реки. До послед-

него времени не существовало современных железнодорожных мостов через реку Янцзы. Пекинские поезда, следующие в Нанкин, Шанхай и Ханчжоу, переправлялись через широкую реку на большом пароме. В Ухани на оживленной железнодорожной магистрали Пекин — Кантон также не было моста. Совсем недавно, в минувшем октябре, здесь построен самый большой в Азии мост, по которому на нижнем ярусе мчатся поезда, на верхнем — автомобили. Отныне эта центральная транспортная магистраль страны будет играть еще более важную роль в народном хозяйстве.

Вторая часть книги, характеризующая отдельные районы Китая, особенно конкретно и живо показывает значительность сдвигов, происходящих в экономической географии страны. Один за другим перед читателем проходят десять важнейших экономических районов: Северо-Восточный Китай, Автономная область Внутренняя Монголия, Северный Китай, Восточный Китай, Центральный Китай, Южный Китай, Юго-Западный Китай, Тибет, Район трех провинций (Шэньси, Ганьсу, Цинхай), Синьцзяно-Уйгурская автономная область. Авторы рассказывают о природных условиях каждого района, его экономическом облике, численности и составе населения.

Мы видим, как энергично осуществляется подъем экономики в так называемом «внутреннем Китае», то есть в провинциях, расположенных в центральной и западной частях страны. В приморских районах промышленная продукция в 1956 году по сравнению с 1952 годом возросла вдвое, а во внутреннем Китае она увеличилась выше чем в два с половиной раза. Из 694 предприятий, строящихся по плану первой пятилетки, 472 расположены во внутренних районах.

Процесс перестройки экономики страны заметен для каждого приезжающего в Китай. Провинции Цинхай, Ганьсу и Синьцзян становятся краем нефти и цветных металлов. В самой западной провинции Китая — Синьцзяне, граничащей с Казахской и Киргизской ССР, также происходит стремительный подъем экономики. Расширяются площади орошаемых земель, особенно в долинах Аксу, Манаса, Урумчи. Синьцзянский хлопчатник — лучший в Китае — начали потреблять текстильные фабрики Шанхая. Главный город провинции — Урумчи — стал

большим промышленным центром. Здесь выросло много новых предприятий, а количество населения перевалило за четверть миллиона.

«Экономическая география Китая» — книга научная, солидная, написанная языком учебника. Но сколько живых мыслей и чувств рождает рассказ наших китайских друзей о великих свершениях, происходя-

щих в дружественной стране под благодатным солнцем социализма! Мы читаем о горах и равнинах, о подземных богатствах и земельных просторах, о реках и лесах, а перед нашим мысленным взором встает народ — свободный, могучий, крыленный, строящий новую жизнь.

Доктор географических наук
Э. МУРЗАЕВ.

★

Речи советских адвокатов

Рецензируемые два сборника включают тридцать речей, произнесенных советскими адвокатами в уголовном суде. Рожденные в обстановке нашего состязательного процесса, защитительные речи помогают правосудию эффективно выполнять свои задачи, укреплять социалистическую законность.

«Советские законы,— справедливо подчеркивает в предисловии к первому сборнику профессор М. С. Строгович,— предоставляют органам уголовного преследования вполне достаточные полномочия для изблечения лиц, совершивших преступление... Советская законность требует, чтобы осуждению и наказанию подвергались только лица, действительно совершившие преступление, чтобы невинные были ограждены от неосновательных обвинений, а виновные несли ответственность лишь в меру их действительной вины».

Гуманные принципы советского правосудия и важная роль в нем защиты ярко показаны на конкретных уголовных делах, которым посвящены речи адвокатов. Большинство из них отличается глубоким анализом фактов, ясной и живой мыслью, логической стройностью и убедительностью аргументации.

Таковы приведенные во втором сборнике (кстати, более интересном и содержательном) выступления известных адвокатов Н. В. Коммодова и С. К. Қазначеева по нашумевшему уголовному делу об убийстве на арктической зимовке на острове Врангеля доктора Вульфсона. Таковы две речи талантливого адвоката И. Д. Брауде, произнесенные в защиту Абрамова, обвиняв-

шегося в убийстве отца (сборник первый), и в защиту Маркова, преданного суду по обвинению в убийстве Анны Лыткиной (сборник второй). Эти речи не только отражают глубокую правовую эрудицию ораторов, но и содержат элементы тонкого анализа душевного мира подсудимого.

Задача установления объективной истины требует от каждого юриста — участника судебного процесса — высокого профессионализма, в хорошем смысле этого слова, безукоризненного владения материалами дела, твердого знания законов, ясности и точности языка.

Перед нами проходят дела, связанные со сложными человеческими драмами и конфликтами, для каждого из которых характерны те или иные психологические и бытовые черты. И почти во всех приведенных случаях адвокат искусно помогает суду выявить подлинные корни преступления, проследить жизненный путь подсудимого. Указывая на значение личности подсудимого при исследовании любого уголовного дела, адвокат Э. С. Ривлин в своей речи справедливо подчеркивает: «Когда улики спорны, а тем более опровергнуты, тогда безупречная биография подсудимого включается в число обстоятельств, подтверждающих его невиновность».

Интересные общественные и юридические вопросы поставлены также в речах Д. Л. Островского, А. И. Юдина, Л. В. Соколовой, Н. П. Белова, Н. М. Фляте, Г. А. Богуславской и других адвокатов, представленных в сборниках.

Мы видим, что яркая, впечатляющая речь в уголовном суде может быть произнесена не только в связи с исключительным, из ряда вон выходящим процессом, но и по обычному делу.

В нашей стране вырос новый тип адвоката — общественного деятеля, в корне от-

Защитительные речи советских адвокатов. Сборник первый. Редактор профессор М. С. Строгович. 254 стр. Сборник второй. Редактор доцент Э. С. Ривлин. 376 стр. Издание президиума Московской городской коллегии адвокатов. 1956—1957.

личающийся от судебных ораторов, выступающих в буржуазных судах. Эти отличия, как пишет автор предисловия ко второму сборнику заместитель председателя Верховного суда СССР Л. Н. Смирнов, обусловлены иной социальной природой нашего правосудия, иными задачами советского суда, призванного защищать от всяких посягательств социалистической общественный и государственный строй, великие права и демократические свободы советского гражданина.

Защитительные речи будут с пользой прочитаны не только юристами. Сборники рассчитаны на широкую читательскую аудиторию. Основная их ценность — в воспитательном воздействии, в поучительности. Еще более полувека назад известный судебный деятель и литератор С. А. Андреевский сказал: «В Сорбонне над анатомическим театром существует старинная надпись: «Вот место, где смерть служит на пользу жизни»... Я мысленно читаю над судебным зданием следующие слова: «Вот место, где преступление служит на пользу общества». Конечно, не в том смысле, что здесь наказываются преступники, а в том, что здесь изучаются причины преступления, дабы общество научилось их избегать».

Общественная роль советского суда огромна. Прения сторон — речи прокурора и защитника — имеют большое значение в этом воспитательном процессе.

Судебная практика неопровержимо свидетельствует, что институт защиты является важным инструментом охраны социалистической законности.

Знакомство с речами советских адвокатов заставляет задуматься и над проблемой ораторского мастерства наших юристов. Надо сказать, что среди работников юстиции есть люди, считающие, что судебное красноречие отошло в область прошлого и что в наших условиях пригодны лишь «простые деловые выступления».

Собранные воедино три десятка речей

наших адвокатов заставляют с новой силой подчеркнуть значение для судебного оратора яркой мысли и образного живого слова. «Адвокат — это говорящий писатель», — утверждал уже упоминавшийся нами С. А. Андреевский. Может быть, эта формула и содержит преувеличение, но то, что адвокат, оружием которого является слово, должен обладать ораторскими способностями, уметь убеждать и воздействовать на умы и сердца, не подлежит сомнению. Именно на суде, где сталкиваются и переплетаются горе и радость, правда и ложь, любовь и ненависть, должен звучать язык живых мыслей и горячих чувств, ярких образов и убедительных представлений. Кому, как не советским деятелям публичной защиты и обвинения, блистать истинным красноречием, диктуемым состязательностью уголовного процесса, его высокой общественной значимостью?

Следует заметить, что невнимание к тому, что иногда упрощенно называют «техникой судебной речи», сказалось и на некоторых выступлениях, представленных в сборниках. В это издание следовало бы включить лишь те речи, которые отличаются не только глубиной содержания, четкостью социального и юридического анализа явлений, но и ораторским мастерством.

Инициативу, проявленную президиумом Московской городской коллегии адвокатов, впервые издавшим сборники речей советских защитников, нужно всячески приветствовать. Следовало бы только вести эти сборники в какие-то хронологические рамки. Напечатанные в них речи произнесены как на судебных процессах прошлого года, так и на процессах, имеющих двадцатилетнюю давность.

Надо полагать, что издание тщательно отобранных, действительно лучших и по содержанию и по форме речей советских адвокатов будет продолжено и станет прочной традицией.

А. ВОЛЬСКИЙ, М. ЦУНЦ.

★

Слава русского фарфора

«Эта книга написана о тех, кто создает фарфор, и для тех, кто его любит», — так завершает автор свои невидуманные истории о том, как возникла и росла слава

Юрий Арбат. Фарфоровый городок. Редактор Л. Сурова. 248 стр. «Московский рабочий». 1957.

фарфорового завода Гарднера (ныне Дмитровского) и как современные художники, рабочие и инженеры завода в Вербилках умножают славу предприятия, от роду которому без малого двести лет.

В 1747 году талантливый русский ученый Д. Виноградов после многих сотен опытов

первый в мире открыл химическую формулу фарфора и научно обосновал технологию его изготовления. На «порцелиновых мануфактурах» крепостные начали создавать изделия, завоевавшие мировую славу.

Старый русский фарфор настолько ценился западноевропейскими знатоками и коллекционерами, что в конце прошлого века предприимчивые дельцы создали в Германии, Франции, Австрии специальные фабрики для его подделки. Особенным успехом пользовались изделия двух русских предприятий — Гарднера и императорского завода в Санкт-Петербурге.

Герои книги Ю. Арбата «Фарфоровый городок» — безвестные русские умельцы из народа, создававшие в неимоверно тяжелых условиях замечательные художественные ценности. Талантливо выполненные ими статуэтки и посуда с маркой «Гарднер» занимают в крупнейших музеях мира почетные места. Художники первой четверти XIX века — самого замечательного периода в истории завода — создали произведения, которые и поныне являются гордостью русского фарфора.

Чудесные сервизы, вазы, чашки, статуэтки, поражающие своим изяществом, красотой, художественной фантазией, делались руками «рабочих людей», покупавшихся владельцем завода, английским купцом Францем Гарднером... по шести рублей с копейками за человека.

До последнего времени история завода Гарднера оставалась неизвестной. Архив предприятия, как рассказывает автор, погиб в 1925 году. Тысячи документов в различных архивохранилищах страны изучил он для того, чтобы воссоздать двухвековую историю гарднеровского завода.

Год за годом, десятилетие за десятилетием прослеживает писатель — знаток и ценитель отечественного фарфора — историю одной из старейших «порцелиновых мануфактур». Он подробно рассказывает о рождении завода, его первых успехах, характеризует его продукцию на протяжении многих лет, анализирует художественные качества и тематику работы крупнейших мастеров русского фарфора.

А в каких ужасных условиях создавались знаменитые гарднеровские изделия! Особенно страшной была судьба точильщиков, которых называли «живыми мертвецами». Для придания белизны фарфору в массу добавляли мышьяк. Вентиляции в цехах

не было. Поэтому и трудились от зари до зари рабочие в ядовитом мышьяковом тумане. А к тридцати годам обрывалась их жизнь. Заработок точильщиков был ничтожен. В апреле 1915 года они обратились к миллионерам Кузнецовым — новым владельцам гарднеровского завода — с просьбой о копеечной прибавке. В книге приводится этот страшный документ: «Вы можете удовлетворить своих живых мертвецов — точильщиков, а то ведь и среди нас все более приходят к убеждению, что точильное дело пало и своих сынов приучать к точильной тоже не стоит, а сами как-нибудь до смерти домаячим...» Хозяева ответили точильщикам отказом.

В последних главах книги автор рисует сегодняшнюю жизнь в Вербилках. Завод, перестроенный и обновленный, — один из лучших в стране. Его изделия пользуются огромным успехом на художественных выставках в Советском Союзе и за границей. На Всемирной выставке в Париже 1937 года они были отмечены золотой медалью. Изделия Дмитровского фарфорового завода можно встретить в миллионах квартир трудящихся.

Книга содержит много фактов, справок, документов. Особый интерес представляет найденная автором и впервые публикуемая стенограмма выступления А. М. Горького в 1920 году перед мастерами фарфора. Глубокое уважение к труду живописцев, формовщиков, горновых звучит в словах великого пролетарского писателя, призывавшего слушателей овладевать знаниями, строить свободную, счастливую, настоящую человеческую жизнь.

«Знание, — говорил Алексей Максимович, — великое дело, где оно есть, там является и великая любовь к делу. Ваши предшественники, рабочие по стеклу и фарфору, те, которые работали и на бывших фабриках Попова, Миклашевского и на бывшем Императорском заводе времен Екатерины и Елизаветы, умели так много вложить любви и вкуса в это дело, что наши чашки ценятся теперь десятками тысяч рублей... Знание это сила, и только оно делает вас настоящими творцами прекрасных вещей».

«Фарфоровый городок» содержит интереснейший познавательный материал, подробно рассказывает широкому читателю о малоизвестном художественном промысле. Отдавая должное автору, скрупулезно вос-

становившему историю старейшего завода, нельзя вместе с тем не упрекнуть его в ряде просчетов. Главный из них — непомерное увлечение историей отдельных владельцев завода, их многочисленных родственников, приказчиков, агентов, опекунов. Лавина архивных материалов временами захлестывает автора, и он явно теряет представление о том, что действительно заслуживает внимания читателей. Иногда кажется, что перед нами не история замечательного искусства русских мастеров фарфора, а семейная хроника фабрикантов Гарднеров. Целая глава «Двойники», например, посвящена исследованию того, кто же из двух Францев Гарднеров — петербургский или московский — подал в Мануфактур-коллегию челобитную о разрешении открыть фарфоровое производство. «После смерти Франца Францевича Гарднера,— пишет Ю. Арбат,— здесь в новом доме и стали жить вдова и ее сыновья. Было их четверо: Франц, Александр, Петр и Николай. Франц родился близнецом вместе с сестрой Екатериной. Умер он молодым, лет двадцати. Александр достиг совершеннолетия в 1809 году...» и т. д. О появлении на свет Алексея Гарднера автор повествует так: «Родился он 13 марта 1863 года в Женеве во время путешествия Елизаветы Николаевны по Швейцарии. Очевид-

но, сразу же стало заметно, что ребенок не совсем нормальный, и мать много ездила по разным заграничным врачам». Далее следует долгое и утомительное описание всех странностей и причуд «не совсем нормального» Алексея.

Повествование вновь становится значимым, как только автор вырывается из пут семейной хроники и начинает рассказ о людях, творивших замечательные художественные изделия, пронесших через десятилетия свое чудесное мастерство.

Недостаточно требовательный отбор материала сказался и в том, что в книгу включены некоторые новеллы, не имеющие по сути отношения к истории фарфорового промысла в России. Зачем, например, понадобился подробный рассказ о женитьбе одного из Гарднеров на невесте Д. И. Писарева (глава «Писарев—Коренева—Гарднер»). При этом далеко идущие выводы, сделанные автором, явно ошибочны.

«Фарфоровый городок» раскрывает тему, почти не затронутую в нашей литературе. Если бы автор и редактор освободили книгу от недостатков, о которых шла речь, то ее достоинства, несомненно, возросли бы.

Ю. ОВСЯННИКОВ.

★

Воспоминания гроссмейстера

Автор книги — международный гроссмейстер, участник многих шахматных битв. Но читатель не найдет в ней ни шахматных партий, ни диаграмм, ни анализ вариантов — словом, ничего того, что обычно присутствует в шахматных изданиях.

Книга А. Котова «Записки шахматиста» — это автобиографический рассказ о том, как безвестный тульский паренек вышел на международную шахматную арену. Составной частью этого занимательного и поучительного повествования служат очерки о пребывании Котова во многих зарубежных странах в качестве представителя сильнейшей в мире советской шахматной организации.

Необычен жанр этой книги — «шахматно-литературный». Ее появление делает честь и автору и издательству. Несомненно, наш

широкий шахматный читатель, давно соскучившийся по подобным изданиям, с интересом встретит появление работы Котова, доступной и людям, не приобщившимся к тайнам шахматного искусства.

Первая часть книги знакомит читателя с историей молодого советского человека, увлекшегося шахматами и сумевшего сочетать занятия ими с плодотворной учебой в институте, а затем с работой на производстве. Шаг за шагом автор раскрывает те замечательные свойства нашего общества, которые помогли ему проделать большой путь до инженера-конструктора и международного гроссмейстера.

Детство Котова прошло в семье мастера тульского оружейного завода, хорошо знакомой с нуждой и лишениями. И вот «дебют» шахматной карьеры будущего гроссмейстера — первые самодельные фигуры из чурбачков, которые отец приносил домой для растопки печей. Страстная лю-

А. Котов. Записки шахматиста. Редактор М. Данилова. 236 стр. «Молодая гвардия». М. 1957.

бовь к шахматам завладела мальчиком. Вскоре последовали первые настоящие успехи. Знакомясь с биографией автора, читатель как бы сам проходит школу шахматного искусства — от элементарных понятий до постижения таких «секретов», которые полезны и для опытных шахматистов. Наиболее интересны с этой точки зрения главы «В глубинах шахматной теории» и особенно «На путях к шахматному мастерству».

Круг жизни автора-шахматиста постепенно расширяется, и он знакомит читателя со многими всесоюзными, а затем и международными соревнованиями. Цепкая память Котова позволяет воскресить образы известных советских мастеров — Николая Рюмина, Сергея Белавенца, Николая Григорьева, отдавших себя служению шахматному искусству и сыгравших большую роль в создании советской шахматной школы. Перед читателем проходят пусть и эскизные, но очень точные портреты чемпионов мира Ласкера и Капабланки, гроссмейстеров Решевского, Найдорфа, ветерана шахматного искусства Тартаковера и многих других шахматных корифеев.

В очерках приводятся любопытные детали. Хороша жанровая сценка мимолетной остановки в Дакаре по пути через Атлантический океан. Удалось автору описание парижского кафе «Режанс», некогда прославленного центра шахматной игры, а ныне в угоду коммерческим устремлениям

хозяина утратившего эту традицию. Глава, где автор описал свое посещение Эдуарда Эрио, возбуждает в читателе чувство огромного уважения к ныне покойному борцу за мир. Удачно описана встреча с буржуазным «пропагандистом» в канадском поезде.

Книга А. Котова убедительно рисует атмосферу хорошего товарищества и той подлинной коллективности, которая свойственна спорту в нашей стране. Куда бы шахматная судьба ни забрасывала автора книги и его товарищей, всюду советских гроссмейстеров вдохновляют на борьбу мысли о великой социалистической Родине.

Мне, как любителю шахмат, и, думаю, многим другим, прочитавшим эту книгу, хотелось бы найти в ней ответы еще на некоторые вопросы, связанные с шахматным творчеством. Хорошо, если бы автор рассказал и о подготовке к турнирам, о роли тренера, о «биче» шахматистов — цейтноте. Есть множество тонких подробностей, из которых складывается спортивная жизнь крупного мастера шахмат. Они представили бы большой интерес для читателя, и о них следовало бы сказать подробнее.

А в целом надо приветствовать инициативу издательства «Молодая гвардия», выпустившего книгу, которая поможет даже тому, кто не просиживает вечера за шахматной доской, понять и полюбить древнее и вечно юное шахматное искусство.

Н. АТАРОВ.



Р Е П Л И К И

КОЕ-ЧТО О РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ...

Изучение иностранных языков стало сейчас повсеместным среди молодежи. О. В. Лепешинская («Новый мир», № 3, 1957) совершенно правильно сетует на несовершенство методов преподавания и требует для изучающих более современных пособий, записей живой речи, грампластинок, недублированных фильмов и т. д. Но так или иначе отрадно видеть, как повсюду—в учреждениях, на заводах, в театрах, в клубах—множатся и действуют кружки изучения иностранных языков.

Придя на любое занятие, вы увидите, с каким старанием какая-нибудь старая особа, уставясь в крохотное карманное зеркальце, шипит, как гусь, стараясь постичь произношение буквы «th» в английском языке.

Вы послушайте только, как красиво этот юноша в конце бесконечно длинной немецкой фразы ставит глагол точно на свое место.

Смотришь и думаешь: батюшки мои, да если люди так правильно, так точно говорят на чужих языках, как же, наверно, прекрасно заговорят они сейчас на своем родном, русском.

Но нет. В том-то и дело, что нет! У какой-то части молодежи откуда-то взялась манера, мода говорить по-русски неряшливо, комкая слова, коверкая ударения, пропуская то подлежа-

щее, то сказуемое, то вообще не договаривая половинны слова или фразы.

И вот ведь буд-то опять стоит она перед нами, людоедка Эллочка из «Двенадцати стульев». Она довольна: ее язык продолжает существовать. Он даже видоизменяется, хотя так же убог, как и раньше.

Новые Элочки вместо «парниша» говорят: «красивый мужик», «чудная баба». Появились слова: «сикстинка» («Сикстинская Мадонна» Рафаэля), «нержавейка» (ножи, ложки, зубы из нержавеющей стали), «загранка» (галстуки, джемпера и вообще заграничный ширпотреб), «потряска» (новый фильм или что-либо поразившее их воображение).

Они никогда не скажут вам «пожалуйста», а только «прошу, в смысле умоляю». И не поздороваются с вами попросту, а скажут «я вас приветствую категорически». Таких выражений, словечек множество, и перечислять их нет желания.

Как вы думаете, на каком языке сказана фраза «сйти на синьста»? Оказывается, на русском и означает «действительно свинство». Такого произношения вы легко можете добиться, если будете говорить, открыв рот и почти не шевеля губами.

Можно было бы не поднимать разговора, если бы так изъяснялись только неолюдоедки. Но мы знаем, что это заразительно пусть даже для небольшой, но очень дорогой нашему сердцу части молодежи.

И вот, как круги по воде, расходятся всевозможные варианты «словотворчества». Вместо «волнующе»

говорят «волнительно», вместо обычной «реакции зрительного зала» появляется «реагаж», «реагировка», «реагация». Хвала книгу или пьесу, надо сказать: «блэск» — через «э» оборотное.

А если даже само слово и оставляют неизменным, ему придается совершенно несуразное значение: слова «сила», «законно», «железо» имеют сейчас для иных совершенно другой смысл, чем обычно, и ни к селу ни к городу приклеиваются к любой фразе.

Скажите, зачем подбрасывать или закидывать куда-нибудь почтенного человека? Однако «я вас подброшу до Восстания» или «я выброшу вас у Герцена» означают вежливое предложение подвезти вас туда на машине. Больше того, человек начинает сам просить: «Подкиньте меня до метро».

Подобные словесные обороты находят себе место повсюду. Можно ли считать правильным или уважительным такое обращение кондуктора троллейбуса к пассажирам: «А ну, давай, заходи веселее!», или «Середка, проходи вперед», или нечто совсем невероятное — «А ну, у кого там взад нет билетов?»

Одна милая, очень молоденькая медицинская сестра в накрахмаленной шапочке во время лечебной процедуры ежедневно находила для нас, больных, новую форму глагола «положить». «Лбжьте руки сюда»,— говорила она улыбаясь; «залажьивайте их так»,— объясняла она на другой день. Ее изобретательности не было предела: «закладайте», «ложите», «залбжьте», «укладайте», «залажьивайте» и так без

конца. Когда мы поближе познакомились, я посоветовала ей остановиться на простейшей фразе: «Положите руки сюда».

И ей и нам сразу стало легче.

А ведь совсем недавно кончена школа — семь, десять классов. Почему же так быстро забыты грамматика русского языка, синтаксис, фонетика, ударения? Только и слышишь: «я взяла», «ляжь», «шофер, ехайте скорее», хотя повелительное наклонение от глагола ехать — поезжайте. Приехавшие в Москву молодожены смущенно рассказывают: «Мы сегодня блудили, блудили в Мосторге», — не давая себе даже труда подумать, что этот глагол имеет совсем другое значе-

ние и нужно было сказать: «мы заблудились» или «мы блуждали по Мосторгу».

А уж о таких невинных небрежностях, как ответы личных секретарей: «он вернется через минут десять», «он уехал на часа полтора», — говорить не приходится, хотя всем известно, что по-русски надо сказать или «через десять минут», или «минут через десять».

Вероятно, каждый сумеет найти примеры и более удачные и более смешные. Но здесь не хочется смешить, просто нельзя равнодушно не замечать этого. Ошибки речи необходимо выправлять смолоду, с детства. Пусть учитель алгебры или географии не сочтет для себя за труд ука-

зать ученику на речевую неправильность, пусть он не думает, что, мол, на это есть педагог русского языка и литературы, он все и поправит.

Пусть каждый культурный человек не откажется исправить ошибку в разговорной речи, где бы он ее ни услышал — на улице, в трамвае, на работе.

Сейчас весь мир изучает русский язык — живой русский язык, который обновляется, обогащается новыми понятиями, новыми словами, рожденными всей нашей новой жизнью.

А что касается «пособий», то наша молодежь может пользоваться всеми великими творениями классиков и современности.

Рина ЗЕЛЕНАЯ.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

РЕБУСЫ В ЖУРНАЛЕ «НОВЫЕ КНИГИ»

Еженедельный библиографический бюллетень «Новые книги» пользуется большой и заслуженной популярностью у читателей—специалистов и неспециалистов, так как сообщает самые свежие сведения о книгах, которые вышли или в скором времени выйдут в свет.

Читатели интересуются этой информацией и вполне удовлетворены ею. Они не ждут от журнала «Новые книги» ребусов, кроссвордов и головоломок. Однако редакция решила сама порадовать читателя введением подобного отдела.

Вот заметка-загадка из номера 32 за прошлый год. В ней утверждается, что Гослитиздат выпустит следующие книги немецких авторов: «Двухтомник произведений Г. Веерта», «Рассказы» Б. Келлера, пьесу «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, иллюстрированную книгу «Рейнеке-лис» И. В. Гёте, сборник произведений А. Зегерс и ее рассказ «Свадьба на Гаити», роман «Лотта в Веймаре» Л. Франка.

Историкам литературы не известен Б. Келлер. Если не считать, что журнал «Новые книги» имеет в виду Бернгарда Келлермана, то придется предположить, что речь идет о Готфриде Келлере, действительно существовавшем и действительно писавшем рассказы. Но и в таком случае заметка не пе-

рестает быть загадкой, ибо Г. Келлер не немецкий писатель, а швейцарский писатель, писавший на немецком языке.

Леонгард Франк действительно будет издаваться в Гослитиздате. В том же издательстве выйдет и «Лотта в Веймаре». Только под именем Л. Франка будут напечатаны те романы, которые написал он. Что же касается «Лотты в Веймаре», то она, надо полагать, будет напечатана за подписью Томаса Манна, в авторстве которого пока еще никто не сомневался.

Если внести эти поправки, заметка станет понятной.

Покончив с авторами, выпускаемыми в свет Гослитиздатом, автор заметки, подписавшийся «М. Б.», переходит к другим издательствам, о которых он тоже хорошо информирован:

«Издательство иностранной литературы готовит к печати сборник рассказов современных немецких писателей, книги А. Цвейга — «Огневое затишь», Г. Бёлла — «Я не сказал ни единого слова» и «Хлеб ранних лет», У. Рюта — «И в делах человек».

Урсула Рютт — женщина, и поэтому надо писать: книга «У. Рютт», а не «У. Рюта», и роман свой «In Sachen Mensch» она назвала так не потому, что хотела подчеркнуть: герой «и в делах человек», а потому, что хотела применить известный юридический термин «Дело о...», что может быть переведено как «Процесс по делу о человеке», «Слушается дело о человеке».

Дописав эту заметку, мы раскрыли 34-й номер бюллетеня и нашли в нем «Исправления». Значит, кто-то пере-

читал бюллетень и решил исправить ошибки.

Но из всех ошибок исправлена только ошибка с Келлером, о дальнейших сказано «далее, как в тексте», то есть «Лотта в Веймаре» снова оставлена за Леонгардом Франком, а Урсула Рютт окончательно утверждена в звании мужчины.

С. Л.

★

ПЧЕЛЫ РОНЯЮТ МЕД...

Еще прозрачные, леса
Как будто пухом

зеленеют...

Этот пушкинский образ нравится всем. Сам Лев Толстой был от него в восторге. Но вот вооруженный острым скальпелем ученый-критик делает замечание:

«Откуда в лесах пух? Это заставляет искать в лесах гусей. А таковые не называются. Кстати, много ли гусей-то в русских лесах?»

Не правда ли, какое глубокомыслие! Или, может быть, вы думаете, что таких критиков не бывает? Прочтите-ка в альманахе «Литературная Вологда» (№ 2, 1956) статью Б. Головина «Над языком надо трудиться».

Б. Головин разбирает там стихотворение А. Романова, которое он полностью приводит:

Опять шумит, шумит
пожар зеленый,—
Его не гасят пенные

дожди,
А с каждым ливнем пуше,
окрыленной
Пылает он — куда

ни погляди.
В горячих полднях
бронзовеют сосны,
Темнеют липы и роняют

мед,
И лишь к березкам
в даях сенокосных
Загар опять никак
не пристаёт,

«Зеленый пожар», — пишет догадливый Б. Головин, — это, видимо, леса весной или летом». Но решив, что не все читатели так догадливы, он продолжает: «Доступно ли сознанию читателя сочетание слов «шумит пожар зеленый»? Способно ли оно вызвать образ — точный и яркий? Едва ли...»

Особенно не нравятся Б. Головину строчки: «В горячих полднях бронзовеют сосны, — темнеют липы и роняют мед...». «Если «бронзовеют сосны», — пишет он, — это значит, что автор (а вместе с ним и читатель) их видит. Но этого не может быть, если сосны бронзовеют «в горячих полднях», то есть много дней кряду...» Серьезно подойдя к проблемам медодобывания, автор поучает поэта: «Липы меда не изготовляют и ронять его не могут: этими вещами если и занимаются, то пчелы». Убедительно, не правда ли? Сразу становится ясно, что «над языком надо трудиться».

Наконец, о двух последних строках. Сила научного анализа продемонстрирована здесь во всем своем блеске. Отбросив такую мелочь, как поэзия, в которой вряд ли откажешь этим строчкам, критик умозаключает: «Частица «лишь» имеет ограничительное значение и заставляет, в данном контексте, искать те предметы, к которым загар пристаёт... Но предметы эти не названы!»

Б. Головин настолько увлекся пословным анализом, что о соснах успел позабыть. Вот уж действительно в трех соснах — простите, в

трех строчках — заблудился!..

Но дальше! Дальше истину замечательно тонко проявляется критическое зрение: «Разве в далях можно различить, пристаёт или нет загар к березкам?..»

Так же тонко анализируется выражение «в далях сенокосных». «Во-первых, что же оно означает? Дали, где косят травы? Но ведь косяба не очень хорошо заметна на большом расстоянии, о котором заставляет думать слово «дали».

Думается, что чуткий к слову Б. Головин мог бы значительно упростить не легкий труд наших поэтов, строго разграничив, какие слова употреблять в сельской и индустриальной тематике. Так, встретившееся у П. Кустова слово «прохожие» («Смело дверь распахну в правление, пусть оглядываются прохожие») вызвало удивленное возражение критика: «Много ли прохожих на деревенской улице?»

Не правда ли, как благодарен должен быть читатель критику, который так обогащает его представление о поэзии?

Н. СВЕРЧКОВ.

★

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ГОСПОДИНА БЕРЖО

Если мы захотим узнать значение слова «энциклопедия», нам может объяснить его сам энциклопедический словарь. «Систематический свод знаний» — так толкуется там это привычное слово. «Энциклопедией современ-

ного театра» (издательство Одилис, Париж, 1956) скромно назвал в подзаголовке свою книгу «Я выбираю свой театр» современный французский искусствовед Жан Бержо.

Каковы же знания, которые предлагает читателю в своем систематическом своде (661 страница убористой печати) энциклопедист Бержо?

Страница 619. На правее вызывается Алексей Николаевич Толстой. Вот точная выдержка: «Ему мы обязаны превосходным воссозданием Петра Великого и Ивана Грозного...»

Ничего не скажешь, Жан Бержо прав. Действительно, Алексей Николаевич превосходный исторический писатель. Но вот следует перечень произведений Алексея Николаевича: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Борис»...

Итак, всемирно известная трилогия Алексея Константиновича Толстого приписана Алексею Николаевичу Толстому. Быть может, г-н Бержо попросту не знает, что на ниве русской драматургии плодотворно работали (с промежутком в три четверти века) два Толстых? Однако читаем дальше. Примечание: «Не смешивать с графом Алексеем К. Толстым (1817—1875) — также автором драматических произведений».

Значит, Бержо все-таки знал о том, что существовал русский драматург Алексей Константинович Толстой! Что и говорить — энциклопедия!

Н. БАЗИЛЕВСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

И. МАКАРЬЕВ. Пометки Горького на книгах начинающих писателей. «Советский писатель». М. 1957. 78 стр. Цена 1 р. 60 к.

Много лет назад автор этой книги, будучи в гостях у А. М. Горького, заметил в его библиотеке множество книг молодых литераторов с пометками, сделанными на страницах рукою Алексея Максимовича. Ему пришла в голову мысль собрать воедино все эти пометки и издать книгу, которая могла бы служить хорошим пособием для начинающих авторов. Этот замысел и был осуществлен И. Макарьевым в 1932 году — к сорокалетию литературной деятельности великого писателя.

Сейчас, двадцать пять лет спустя, эта книга вновь вышла в свет. В основу ее положены пометки Горького на книжках начинающих писателей-красноармейцев. Пометки чрезвычайно разнообразны. Одни касаются стиля, языка, другие — более общих вопросов. Основные требования, которые предъявляет Горький начинающим писателям, — это правдивость в изображении действительности, умение отбирать из жизненных впечатлений основное, наиболее важное, типичное. Горький делает интересные замечания, направленные против схематичного, штампованного показа людей и событий.

Все эти материалы перемежаются в книге И. Макарьева обстоятельным авторским комментарием. К книге приложено письмо М. Горького, адресованное авторам разбираемых рассказов.

Н. Ф. ПАВЛОВ. Повести и стихи. Гослитиздат. М. 1957. 358 стр. Цена 6 р. 85 к.

Имя Николая Филипповича Павлова почти не известно современному читателю. Это несправедливо, ибо творчество писателя представляет собой весьма значительную страницу в истории русской литературы первой половины XIX века. Именно о нем писал Пушкин: «Три повести г. Павлова очень замечательны и имели успех вполне заслуженный... г. Павлов первый у нас написал истинно занимательные рассказы». С большим увлечением о повестях Павлова отзывались Гоголь, Белинский, Тютчев и другие.

Но если первым трем повестям писателя («Именины», «Аукцион» и «Ятаган»), можно сказать, «повезло» (в советское время они переиздаются в третий раз), то остальные произведения Павлова — его «Новые

повести», стихотворения, письма к Гоголю — давно уже стали библиографической редкостью.

Поэтому весьма отраднo, что в аннотируемую книгу включены, кроме названных трех повестей, в которых писатель со всей силой таланта выступил против крепостного права и против николаевской солдатчины, «Новые повести» («Маскарад», «Демон», «Миллион»), обличающие светскую знать, и стихотворения двадцатых—пятидесятых годов.

Новый сборник, представляющий собой наиболее полное издание произведений писателя, составлен Н. А. Трифоновым, снабдившим книгу вступительной статьей о жизни и творчестве писателя и примечаниями.

Л. ПОЗДНЕЕВА. Лу Синь. «Молодая гвардия». М. 1957. 288 стр. Цена 6 р. 10 к.

О великом китайском писателе Лу Синь в нашей стране напечатано немало статей и книг.

Советский читатель может познакомиться с его жизнью и творчеством и по переведенным на русский язык трудам китайских писателей и общественных деятелей и по работам советских китайистов.

Автор аннотируемой книги Л. Позднеева изучала наследие великого китайского писателя более двадцати лет. Ее книга, представляющая художественную биографию Лу Синя, создана на основании материалов долготлетних исследований, а также под впечатлением поездки в Китай и встреч с друзьями писателя.

Жизненный и творческий путь великого писателя и крупного общественного деятеля Китая автор прослеживает в хронологической последовательности.

БОГУМИЛ РЖИГА. Поездка Гонзика в деревню. Детгиз. 1957. 64 стр. Цена 1 р. 15 к.

Хорошая книга для детей всегда отличается одним важным свойством — ее с удовольствием и пользой прочтут и взрослые.

Эта книга написана для малышей, но, право же, и взрослым очень интересно будет познакомиться с внутренним миром пятилетнего мальчика, раскрытым талантливым писателем. В книжке весело и занимательно рассказывается о том, как чешский мальчик Гонзик, выросший в городе, впервые приезжает в деревню.

Какой интересный новый мир открывается перед ним, каких хороших новых друзей он здесь встретил! Мягко, удивительно легко Богумил Ржига знакомит своих маленьких читателей с массой неизвестных вещей, но прежде всего с глубокими изменениями, происшедшими в чешской деревне за последние десять лет. Вместе с Гонзиком читатели побывают на кооперативном птичнике, на свиноферме, в общественной столовой, в школе.

Успеху книжки, несомненно, способствуют культурный перевод Е. Аникст и Р. Разумовой и выразительные рисунки художника И. Кабакова.

РАССКАЗЫ ИНДИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ. Издательство иностранной литературы. М. 1957. 440 стр. Цена 13 р. 25 к.

Сорок четыре рассказа восемнадцати современных писателей Индии содержит этот сборник. Индия — многонациональная страна, и литература ее многоязычна. Книга познакомит нашего читателя не только с новыми рассказами уже хорошо известных в нашей стране Кришана Чандра и Хаджи Ахмада Аббаса, пишущих на языке урду, или столь же известного Мулка Раджа Ананда, пишущего по-английски, но и с такими до сих пор еще мало переведенными у нас писателями, как Бхишма Сахни, Вишну Прабхакар, Упендранатх Ашк и другими, пишущими на языке хинди, Маник Банерджи, Монодж Бошу и Нарайян Гонгопадхай, которые пишут на языке бенгали, и Гурбакш Синг, представляющим в этом сборнике пенджабскую литературу. Весьма интересны и по-настоящему увлекательны пять рассказов популярного в Индии писателя Яшпала.

Рассказы этого сборника раскрывают широкий и многообразный мир, в котором живет и трудится многомиллионный индийский народ, создатель одной из древнейших цивилизаций. Они проникнуты огромной любовью к простым людям, к труженикам. Некоторые рассказы рисуют картины недавнего мрачного прошлого Индии, зовут к борьбе за освобождение от колониального ига, от страшных феодальных пережитков («Мужество раба» Яшпала, «Меня укусила собака» Кришана Чандра, «Жена водоноса» Упендранатха Ашка и др.), другие посвящены строительству новой жизни после освобождения («Пшеница и розы» Хаджи Ахмада Аббаса и др.), гневному протесту против войны и стремлению народов к миру («Медали» Бхишма Сахни, «Плывущие светильники» Прем Натха Пардеси и др.).

ФЕДОР ДУБКОВЕЦКИЙ. Рожденные Октябрем. Сельхозгиз. М. 1957. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

«Седьмого ноября тысяча девятьсот семнадцатого года мы, крестьяне, получили землю. В этот же день, седьмого ноября тысяча девятьсот двадцать второго года, мы решили начать работать на ней по-новому... Общее собрание бедноты постановило

создать в Тальном сельскохозяйственную артель...»

Эти строки взяты из начала книги председателя прославленного украинского колхоза «Здобуток Жовтня» («Завоевание Октября») — автобиографического рассказа одного из зачинателей колхозного движения в стране. А вот несколько строк из ее заключительной главы:

«Тридцать пятый год я председательствую в колхозе. Приятно время от времени оглянуться на пройденный путь... А еще приятнее и радостнее смотреть в будущее... Свои цели мы изложили в новом пятилетнем плане. Главное в нем — довести урожай зерновых до 30 центнеров с гектара, получить в 1960 на каждые 100 гектаров... по 775 центнеров молока и 110 центнеров мяса».

Между первым и вторым отрывками легли долгие годы организаторских исканий, неутомимой коллективной стройки, упорного труда и самоотверженной борьбы с врагами новой жизни, с трудностями, годы чудодейственных превращений в сознании крестьян, замечательных успехов и славных побед на их пути. Обо всем этом повествует интересная и поучительная книга Федора Дубковецкого.

И. КУЛЕВ. Электрификация СССР в шестой пятилетке. Госполитиздат. М. 1957. 96 стр. Цена 1 р. 50 к.

Советский Союз занимает первое место в мире по потенциальным запасам водной энергии. В ста тысячах советских рек таятся больше энергии, чем во всех водных артериях США, Японии, Канады, Норвегии, Швеции и Финляндии, вместе взятых.

Рассказывая о росте энергетических сил Советской страны, автор уделяет большое внимание гидроэнергетическому строительству, приводит новейшие схемы использования Днепра, Камы, Днестра, Немана, Раздана, Куры, Западной Двины. Подробно показаны и успехи в строительстве и эксплуатации тепловых электростанций.

Разительны темпы электрификации национальных республик. Производство электроэнергии с 1928 по 1955 год возросло в Армянской ССР в 105 раз, в Узбекской — в 113 раз, а в Казахской — в 760 раз! Так на деле осуществляется ленинский план электрификации всей страны.

Читатели ознакомятся и с путями создания Единой энергетической системы Европейской части СССР и Единой энергетической системы Центральной Сибири.

СОВЕТСКАЯ БАШКИРИЯ. Исторические очерки. Башкирское книжное издательство. Уфа. 1957. 370 стр. Цена 6 р. 65 к.

Основная цель очерков, подготовленных коллективом научных работников Башкирии, — показать те преобразования, которые произошли в Башкирии после Великой Октябрьской социалистической революции, вызвавшей коренной поворот в судьбе башкирского народа.

Книга построена в основном по тематическому принципу: каждый из ее разделов посвящен определенной стороне развития Башкирской АССР — политической, эконо-

мической, культурной. Авторы рассказывают об индустриализации республики, о превращении ее в один из ведущих районов нефтяной промышленности Советского Союза, о формировании национальных кадров специалистов. Ранее отсталый и заброшенный край, где каждые четыре человека из пяти были неграмотными, ныне стал краем высокой культуры.

М. А. МЕЛИКЯН. К вопросу о формировании армянской нации и ее социалистического преобразования. Издательство Ереванского университета. 1957. 207 стр. Цена 8 р. 10 к.

Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед армянским народом возможность свободного национального развития.

М. А. Меликян показывает положение армянской нации при капитализме и процесс социалистического преобразования страны, говорит об изменении классовой структуры армянского народа, о расцвете экономики и культуры Советской Армении.

«Сегодня на Кавказе, — рассказывал известный бразильский писатель Жоржи Амаду после посещения в 1953 году Советской Армении, — возвышается могучая, обильная, культурная, свободная Армения, активная участница мирной и счастливой жизни советских народов. Эта маленькая страна и ее славный народ являют собой пример всему миру. Это часть того светлого примера, который дают нам советские народы».

А. ХАМИДХОДЖАЕВ. Организация комсомола в Туркестане. 1918—1920. Государственное издательство Узбекской ССР. Ташкент. 1957. 204 стр. Цена 4 р.

Сохранилось очень немного материалов, рассказывающих о том, как создавалась комсомольская организация в Средней Азии. Тем большую ценность представляют собранные в книге документы о первых шагах ташкентских комсомольцев. Из небольшой группы в двадцать человек они под направляющим влиянием большевиков быстро превратились в крепкую организацию, поставившую перед собой высокую цель: «Создать из подрастающего поколения рабочего класса борцов за социализм и международное объединение трудящихся».

Первый призыв комсомольцев Туркестана доказал свою преданность власти Советов в годы гражданской войны. В книге приводятся яркие эпизоды, повествующие об участии комсомольцев — юношей и девушек — в обороне Андигана против кулацко-байских банд в 1919 году. Геройскими делами прославили себя и комсомольцы Чимонского отряда, защищавшие в 1920 году кишлаки и нефтепромыслы от басмачей. Этот боевой отряд был интернациональным по своему составу: плечом к плечу сражались в нем узбеки, русские, таджики, казахи.

Н. К. МИХАЙЛОВ. Четверть века подпольщика. Госполитгиздат. М. 1957. 272 стр. Цена 5 р. 75 к.

Лондон, 1903 год. Здесь в русской колонии систематически собирался небольшой кружок по изучению основ программы РСДРП. В его состав входило десять—пятнадцать человек. Регулярные занятия в кружке вел В. И. Ленин. Кружковцы видели в своем руководителе «инженера, проектирующего стройку огромной революционной партии, обрабатывающего материал для этой великой стройки».

Об этом рассказывает на страницах своей книги Н. К. Михайлов, вступивший в партию в 1897 году. Он прошел с ней суровый путь в условиях царской России. В дни первой русской революции он руководил боевыми дружинами и мастерской по изготовлению бомб. На его долю выпали многократные аресты и ссылки. Но негибимый большевик оставался верен знамени великого Ленина, Партии. Воспоминания Н. К. Михайлова — волнующая повесть о мужестве и героизме русского революционера-подпольщика.

ПИРОГОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 1955 ГОДА. Медгиз. Л. 1957. 48 стр. Цена 1 р. 10 к.

Отмечая семидесятилетие со дня смерти выдающегося русского врача и ученого Николая Ивановича Пирогова, Академия медицинских наук СССР и Всесоюзное научное общество хирургов решили ежегодно проводить «пироговские чтения».

В книжке, посвященной первым чтениям, опубликовано вступительное слово действительного члена Академии медицинских наук СССР профессора П. А. Куприянова о значении Пирогова в развитии медицинской науки. Доклад действительного члена Академии медицинских наук СССР профессора В. Н. Шамова трактует проблему боли, шока и обезболивания в хирургии от Пирогова до наших дней.

А. И. ВАКСБЕРГ. Издательство и автор. «Искусство». М. 1957. 230 стр. Цена 7 р. 60 к.

Каков порядок заключения издательского договора, как должно оцениваться произведение, представленное в издательство, как разрешить разногласия, возникающие между автором и редактором, между соавторами, в каких случаях автор вправе претендовать на издание своего труда — на эти и многие другие вопросы в книге А. Ваксберга даются убедительные и обоснованные ответы. Автор опирается не только на нормативные акты, но и на сложившуюся практику, характеризуя правовые взаимоотношения издательства и автора в СССР. Учитывая, что законодательство об авторском праве предусматривает не все случаи, встречающиеся в писательской практике, автор высказывает свою точку зрения по ряду дискуссионных вопросов.

Книга «Издательство и автор», адресованная в первую очередь издательским работникам, будет полезна также всем, кто занимается литературным трудом, — писателям, ученым, журналистам.

СДАЮТСЯ В ПЕЧАТЬ...

Познакомим читателей с некоторыми новыми журналами, которые начнут выходить с 1 января 1958 года.

Недавно созданный Институт китайоведения Академии наук СССР подготовил к печати первый номер журнала «Советское китайоведение». Своевременность создания журнала очевидна. На его страницах будут публиковаться статьи по вопросам истории, экономики, литературы, языка, идеологии, культуры и международных отношений Китая, различные обзоры и справочные материалы о великой стране. Журнал ставит перед собой задачу содействовать развитию научных и культурных связей между Советским Союзом и народным Китаем, а также борьбу против буржуазной идеологии и фальсификаций в области китайоведения. К сотрудничеству в журнале привлекаются ученые Китая и других стран.

Среди разнообразных материалов первого номера, который откроется приветствием президента Академии наук КНР Го Мо-жо, назовем статью Л. Эйдлина, содержащую анализ поэтического творчества Мао Цзэ-дуня, публикации неизвестных писем крупнейшего русского сиолога XIX века отца Иакинфа (Бичурина), документы о посольстве Ивана Кетлина в Китай.

Институт русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР приступил к изданию журнала «Русская литература». В нем будут освещаться актуальные проблемы и достижения советского литературоведения в области истории русской литературы на всем протяжении ее существования — от зарождения до наших дней. В журнале найдут место проблемы взаимных связей русской литературы с зарубежными, а также с литературами народов СССР. Большое внимание будет уделено взаимосвязям русской литературы с народным творчеством. Редакция предполагает провести на страницах журнала ряд дискуссий по актуальным задачам, стоящим перед литературоведением.

Большой интерес для любителей книги представят новые библиографические издания «Литература и искусство народов СССР и зарубежных стран» и «Информационный бюллетень иностранной литературы».

Первое из них издается Всесоюзной книжной палатой совместно с Всесоюзной государственной библиотекой иностранной литературы. В нем будут регистрироваться изданные в Советском Союзе переводы произведений художественной литературы и фольклора народов СССР и зарубежных

стран, книги и статьи о литературе и искусстве и т. д.

«Информационный бюллетень иностранной литературы» — орган Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина — будет знакомить читателей с наиболее значительными произведениями, появившимися за рубежом не только в области художественной литературы, но и различных отраслей науки.

Свердловское отделение Союза писателей начинает выпускать ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Урал».

Еще одним показателем бурного развития науки в нашей стране, и в частности в союзных республиках, служит новое издание — «Известия Академии наук Азербайджанской ССР». Издание будет выходить в нескольких сериях: биологических и сельскохозяйственных наук, геолого-географических наук, общественных наук и физико-технических и химических наук. Для удобства читателей статьи, представленные на азербайджанском языке, сопровождаются кратким содержанием на русском языке и наоборот.

Новый журнал «Советская геология» будет широко освещать проблемы общей геологии, стратиграфии, палеонтологии и других дисциплин, вопросы, связанные с изучением закономерностей, характера размещения и прогноза поисков месторождений полезных ископаемых, и т. д.

Шестнадцать серий по различным отраслям науки будет содержать новое издание — «Научные доклады высшей школы».

Свой ежемесячный иллюстрированный журнал получают учащиеся старших классов средней школы. Журнал «Дружба» будет выходить на трех языках — английском, французском и немецком — и призван помочь юношам и девушкам, самостоятельно изучающим иностранные языки. Журнал будет освещать жизнь и быт молодежи зарубежных стран, вопросы науки, техники, литературы, искусства, спорта.

* * *

С 1958 года начинают выходить «Ведомости Верховного Совета РСФСР» (издательство «Известия»).

Оргкомитет Союза писателей РСФСР принял постановление начать издание газеты «Литература и жизнь». Периодичность газеты — три раза в неделю, тираж — 500 тысяч экземпляров.

Создается и республиканское книжное издательство «Современник».



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Документы совещаний представителей коммунистических и рабочих партий, состоявшихся в Москве в ноябре 1957 года. 32 стр. Цена 35 к.

Ленин в Октябре. Воспоминания. 352 стр. Цена 6 р.

А. Балашов, А. Боженко, Б. Казаков. Египет в борьбе и труде. Путевые заметки. 64 стр. Цена 70 к.

Ц. Бобровская (Зеликсон). Записки польщика. 1894—1917 гг. 128 стр. Цена 1 р. 65 к.

Большевистская партийная периодическая печать в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март—ноябрь 1917 г.). Библиографический указатель. 72 стр. Цена 75 к.

Янка Брыль. Сердце коммуниста. Очерк. Авторизованный перевод с белорусского. 48 стр. Цена 50 к.

Второй Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. Сборник документов. 628 стр. Цена 9 р. 70 к.

Декреты Советской власти. Том I. 25 октября 1917 г.—16 марта 1918 г. 626 стр. Цена 10 р. 60 к.

Диалектический материализм и современное естествознание. Сборник статей. 424 стр. Цена 9 р. 70 к.

Директивы КПСС и Советского правительства по хозяйственным вопросам (1917—1957 гг.). Том I. Сборник документов. 1917—1928 гг. 880 стр. Цена 15 р.

Б. Жирнов. Край, преображенный Октябрем. По республикам Средней Азии. Записки журналиста. 144 стр. Цена 1 р. 40 к.

История гражданской войны в СССР. Том 3. Упрочение Советской власти. Начало иностранной военной интервенции и гражданской войны (ноябрь 1917 г.—март 1919 г.) 404 стр. Цена 24 р.

История СССР. Эпоха социализма (1917—1957 гг.). Учебное пособие. 772 стр. Цена 16 р.

Александр Казанцев. Земля зовет. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

Г. Ким. Борьба корейского народа за мир, национальное единство и демократию. 160 стр. Цена 2 р.

В. Московский. Единство партии и народа непоколебимо. 80 стр. Цена 1 р.

В. Е. Невлер (Вилин). Джузеппе Гарибальди. Народный герой Италии. 84 стр. Цена 1 р.

Октябрьская революция и зарубежные славянские народы. Сборник статей. 388 стр. Цена 7 р.

Переписка Секретариата ЦК РСДРП(б) с местными партийными организациями. Часть II (ноябрь 1917 г.—февраль 1918 г.). Сборник документов. 506 стр. Цена 8 р. 50 к.

Е. Песков, Б. Шабад. Социалистическая демократия и ее «критики». 64 стр. Цена 70 к.

Победа Великой Октябрьской социалистической революции. Сборник статей. 692 стр. Цена 14 р.

Пребывание партийно-правительственной делегации Советского Союза в ГДР 7—14 августа 1957 года. Сборник материалов. 208 стр. Цена 2 р.

А. Протопопов. Советский Союз в Организации Объединенных Наций. Из истории борьбы СССР за мир и независимость народов (1945—1957 гг.). 212 стр. Цена 2 р. 60 к.

Я. М. Свердлов. Избранные произведения в трех томах. Том I. 396 стр. Цена 6 р. 80 к.

Советская социалистическая экономика. Сборник статей. 1917—1957 гг. 664 стр. Цена 11 р. 50 к.

А. Сурченко. Героическая оборона Москвы. 1941 г. 104 стр. Цена 1 р. 20 к.

Сюй Тэ-ли. Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Китайскую революцию. 32 стр. Цена 30 к.

В. Г. Трухановский. Внешняя политика Англии после второй мировой войны (краткий очерк). 336 стр. Цена 7 р.

Ем. Ярославский. О религии. 640 стр. Цена 9 р. 50 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

С. Васильев. Осенняя тетрадь. 80 стр. Цена 1 р.

А. Венцлова. Избранное. Перевод с литовского. 568 стр. Цена 11 р. 55 к.

Л. Гоитарь. Серебряные нити. Перевод с еврейского. 188 стр. Цена 2 р. 65 к.

Зарницы над нивами. Очерки и рассказы. Перевод с белорусского. 264 стр. Цена 4 р. 75 к.

В. Земной. Свидетели живые. 128 стр. Цена 2 р. 30 к.

Н. Ильина. Возвращение. Роман. 568 стр. Цена 9 р. 80 к.

П. Иоффе. Николай Пронин. Роман. 356 стр. Цена 6 р. 20 к.

Б. Кежуй. Зигзаги вдоль бумаги. 88 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Клешенко. Гуси летят на север. 164 стр. Цена 2 р. 85 к.

Г. Кулиев. Горы. Перевод с балкарского. 328 стр. Цена 5 р. 75 к.

Г. Куренев. Разведка боем. 116 стр. Цена 1 р. 80 к.

М. Лакербай. Абхазские новеллы. Перевод с абхазского. 136 стр. Цена 2 р. 50 к.

В. Львов. Без отдыха. 80 стр. Цена 85 к.

А. Майков. Избранные произведения. 480 стр. Цена 5 р. 25 к.

А. Мухтар. Сестры. Роман. Перевод с узбекского. 355 стр. Цена 6 р. 25 к.

М. Нагнибеда. Лето. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 2 р. 25 к.

Н. Носов. На литературные темы. 112 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Пидсуха. Лирика. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 2 р. 10 к.

М. Ракитный. Родные дали. Рассказы. Перевод с белорусского. 184 стр. Цена 3 р. 50 к.

А. Сумароков. Избранные произведения. 608 стр. Цена 10 р. 90 к.

Т. Сыдыкбеков. Среди гор. Роман. Перевод с киргизского. 280 стр. Цена 5 р.

З. Телесин. Живые корни. Перевод с еврейского. 191 стр. Цена 3 р.

О. Челидзе. Грузинские баллады. Перевод с грузинского. 115 стр. Цена 2 р. 15 к.

Б. Четвериков. Повесть о Котовском. 568 стр. Цена 11 р. 55 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

В. И. Лени о литературе и искусстве. 687 стр. Цена 11 р. 80 к.

Антология русской советской поэзии. В двух томах. 1917—1957. Том I. 853 стр. Цена 25 р. Том II. 812 стр. Цена 22 р. 50 к.

Антология таджикской поэзии. 854 стр. Цена 23 р.

Буало. Поэтическое искусство. 231 стр. Цена 5 р. 25 к.

К. Зелинский. Литературы народов СССР. Статьи. 407 стр. Цена 10 р. 40 к.

Ив. Касаткин. Избранные рассказы. 399 стр. Цена 7 р. 80 к.

Иван Катаев. Избранное. Повести и рассказы. Очерки. 567 стр. Цена 10 р. 40 к.

Такидзи Кобаяси. Избранное. Перевод с японского. 463 стр. Цена 8 р. 80 к.

И. В. Омелевский. Шаг за шагом. Роман. 431 стр. Цена 7 р. 20 к.

Ян Райнис. Индулис и Ария. Трагедия молодости. В пяти действиях. Перевод с латышского. 279 стр. Цена 4 р. 40 к.

Март Рауд. Избранное. Перевод с эстонского. 211 стр. Цена 5 р.

Жак Реми. Если парня всего мира... Дневник коллективных действий, связанных с одним событием. Перевод с французского. 159 стр. Цена 2 р. 40 к.

Антуан де Сент-Экзюпери. Земля людей. Перевод с французского. 200 стр. Цена 3 р. 25 к.

Вальтер Скотт. Эдинбургская темница. Роман. Перевод с английского. 632 стр. Цена 9 р.

Токутоми Рока. Куросиво. Роман. Перевод с японского. 350 стр. Цена 6 р. 65 к.

Хосе Эустасио Ривера. Пучина. Перевод с испанского. 255 стр. Цена 5 р. 50 к.

Ольга Форш. Исторические романы (Михайловский замок. Первенцы свободы. Следы камнем). 739 стр. Цена 13 р.

Садек Хедаят. Избранное. Перевод с персидского. 359 стр. Цена 7 р. 15 к.

Бруно Ясенский. Избранные произведения. В двух томах. Том 1. 432 стр. Цена 9 р. 70 к. Том 2. 483 стр. Цена 10 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Александров, В. Котов. Людиновцы. 142 стр. Цена 2 р. 25 к.

Сергей Антонов. В стране польдеров и тюльпанов. 78 стр. Цена 1 р. 50 к.

Борис Баблюк. В стране алмазов. 222 стр. Цена 4 р. 85 к.

Мария Белкина. Степняки. Очерк. 75 стр. Цена 1 р. 15 к.

Н. Беляев. Знакомьтесь — автомобили! 191 стр. Цена 4 р. 45 к.

Инна Варламова. Живой родник. Рассказы. 205 стр. Цена 3 р.

Сергей Васильев. Четверть века. 367 стр. Цена 11 р. 10 к.

Геннадий Гончаренко. Честь. Роман. 343 стр. Цена 8 р. 60 к.

Иван Горелов. Золотые букашки. Рассказы. 280 стр. Цена 6 р. 10 к.

Владимир Дягилев. Доктор Голубев. Повесть. 176 стр. Цена 2 р. 65 к.

Василий Журавлев. Беспокойство. Стихи. 176 стр. Цена 3 р. 30 к.

Ник. Задорнов. Золотом и Гурьяныч. Повесть. 268 стр. Цена 6 р. 70 к.

Илья Зверев. Дороги вглубь. 112 стр. Цена 1 р. 75 к.

Игорь Кобзев. В борьбе за это. Стихи. 189 стр. Цена 3 р. 70 к.

К. Лапин. В любовь надо верить. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.

Константин Лордкипанидзе. Горийская повесть. 148 стр. Цена 4 р. 10 к.

А. Лурье. Гарибальди (1807—1882). Исправленное издание. 283 стр. Цена 6 р. 25 к.

К. Муртазаев. Мастера белого золота. 78 стр. Цена 1 р. 35 к.

Евг. Поповкин. На древней земле Эллады. Записки писателя. 111 стр. Цена 1 р. 65 к.

Вл. Силантьев. Солнце возвращается Египту. 155 стр. Цена 2 р. 30 к.

Назым Хикмет. Стихи и поэмы. Перевод с турецкого. 286 стр. Цена 10 р.

ДЕТГИЗ

В. Александровский. Когда нам семнадцать... Повесть. 254 стр. Цена 4 р. 70 к.

А. Безыменский. На первых съездах комсомола. Воспоминания делегата (1918—1920 гг.). 47 стр. Цена 80 к.

Н. Богданов. Крлянонок. Рассказы. 95 стр. Цена 2 р. 60 к.

Л. Борисов. Под флагом Катрионы. Роман. 343 стр. Цена 6 р. 15 к.

И. Вахрамеев. В первые дни революции. Литературная запись Г. Вайса. 32 стр. Цена 50 к.

Ю. Герман. Рассказы о Дзержинском. 256 стр. Цена 9 р. 15 к.

В. Гончаров. Мельница счастья. Поэма. 60 стр. Цена 1 р.

Н. Емельянов. Ильич в Разливе. Литературная запись Л. Рудневой. 32 стр. Цена 55 к.

М. Жестев. Приключения маленького тракториста. Повесть. 197 стр. Цена 4 р. 10 к.

А. Литвейко. Девушки с электроламповой. Литературная запись Ю. Капусто. 48 стр. Цена 80 к.

В. Лифшиц. Разговор. Стихи. 1937—1957. 174 стр. Цена 3 р. 80 к.

С. Маршак. Быль-небылица. Разговор в парадном подъезде. Рассказы и стихи. 32 стр. Цена 2 р. 60 к.

К. Меджидов. Алуш — Крылатая нога. Рассказы и сказки. Перевод с лезгинского. 78 стр. Цена 2 р. 40 к.

М. Прилежаева. Начало. Историческая повесть. 119 стр. Цена 4 р. 40 к.

Б. Раевский. Ответственный редактор. Рассказы о «Правде». 159 стр. Цена 3 р. 35 к.

Г. Ревзин. Путешествие Саши Черского. Повесть. 269 стр. Цена 4 р. 60 к.

М. Стельмах. Сестричкина книжка. Стихи, шутки, поэмы. Перевод с украинского. 79 стр. Цена 2 р. 30 к.

Сказки Албании. Перевод с албанского. 71 стр. Цена 4 р. 55 к.

А. Сцибор-Рыльский. Тень. Две повести. Перевод с польского. 174 стр. Цена 3 р. 70 к.

Хочу все знать! Научно-популярный альманах. 280 стр. Цена 9 р.

А. Шахов. Страшное ущелье. 152 стр. Цена 3 р. 50 к.

Эллай. Чурумчуку. Сказка. Перевод с якутского. 32 стр. Цена 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция. Хроника событий 1917—1957 гг. Том I. 741 стр. Цена 34 р. 75 к.

В. Всеволодский-Герингросс. Русский театр (от истоков до середины XVIII в.). 262 стр. Цена 11 р. 60 к.

М. Ф. Гатауллин. Аграрные отношения в Сирии. 195 стр. Цена 5 р. 20 к.

И. И. Гвай. К. Э. Циолковский о круговороте энергии. 80 стр. Цена 2 р. 10 к.

Г. А. Гурев. Дарвинизм и религия. Из истории идеологической борьбы в биологии. 248 стр. Цена 4 р. 65 к.

Ч. Дарвин. Автобиография. Воспоминания о развитии моего ума и характера. Дневник работы и жизни. 257 стр. Цена 8 р. 35 к.

Железородная база черной металлургии СССР. 567 стр. Цена 32 р. 40 к.

Из истории общественных движений и международных отношений. Сборник статей в память акад. Е. В. Тарле. 736 стр. Цена 38 р. 30 к.

Исследование по физике твердого тела. 280 стр. Цена 15 р. 30 к.

А. П. Каждан. Религия и атеизм в древнем мире. 344 стр. Цена 11 р. 70 к.

Е. И. Крупнов. Древняя история и культура Кабарды. 176 стр. Цена 8 р. 75 к.

А. А. Молчанов и И. Ф. Преображенский. Леса и лесное хозяйство Архангельской области. 239 стр. Цена 14 р. 25 к.

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. Документы и материалы. 1042 стр. Цена 35 р. 65 к.

Писатели народов СССР. Литературные портреты. I. 323 стр. Цена 12 р. 45 к.

Положение и борьба рабочего класса стран Западной Европы. 420 стр. Цена 14 р. 80 к.

В. Е. Пясковская-Фесенкова. Исследование рассеяния света в земной атмосфере. 220 стр. Цена 12 р. 90 к.

Ю. И. Соловьев, М. И. Каблукова, Е. В. Колесников. Иван Алексеевич Кабуков (1857—1957). 212 стр. Цена 5 р.

Е. В. Тарле. Сочинения. Том I. 772 стр. Цена 20 р.

О. П. Целикова. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. 100 стр. Цена 3 р.

ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Е. Бораненков. Комсомольцы-воины в боях за советскую Родину. Издание второе, переработанное. 100 стр. Цена 1 р. 50 к.

И. И. Вахрамеев. Во имя революции. Воспоминания. 90 стр. Цена 1 р. 45 к.

Всюду красные знамена. Воспоминания и очерки о второй гражданской революционной войне. Перевод с китайского. 159 стр. Цена 5 р. 25 к.

О. И. Городовиков. Воспоминания. 154 стр. Цена 3 р. 95 к.

Д. Давурин. Второй эшелон. Повесть. 214 стр. Цена 4 р. 85 к.

Дин Хун, Чжао Хуань и Дун Сяо-хуа. Настоящий солдат. Повесть. Перевод с китайского. 204 стр. Цена 6 р. 80 к.

Д. И. Корниенко. Флот нашей Родины. 454 стр. Цена 8 р. 40 к.

В. Московский. Родная Армия. 160 стр. Цена 2 р. 80 к.

Навечно в строю. Книга первая. 237 стр. Цена 4 р. 60 к.

И. В. Тюленев. Советская кавалерия в боях за Родину. 300 стр. Цена 6 р. 15 к.

М. В. Фрунзе. Избранные произведения. В двух томах. Том I. 470 стр. Цена 8 р. 50 к. Том II. 500 стр. Цена 9 р. 60 к.

И. Черкасов, А. Костерин. Повесть о простых людях. 300 стр. Цена 6 р. 25 к.

Ю. Шальнов. По солдатской дороге. Повесть. 222 стр. Цена 5 р.

М. Яхонтова, С. Колдунов. Сигнал полдня. Повесть. 383 стр. Цена 7 р. 85 к.

ГЕОГРАФИЗ

Азербайджанская ССР. 445 стр. Цена 14 р. 60 к.

Белорусская ССР. 488 стр. Цена 15 р. 60 к.

Э. Вейс, В. Пурин. Латвийская ССР. Экономико-географическая характеристика. 440 стр. Цена 14 р. 65 к.

Наша Родина. Фотоальбом. Издан на четырех языках: русском, английском, французском, немецком. 312 стр. Цена 60 р.

Побежденные вершины. Год 1954. Ежегодник советского альпинизма. 432 стр. Цена 7 р. 90 к.

Б. Привальский. Путеводитель по Узбекистану. 103 стр. Цена 1 р. 65 к.

И. И. Пузанов. Вокруг Азии. 368 стр. Цена 7 р. 80 к.

М. С. Розин. География полезных ископаемых Африки. 280 стр. Цена 9 р.

Северный Кавказ. 508 стр. Цена 15 р. 70 к.

Н. Тихонов. Вамбери. Повесть. 44 стр. Цена 60 к.

Украинская ССР. Часть I. 558 стр. Цена 17 р.

З. Г. Фрейкин. Туркменская ССР. 451 стр. Цена 14 р. 60 к.

Д. И. Щербаков. Поездка в Мексику. Путевые впечатления. 94 стр. Цена 1 р. 65 к.

Г. Юрьев. В Пакистане. 38 стр. Цена 65 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Гарри Зихровский. Индия без покрывала. Сокращенный перевод с немецкого. 292 стр. Цена 13 р. 15 к.

История войны на Тихом океане. Том I. Агрессия в Маньчжурии. Перевод с японского. 414 стр. Цена 14 р.

Дэвид Ллойд Джордж. Правда о мирных договорах. Том I. Перевод с английского. 655 стр. Цена 22 р. 10 к.

Премендро Митро. Ганг встречается с морем и другие рассказы. Перевод с бенгали. 145 стр. Цена 3 р. 75 к.

Валентина Найдус. Ленин в Польше. Перевод с польского. 168 стр. Цена 4 р.

Эрнст Тельман. Избранные статьи и речи. К истории германского рабочего движения. Перевод с немецкого. Том I. 470 стр. Цена 19 р. 60 к.

Чжоу Ли-бо. Стальной поток. Роман. Перевод с китайского. 233 стр. Цена 6 р. 30 к.

Жан Шено. Очерк истории вьетнамского народа. Перевод с французского. 343 стр. Цена 15 р. 50 к.

Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. Перевод с китайского. 422 стр. Цена 15 р. 85 к.

МЕДГИЗ

Е. Д. Ашурков, М. И. Барсуков, Н. Н. Морозов и др. Очерки истории здравоохранения СССР (1917—1956 гг.) 396 стр. Цена 14 р. 30 к.

И. К. Боголепов. Неотложная невропатология. 368 стр. Цена 12 р. 40 к.

Д. Г. Оппенгейм. 40 лет советских курортов. 116 стр. Цена 3 р. 60 к.

Сорок лет советского здравоохранения. 664 стр. Цена 26 р.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

В. И. Ленин о советском строительстве. 724 стр. Цена 9 р. 70 к.

Конституция Бирманского Союза. 100 стр. Цена 85 к.

И. Д. Левин и В. А. Шамаев. Государственный строй Индии. 152 стр. Цена 5 р. 85 к.

Судебные органы Китайской Народной Республики. 136 стр. Цена 3 р. 65 к.

В. К. Шалагинов. Судья. 208 стр. Цена 2 р. 60 к.

М. Д. Шаргородский. Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества. Часть I. 304 стр. Цена 11 р. 65 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов, С. Н. Голубов,

А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренев,**

М. К. Луконин, А. М. Марьямов, Е. Успенская, К. А. Федин

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 20/XI-57 г.

Подписано к печати 26/XII-57 г.

А 10567. Формат бумаги 70×108¹/₄. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140 000. Заказ 2536.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 9 руб.